95 коп.

Индекс 73276



«Нева», 1990, № 7, 1—208

7/1990

ISSN 0130—741X

А. КОРОЛЕВ
Гений местности
Повесть о парке

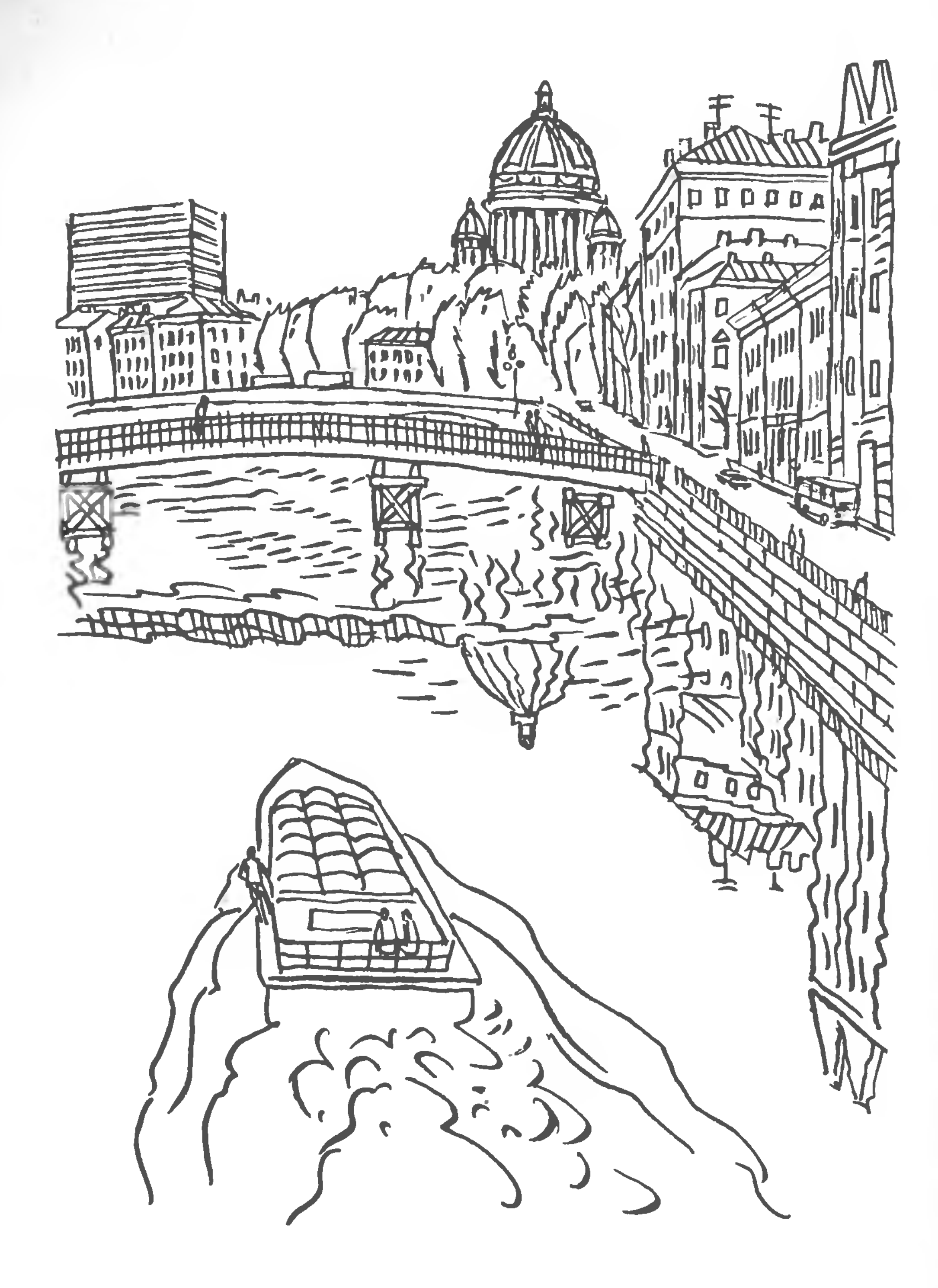
Ю. КРАСАВИН
Рассказ



Е. БОННЭР
Постскриптум

Р. КОНКВЕСТ
Большой террор

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»
Вс. ВИЛЬЧЕК
Алгоритмы
истории



«Фонтанка. Горсткин мост».
Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

7/1990

Выходит с апреля 1955 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА

НЕОБХОДИМАЯ РЕПЛИКА



Ленинград
«Художественная литература».
Ленинградское отделение

Старший технический редактор Г. В. Александрова
Корректоры А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова

Александр
ГОРОДНИЦКИЙ

◆◆◆

Кто метит нынче в новые мессии,
Тот долго не удержит головы.
Писать, чтобы печататься, в России
Практически немыслимо, увы.
В краю морозов оттепель случайна.
Прозрениям всеобщим — грош цена.
Писатели писать привыкли тайно,
Надеясь на иные времена.
Собрат ли по профессии, сосед ли —
Все ненадежны,— нету дураков.
Один лишь стол — их чуткий собеседник,
Хранитель верный их черновиков.
Их автор перечтет, вздохнет с досадой,
И в папку лист уложит за листом.
И спрячет в стол. Так зарывают клады,
Чтобы отрыть когда-нибудь потом.

Так тонущий письмо кладет в бутылку
Среди стихии пенной штормовой,
Дыханье ощущая на затылке
Судьбы своей несчастной роковой.
Желтеет ненадежная бумага,
Рассыплется трухою — только тронь.
Ее, как червь, подтачивает влага,
И пожирает яростный огонь.
И все-таки, безвестны и туманны,
Лежат в столах, до времени тихи,
Замедленного действия романы,
Замедленного действия стихи.
Еще не входят рукописи эти
В густой петит журнальной полосы,
Еще живут их авторы на свете,
Замедленные тикают часы.

◆◆◆

«Самим собою будь»,—
О, странные слова!
Мы нашей жизни путь
Начав едва-едва,
Разучивали гимн
С другими заодно,
И подражать другим
Учило нас кино.

Нас обучал сержант
Не знать иных тревог
И головы держать,
Равняясь на него.
Кричали нам: «Ложись!»
Поборники идей,
Учили делать жизнь
С героев и вождей.

Похвальных образцов
Забыты имена.
Смотрю в свое лицо,—
Морщины, седина...
Примерный ученик,
Старателен и тих,
Науку я постиг
Копировать других.

Эпохи верный сын,
Могу я в час любой
Быть твердым, как один,
Быть скромным, как другой,
Прикрыть улыбкой боль,
Разжечь огонь в снегу...
Лишь быть самим собой
Уже я не могу.

◆◆◆

Сентябрь сколачивает стаи,
И первый лист звенит у ног.
Извечна истина простая:
Свободен, значит, одинок.

Мечтая о свободе годы,
Не замечаем мы того,
Что нашей собственной свободы
Боимся более всего.

И на растерянные лица
(Куда нам жизни деть свои?)
Крылом спасительным ложится
Власть государства и семьи.

В углу за снятою иконой,
Вся в паутине, пустота.
Свободен, значит, вне закона,—
Как эта истина проста!

Входная дверь гремит, как выстрел,
В моем пустующем дому.
Так жить нам вместе, словно листьям,
А падать вниз по одному...

Баллада о спасенной тюрьме

Я помню ясно: в шестьдесят втором
Горела деревянная Игарка.
Пакеты досок вспыхивали жарко —
Сухой июль не кончился добром.
Дымились порт, и город, и больница,
Валюта погибала на корню,
И было никому не подступиться
К лохматому и рыжему огню,
И отданы милиции на откуп,
У интерклуба, около реки,
Давили трактора коньяк и водку,
И смахивали слезы мужики.
В огне кипело что-то и взрывалось,
Как карточные рушились дома,
И лишь одна огню не поддавалась
Большая пересыльная тюрьма.
Пылали рядом таможня и почта,
И только зеки медленно, с трудом,
Передавая ведра по цепочке,
Казенный свой отстаивали дом.
Как ни старалась золотая рота,
На полминуты пошатнулась власть,—
Обугленные рухнули ворота,
Сторожевая вышка занялась.
Из вышки вниз спустившийся охранник,
Распространяя перегар и мат,
Рукав пожарный поправлял на кране,
Беспечно отложивши автомат.
За рухнувшей стеною лес и поле —
Шагни туда и растворись в дыму!
Но в этот миг, решительный на волю,
Бежать не захотелось никому.
Куда бежать? — И этот лес зеленый,
И Енисей, мерцавший вдалеке,
Им виделись одной огромной зоной,
Границ у которой — на замке.
Ревел огонь, перемещаясь ближе,
Пылали балки, яростно треща.
Дотла сгорели горсовет и биржа,
Тюрьму же отстояли — сообща.
Когда я с оппонентами моими
Спор завожу о будущих веках,
Я вижу тундру в сумеречном дыме
И заключенных с ведрами в руках.

Ленинградская песня

Мне трудно, вернувшись назад,
С твоим населением слиться,
Отчизна моя, Ленинград,
Российских провинций столица.
Как серы твои этажи!
Как света на улицах мало!
Подобна цветенью канала
Твоя нетекучая жизнь.

На Невском — реклама кино,
А в Зимнем по-прежнему Винчи,
Но пылью закрыто окно
В Европу, ненужную нынче.
Десятки различных примет
Приносят тревожные вести,—
Дворцы и каналы на месте,
А прежнего города нет.

Но в плеске твоих мостовых
Милы мне и слякоть, и темень,
Пока на гранитах твоих
Любимые чудятся тени.
И тянется хрупкая нить
Вдоль времени зыбких обочин,
И теплятся белые ночи,
Которые не погасить.

И в рюмочной на Моховой,
Среди алкашей утомленных,
Мы выпьем за дым над Невой
Из стопок простых и граненых,
За шпилей твоих окаем,
За облик немеркнущий прошлый,
За то, что покуда живешь ты,
И мы как-нибудь проживем.

Русская церковь

Не от стен Вифлеемского хлева
Начинается этот ручей,
А от братьев Бориса и Глеба,
Что погибли, не вынув мечей.
В землю скудную вросшая крепко,
Только духом единым сильна,
Страстотерпием Русская церковь
Отличалась во все времена.
Не кичились седые прелаты
Ватиканскою пышностью зал,
На коленях стальных император
Перед ними в слезах не стоял.
Не блестел золотыми дарами
Деревенский скупой аналой,—
Пахло дымом в бревенчатом храме
И прозрачной сосновой смолой,
И младенец глядел из купели
На печальные лики святых.
От татар и от турок терпели,
Только более всех — от своих.
И в таежном скиту нелюдимом,
Веру старую в сердце храня,
Возносились к Всевышнему с дымом,
Два перста протянув из огня.
А ручей, набухающий кровью,
Все бежит от черты до черты,
А Россия ломает и строит,
И с соборов срывает кресты.
И летят над лесами густыми,
От днепровских степей до Оби,
Голоса вопиющих в пустыне:
«Не убий, не убий, не убий!»
Не с того ли на досках суровых
Все пылает с тех памятных лет,
Свет пожара и пролитой крови,
Этот алый пронзительный свет?

Гумилев

От неправедных гонений уберечь не может слово,
Вас спасти не в силах небо, провозвестники культуры.
Восемь книг стихотворений Николая Гумилева
Не спасли его от гнева пролетарской диктатуры.
Полушепот этой темы, полуправда этой драмы,
Где во мраке светят слабо жизни порванные звенья,
Петропавловский застенок, и легенда с телеграммой,
И прижизненная слава, и посмертное забвенье.
Конвоир не знает сонный государственных секретов,—
В чем была, да и была ли, казни грозная причина.
Революция способна убивать своих поэтов,
И поэтому едва ли от погрома отличима.
Царскосельские уроки знаменитейшего мэтра,
Абиссинские пустыни и окопы на Германской.
И твердят на память строки, что соленым пахнут ветром,
И туманный профиль стынет за лица бесстрастной маской.
И летят сквозь наше время, горькой памятью былого,
Для изданий неуместны, не предмет для кандидатских,
Восемь книг стихотворений Николая Гумилева,
И как две отдельных песни — два Георгия солдатских.

Анатолий
КОРОЛЕВ

ГЕНИЙ МЕСТНОСТИ

Повесть о парке

1. Зеленый словарь

В одном частном письме английский поэт восемнадцатого века Александр Поуп рекомендовал при устройстве сада совстоваться во всем с «гением местности» и сообразовывать усилия садовника с физиономией и характером окрестной природы. Сказать, конечно, легче, чем воочию увидеть этот незримый гений, или тем более проникнуться его духом и подчинить свой садовый почерк его неслышной диктовке. Гений местности — сама тайна. Да. Но часто незрямое и тайное легко замечает ранимый глаз ребенка.

Так и случилось.

Именно *ему* вдруг открылся в летней парковой сени, в переплете сучьев и веток, в пятнах темно-зеленой листвы гений местности. Трудно сказать, как тот выглядел,— ребенок промолчал, проводив его полет насупленным взглядом. Хотя, впрочем, следы какой-то потусторонней встречи позднее мелькают на страницах его пиитических книг. Таких встреч было несколько, и лицо встреченного двоится в памяти, то это грозный облик шестикрылого серафима пустыни — ангельский образ,— лицо которого закрыто двумя крылами, то — темная личина духа отрицания: «В те дни, когда мне были новы Все впечатленья бытия... Тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. Печальны были наши встречи: Его улыбка, чудный взгляд, Его язвительные речи Вливали в душу хладный яд. Неистощимой клеветою Он провиденье искушал; Он звал прекрасное мечтою; Он вдохновенье презирал; Не верил он любви, свободе; На жизнь насмешливо глядел — И ничего во всей природе Благословить он не хотел».

Итак, мальчик проводил насупленным взглядом горний полет в свежей парковой чаще. Ему уже гневно кричали: Alexandre! Alexandre! А он упрямо отмалчиаался, любуясь страшными громадами стволов и уходя все дальше в глубь пустой темной аллеи к стене света адали.

Мальчик родился в день Вознесения, тем самым провидение предначертало ему насильственную смерть, воскресение из мертвых и приобщение к небу. Он неповоротлив и тучен. Своей молчаливостью он приводил темпераментную мать в отчаяние. Вот и сейчас она нервно ходит взад и вперед у дорожного экипажа, ломая руки и беспрестанно хлопая слабой дверцей кареты, которая никак не хочет закрываться. Она необычайно хороша собой, в прелестном дорожном платье с завышенной талией и глубоким вырезом на груди, с обязательной по тогдашней моде кружевной шалью на плечах и в капоре. Капор скрывает нежное лицо молодой женщины от солнца. Ее тонкие руки в светлых шелковых перчатках до локтя, в кулачке стиснут маленький зонтик. Прелестные черные локоны серпантинами вьются вдоль ее атласных щек. Она удивительно смугла. Недаром ее прозвали прекрасной креолкой. Alexandre! Alexandre! — кричит в парковую даль француз-гувернер, сложив ладони рупором. Он стоит в точке схода трех лучевых аллей, не зная, по которой сбежал его несносный воспитанник. От крика лошади тревожно шевелят кончиками ушей. Живописную картину завершает прелестная девочка в соломенной шляпке, она в двух шагах от матери, и сонный мужчина в глубине кареты. Ему бы надо выглянуть, узнать, почему зовут Александра, а заодно поторопить кучера с отъездом (оторвался валёк), но ему лень и не хочется ссориться с мсье эмигрантом, с Надин, с самим собой, наконец. Уютная тень лежит на его лице. В конце концов гувернер приводит к экипажу за руку маленького беглеца. Но что это с ним? Неповоротливого мальчика трудно узнать. Юная мать с тревогой оглядывает лицо сына: куда подевались привычная набычливость и неуклонная тайная мысль а себе? Alexandre прыщет дикой веселостью, девочка бросается ему на шею, и дети нежно обнимают друг друга, пытаясь спрятаться в раковине братско-сестринской любви от вечной раздражимости родителей. Мать ловит на себе взгляд сына и вздрагивает — он глядит слишком взросло. На миг он показался ей смуглым бесенком с рожками. Она перекрестилась...

Но мы забежали вперед лет этак на двести, да и карета уже трогает с места. Кучер, привстав на козлах, хлещет кнутом по лошадям. И все теряется в дымке пыли и столетий. Лучится, то ли на заднем стекле дормеза, то ли на лбу вечности, радужная звезда. Но вот и ее задувает африканская мгла.

Бывают счастливые местности, в которых природа отступает, окружая некую пустоту красотой. Может быть, эта пустота уже ждет человека? Наша местность издревле была из таких вот счастливых, радующих глаз. Лесной порыв здесь внезапно иссяк, отдав свободе целый амфитеатр террас, уступив цветам и снегам живописные склоны. Провидение, чтобы окончательно приковать взор незримою цепью, вложило излучину реки в низину. Оперило стрелку южных бореев в сторону Лебяжьей горки, тогда еще безымянной. Брошенные ледником скалы легли по пояс среди цветов. К молчанию столь глубокой цезуры слетелись певчие птицы. Из лесов на солнце шагнули кусты диких роз и орешника. Обогащая местный словарь на чистых скрижалях простора, запестрели незабудки, васильки, желтые многоточия пижмы, запятые гвоздик, синие точки и алые прописные. Не было лишь человека — любоваться и читать это великолепие. Дубовая роща на макушке Лебяжьей горки казалась священной, так широка была ее тень и высока трава между корнями. И она стала священной Перуновой рощей, попала в тенета человеческих чувств, в силки эмоций. Оцепенела под взглядом окрестностей. В шелесте листьев ухо слышало предсказание судьбы, кроны вещали, бурлили с настойчивостью родника, бьющего из-под земли. Этот шум можно было пить, вот почему *сырой* дуб; он шумит, как вода, сырой дуб — дерево вообще. Вокруг него была поставлена ограда из свежих веток. Неосторожно ступившего в рощу ждала счастливая смерть. Убитого покрывали цветами, а сцеженную кровь разливали по дуплам. И столько вольной дикости было в этом скопище белых камней и конских черепов, в густых зарослях шиповника, в гудении лесных пчел, в пересвисте соловьев, что первый квадрат решено было заложить именно здесь, среди хаоса кривых и случайных зигзагов. Одним углом квадрат лег на заповедную рощу, и впервые дубам пришлось изведать вкус топора, злую горечь пилы. Священная роща — подобием кузнечных мехов — всей грудью дышала туманом опилок и духом смолы от щепок, раскиданных по солнцепеку. Квадраты обычно беременны кубами, чертежи — сечениями и разрезами. В этом нет ничего ни от дьявола, ни от бога. Вся геометрия от человека. Над квадратом выросли монастырские (деревянные) стены, и там, внутри, появился первый побег нашего Аннибалова парка, если можно *побегом* назвать десяток кустов и пяток деревьев — небольшой монастырский сад. Его образ был первым поучением человека дикой красоте окрест, уроком и укором языческому пейзажику, лесной шум которого змеиным шипом колобродил за монастырской оградой, сыпал на паперть пчелиными роями. Та плоть взывала к духу, и над окрестностями вырос грозный «Азъ», он был озвучен колокольной медью, а у подножия буквы примостился рукотворный образ средневекового мира; он был резко делим на две неравные части: большую — царство греха и меньшую — внутри квадрата — царство благодати. Стена квадрата означала ограду райскую, а кучка яблонь, груш, дикого винограда, в окружении кустов шиповника и смородины, означала райскую кущу, а сам квадрат был образом истинно должного, макетом Эдема. Миниатюрность и скудность садика в расчет не принимались, взор видел радужные мириады бездонного сада, где первым садовником был сам господь. В кущу под «Азом» строго подбирались плодово-ягодные сласти и цветочные слизки: розмарин, рута, шалфей, гладиолус, божественный символ богоматери — белая лилия. Сверху сад был отчетливо разрезан крестом узких троп. На пересечении координат добра и зла был выкопан в глубь Лебяжьей горки колодец. Райский вид должен был радовать глаз, услаждать слух птичьим пением и насыщать обоняние душистыми ладанами диких роз, шафрана и мирры. В нижней половинке креста (на месте незримой опоры для ног спасителя), как бы в мысленном центре услады, стояла яблоня с наливными яблочками — символ того райского прадерева, от которого начался путь человеческого изгнания. Яблоня придавала монастырскому садику некоторую горечь вопроса: как в самой гуще добра, в сердцевине райского яблока могла родиться червоточина падения? Почему источник вселенского потопа начинает струиться из ранки самого совершенства? Как поцелуй стал укусом?

Яблоки с этой яблони клевали только птицы, плоды ее монахами игнорировались. Она росла только для этических нужд. Этика в свою очередь становилась эстетикой. Круг замыкался. Круг непорочности и вечной весны, вписанный в квадрат, где краснели не цветы, а капли крови христовой, где лилейно белело не полотно лепестков, а сама непорочность. Так эдемское садово-парковое ремесло (искусство вообще) стало орудием пересоздания жизни. Тут лежали начала нашей эстетикожизни, ее лекала и циркули, кольца ее садовых ножниц, ямка от острой циркульной ножки.

Но сказать, что это была лишь ботаническая реплика к окрестным дикостям, нечто сродни средневековой выставке достижений христианского хозяйства, значит, иронией

отделаться от сокровенного смысла. В рамках нашего квадрата — углом на дубовую рощу — уже тогда шла скрытая борьба двух миропорядков, двух цитат. Первой (из Аврелия Августина) о том, что «два града — нечестивцев и праведников — существуют от начала человеческого рода и пребудут до конца веков». И второй (из Киево-Печерского патерика) о том, как небо указало Антонию-пустыннику место для фундамента первой отечественной церкви... «И тотчас пал огонь с неба и пожег все деревья и терновник, росу полизал и долину выжег, рву подобную».

Здесь налицо два подхода к нечестивому окружению: меланхолическое сосуществование двух градов бок о бок до конца времени, и гневная ежедневная опала всему тому, что так вольно раскинулось на все четыре стороны от квадрата. Вот где истоки многого, например, схизма третьего Рима или недавний агитпроповский пыл белых исполинских букв на кумаче: даешь рай немедленно! Тень будущей опалы мрачно бродила по перелескам, внимая сладкому щебету содома и гоморры соловьиной палестины. Дух должной красоты был пока запечатан в квадрате, как джинн в бутылке. Дебри качали листвой. Оперенье переливалось адскими огоньками. В природе не было канона, одно это делало ее злом, порослью греха, пищей пожара. Но и тут не обошлось без горечи вопроса: если все это пиршество сотворено божьим промыслом, то кто тиснул на этой картине печать зла? Если все вокруг от него, значит, место для зла одно — человек?

Райская куща внутри квадрата просуществовала совсем недолго, вертоград свело на нет кладбище. Монастырское кладбище. Куща стала первой жертвой могучей самоубийственной силы. Сначала могилы потеснили цветники, затем извели душистые заросли сирени, винограда, смородины; стихло пенье птиц, которым больше негде было вить гнезда, злее стал гул медоносных пчел. Последним пало древо познания и зла. Выкапывая яму в самом почетном месте для гроба настоятеля, монахи-землекопы повредили яблоневые корни, и деревце засохло. Но странное дело! Как только сад извели под корень, он набрал полную силу и тихо засиял за оградой, ночью — светом полной луны, днем — сиянием северного солнца. Порой, над частоколом можно было различить колыхание яблоневых крон, темную круглость плодов, услышать свежий шум листвы; этот неясный мираж действительно стал садом нетления, корнем благочестия, ветвью чистоты, побегом грядущего. Но это еще не все. Сквозь симметричный парадиз проступила с той же дремучей силищей Перунова роща — дубовой мореной доской под тихие краски: желток, ляпис-лазурь, позолоту. Одна красота всплывала сквозь другую. Словом, наша натура демонстрировала свою подводную тайну, тайну погребенной живой красы, тайну китеж-красоты... О мощи недовоплощенного писал еще Платон (в «Федре»), так он заметил, что «сады Адониса», «сады из букв и слов» плохи тем, что их видно. Слово должно быть устным словом оратора. Сила в незримом.

Аннибалов парк всегда был слишком уязвим в своем надземном подробном облике. А пока он снился только окрестным соснам и елям, чаще во время грозы, когда небо раздирали громовые глотки и огненные столпы озаряли магический чертеж — призрачные аллеи, водяные партеры, боскеты и беседки, лабиринты и эрмитажи. А вскоре послерайский уголок под северным небом впервые тряхнуло на волне русской истории. В лето от сотворения мира 6934 прокатила взад и вперед горячим утюгом по самобрвнке армия литовского князька Витовта. В одну из паленых плешин угодил и монастырский квадрат, обгорели дубы, из тех, что росли у самой ограды, огненной буквой пылал в ночи «Азъ». Вскоре квадрат и глагол восстановили, но роковая тень судьбы уже нависла над благословенным затишьем. А однажды в узкие воротца въехали два брата-чернеца с царственной свитой. Один из них, по легенде, был сам Иоанн Четвертый, Грозный. В те дни он корчевал западные российские крамолы; настоятель был казнен, монахи разбежались. Впрочем, легенды противоречат друг другу... спаленный квадрат затянуло малиной. Орешник затопил могилы. Дожди источили кресты. Так постепенно уточнялись координаты будущего парка, чертеж оседал из поднебесья на живописные террасы, он оказался на самом острие того копья, которым Московия целила в балтийское горло Ингерманландии. И однажды на Лебяжью горку (все еще безымянную) с малиновой заплатой, на сосны и ели, вдоль приречных склонов, хлынуло море. Незримые волны затопили по самую макушку деревья, воронками обозначили местоположение полян, завитками пены — кроны лип. Желание обычно искажает черты любого лица, абрис любой местности, тем более, желания государственные. Пролегли через райские купины контршарпы и флеши, морская соль изъела дикие розы и белой изморозью легла на стволы. Берег добыть тогда не удалось и причальными сваями стали деревья. Балтийские штормы гуляли по рощам, мокро хлопали в перелесках, летали пенными веерами над туманными молами. Так грезила государственность. Россия хотела быть берегом. В сих крайностях ливонских и прочих кампаний, получив окрестные земли со всеми смердами от Годунова, думный дьяк посольского приказа Щелкалов решился только на цветник перед усадьбой. Всего лишь на круглое душистое пятнышко, где вперемешку росли барвинок, лаванда, васильки, амарант, ноготки, пионы и желтый пивеник. Оставим в покое варварский вкус думного дьяка, важно другое — на смену квадрату пришел *круг*, овал, и у этой геометрии были уже свои

правила жизни. Овал не объявлял анафему постороннему — некрещеному — миру, он еще как бы не знал, что с ним делать. Скорее, он даже вступал в тайный союз с окружением по принципу: всё храм божий, нет в природе ни зла, ни добра, один человек — сосуд греха. От цветника перед домом было проложено несколько узких просек, где через ельник, где сквозь березовые рощи. Они разбегались, как спицы в колесе. Сказать, что это были аллеи, еще нельзя. Просеки рубили для хозяйственных нужд, чтобы проехала телега. На просветы в лесу, как на приметные ориентиры, стали слетаться птицы. Дьяк любил слушать певчих птиц, а от вечного камня из поднебесья — от ястреба — певчую птицу могла спасти только густая чащоба. Деревья вдоль просек росли стеной, мешая друг другу и толкаясь ветвями.

Одновременно с пестрым цветником и прааллеями на выезде из усадьбы был поставлен мощный поклонный крест, а невдалеке заложена часовня Нечаянныя радости. Домашние затей дьяка не одобряли: не то время, чтобы показывать силу, в спицах колеса им мерещилась дыба, а в цветник было положено слишком много красного, порой цветущая клумба казалась лужей крови. После Грозного всюду мерещилась кровь. Но дьяк отмахивался от зловещих знаков судьбы — Годунов шел в гору, царь Федор Иваныч жил в грезах своего слабоумия. Прореженный топорами лес терял первозданную дикость, набирали рост душистые липы, шире становилась кленовая тень. В летний день в благословенных кущах пело разом по две сотни птиц: соловьи, щеглы, пеночки, синицы, дрозды, овсянки, и вдруг все забилось в падучей, мутно вскипело изнанкой осиновой рощи от порыва грозы. В Угличе пролилась кровь девятилетнего Дмитрия, упавшего в припадке на нож, и алые брызги долетели до рокового цветника. Капли налипли к чашечкам мака, пиявисто всосались в барвинок. В ненастные ночи по липовым закоулкам и в кронах дубов стал мерещиться дворне убитый мальчик, как бы весь телом из быстрой воды, в белой рубашонке до колен, а в горле у него торчала красная щепка. Быть беде! Когда от Годунова прислали дьяку малый колокол для будущей церкви, пустили слух, что этот колокол один из тех, снятых в Угличе по царскому указу... Словом, европейское море отступило вспять, зато нахлынуло смутное время, думного дьяка закрутило щепкой в волнах, понесло на самую быстрину, а однажды кинуло волною на кол. Цветник вытоптали. Анемоны разбрелись по лугам, аморант зачах в зарослях пижмы. Часть пихт порубили на лес для недостроенной часовни. Ястребы стали свободно пролетать в зеленых туннелях, цапая певчих птиц. Вновь в свои права вступила дубовая роща и ель, дубы зашагали к дому, ель почти сомкнула узкие просеки, только центральная аллея держалась силой мощеного камня. Щебет смолк на целых сто лет до зимы 7208 года, когда сначала был отнят у Щелкаловых годуновский колокол так и не построенной церкви, отнят и отправлен на переплавку для шведской кумпании, а затем кончился и сам злосчастный год Нарвского поражения — год 7208-й от сотворения мира,— взамен которого в сентябре наступил 1700-й год от Рождества Христова, и лет этак еще через десять вся эта землица была отдана царскому любимцу графу Головину.

Так произошло новое уточнение координат Аннибалова парка, теперь он очутился не на границе с мифической Ливонией — или Речью Посполитой, а на пути между старой и новой столицами — Москвой и Питер-Бурхом.

Страшно сказать: граф! тем более писать... И все-таки, граф Головин приехал в усадьбу ранней весной 1712 года, сырым мартовским вечером. Карета въехала на центральную аллею, и под железными колесными ободами заскрипел камень — останки мощеного проезда. Граф крикнул кучеру остановить, сошел размять ноги и незаметно уединился в тесную боковую просеку, продираясь порой сквозь еловый заслон. Он никогда раньше не бывал здесь, но чувство владельца смело двигало его окоченевшие члены. Повсюду лежал узкими полосами снег, сосны ненастно шумели в вышине мокрыми шапками. Вечер еще был светел, и сквозь черный частокол стволов вдали — на западе — виднелась винно-вишневая ткань заката. Молодцевато вышагивая, граф легко ставил узкий сапог-ботфорт на землю. В нем бродила военная кровь, дышалось легко и победно. Виды дикого леса, чуть тронутого рукой человека, вселяли печалью. Просека привела к останкам потешного чердака (беседки) над краем террасы, откуда открывался просторный обзор на местность, на старую усадьбу, на излучину реки в низине. Группа сосен, дубовая роща, хребты гробовых елей, свободный беспорядок дерев среди пятен осевшего снега, блескучая линия туч на горизонте — все это поражало сердце сгустком хмурой и гордой красоты. Печаль еще тесней обступила душу, но Головин не собирался так легко сдаваться темному набегу вечера. По натуре он был воитель. В графском глазу тикала полководческая жилка. С быстрым наслаждением граф Головин набросал в уме контуры будущих аллей, очертания водных партеров, пунктиры запруд, шеренги боскетов, голландские фонтаны, облик нового дома, фронтоны, колонны, беседки, эрмитажи и — глубокий вздох — отметил царапиной на мысленном плане будущий склеп с мраморной урной в глубине ниши, на которой начертано латынью... но надпись никак не сочинялась. Зато родилась мысль о «грудной штуке» (бюсте) в центре круглой площадки наверху мраморного столпа, изображаю-

щей бога войны Марса... граф вздумался, он был равнодушен к аллегориям, воображение влекло к победным кумирам, к великому Александру, к Аннибалу. Возвращаясь, граф уже решил провести здесь остаток своих дней и встретить смерть, любуясь своей последней победой над дикой натурой — пейзажным парком. В глазу блеснула слеза, закатные позументы играли на его скорбном лице. Вернувшись к карете и прыгая на подножку, граф объявил застывшему камердинеру: «Vivat le parc de Annibale!» Да здравствует парк Аннибала! Камердинер молча закрыл дверцу, наверное, он не разобрал слов.

В начале лета по просекам Аннибалова парка запрыгал зеленый кузнечик, человек в весткоуте изумрудного цвета, «архитект-цивилис» и садовник Антонио Кампорези. Он не был итальянцем, и как его звали на самом деле, история умалчивает. Его имя — след горячей италомании, которая тогда охватила Европу. Зеленому кузнечику было поручено разбить регулярный парк и руководить постройкой загородного графского особняка. В средствах было приказано не скупиться. Так под сень северного неба шагнули доселе неслыханные принципы ландшафтного искусства. К пустоте сошлись имена Браманте, Шарля де Эклю, Бекона. Последний, например, озарил российский простор законом ver perpetuum, «вечной весны». Парк, по его мнению, должен являть собой волшебную картину всегдашнего цветения. Зимой о зелени лета будут говорить вечнозеленые кущи можжевельника, купы сосновых крон и обелиски гробовых елей. Апрель добавит к этой суровой зелени розовое пламя цветущего шиповника, май зажжет огни желтофиоли, распушит кисти сирени, засыплет клейкую листву снежком от цветущих яблонь. Лето усеет землю брызгами роз, гвоздик, ноготков. Осень, сбросив кленовый и прочий пожар листопада, вновь надолго прикует взоры к вечной зелени елей и сосен, только гроздья рябины простоят до самых снегов, украшая холодный колер ржавью киновари. Две другие великие тени — де Эклю и фон Зибольд — накрыли Лебяжью горку с окрестностями платком фокусника, и, когда плат был сдернут ловким Антонио Кампорези, горка оказалась срытой, а взгляду графа и его первых гостей открылась милая Петрову сердцу Голландия. Все было сделано с размахом того топорного века, который Пушкин сравнил с кораблем, спущенным со стапелей на воду, под грохот пушек. Когда клубы порохового дыма рассеялись, со стрижиного полета можно было увидеть на дольнем пространстве сцены повседневной русобалтийской жизни: женщин за шитьем или пишущих письма, поваров над котлами, царя над верстаком во дворце, рыбаков, тянущих сети, пейзан, пасущих фарфоровый скот на тучных полях под звуки свирели. Все было поэтично и обязательно просто по манере исполнения. Проникая через надутую ветром парусину облак, лучи солнца освещают далекие и близкие предметы. На заднем плане видны густые взросли деревьев, ветряные мельницы, романтические кладбища, водопады из гротов. Любимые пейзажные темы — это силуэты темных деревьев на фоне светлого неба и выразительно очерченных облаков, светом выписан каждый лист на дереве и каждый цветок на кусте жасмина или жимолости, светотень глубока и одновременно легка и прозрачна. Искусный резец «архитекта» срезает лишнее, подчеркивает красоту барочных линий, обнажает античные торсы в дождливых далях. Наша сирая натура жмурилась от такого внимания. Голландия вываливалась из кармана садовника, как из рога изобилия. На аллеях и травянистых партерах Аннибалова парка визитерам и вояжерам грезились — в рост дерева — мокро-матовые виноградины, лопнувшие гранаты с глóтками, полными лаковых зубов, персики, лимоны, дыни. Купы карликовых дубов и сосен эффектно рисовались среди жареной дичи и пятнистых омаров. Словом, царил вкус «маленьких голландцев»... Река вдоль парка превратилась в цепочку прудов с островками любви. Березы с тыльной стороны особняка были вырублены, уступая место цветочным газонам, травяным бордюрам и партерам с симметричными грудами стриженых тисов и можжевельника, а там, где вскоре встанет беседка «билье-ду» (любовная записка), был помещен на видном месте муляж турка в чалме, курящего кальян. Турок — любимое шуточное блюдо петровской эпохи.

И все-таки, по существу, это не было явлением Голландии. На деле — под северное небо пришла Франция.

Вскоре французский язык стал родным языком русского света, а первым любимым словом стало «миньон», что значит милый.

И эта внезапная загадка еще ждет своего бытописателя.

Работы по превращению парка в усладу для глаз и образцовое зрелище в духе нового времени растянулись почти на двадцать лет. За эти годы над парком Аннибвла и его музой — графом Головиным — дважды нависал меч Немизиды, и каждый раз из-за женщины. Бес попутал графа поволочиться однажды за Марией Даниловной Хаментовой по прозвищу Гамильтон. Взаимности он не добился, но злосчастное волокитство случилось незадолго до того, как камер-фрейлина стала наложницей Петра. А между ними при разрыве сказано было много дерзостей, и граф в пьяном гневе даже приложил длань полководца к ангельской щечке. Ангел была злопамятна, и после восшествия на ложе послала графу записку, от которой кровь остановилась в жилах старого волокиты. Фаворитка грозила кинуться в ноги самодержцу-бомбардиру и покаяться в грехе, которого не было. Причем дату этого самого греха рисковая Гамильтон переносила на некий вчерашний день! Было от чего оледенеть. Граф даже подумывал бежать в Англию. Строительство и отделка дворца и парка были остановлены. Интрига между тем развивалась, Гамильтон медлила расправляться с обидчиком, кроме того риск был слишком велик — увенчать рогами самого венценосца. А вдруг гнев будет столь велик, что головы не сносить обоим? Во всяком случае, она медлила запускать когти в мышь, по-кошачьи играя добычей. Стриженый тис в парке потерял прежнюю гладкую отвесность и пошел в рост, пуская брыжжи. Вновь поднял голову подлесок. Ели стали перебегать дорогу от парадных ворот к подъездному крыльцу. Идеальная голландская лужайка превратилась в лохматый выгон для скота. Неитальянец Антонио Кампорези дважды укладывал вещи, но его удержали. Гамильтонка красовалась в платьях, похожих на цветники из-за обилия искусственных роз и бархатных ноготков, граф прыскал на эти мертвые клумбы росой из брильянтов. Это коварно позволялось. Но вдруг фортуна переменилась, раскатился смех Немезиды, Гамильтонка была определена в любовницы царского денщика Орлова, а в 1719 году казнена через усекновение головы. Петр и тут не смог сдержать порыв просвещения. Отрубленная голова была сначала поднята собственноручно, показана народу с пояснениями о строении внутренних органов, а затем по указу была отдана в куншткамиору, где и сохранялась в склянке с хлебным вином. Гроза пронеслась стороной, постаревший зеленый кузнечик, в неизменном весткоуте с широкими полами, весело скакал по аллеям, где вновь развернулись работы по шлифовке и отделке земли, воды и растительности. Только теперь Антонио стало ясно, что он никогда не уедет домой. Этот парк был вершиной его гения, расстаться с ним было свыше всяких сил.

Казалось, можно перевести дух, смакуя время, как сатурнинский лафит, но тут колесо судьбы вновь закрутилось с бешеной скоростью. Спасая утопающих матросов у Лахты, близ Санкт-Питер-Бурха, Петр зашел по пояс в холодную воду, простудился и умер, не успев назначить наследника по новому закону о престолонаследии. Гвардия крикнула на трон его жену Екатерину. Но тень смерти Петра Великого была слишком густа: Екатерина царствовала всего два года и тоже скончалась. На год больше ее процарствовал и умер третий внук Петра, мальчик Петр Второй. Править стала племянница Петра — Анна. В 1735 году — в год десятилетия лахтинской кончины — умер зеленый кузнечик. Антонио похоронили на окраине парка, среди заросли туи, в угрюмом и торжественном месте. Надгробием стала та самая мраморная урна, что пригрезилась когда-то графу Головину в закатный час ранней сырой весны.

Но был в жизни Антонио час триумфа, был! Летом 1733 года Анна Иоанновна пожелала посетить парк графа, о красотах которого была столь наслышана. Старый граф с сыном встретили императрицу у Гатчины и примкнули к свите. Его допустили к руке, одарили галантной беседой, но стоило только кавалькаде въехать в парк — Анна Иоанновна ехала верхом в охотничьем костюме на манер Дианы,— как граф заметил, что она ошеломлена, поражена и втайне разгневана. Старый интриган похолодел, его парк оказался слишком хорош: императрице показалось, что он ничуть не хуже ее С.-Петербургского парадиза на Мойке и даже, более того, дерзко соперничает с ее любимцем Нижним Петергофом. Диана ехала с холодной улыбкой, что, конечно, не обошлось без ответного внимания Эрнста Иоганна Бирона, который ехал рядом с императрицей на караковом скакуне. Над парком заблистали сполохи царственного гнева, восторги свиты только придавали свинцового блеску зарницам. Пейзажная Голландия поражала глаз великолепием. Центральная аллея, окруженная по бокам зелеными стенами стриженого тиса, вела к овальной площадке, в центре которой сверкал окольцованный камнем зеркальный пруд с идеальным хрустальным завитком водостока. Вокруг, в трельяжных нишах, стояли мраморные фигуры и грудные штуки Миневр, Аврор и Амуров. По водному зеркалу к искусственному гроту бежали бронзовые нереиды, за ними тритоны с раковинами у губ, далее гиппокампы с головами коней и рыбьими хвостами. Диана щурилась, словно от сильного солнца в лицо... блестит бронзовая чешуя, сияет смальта, лоснится цветной перламутр. От овальной площадки лучами расходились дорожки, мощенные битым кирпичом. Простиралась вдаль гладь зеленого партера, в котором умелой рукой садовода были вкраплены цветники, беседки, увитые диким виноградом, оранжереи с померанцевыми деревцами в кадках. Липам, кленам, ясеням и даже елям была придана форма шаров, кубов и конусов. Кавалькада пришла в неописуемый восторг; тогда природные очертания считались варваризмами. Чу! Долетел рык зверинца. Процессия свернула направо, но угодила на пиршество птичьего пения. В исполинской клетке в виде короны, обтянутой шелком, кипело сотнями глоток пернатое царство: щеглы, зяблики, жаворонки, рнполовы, соловьи, овсянки. От свиста и щебета шарахались кони. Мимо, мимо! Парк властно вторгался в чувства всей красотой пропорций, серебром водных зеркал, душными запахами палестинских роз и волнами сирени. Казалось, само небо над владениями Головина затянуто муаровым штофом. Вдали виднелись декоративные домики под черепичными крышами, около

которых живописные пейзане пасли породистый скот. То здесь, то там на почтительном расстоянии красовались работники парка в зеленых камзолах, стригущие садовыми ножницами замысловатые вензеля: АИ. Даже Бирон хлопнул себя от восторга по ляжкам: парк был ожившей картинкой работы какого-нибудь несравненного Андриана ван Вельде. Всеобщее внимание привлекла итальянской работы фигура Сладострастия — обнаженная дева, уязвленная напавшим мраморным голубком. Раскинув крылья, птица погружала клювик в грудь скульптуры. В свите сразу отметили сходство фигуры с камер-фрейлиной Зубовой. Анна Иоанновна натянуто улыбалась. Чуткие фавориты — Бирон и Остерман — уже о чем-то шептались. Шут-карла, скакавший на маленькой бурой лошадке, запел совершенно некстати:

Виват, Флор Иваныч,
Всех Флор Аполлоныч!

Стишки тут же перевели на немецкий. Старый граф Флор Иваныч Головин был ни жив ни мертв. Главный удар по эмоциям был еще впереди... Кавалькада въехала под свод ветвей. На мелком просеянном песочке с полосками цветного стекла печатались конские копыта. А вот слева и справа, сквозь стволы, заблестела вода. Открылся водный партер, где из глоток тритонов били водометы. Когда стриженые зеленые стены — высотой в три человеческих роста — расступались, глазам открывались виды на фонтанчики из малых свинцовых фигурок, крытых позолотой. Змий, курица, ястреб, лев, лягуха. И у всех из пасти или из клюва торчит водяная струйка. Наконец, аллея привела к центральному пруду на нижней террасе, с островом любви и горбатым китайским мостиком. В маленьких пагодах на берегу пруда обитали траурные аисты и белые лебеди. А у причала Диану поджидал миниатюрный корабль «Гангут» с полной оснасткой, коим управлял черный карлик-арап — матрос в натуральной шкиперской треуголке. (Семнадцатый век — время моды на пажей-арапов при всех европейских дворах. Петру слали арапчат при каждом удобном случае.) На том берегу у открытого театра расположился оркестр крепостных музыкантов в малиновых камзолах, который, увидев гостей, заиграл прелестную увертюру Люли. Дирижировал сам Антонио Кампорези, он был на седьмом небе от счастья. Наконец-то, его зеленое сокровище оценят по достоинству! Впрочем, довольно... Диана нуждалась в отдыхе. Кавалькада повернула к дворцовой усадьбе. Бирон переглянулся с хозяином понимающим взглядом — было от чего потерять голову.

Отдых не разрядил обстановки. Ужинали в летнем павильоне, на виду вечерних аеркал воды, среди обилия статуй, свежесрезанных цветов и прочей роскоши. Императрица казалась скучна, а Бирон, наклонившись к уху графа, сказал, что у него давно скопились порядочно рапортов на графово мздоимство и прочие жалобы, которым он не давал ходу, считая, что слухи о его богатстве — пустые басни. Но такой вот парк стоит экипировки целой армии. (Граф Головин когда-то отвечал за амуницию и фураж в Ингерманландской викторни.) Бирон говорил как бы шутя, а у графа кусок встал поперек горла: подступала Сибирь. Спасительная мысль пришла неожиданно. К ночи готовился фейерверк и, отдавая необходимые указания, старый интриган распорядился во время салюта незаметно подпалить проклятый павильон в духе Мецената. Жалко, конечно, такую красоту кидать в пасть огненному петуху, да что делать, покой дороже. Словом, к небесной потехе прибавилось земного огня. Пламя разом охватило павильон, языки взмыли вверх. Поджигатели перестарались, и огонь перекинулся на открытый театр. Свита притворно ахала и ужасалась, но смотрели жадно, с восторгом.

Пожары — лакомое развлечение восемнадцатого века. Например, Павел — речь о будущем — приказывал будить даже ночью, спешно одевался и ехал. Анна Иоанновна тоже смотрела на то, как дворня тушит огонь, с живейшим участием. Сласти для глаз превращались в угли. Несчастный Антонио бросился тоже тушить свое детище, его оттащили, с обгорелым лицом, в слезах. Забавный человек-кузнечик вызвал первую улыбку на устах Дианы, а когда от искр вспыхнул шутейный корвблик, а незадачливый карла-арап бросился в воду, потеряв и шкиперскую треуголку и черный цвет лица из жженой пробки, императрица изволили громко смеяться, и слабеющий граф был опять допущен к руке. Хитрость удалась. Утром всадники пересели в кареты и тронулись в Царское. Старику Головину был, кажется, пожалован орден.

2. Поправка к Витрувию

Деревья молчат, и все же нетрудно представить, скажем, самочувствие елки, обрубленной двуручной косой в форме ромба. На кончиках ее веток растут те самые нежно-клейкие дымные трезубцы, из которых и растет все дерево. Там же, на концах, появляются шишки. Ромб не может расти. Но не рост был целью Аннибалова парка при Антонио, а чары очертаний. Не содержание, не дух, но форма. Вид, поданный гением человека-кузнечика, как пир идеалов. Тем самым монастырский парадиз, положенный в основание парка, вновь проступал сквозь натуру с пейзажной проповедью — сделать природу образцом человеческого поведения. В стрижке зеленых самшитов, в строгих ранжирах лип, обелисках туи и можжевельника виделся все тот же райский образец *должного*. Это была, повторим, вовсе не милая Голландия, не Амстердам — первая любовь Петра, и пока еще не совсем Франция. Это была особая *околопетербургская* Россия. Остров новой семантики, где все, буквально все, от былинки у носка ботфорт до Адмиралтейского шпица, было символами и эмблемами новой знáковой системы, буквами петровского букваря, откуда на ходу вычеркивались разные церковные «ижицы». Время черкало жирно черным андреевским крестом поверх московского узорочья. Наконец этот «крест-накрест» стал отечественным флагом. Красота объявлялась частью государственного стройства, обязательной принадлежностью мундира. Незаметный российский гений, «простец», «землепашец» Ивашка Посошков в «Книге о скудости и богатстве» провозгласил искусство частью государственного стройства! По Ивану, выходило, что справедливость жизни можно создать через воспитание граждан, которое понималось как «художество», как чисто эстетическая проблема. Но ключом к такого рода человеческой эстетике Посошков (заодно с Петром) полагал гражданский устав, набор регламентов, «стройств», норм и буквиц поведения, строгое исполнение которых и приведет к красоте-справедливости.

Мыслилось: сделать жизнь *учебником*, языком *эмблемат*, чтение которого уже само по себе гарантирует идеальное общественное устройство. Дело за малым, сделать всех грамотными для жизни-чтения.

Оказавшись на этом семантическом околопетербургском острове, наш Аннибалов парк меньше всего относился к сфере садового ландшафта. Нет и еще раз нет. Парк был одной из многих репетиций гражданского поведения. Над ранжирами и фрунтами регулярных аллей и партеров витали парки и мойры, судьбы языческой державы, которая училась языку *дирекции*, стриженые деревья являли тем самым не красоту лип или тиса, а образец верноподданности. Парк Аннибала был одним из наглядных пособий петровской эпохи. Если сравнить его с языком, то в его азиатскую чащобу, писанную кириллицей, сомкнутой шеренгой вторгался гражданский штиль, пехота канцеляризмов. Конечно, они утяжелили слово, привили к стволу русской речи побеги косноязычия. Летний парк у Мойки описывался так: «Всякое зрение к себе восхищающий. Превеселой удиаительной красоты исполненный вертоград, художественными водометами орошаемый, всякими иностранными древами насажденный, цветами изпечуренный, столпами драгокаменными прославленный».

На язык натягивали мундир и укладывали в футляр.

Всеобщая высокая гражданственность приравнивалась к расхожим урокам чистописания.

Летний парк-образец у Мойки был, по существу, грандиозным гарниром к печатному тексту, к типографской книжке, оправой для чтения. Парк создавался для читателя. У каждой скульптуры стоял столб с белой жестью, на ней были выбиты по-русски слова, например, басня Эзопа, и тут же ее толкование. Перед приходом гостей книги раскладывались в саду на скамейках.

Поведение становилось родом особого гражданского чтения. Вот почему та же злосчастная елка, как таковая, отвергалась, она была *не прочитана*, пока ее не касалась двуручная коса и не превращала ее в ромб.

Спросим еще раз, настойчивей, а хорошо ли быть ромбом? Не слишком ли быстро мы отказали ромбу в чувстве счастья?

Ель, разумеется, молчит, но в ромбе-мундире оказались многие граждане молодого отечества. Мнения разделились. «Признаюсь, первое ощущение, когда я облачился, было весьма жутко,— писал один юнкер, лет пятьдесят спустя, когда фигурная стрижка ушла из садов, но пустила прочные корни в обществе,— я был страшно стянут в талье, а шею мою в высоком (на 4-х крючках) непомерно жестком воротнике душило, как в тесном собачьем ошейнике. Когда я указал на эти недостатки унтер-офицеру закройщику, то он мне отвечал, что это так по форме положено и должно быть, и повел меня к эскадронному командиру на осмотр». А вот, что писала другая рука спустя уже сто лет после смерти Петра Великого, в начале прошлого века: «Сильно билось сердце, когда я увидел его (гостя, юнкера уланского полка) со всеми шнурами и шнурочками, с саблей и в четвероугольном кивере, надетом немного набок и привязанном на шнурке. Он был лет семнадцати и небольшого роста. Утром я тайком оделся в его мундир, надел саблю и кивер и посмотрел в зеркало. Боже мой, как я казался себе хорош в синем куцем мундире с красными выпушками! А этишкеты, а помпон, а лядунка... что с ними в сравнении была камлотовая куртка, которую я носил дома, и желтые китайчатые штаны».

Этот юноша в желтых штанах, уставший от цивильной свободы и мечтающий о куцем мундирчике,— Герцен.

...этишкеты... помпон... лядунка...

Что ж, не будем поспешно отмахиваться от мундира, надетого на целый парк, на

поколение, на эпоху. Форменная стрижка не теснила отечественный дух в пору его юности.

Итак, когда кузнечик-старичок Антонио Кампорези в своем неизменном зеленом весткоуте был положен в сосновый гроб — где б задохнулся от свежего духа сосны живой — и был опущен в землю, закончить отделку парка было поручено «гезелю» (помощнику, подмастерью) Осипу Иванычу Сонцеву. Скажем сразу, малоталантливому и обыденному человеку.

Но именно при нем над регулярным парком взошла неяркая звезда *поправки к Витрувию*. Объяснимся. Эта поправка итог напряжения — тоже юной — отечественной градостроительной, точнее, *жизнестроительной* мысли, которая, пересказывая, например, знаменитый труд римлянина Витрувия «Десять книг об архитектуре», решительно уточнила двенадцать важнейших знаний, необходимых архитектору как воздух. У Витрувия с римским практицизмом перечислено:

грамота, рисование, геометрия, оптика, арифметика, история, философия, музыка, медицина, климат, право, астрономия.

В трактате Петра Еропкина и его сотоварищей «философия» (увы), «музыка» (увы), «медицина», «астрономия», «оптика» и «климат» выброшены. Вместо них добавлены: «перспектива» и «механика». Исправленный на русский лад Витрувий выглядит так:

грамота, арифметика, геометрия, рисование, перспектива, история, право, механика и последним появляется совершенно неожиданное «знание», пункт девятый — добрая совесть!

Она официально признана молодой отечественной мыслью полноправным *градостроительным* элементом, включена в практический реестр, в руководство, в закон, в беспрекословную норму. Осип Иваныч Сонцев был одним из гнезда Еропкина, но, опять заметим, человеком без размаха и воображения.

Совесть вошла в документ о строительстве под скучным названием «Должность архитектурной экспедиции» как один из краеугольных камней державы, как должное в должности. В этом исправлении Витрувия есть что-то от того гуманного напора, с каким Петр под страхом плетей, палок и казни запретил коленопреклонение. Штелин писал об этом: «Когда народ встречался с царем, то по древнему обычаю падал перед ним на колена. Петр Великий в Петербурге, коего грязные и болотистые улицы не были вымощены, запретил коленопреклонения, а как народ его не слушался, то Петр запретил уже сие под жестоким наказанием, дабы народ ради его не марался в грязи».

Вот так. Справедливость через дыбу. Добрую совесть через учебное пособие. В этом государственном нажиме человеколюбия — один из драматичных парадоксов нашего отечества, на его вечном пути из Московии в Россию. Андреевский стяг — крест-накрест — его знамя, дыба — колесо. Наш Нью-Амстердам или Питер — всего лишь второй город за три тысячи лет после Ахетатона, построенный по приказу одного человека. Правда, город Ахетатон просуществовал в африканской пустыне всего двадцать лет...

Пустыня — пустой лист.

Чаадаев: «Петр нашел у себя дома только лист белой бумаги».

Пушкин: «...чьей волей роковой Под морем город основался...»

Блок: «Царь, ты опять встаешь из гроба Рубить нам новое окно?»

Второй Ахетатон создавался с таким натиском, с таким бешенством любви к Европе, что сами европейцы писали о нас — «русские выдумали Европу», а историк и биограф Петра француз Мабли даже восклицал: «Петр принял Европу за образец, не подумав, заслуживает ли она такой чести...», так не утопия ли эта поправка на добрую совесть?

Осип Сонцев наверняка по душевной трусоватости уклонился б от прямого ответа на такой вопрос. Он научился не замечать того, что сам думает. Капризы покойника Антонио, прихоти старого графа сделали его человеком аморфным, уклончивым, но вкус он имел тонкий, острый. Порядком размышляя над парком, ежедневно обходя его вдоль и поперек, в зиму и в дождь, в жарынь и град, он решил, что парку «тесно» в весткоуте, даже если он и с плеча гения, что столь изысканная форма мешает дереву «вольно вздохнуть и исторгнуть красоту», что «надобно добавить пустоты, дабы чувству умиления красотой место было».

Сонцев — тучный низенький человек, оплывшее лицо его почти не различимо в *дыму столетий*, видится только темно-красный цвет его камзола. Он — как божья коровка, кирпичная крапинка на фоне блистающей вечности.

Сонцев приказал больше ели и липы не стричь, убавил обилие верховой воды, засыпал венецианскую сеть канав и канальцев; пугая хозяина сыростью, оставил в небрежении поросль бросовой ольхи, сквозь которую заметил зеленые острия молодых пихт, пихта свое возьмет, вырастет из тени, потом задушит бросовую мелочь. Если сейчас вырубить ольху — не будет и пихт. Сонцев прорубил в зеленых стенах самшита проходы и арки. Перестал назойливо прореживать еловые лески, давая елям свести на нет лишние аллеи. Но главное: доверяя *поправке*, он сумел почувствовать тайные линии прекрасного, которые пронизывали парк сетью кровеносных сосудов красоты. Наверное, это силовое поле и есть незримый горний гений местности? Покойный кузнечик Антонио тоже чувствовал эти токи, подхватывая порыв террасы стеной золотых сосен, замедляя скользкость взора грядой гробовых елей и направляя его исподволь к массивному центру композиции северной части — дубовой роще. Но он боялся пустоты по инстинкту барочного художника, страшился ее безобразия. Антонио не мог не заполнить собой любую нишу. Ему мешал пафос просвещения, боязнь оставить страницы без почерка. Толстяк Сонцев был неважного мнения о себе и сонно и легко шагнул дальше. Было в нем что-то от будущей будничной гениальности Кутузова, которая побеждала отступая. Неясно, не давая себе отчета и даже избегая прямых мыслей, Сонцев понимал, что природа подсказывает новые эстетические идеалы, и нужно только внять ее голосу, что только отсутствие лишнего воспринимается глазом как гармония. А лишнее — это прежде всего человек, его насилие над лицом природы. Насилие дóлжно скрыть, тогда оно есть участие. Вот почему он исподтишка доверился парку, его двум террасам — нижней и верхней,— поворотам его ручья, этой золотой жиле красоты, которую он очистил от пустой породы лишних подробностей. Доверился гудению канатных сосен на штормовом ветру, пятнам ершистой ряби на холодной воде парковых озер, прогулкам водяных столпов дождя по пустым аллеям — всему этому корабельному скрипу голой осенней оснастки — и победил. Гениальный неитальянец искал симметрию, а найдя, искусно скрывал, чтобы дразнить воображение ее счастливыми поисками. И симметрия находилась. Тривиальный Сонцев бежал от симметрии, в ней было слишком много личного вызова, который ему претил, он искал равновесия масс, но искал пугливо, не доверяя себе, своему чутью, и полагаясь на русский авось, на то, как бог на душу положит. В этом самоуничижении и отступлении перед парком, лесом, берегом, озерной водой, листопадом, прихотью старого графа, в постоянном убегании от натиска стволов, попреков жены, от совершенства партеров и боскетов, от обилия мрамора в душе Осипа Сонцева появлялась трепетная лакуна, душевная линза, которая одновременно увеличивала страдания Сонцева и в то же время давала Аннибалову парку воздуха. Лишенный блеска парк разом похорошел. Липа набрала тени, дубы — толщины, сосны поднимались дружно, фацетиями вокруг топорища незримого клевеца. Сирень наросла до той массы, когда ее волнующий запах смог объять весь парк, пихта озарилась мягким пушком своих веток. Изменилось перетекание воздушных масс, ветер ушел с аллей. Неравенство частей получило равенство в правах. На смену ver perpetuum пришло иконное стояние красок всегда на одном и том же месте: сквозь снегопад — зелени елового блеска, в дождь — неопалимый пожар осеннего клена, в зной — глубокая темень дуба в самой сердцевине полуденного марева. И еще: Сонцев трусил создавать парк для красоты, для утехи глаз, для пользы. Он считал это как бы нескромным. Он жил и умер, поддерживая порядок живописных *масс просто так*, ни *для чего*, ни *для кого*. Это был последний штрих его *поправки*, его доброй совести. Осип Сонцев мог умереть спокойно, Аннибалов парк стал чертежом красоты, ее лекалом, смыслом, который не нуждается в оправдании глаз.

«Оперение птиц блестит и тогда, когда его никто не видит» (Гегель).

Утопия, наконец-то, была создана; первыми гражданами Города Солнца стали липы, пихты, три осокоря, душистая сирень, тамариск, терновник, жимолость, боярышник, стриженый чубушник, рябина, лещина (орешник), ива, седой чапыжник, дубы, сосны, яблони, клены, туя, вязы и лиственница, выше — облака, ниже — фиалки и флоксы, горицвет и гвоздика.

Старый граф Головин счастливо скончался на своей постели, как и мечтал, глядя через цветные стекла на пейзаж. Через три года после визита Дианы в его владение.

Сама Диана почила в бозе осенью сорокового года — деревья вдоль дворца в Царском были затянуты крепом,— и наследники графа — сыновья Яков и Матвей — присягали сначала трехмесячному Ивану Антоновичу, а затем дочери Петра — Елизавете Петровне. Наследники Головины (была еще поздняя дочь — Александрина) не были столь чутки к прекрасному, как отец, и жадные к суету, к жизни, ненавистники уединения, они пытались превратить парк в род процветающей фермы. В пруды были пущены карпы, штат садовников резко сокращен, а после кончины Сонцева их и вовсе отменили. Старший — Яков — затеял строительство нового особняка с садом в самой столице. Размах был уже не по карману, на отделку пошли кое-какие мраморы, содранные с облицовки аннибальских фонтанов, вполовину поубавилось статуй и грудных штук на аллеях. Особенно пострадала геометрия водяных чар. Гасли один за другим пеннoшумные фонтаны, истощались водометные токи, гладковыбритые щеки самшитов стали обрастать бакенбардами, порвались крытые гнутой живой листвой галереи, ветки, встряхнувшись, пошли вверх и на мозаичных полах растеклись солнечные лужи. Если б тень покойника могла бродить, стеная, по парку... Но граф покоился

далеко от деревни, у стен Невской лавры. Партеры и цветники держались только вокруг самого особняка, а вдали от парадного подъезда анемоны и флоксы заглушили трава и чертополох. Кое-где в цветниках поднялись тихие костры крапивы. Впрочем, такое вторжение дикости было уже в моде. Может быть, именно романтический вид хлынувшей через препоны стихии, этакая вольность, когда на смену металлическому корсету из Франции пришла новая мода — панье из эластичного китового уса и прическа в стиле рококо, особенно подействовали на чувства молодой Александрины Головиной, которая росла, по нашим меркам, слишком свободно, без отцовского глаза, без матери, скончавшейся при поздних родах, при небрежении старших братьев. Словом, она рано узнала волнения чувств, а из путешествия по Европе привезла меланхолию и вкус к авантюре. Странное сочетание! После Версаля, Сен Клу, Марли, Трианона отцовский парк ей показался милой картинкой детства, деревенским райком, но... но ужасно старомодным, а заглохшие без присмотра фонтаны и зеленая ряска в каналах щемили сердце и вызывали гнев на головы старших братцев. К тому ж она неудачно вышла замуж за тайного статского советника Еверлакова, состояние которого оказалось расстроенным, а характер скверным. Все эти обстоятельства, помноженные на ее пылкое французское сердце и яркую красоту, сделали ее фавориткой одного из голштинских принцев, дядьки будущего монарха Петра Федоровича.

После смерти Елизаветы Петровны звезда Александрины Еверлаковой, урожденной Головиной круто пошла в зенит. Это было в самом начале века женщин, и весь мир вертелся вокруг их ножек и глаз, вокруг их ума и капризов. Новоиспеченный император Петр III сыпал на своего любимца дядю и его фаворитку щедрые знаки внимания. Старший брат Яков поддержал Александрину, делая ставку на голштинца и его голштинцев, брат Матвей примкнул к партии недовольных. Тем временем Александрина подружилась с фавориткой самого Петра III графиней Елизаветой Романовной Воронцовой (старшей сестрой будущей российской Иоанны д'Арк графини Кати Дашковой), вдвоем они весело и нагло тиранили двор и своих мужчин. Кстати, мужья-рогоносцы были всегдашним украшением света, а некоторые из них даже извлекали выгоды из своего злосчастья. Больше всего обе фаворитки любили высмеивать оставленную двором жену Петра III — немку Софью Фредерику Августу Ангальт-Цербскую. Император первым подавал пример этой травле, публично доводя постылую жену до слез грубыми сержантскими выходками. Елизавета и Александрина фуриями летели следом за царской жертвой. Век женщин правил бал страстей. Ключевский писал: «Иноземные наблюдатели яркими чертами рисуют это влиятельное положение женщины в русском светском обществе во второй половине XVIII века. Женщины давали тон светской жизни, вмешивались в дела мужей и давали им направление (дирекцию). Но это женовластие не подняло женщины в свете, а только повело к расстройству семейной жизни. Вступая в свет прямо из крепостной девичьей и из-под рук француженки-гувернантки, женщина навсегда расставалась с семьей: это печальный факт, отмеченный наблюдателями. Согласно вкусам века, она приносила в свет балетное совершенство рук, ног, плеч, глаз, но освобождалась от уз, налагаемых семейными обязанностями и привязанностями. В девичьей и в учебной комнатах она узнавала от няньки и гувернантки тайны жизни прежде, чем успевала в нее вступить; по вступлении в жизнь ей оставалось только разыгрывать на деле заученное прежде и дожидаться обычного эпилога. Брак для нее был союзом, державшимся только на совместном жительстве под одною кровлей; хорошо еще, если из него выходила хоть дружба... По отзыву иноземных наблюдателей, только во Франции женщины обладали в высокой степени искусством украшать свое обращение в свете, возвышать свои природные качества — впрочем, только внешне. Кокетка вся жила для света, а не для дома, и только в свете чувствовала себя как дома; она не чужда была интриг, но не знала страстей, не давала сюжета для романа, а разве только повод для секретного полицейского дознания. Быть любимой составляло иногда потребность ее темперамента, любить — никогда...»

Век женщины открыл Петр публичной казнью Гамильтонки. До него такой *чести* женщину не удостаивали, а подвел ему черту Пушкин, сделав честь выше женщины.

Двадцать восьмого июня 1762 года семнадцатилетняя княгиня Катя Дашкова исполнила мечты французских гувернанток и, повторив на русский лад подвиг Иоанны д'Арк, возвела на престол жену Петра III. Век женщины шел к триумфу.

У княгини Дашковой было одно исключение из светских приличий — она любила своего мужа.

Немка Софья Фредерика вступила на престол под именем Екатерины Второй. Тень Екатерины Великой, великая и густая тень, упала на парк Аннибала. Царство ее было исключительно долгим — тридцать четыре года! Тень стала теменью. Под ее густой сенью благополучно скончались рококо и восемнадцатый век. Екатерина II не была злопамятна, она простила даже любовницу покойного мужа Елизавету, и все же остаток своей жизни Александрина провела в доме детства, посреди огромного пустого парка. Она не простила *такого* собственной судьбе. Старший брат Яков после убийства низложенного императора в Ропше, был вынужден оставить Россию в толпе бежавших голштинцев. Он тоже, без сомнения, был бы прощен, но был убит в припадке пьяной дуэли с безымянным немецким капралом. Муж Александрины статский советник Еверлаков, который при блеске ее фавора представлял из себя ноль без всякого влияния, вышел в сенаторы и, по существу, счел себя свободным от брака. Они ненавидели друг друга. Младший брат Матвей, двигаясь по служебной лестнице от капитана-поручика через премьер-майора к вице-полковнику, боялся скомпрометировать себя отношениями с опальной сестрой. Словом, блистательная кокетка и властная фаворитка отныне жила в пустоте. Без света и двора ее жизнь потеряла смысл. Жила в трех комнатах заброшенного дворцового особняка, в одной она спала, в другой играла на клавесине и читала, в третьей — обедала. Но свиту держала огромную, строго следила за ее видом и блеском, тратила на челядь последние остатки своей доли графского наследства. Ее сумасшедшим пунктиком стала отчаянная попытка удержать время. Она носила наряды своей молодости, а когда они приходили в негодность, заставляла шить новые по старой моде: юбка с кринолином из китового уса, сложный корсет, кружевные фишю у локтя, маленький муслиновый чепец, и легкий пейзанский фартук из прозрачного шелка. Александрина запретила сообщать любые новости из жизни двора, кроме одной — смерти узурпаторши. И проявила в своем упорстве прямо-таки железную волю. Года через три ей было передано высочайшее прощение, на которое она ответила дерзким письмом со словами, что она давно решила удалиться от суетного света. Ее верные спутники — карты лгали о том, что *она* скоро умрет и, потихоньку сходя с ума, Александрина жила наперегонки с *ее* смертью. Иногда она роняла за столом загадочную фразу на французском, на которую старший камердинер неизменно отвечал со вздохом: «жива». Этот вздох мог стоить ему головы.

Парк затопила ряска забвения. Уже не действовал ни один фонтан, даже струйки воды в двух искусственных гротах иссякли. Подлесок набрал полную силу. На дорожках проступили вены корней, вены зазмеились даже поперек широких аллей. Липы и ели встали стеной. Зимой снег не долетал до земли, так густо местами сплетались кроны. Из парка были убраны и снесены в подвал все статуи и бюсты, к которым Александрина питала необъяснимое отвращение. Стоячая вода безмолвия затопила парк до макушек дерев. Даже птица как-то притихла. Погасли фейерверки соловьиных рулад. Редко-редко можно было услышать, как катит по веткам пестрое колесо щелка и свиста. Казалось, вся древесная масса затянута траурным крепом. Крыша во дворце протекала, хозяйка запрещала чинить дыру и в дождь ходила смотреть, как водяная струя хлещет по мраморной лестнице парадного вестибюля и ступени затягиваются плющем плесени. В таком постоянстве ненависти к жизни было даже свое величие. Царил вечный вечер. И все это молчание на фоне великих потрясений Европы: когда революционная Франция разделила человека на две неравные половины и объявила человека в человеке жертвой гражданина, когда стали разрушать памятники королям, когда пункт первый Конвента о введении Культа Верховного существа патетически гласил:

«Французский народ признает Верховное существо и бессмертие души», когда у Екатерины Великой была великая мигрень от галльских новшеств... Наконец Александрина окончательно порвала с людьми. Огромная свита была разогнана, а человечество заменили кошки и собаки. Выжившее из ума чувство окружило хвостатую стаю самой пылкой любовью. Смерть очередного фаворита сопровождалась душераздирающими сценами. В самом печальном уголке парка, в тени туи и гробовых елей, там, где был похоронен Антонио Кампорези (с его бедной могилы было снято надгробие, а ведь когда-то он носил Александрину на руках...), графиня устроила целое кладбище хвостатых и ушастых. С урнами, с плитами, с обелисками.

Если представить парк в виде единого психического поля, в виде мысленной воображаемой совести или мировой души, то ей были нанесены глубокие раны. Гордость парка была уязвлена, достоинство — унижено, красота — оскорблена. Хвостатое кладбище поверх могилы отныне стало самым глубоким корешком зла, дух места начал двоиться.

Впрочем, великая соперница Александрины — Екатерина Вторая — грешила той же европейской модой — страстью к четвероногим дружкам. В Царском парке был устроен целый пантеон для покойных Дюшеса, Земиры, Сира Тома-Андерса... Вот, например, что было начертано на могиле любимой собаки Земиры; надпись на памятнике сочинял французский посол граф Сегюр: «Здесь лежит Земира и опечаленные Грации должны набросать цветов на ее могилу. Как Том, ее предок, как Леди, ее мать, она была постоянна в своих склонностях, легка на бегу и имела один только недостаток — была немножко сердита, но сердце ее было доброе. (По существу, автор славит в собаке — тсс! — императрицу.) Когда любишь, всего опасаешься (здесь Сегюр — уже о себе), а Земира так любила ту, которую весь свет любит, как она (новая лесть!). Можно ли быть спокойною при соперничестве такого множества народов? Боги — свидетели ее нежности (о ком это? о собаке? о хозяйке?) — должны были бы наградить ее за

верность бессмертием (!), чтобы она могла находиться неотлучно при своей повелительнице». Так эпитафия становится приказом: эй, боги, бессмертия нашей повелительнице!

Другие надписи того времени намного короче: «Петру Первому — Екатерина Вторая». Или на орловских воротах: «Орловыми от беды избавлена Москва».

Сумеречный парк глухо рокотал на ветру листом, плещущим в ветку. По ночам остро благоухало флоксами, белизна которых матово сияла сквозь мглу. Лунные пятна бродили по ступеням парадной лестницы. Александрину мучала бессонница, она будила камердинера и приказывала одевать. Из гардероба несли бледные призраки ее молодости: юбку с кринолином, маленький муслиновый чепец, легкий пейзанский фартук из прозрачного шелка... но опустим тревожные чары этого угасания. После ее ранней кончины владение перешло к сыну Матвея, двадцатилетнему штабс-капитану Преображенского гвардейского полка Николаю Головину, который, стремясь поправить состояние и опасаясь крупных расходов по восстановлению прежнего блеска, не пожелал иметь перед глазами символы упадка знатности, продал владение с парком и запущенным дворцом вкупе с Ганнибаловкой статс-секретарю, новоиспеченному директору придворного театра, племяннику русского посланника в Британии Воронцова богачу Петру Хрисанфовичу Кельсиеву. Обстоятельства рождения, воспитания и долгих путешествий в юности, а также влияние сиятельного дядюшки сделали из Кельсиева отменного англомана. Если обветшавший особняк не возмутил его вкус, то симметричный парк с остатками прежней регулярности, следами стрижки, чертами каналов вызвал самое горячее недовольство. Он был сторонником свободно разбросаных древесных групп, выщипанных по-овечьи газонов травы и прочих правил английского парка. Густой подлесок, заболоченные овалы и ромбы, квадраты стоячей воды под молодыми ивами, прямые аллеи — все это вызывало протест в душе нового владельца. Из Англии по рекомендации дядюшки был выписан садовник-британец Клемент Пайпс, и его вкусу была предоставлена полная свобода. Так, в 1794 году на русскую почву под парковую сень шагнули новые принципы, например, закон Уильяма Кента о том, что природе не свойственна прямая линия, а значит, все прямое неестественно и, следовательно, безобразно, что сад дóлжно делить на ярусы, скажем, низ — азалии и махровая вишня, середина — широколистый клен, а макушечный ярус — остроконечные ели. Цветение вишни и азалий придает лиственной зелени особую свежесть и резкость, а осенью, после одновременного листопада со всей древесной массы, вновь обнажают свою вечную зелень хвойные обелиски. Правда, покойник Сонцев во многом исходил из тех же мыслей и чувств, но по робости духа не мнил в себе пейзажного революционера. Увидев первый раз парк, Клемент Пайпс с приятным удивлением отметил, что признаки английской свободы уже витали над этим пространством, что парк полон вольности и гармонии, что он хорош, красив, но нуждается в современной огранке. Ганнибаловским мужикам пришлось поработать, прямые дорожки заменили извилистые тропинки, еще одна часть водоемов была засыпана под цветники и лужайки. Подросту была объявлена война, маленькая Англия всплывала посреди российских просторов, но тут, в 1796 году, ноября в шестой день, в девятом часу утра внезапно скончалась императрица Екатерина Вторая. Еще утром она была совершенно здорова, встала поутру, в шесть часов писала записки касательно Русской истории, напилась кофею, обмакнула перо в чернильницу, но не дописала начатого — отмечает Державин,— вышла по позыву естественной нужды в отделенную камеру, где и скончалась от удара. В рифму этому так же скоропостижно и апоплексически скончалась эпоха. «Ежели б я прожила 200 лет, то бы, конечно, вся Европа подвержена была б Российскому скипетру...» Но нас меньше всего интересуют ее территориальные амбиции, со смертью Екатерины со сцены ушла Великая искуссница по части госэстетики. Чего, например, стоит хотя бы екатерининский жанр мнимого благополучия, искусства не говорить об общественных недугах ради видимости?

События развивались стремительно. Николай Зубов, узнав от фаворита-брата, «где стоит шкатулка с известными бумагами», переворошив содержимое, полетел на вороно̀м в Гатчину с завещанием матери-императрицы отдать престол мимо ненавистного сына любимому внуку. Бумага была вручена Павлу, тот «взглянув на оную, разорвал ее, обнял Зубова, и тут же возложил на него орден Св. Андрея». Спустя четыре года Николаю Зубову пришлось исправлять свою ошибку ударом массивной золотой табакерки в императорский висок. Но мы забегаем вперед. А может быть, это уже двинул напор пушкинского наводнения?

Словом, бабье царство кончилось, во дворце «загремели шпоры, ботфорты, тесаки». С первых шагов император уже прыскал великим гневом, были запрещены слова «клуб» и «свобода»... Екатерина еще раньше запретила слово «раб» — игра в слова продолжалась. Указами Севастополь было приказано называть Ахтияром, Феодосию — Кафой и «чтоб никто не носил бакенбард». (Так нависла угроза и над будущими пушкинскими бакенбардами. Он угадал родиться за три месяца до высочайшего распоряжения.) Повсеместно запрещено было носить фраки, не говоря уже о пресловутых круглых шляпах, а ля якобин. Вместо этого позволялось иметь немецкое платье с одним стоячим воротником в 3/4 вершка, причем обшлага иметь того цвета, как и воротники. С теми, кто противился моде на гражданина, расправа была коротка. В гневе император возжелал двуглаво парить над пятьюдесятью одним географическим элементом, из перечня которых состоял императорский титул, желал, но еще не мог, а пока репетировался День гнева в масштабах Северной Пальмиры. Майору Толю было приказано «изготовить модель Санкт-Петербурга — так, чтобы не только все улицы, площади, но и фасады всех домов и даже их вид со двора были представлены с буквальной геометрической точностью». «Марта 9-го повелено по Царскосельской дороге от Петербурга все фонарные столбы повынуть и убрать. Повелено мраморную круглую беседку в парке... Китайские домики и пр. и пр. сломать». Радиус гнева стремительно расширялся, и вот уже незримый циркуль, стоя одной ножкой в точке П. (Павловск), прокатился второй по загривкам Аннибалова парка Петра Хрисанфовича Кельсиева. Внезапно, после британского захвата Мальты, всему английскому тоже была объявлена война и шпажная битва. Павел был срочно изображен на парадном, в рост, портрете в облачении Великого Магистра Державного Ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Уже готовилось открытое объявление военных действий, но вдруг война была положена под сукно, и все же российскому послу в Британии графу Семену Воронцову было приказано немедля возвращаться на родину, он отзывался с поста посла в Лондоне. Воронцов, боясь кар, медлил с отъездом, дожидаясь переворота. Вот тут-то и досталось воронцовской родне в России, первым делом — за пустяковые злоупотребления — Петру Хрисанфовичу. Он был лишен чинов и дворянства, снят с поста директора придворного театра. Часть имения взята в казенный секвестр, в эту часть и угодила земля с Аннибаловым парком и особняком. В мартовскую ночь прискакал фельдъегерь с пакетом, в бумаге объявлялся указ, но тут примчался второй курьер с новым рескриптом, где кары ужесточали — с ссылкой в Сибирь, тут подлетел третий курьер — Сибирь была заменена ссылкой в Онучино, в имение матери. Именно при Павле русский термин «le kibitka» перекочевал во французский язык; наконец-то, и Расея окончательно присоединилась к европейскому словотворчеству. Работы в парке были брошены на половине, англичанин Клемент Пайпс попытался все же остаться в России, получить работу в Паулелусте, как именовали теперь Павловский дворец, но там царила мода на немецкое захолустье. Императрица Мария Федоровна Вюртембергская, жена Павла, много чувств отдавала паркам Паулелуста. Она решила построить здесь свое детство: домики Крик и Крак, хижину Пустынника — все это из родного ей далекого Монбельерского парка.

Тайный Амстердам окружили тайные Монбельеры.

Незадачливый Клемент Пайпс вернулся на берег Альбиона.

Начиналась дружба с Наполеоном.

Идеальный английский газон вокруг особняка превратился в поляны диких цветов, кое-где поднял голову даже татарник. Извилистые дорожки, не успев набрать силы, зачахли в ползучем орешнике. И все же парк продолжал держать форму и меру красоты. Аллеи дышали прямизной, вода свободно струилась с верхней террасы по протокам, нигде не застаиваясь. Ряска по краям водных овалов никогда не затягивала все мерцающее зеркало. Игра света и тени лилась широко и легко. Эпитеты сияли устойчивой крепостью: дуб — густой, ель — гробовая, липа — тенистая, береза — стройная, клен — разлапистый. Ничто не предвещало скорых перемен.

Тем временем романтический рыцарь Петрополя с ханскими замашками продолжал учить осьмнадцатый век чести, долгу и благородству. В центре столицы а спешке строился кирпично-бордовый замок цвета багровой перчатки его прекрасной дамы Анны Лопухиной-Гагариной. Опочивальня там строилась таким образом, чтобы по потаенной лестнице можно было спуститься в спальню прекрасной дамы. Запланирован и особый колокольчик, чтобы перед снисхождением удалять в соседние комнаты мужа фаворитки. Что ж, поклонение женщине по-прежнему было в моде. Так, Карамзин издавал журнал «Аглая» в честь жены своего друга, которую он безнадежно любил. Любовь пыталась смягчить черты наполеоновской эпохи, но, увы, пружина павловского гнева продолжала дырявить отечественный обломовский диван: так на границе был схвачен при попытке бегства молодой дворянин Батыш-Сокольский. В своем рапорте пойманный беглец без утайки написал императору, что желал бежать отечества из-за жестокого образа правления, хотя не знает за собой никаких вин, но боится, что вольный образ его мыслей и увлечение свободолюбивой Францией могут быть сочтены за преступление... В то утро, когда рапорт несчастного был положен на прокрустов стол самодержца, дурная погода в Санкт-Петербурге сменилась солнцем. Прежняя невозможность маневрировать отпала, Павел был весел и, простив Батыш-Сокольского, дозволил поступить ему на завидную службу. На этом карьера вчерашнего беглеца не остановилась, новоиспеченный чиновник департамента иностранных дел, потратив месяц усилий, составил доклад на высочайшее имя о быстром завоевании Англии, Индии и Константинополя. План был прочитан министром Ростопчиным,

признан негодным и с этим уведомлением представлен царю. Павел прочел, сурово отчитал министра за нерадивость, вызвал молодого чиновника к себе и показал, как нужно блюсти интересы отечества и не помнить зла: Бантыш-Сокольскому был дан орден и пожалована из казенного секвестра Аннибалова земля с Ганнибаловкой. Службу было приказано оставить и жить на лоне природы. Девятнадцатый век парк встретил с новым владельцем.

Весна была обильна теплом и солнцем, никогда еще так дружно и сильно не цвела липа.

3. Наступление галлицизмов

Редактура — вот пейзажный стиль девятнадцатого века, который у нас принял высшую форму — цензуры. А эпиграфом к целому веку могут стать хотя бы известные слова француза д'Аламбера о стиле известного Бюффона: « Не выхваляйте мне Бюффона. Этот человек пишет: „Благороднейшее изо всех приобретений человека было сие животное гордое, пылкое и проч.“ Зачем просто не сказать — лошадь».

Это место цитировал Пушкин в своих заметках о прозе. Подхватывая жажду краткости, поэт ядовито замечал о современных писателях: «Должно бы сказать — рано поутру, а они пишут: „Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба“, ах, как это все ново и свежо!».

Пыл, с каким молодой галломан Бантыш-Сокольский принялся,— в который раз! — перелицовывать парк по своему вкусу, был сродни пушкинскому натиску, с каким Александр Сергеевич, например, черкал и переписывал «Воспоминания» Нащокина. «Любезный Александр Сергеевич! — начал Нащокин,— покорствуя твоему желанию, я начал писать свои записки от самого рождения. Оно кажется и мудрено помнить свое рождение, но я *оправдываюсь следующим:*

Ребенок, занимаясь в углу игрушками или пересыпая из помадных банок песок в кучу и обратно, не взирая на его наружное равнодушие ко всему постороннему, все слышит, что говорят кругом его, внимание у него не затмено воображением, и рассказы, слышанные в детстве, так сильно врезываются в память ребенка, что впоследствии времени нам представляется, что как будто мы были самовидцами слышанного».

Все выделенное курсивом Пушкин справедливо вычеркнул.

Лишнее!

Кроме того, исправил «покорствуя» на «повинуюсь», «память ребенка» на «память нашу», «представляется» на «кажется» и «самовидцы» на «свидетели».

После пушкинской правки нащокинская чаща превратилась в аллею: «Любезный Александр Сергеевич! Повинуясь твоему желанию, я начал писать свои записки от самого рождения. Оно, кажется, и мудрено помнить свое рождение, но рассказы, слышанные в детстве, так сильно врезываются в память нашу, что в последствии времени нам кажется, что как будто мы были свидетелями слышанного». Здесь виден все тот же пейзажный стиль «питореск» с его повелительным наклонением — не трогайте воображения и дайте свободно течь воде! мысли, чувству...

В энергии этих вычеркиваний был не только отзвук почеркушек Петра поверх старорусского алфавита, но, увы, и эхо более современное, хотя бы стук гильотины, то трудолюбивое чавканье, с которым французские патриоты отсекали в человеке самое лишнее (точнее, в гражданине) — голову.

Вон, вон лишнее! Усечение стало лейтмотивом нового времени.

Бантыш-Сокольский прискакал к пустому особняку в центре парка вскоре после совета жить на лоне природы и заняться землеустройством. Золотые липы пахли головокружительно, но молодой человек супил брови и закусывал губы. Он подражал сразу Павлу и Наполеону. От Павла у него был курносый нос, от Наполеона — полноватые ляжки и клок волос на лбу. Спешившись у беседки «билье-ду», Бантыш-Сокольский хмуро взирал с высоты верхней террасы на живописный беспорядок кустов, стволов, палок. При этом он был настроен самым философическим образом, потому что давно готовил себя в мыслители, правда, его вкус колебался между туникой Сократа и мундиром флигель-адъютанта. Сейчас он готовился разделить ложе (галлицизм) с природой. Утром ганнибаловские мужички под его предводительством пошли штурмом на туманный Альбион (парк). Пейзаж был взят как вражеская баррикада, а стилем была объявлена триумфальная улица. На языке того времени Бантыш-Сокольский был типичным *петиметром*, кавалером, воспитанным по правилам нерусскости и закончившим воспитание под руководством француза-гувернера. Он плохо говорит по-русски, потому что презирает его даже больше, чем немецкий язык. «Для чего я родился тут?» — этот вопрос мучил не одно поколение петиметров. «Почему я не француз?!»

Эти переживания были хорошо знакомы и Бантыш-Сокольскому. Вот почему он так тяготился массой этого слишком не французского пейзажа, обилием дерева, отсутствием гор, моря, кипарисов, на худой конец. Он ничего не слышал о пейзажных идеях

Джона Лаудона, но пренебрежение планом, неуважение регулярности отметил сразу. Парк казался ему неопрятной глыбищей зеленого дыма, в котором нужно было прорубить окно, отсечь все лишнее. А лишней ему была ужасная русскость общего вида, и Бантыш-Сокольский с жаром обнажил свою шпагу. Было задумано сорок две просеки и десять храмов-беседок на перекрестках. А пока центральная аллея была объявлена боковой, а ворота перенесены. От нового въезда пролегла новая главная линия. В совокупности с первой она образовала почти идеальный андреевский крест: на перекрестье вырублена среди елей круглая площадка, в центре которой поставлена колонна, найденная в подвале. Колонну венчала голова Минервы в шлеме. Такой же крест лег и на нижней террасе прямо на золотые липы, густые дубы, светлые вязы, плакучие ивы, и прочие эпитеты северной натуры. Сначала взялись за дубовую рощицу, она заслонила какой-то важнейший вид. Мужики даже хотели кинуться в ноги молокососу-барину — так была она хороша и тениста. Но не знали, как подступиться к этому гневливому мундирчику с тремя шлицами, кроме того барин ни слова не понимал по-русски, по-мужицки... И стали помаленьку вырубать дубки.

Вон, вон лишнее!

Опуская тонкости вопроса, скажем только, что язык, конечно же, влияет (формирует?) и сознание, и наш вкус, и стиль. Изящество, краткая смачность и показухи французского, виртуозная склейка слов в линию при помощи всех этих артиклей де, ля, ле... барабанная дробь апострофов, речь-струя, где так мало значит точка и так много — интонация (следовательно, фраза) — все это, конечно же, превратило в глазах отечественного галломана вольную пышность каких-нибудь берез и суровую строгость елки в дурное нагромождение варваризмов. Натура была совсем не комильфо. Ату ее, вон, вон!

Почему-то до сих пор роковая офранцуженность нашей истории осталась в стороне нашего ж внимания. Мы проглядели вторжение галлицизмов не только тогда, но и много позже. Пушкинские проклятия в адрес «обмелевшей словесности», которая захватывает все, его филиппики против «бездарных пигмеев, грибов, выросших у корня дубов, типа Флориана и мадам Жанлис», подражать которым принялась наша словесность, а значит, и их дух, были не услышаны в пушечном громе наполеоновских войн. Сто лет спустя уже Толстой горько восклицал в «Исповеди»: «Пятнадцать лет я вместо креста носил медальон с портретом Руссо!»

Но мимо, мимо...

Бантыш-Сокольский не успел довести свой радикальный план до конца. В канун мартовских ид, царственный рыцарь Павел был убит внутри своего замка цвета дамской перчатки. Его сочли аппендиксом отечественного тела, а не головой, и отсекли за ненужностью. Пир планиметрии кончился. Невский пестрел круглыми шляпами а ля якобин, а легендарный гусар пустился гарцевать на скакуне прямо по тротуару: «Теперь вольность!» Снова и снова свобода понималась только лишь как отсутствие прежних стеснений. Понять это историческое гусарство через логику невозможно, проникать в жесты государственности под силу только эстетике! Прав, трижды прав Чаадаев: «Мысль разрушила б нашу историю, кистью одною можно ее создать».

Новый император демонстрировал после тирана отменный нрав и золотое сердце. Госпожа де Сталь иронизировала над Александром I: «Государь, ваш характер является конституцией для вашей империи, а ваша совесть служит гарантией ее». Император реабилитировал тех, кто пострадал за четырехлетнее правление отца, полк, шагавший без фуража воевать Индию был ворочен обратно. Между новым владельцем земли Бантыш-Сокольским и старым хозяином Петром Хрисанфовичем Кельсиевым завязалась тяжба, и парк снова загустел, потяжелела листва, чернее стала тень, из дубовых пней прянули молодые побеги. Красота проступала ясней, вечерняя заря обнимала парк, проникая светом в каждую жилочку, свет душевной чистоты озарял по ночам верхушки лунным зигзагом. Отборные голландские липы набрали невиданной мощи и высоты. Сосны выросли в исполинские фасции. Парк стал притягивать молнии, задерживать наплывы гроз, спутывать ливни. Молния толщиною в ствол ударила в титанический вяз, росший у беседки Лямур, и выжгла черную проталину до самой земли. Ураганом вывернуло с корнем несколько лип, а летящими ветками были выбиты зеркальные стекла в танцевальной зале, и на паркет всю ночь лилась дождевая вода. Только утром слуга, обходя пустые комнаты, заметил непорядок. Особняк снова пустовал — до решения тяжбы в сенате. Пруды нижней террасы полюбились диким уткам, на окраинах парка теперь можно было спугнуть перепелов. Дичь время от времени притягивала в парк странную процессию. Впереди ехал седок с валторною, за ним одноколка страстного охотника генерал-поручика в отставке Буйносова, за одноколкой тащилась карета, на случай дождя, затем следовал буфет на четырех лошадях, телега с резной мебелью для сидения и обеда в поле, а замыкала все длинная фура с дураками, карлами и арапами. Мода на арапчат-пажей все еще держалась. Все это охотничье движение утопало по ось, по колено, по плюсны в летучей пене борзых собак. А однажды под липовыми сводами проскакал разведывательный отряд французских улан

в треуголках с плюмажами. Им понравился парк и живописный дом на макушке террасы. На обратном пути они сделали здесь трехчасовой привал, искали в буфетах вино и нашли. Пито было за быструю победу. Так пришел двенадцатый год, в котором урок французского задавал нашему Отечеству сам революционный император.

Захватив после Бородино пустую допожарную столицу, Наполеон, оставаясь в бездействии, мысленно ревизовал Россию, витал над ее перелесками. Бродила его сумеречная тень и по ночным аллеям Аннибалова парка. Тень заметила уроки галльской геометрии, какие были преподаны в данном месте вакхической чаще. Как легко было скользить по лунным просекам среди натуры, державшей равнение на грудь, бродить мимо дерев — в затылок, мимо куртин — в шеренгу; обозирать темно-зеленые фронты, выправку, фрунт. Подчинять свой мистический шаг аллюру пейзажа, соблюдать повороты аллей, строй, марш, маневр... За тенью Наполеона неотступно летели три парки, три сестры, три богини, три ординарца: Клото, Лахосис и Атропос. Но он как бы не замечал немой рой. В отличие от прежних французских монархов Бонапарт не пестовал музу ландшафта. Флора и Помона отступали в разряд мелочей. Но одно мнение известно. В своих записках о «Завоевании Нижнего Египта» Наполеон заметил: «Сад (у Каира) был полон прекраснейших деревьев, но в нем не было ни одной аллеи».

В этой реплике весь дух его Утопии. Вся его жизнь до падения — это, по сути, прямая Аллея сквозь чащобу истории, штурм законов причинности, осада рая, который виделся его гению чем-то вроде вселенского Пале Рояля, блокада судьбы и неба. В данную минуту его Аллея лежала через страну Александра, и в московском сражении Наполеон хотел преподать хорошую науку варварскому наречию. Урока не получилось, по иронии судьбы русская армия, ее диспозиции и пушки легко говорили на французском. Шевардинский *редут*, *батарея* Раевского, Багратионовы *флеши*. Все эти военные термины — суть французские. Le fleche — стрела. La battarie — батарея. Le redoute — редут. Удивительно ли, что сентябрьская битва была так густо усыпана галлицизмами, слепками и копиями с галльской же речи. Мы привыкли к этому, но все-таки это так же странно, как воевать с турками, заматывая головы солдат чалмой. Не менее удивительно, что и Россия сумела обогатить вражескую речь своими словами, например, le kozak (казак) и le steppe (степь)... «Степь» — вот род французского газона, который мерещился маленькому капралу на спине солового англизированного иноходца с укороченными хвостом и гривой. И еще один языковой феномен. По мере продвижения армии в «степи Московии», говорить русским военным по-французски становилось все более неприлично. Тогдашний историк Михайловский-Данилевский отмечает, что генералитет вокруг Светлейшего говорил на ломаном русском языке.

«И поменьше говори по-французски. Теперь не время». Эта реплика из Толстого.

Урок французского стал наукой ломаного русского языка. В таком выверте есть что-то от пушкинской измены языку своего отрочества, начинал-то он говорить и писать на французском.

Это к вопросу о природе нашей вечной «офранцуженности».

И последнее.

Странно, что один из горячих прозелитов Бонапарте — Бантыш-Сокольский был убит в бою под Малоярославцем, восстав, так сказать, против своего кумира. На дне его походного ранца был найден среди всякого хлама дешевый медальон с портретом императора Наполеона. Может быть, последние слова Бантыш-Сокольский произнес на своем родном, ломаном?.. Может быть...

Запретив слово «раб», Екатерина не отменила рабства, но рабов как бы не стало. Павел еще более энергично принялся за прополку речи. Причем, в первую очередь корчевались слова заимствованные и высокопарные. Реформатор порой подозрительно косился на иностранную речь вокруг себя. Он даже как-то писал о том, что французский тон не делает человека, особенно там, где дело прямое, а не одни «красивые слова и пышные фразы», мы, мол, избалованы этим красноречием, на котором трудно говорить нам правду... Вот оно императорское кредо: язык — ваятель гражданина, и вот почему с такой алчбой (устар.) садовник-самодержец приказал говорить и писать:

Не врач, но лекарь,
не сержант — унтер-офицер,
не граждане — обыватели,
не отряд — команда,
не общество — а... впрочем, слову «общество» замены найдено не было, и велено было вовсе его не употреблять. Все это не так смехотворно, как кажется с первого разу. Да, в этом мало ума, но зато много искусства. На первых порах — наивного искусства. Империя мыслила себя в духе лубка, а рядилась в античные тоги. Причем, картина писалась крупными мазками. Она была рассчитана (наблюдение Ключевского) на дальнего, иностранного зрителя. Вблизи глазу открывался всего лишь красочный хаос, что ж, поза требует жертв.

Воевать со словами намеревался и другой Павел, Павел Пестель. Взяв власть, он

думал заменить французские «панталоны» на «штаны», «саблю» на «рубню», а «пику» на «тыкню». И все же при всей любви к русскому декабристы-офицеры, вернувшиеся из покоренного Парижа, оставались ужасными французами. Они и думали и говорили не по-русски, и трагически выпало жребием, что Поза (каре у памятника Петра и прочая патетика) стала выше Пользы. Они с презрением отвергали успех, если он не имел благородной формы. Всякие там убийства табакерками в духе Орлова и штыковые атаки в спальных покоях ядовито обзывались «серальными переворотами». Декабристы были против «сераля» а ля турок, справедливо считая, что отчасти уже сама по себе красота протеста с развернутыми знаменами, в парадной форме, под барабанный бой приведет их к победе. Красота, Благородство и Открытость.

Искусству публичного жеста — в духе нового времени! — тогда придавалось гораздо больше значения, чем кровавой рутине дела. Революция виделась декабристами по-военному, как гвардейский смотр Справедливости на плац-параде перед Сенатом. Всю ночь до восстания декабрист Одоевский охранял вход в личные покои императора, он был начальником конногвардейского караула дворца. Кажется — рвани дверь на себя, вынь саблю (рубню) из ножен... не прикончить, нет, хотя б арестовать Николая... Но разве это был бы поступок человека «комильфо»? Конечно, нет. Ночь — не время для революции. Ситуация мыслилась гвардейцами декабря во французском тоне, «а это не хорошо там, где дело прямое» (слова Павла). С точки зрения Позы цель восставшими была достигнута: на Сенатской площади всей России было продемонстрировано одно из самых волнующих зрелищ общественного возмущения, восстание-каре, которое замышлялось, началось и развивалось по законам красоты гвардейского парада. Правда, финал смотра Свободы был скомкан — пушками по рядам — и бесповоротно испорчен. О том, что это каре было еще и попыткой республиканской революции, как-то не думалось. В дневнике за 14 декабря новый император сделал характерную запись: «Находился на защите дворца».

Кумир века — Наполеон — никогда не был человеком «комильфо», это ведь он первым стал стрелять по толпе из пушек. Польза выше Позы! Это он создал эпоху «выскочек», и шуан Дантес, приехавший в Санкт-Петербург морем на пароходе «Николай I» в октябре 1833 года, был из той же породы карьеристов революции.

...тсс, на парк Аннибала падает легкая тень Пушкина... Но на пересечении истории парка с линией пушкинской судьбы стоит совсем другая фигура. Вот он, молодой человек в романтической рубашке с байроновским воротничком, стоит, задрав голову в липовой сени и пытаясь разглядеть мраморное лицо под шлемом на макушке колонны. Это лицо ему кажется бабьим.

1812 — несчастный год для Франции, несчастный и для России: в этом году баронесса Мария-Анна-Луиза Дантес благополучно родила мальчика. Так вот, после войны 12-го и гибели Бантыш-Сокольского вопрос об Аннибаловской мызе был решен в пользу Кельсиевых, но недолго наследники покойного англомана побыли в хозяевах. Декабрьские события «эстетического бунта» бросили злую тень на род Кельсиевых; двое братьев, поручики лейб-гвардии Орест и Михаил, вышли в числе смутьянов на площадь, были впоследствии разжалованы в рядовые и высланы под надзор полиции в провинцию. Опора внезапно ушла из-под ног семьи, и владение было продано генеральному откупщику в Бессарабии Варфоломееву, сын которого — недавний студент — как раз и дружил с тем самым молодым человеком в романтической рубашке, который стоит сейчас на перекрестке аллей у колонны. У него зоркое зрение, и он хорошо видит, что у Ганнибала — имя выбито латинскими буквами у основания колонны — бабье лицо. Он прав — бабье. Ведь на макушке столпа по прихоти Бантыш-Сокольского поставлен бюст Минервы в воинском шлеме... Молодому человеку двадцать четыре года. Он носит фамилию Соллогуб и графское достоинство. Стоит прекрасный майский денек, голубой зефир обдает парк весенней свежестью. Благоухает цветущая липа. Гнездами белых цветов украшены ветви гортензии. В зеленых потоках сирени вскипают бурунчиками кисти соцветий. Палец Соллогуба машинально тянется к одному из замшевых крестов, вышитых на куполе древовидного пиона. Кружится голова от дружного запаха цветов французской розы, ее маленькие мятые бутоны источают аромат с настойчивостью горящих свечей. Кусты медвежьего ореха и пещеры тенистой жимолости озвучены трелями пестрых пичуг. Колышутся листья от птичьих перелетов. Взор гостя в байроновской рубашке поднимается выше, выше, пока не запинается о сверкающую струйку стрекозы, неподвижно стоящей в небе над макушкой аллейской сосны, а еще выше парит — облаком — белый сугроб. Парк цветет красотой, но на губах молодого человека — печать горечи. С соседней аллеи до него доносятся детские голоса и смех счастливого семейства приятеля, но Соллогуб хмур; сердце замкнуто на замок от всех утешений цветущей флоры и прочих доказательства божьего промысла под солнцем. Он-то думал рассеяться в гостях, но обмануть свою

тревогу не получилось, и он снова и снова думал о предстоящей дуэли... с кем? Да, с полубогом! с Пушкиным!

Много лет спустя в своих воспоминаниях бывший молодой человек писал о вызове Пушкина так: «Для меня это было совершенной загадкой. Пушкина я знал очень мало, встречался с ним у Карамзиных, смотрел на него как на полубога... И вдруг ни с того ни с сего он вызывает меня стреляться, тогда как перед отъездом (из Петербурга) я с ним даже не виделся вовсе».

Весна 1836 года выдалась необычайно ранней и уже в апреле по всей России было сухо и тепло. Липа, сирень, яблоня, жасмин — отмечали современники — цвели необыкновенно. Но... но здесь нужно, наконец, объяснить угрюмые волнения графа Соллогуба, застывшего на фоне оссиановского неба, которое видится из нашего «прекрасного далека» полосой морской ряби, усеянной снежными гребешками летних тучек... Многие, знавшие нашего Пушкина, отмечали, что в предсмертный год жизни он словно бы искал смерти. 3 февраля 1836 года он потребовал либо объяснений, либо удовлетворения от некоего С. Хлюстина, который выбрал дуэль и на следующий день после ссоры прислал Пушкину вызов. Причиной ссоры стали весьма витиеватые обстоятельства: некий Люценко перевел с немецкого в стихах повесть Кристофа Виланда «Перфотоний или Желания» и предложил Смирдину. Стихи были так дурны, что книгоиздатель отказался. Тогда Люценко сам издал свой опус, сделав целых три операции над изданием. Он не указал имени переводчика, раз. Переиначил название Виланда с «Перфотония» на «Вастолу...» И, наконец, указал на обложке — «издал А. Пушкин». Издатель и журналист Сенковский приписал анонимное творение Пушкину и разразился на «Вастолу...» разносной рецензией. Все это нагромождение лжи вызвало у поэта гнев и желчь. И вот один из его гостей, давний знакомец, племянник графа Толстого-Американца (к дуэли с которым Пушкин однажды готовился, занимаясь стрельбой из пистолета, всю свою молодость в южной ссылке) в разговоре выговаривает Пушкину, что тот не прав, возмущаясь печатной бранью Сенковского! Между хозяином и гостем вспыхнула ссора, которая все же до дуэли не дошла. Однако Пушкин был выведен из состояния душевного равновесия: он не потерпит ничьих оскорблений! Уже через два дня после опасной стычки с Хлюстиным, он посылает вызов князю Репнину, где писал (на французском), что «некто г-н Боголюбов публично повторяет оскорбительные для меня отзывы, якобы исходящие от вас. Прошу ваше сиятельство не отказать сообщить мне, что мне об этом думать». В черновике письма было сказано резче. А поводом послужило знаменитое послание Пушкина против министра Уварова «На выздоровление Луккула», который был приятелем князя Репнина. Причем все это кипение чести происходит на фоне первого вызова, который был послан графу Соллогубу еще осенью прошлого года, но остался почему-то без ответа. И вот надо же, ответ Соллогуба пришелся как раз на эти дни, словно дьявол три месяца выжидал, как подлить масла в огонь... Не дождавшись ответа князя Репнина, Пушкин отвергает запоздалые объяснения Соллогуба и пишет, что приедет стреляться в Тверь в конце месяца. Раньше, к сожалению, не выйдет.

Итак, три вызова за одну неделю февраля.

Все три дуэльных письма в полном собрании Пушкина стоят рядышком этаким созвездием Рока — но время смерти еще не наступило... Хлюстин сам забирает свой вызов, князь Репнин 10 февраля пишет (на русском): «...я с г-н Боголюбовым никаких сношений не имею и никогда на ваш счет в его присутствии ничего не говорил. Вам же искренне скажу, что гениальный талант ваш... и т. д.».

Пушкин объяснения принял и ответил Репнину (тоже по-русски) коротким, обходительным письмом. Две дуэли пронесло, оставалась третья — с графом Соллогубом.

Кстати, и молодой граф и немолодой Пушкин были в одних чинах: оба камер-юнкеры двора. Что же произошло между ними? А случилось следующее: Соллогуб несчастливо влюбился, но, не получив взаимности, решился на временный отъезд из Петербурга. Накануне он был на вечере вместе с Натальей Николаевной Пушкиной, которая, между прочим, тоже была предметом его сердечных чувств — в молодости граф был любвеобилен. «Много видел я на своем веку красивых женщин,— вспоминал позднее Владимир Соллогуб,— много встречал женщин еще обаятельнее Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединяла бы в себе такую законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая, с баснословно тонкой тальей, при роскошно развитых плечах и груди, ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее; такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более, а кожа, глаза, зубы, уши! Да, это была настоящая красавица, и недаром все остальные, даже из самых прелестных женщин, меркли както при ее появлении... Я с первого же раза без памяти в нее влюбился; надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной; ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы».

Так вот — продолжим сюжет — история несчастливой любви графа сразу к нескольким дамам света была предметом разговоров и, как писал много лет спустя Соллогуб, Наталья Николаевна в тот вечер «шутила над моей романтической страстью и ее предметом. Я ей хотел заметить, что она уже не девочка, и спросил, давно ли она замужем... Все это было до крайности невинно и без всякой задней мысли».

Но свет умел жалить.

Свидетели этого разговора — две дамы, две сестры, две княжны Вяземские сделали из неумелого вопроса ужасную расчетливую дерзость, что будто бы Соллогуб с тем намерением спросил жену поэта давно ли она замужем, чтобы дать понять, что, мол, еще рано ей иметь дурное поведение в смысле измен. «Натали, неужто вы не поняли?» Словом, все это они с удовольствием растолковали провинциальной красавице, которая «должно быть,— предполагал Соллогуб,— сама рассказала Пушкину про такое странное истолкование моих слов, так как она вообще ничего от мужа не скрывала, хоти и знала его пламенную, необузданную природу». Пушкин тотчас написал к Соллогубу письмо в Тверь, никогда, впрочем, к нему не дошедшее.

Всю осень и зиму Соллогуб провел в командировке в Твери и в Ржеве, врачуя душевные раны романической страсти, как вдруг получил письмо от своего приятеля, тоже недавнего однокашника по Дерптскому университету Андрея Карамзина, который писал о том, что Пушкин повсюду говорит, что граф Соллогуб уклоняется от дуэли и, что, задетый за товарища, Андрей поручился за него, что тот не откажется от поединка на пистолетах. Можно представить изумление молодого человека, начинающего поэта, будущего писателя, автора знаменитого «Тарантаса», которого вызывал стреляться его же кумир и полубог, коему он стыдливо подражал на бумаге... Списавшись с Карамзиным, Соллогуб, наконец, узнал в чем дело, после чего сразу написал Пушкину о том, что «готов к его услугам, когда тому будет угодно, хотя не чувствует за собой никакой вины». Известно, что Пушкин показал письмо своему верному Пеламу Соболевскому со словами: «Немножко длинно, молодо, а впрочем хорошо». Вскоре в Тверь, в дом Бакуниных (где проживал тогда и будущий теоретик анархизма — Михаил), где квартировался Соллогуб, пришло письмо: «Милостивый государь. Вы приняли на себя напрасный труд, сообщив мне объяснения, которых я не спрашивал. Вы позволили себе невежливость относительно жены моей. Имя, вами носимое, и общество, вами посещаемое, вынуждают меня требовать от вас сатисфакции за непристойность вашего поведения. Извините меня, если я не могу приехать в Тверь прежде конца настоящего месяца». Письмо, конечно, было написано на языке жестов — по-французски. «Делать было нечего,— вспоминал Соллогуб, выступая с докладом в обществе любителей российской словесности тридцать лет спустя,— я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться и прождал так напрасно три месяца». Следующая фраза его воспоминаний такая: «Я твердо, впрочем, решился не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно...»

На этой фразе лежит сень Аннибальского парка.

Итак, весна 1836 года выдалась ранней, уже в апреле было сухо и тепло. И стоя у колонны с бюстом Миневры в римском шлеме, Соллогуб чувствовал как все фибры души проникаются солнцем и негой. Хотелось жить и жить. Перелом жизни *(галл.)* был тяжек. Смерть так внезапно бросила свою тень на его судьбу, что он так же врасплох, мгновенно и нараспашку влюбился в жизнь, и сейчас с особой сладостной болью дышал клейкой свежестью парка, следил, как плывут в вышине бело-дымные тучки. Слушал морское шипенье крон на ветерке. Он понимал, что стрелять в Пушкина нельзя, и все же мысленно молодая рука поднимала пистолет, хотя и не целилась. Диск солнца слепил. Он был превратно истолкован врагами поэта, невинен, только лишь глуп, повода для сатисфакции нет, и все ж таки честь его была больно задета, кроме того прослыть трусом... нет, нет! лучше смерть, чем это.

Так или примерно так думал наш герой, бродя в одиночестве по боковым дорожкам, избегая счастливой четы и милого семейства своего удачливого приятеля. Только единожды он вдруг решился: буду целиться... и тут же очнулся. Кровь бросилась в лицо, лоб покрылся испариной. Он стоял посреди мрачного густого ревира из туй, в окружении своры маленьких замшелых обелисков, пирамид и траурных урн с мордами собак и профилями кошек. Один обелиск лежал плашмя у ног его, и глаза невольно прочли латынь на горельефе: «Et in Arcadia Ego». И я в Аркадии. На горельефе была вырезана эмблема из двух, опущенных огнем вниз, факелов вокруг кошачьего черепа. В лицо пахнуло затхлой сыростью, вонючей прелью, чуть ли не серой, словно распахнулся лаз преисподней. Очнувшись, Соллогуб опрометью кинулся назад на аллею. Сзади хохотнуло. Даже тогда, когда он выбежал на солнце, его зубы стучали, будто от холода. Тут его позвали обедать. За столом был новый гость из столицы, речь зашла о петербургских сплетнях. Под первым литером шел рассказ о том, что там появился

новый француз, роялист Дантес, необыкновенный богач и первый красавец, и, что он уже сильно надоел Пушкину, открыто преследуя восторгами его жену, тоже первую красавицу. Соллогуб слушал с бледным лицом и думал о том, что «вероятно, гнев Пушкина давно уже охладел, вероятно, он понимал неуместность поединка с молодым человеком, почти ребенком, из самой пустой причины, „во избежание какой-то светской молвы"». В разговоре наш герой почти не участвовал, счастье друга навевало печаль, а когда подавали бламанже, к столу на террассе явился нарочный с пакетом от генерал-губернатора. Графу Соллогубу сообщалось о полученном на его имя предписании министра внутренних дел графа Блудова. Сразу из-за стола гость велел закладывать экипаж. Когда колиска уже порядочно отъехала от ворот и поднялась вверх по дороге к поклонному кресту, Соллогуб оглянулся, и парк брызнул ему в глаза прощальной вспышкой красоты. От романтической картины зеленой гряды — прибоем под облаками — захватило дух, а на глазах появились невольные слезы. Дуясь на себя за чувствительность, Соллогуб достал платок и, промакнув глаза, с неясным облегчением откинулся на кожаные подушки. Лошади бежали легко. Силуэт креста плыл на фоне позлащенных небес. Ездок перекрестился. Летний день не хотел угасать, и до заката была целая вечность. И думалось... так, ни о чем. Впрочем, он окончательно решил не стрелять в соперника.

Можно спросить: да было ли все это?

«Все»? Все, пожалуй, нет. Но было почти все.

Когда «я получил от моего министра графа Блудова предписание немедленно отправиться в Витебск в распоряжение генерал-губернатора Дьякова,— вспоминал позднее Соллогуб,— я поехал в вотчину моей матушки на два дня, сделать несколько распоряжений...

Пушкин все не приезжал».

Здесь опять требуется вмешательство автора... Соллогуб не знал, что еще 29 марта скончалась «прекрасная креолка», мать Пушкина, гроб которой он сопровождал из Петербурга в Михайловское, где и похоронил тело у стен Святогорского монастыря рядом с могилами ее родителей, Осипом и Марией Ганнибал, дедушкой и бабушкой. Заодно (!) он выбрал и место для себя и сделал вклад за будущую могилу в монастырскую кассу. Только 16 апреля он вернулся из Михайловского, а 29 числа того же месяца выехал из Петербурга в Москву. Дорога шла через Тверь, где Пушкина ждала третья дуэль этого года. Хотя ей не суждено было состояться (черт все ж таки еще помучал поэта), Соллогуба в Твери не оказалось. Надо же, что именно в эти два дня его унесло в матушкину вотчину. Уезжая, Соллогуб на всякий случай оставил письмо к Пушкину у своего секунданта князя Козловского. Они встретились, Пушкин был сама любезность, жалел, что не застал графа, извинился, что стеснен временем, и на утро укатил дальше в Москву. На третий день Соллогуб вернулся и с ужасом узнал, с кем разъехался так глупо. «Первой моей мыслью было, что он подумает, пожалуй, что я от него убежал. Тут мешкать было нечего. Я послал за почтовой тройкой и без оглядки поскакал прямо в Москву, куда приехал на рассвете и велел себя везти прямо к П. В. Нащокину, у которого останавливался Пушкин. В доме все еще спали. Я вошел в гостиную и приказал человеку разбудить Пушкина. Через несколько минут он вышел ко мне в халате, заспанный и начал чистить необыкновенно длинные ногти. Первые взаимные приветствия были очень холодными».

Бал правил жест, потому разговор шел на французском.

Ожидая Пушкина, Соллогуб еще на что-то надеялся, на что — он и сам толком не знал. Но Пушкин держал себя с такой ледяной вежливостью, был так по-светски церемонен, столько было в его лице и манерах страсти к условиям, что Соллогуб с холодком понял про Пушкина: соперник по особому щегольству привычек не хочет отказываться от прошлогоднего дела, им затеянного. Что пустая причина — не причина для фамильярности с честью... «Кто ваш секундант?» — спросил Пушкин. Путаясь, Соллогуб отвечал, что секундант его, князь Козловский, остался в Твери, (это было и так ясно, иначе б Пушкина не подняли с постели), что в Москву он только что приехал, (это тоже было видно с первого взгляда), что он хочет просить быть секундантом известного генерала князя Федора Федоровича Гагарина. Пушкин, зевая, извинился, что заставил графа Соллогуба так долго дожидаться, и объявил, что его секундантом будет Нащокин.

Стало ясно, что дуэли не избежать. Соллогуб даже подумал, что, пожалуй, Пушкин убьет его... может убить. Ведь тот был из плеяды героев отвлеченной мысли, которые в декабре... Мысли в его голове путались.

Между тем Пушкин думал о том, что юный граф, навряд ли его судьба. После того как старая колдунья Кирхгоф нагадала ему насильственную смерть через белую лошадь, белую голову или белого человека — Weisskopf,— он примеривал ее пророчество на всех соперников. Во-первых, Кирхгоф сказала, что он проживет долго, если на тридцать седьмом году не случится с ним беды от... Ему еще нет тридцати семи, во-вторых — Пушкин подошел к окну гостиной и выглянул со второго этажа — почтовая тройка была хорошо видна, светало, среди них не было ни одной белой. В-третьих, Соллогуб не белокур.

Наконец, он не *фат*. А его судьба *(фатум)* явится в маске фата... неужели *он?* Раз это не судьба, значит — пустая трата времени.

Разговор невольно оживился. Два литератора повели речь о недавней книжке «Современника». Пушкин даже рассмеялся, и беседа пошла почти дружеская, до появления Нащокина.

При новом свидетеле Пушкин вновь принял леденящий тон: он никому не позволит сделать из себя шута. Честь — не место для царапин.

Сонный Нащокин разглядел юного графа-*шатена* и перевел дух. Друзья Пушкина хорошо знали его тайную страсть пытать судьбу. Например, когда тот написал злую эпиграмму на Андрея Муравьева, последний спрашивал у Сержа Соболевского: «Какая могла быть причина, что Пушкин, оказывающий мне столь много приязни, написал на меня такую злую эпиграмму?» Соболевский отвечал: «Вам покажется странным мое объяснение, но это сущая правда; у Пушкина всегда была страсть выпытывать будущее, и он обращался ко всякого рода гадальщикам. Одна из них предсказала ему, что он должен остерегаться высокого белокурого молодого человека, от которого ему придет смерть. Пушкин довольно суеверен, и потому, как только случай сведет его с человеком, имеющим все сии наружные свойства, ему сейчас приходит на мысль испытать: не это ли роковой человек? Он даже старается раздражить его, чтобы скорее искусить свою судьбу».

Комментаторы считают, что это «объяснение» Соболевского — розыгрыш Муравьева, едкая скрытая издевка,— и не принимают всерьез такого вот понимания тайны пушкинской конфликтности. И все ж таки трудно отмахнуться от этих слов. Пытания судьбы в крови у Пушкина. Выдумать такую характерность современнику на пустом месте невозможно. *Не это ли роковой человек?* — это так по-пушкински... «Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья — Бессмертья может быть залог!»

Но вернемся в гостиную.

«Павел Войнович явился, в свою очередь,— вспоминает Соллогуб,— заспанный, с взъерошенными волосами, и, глядя на его мирный лик, я невольно пришел к заключению, что никто из нас не ищет кровавой развязки, а дело только в том, как бы всем выпутаться из глупой истории, не уронив своего достоинства. Павел Войнович тотчас приступил к роли примирителя».

Как только Соллогуб понял, что речь идет не о существе дела, а о филигранных оттенках чести, о красоте Позы, как сразу дело пошло на лад. Пушкин молча настаивал на формальных объяснениях, но без малейшего оттенка формальности. Наконец его прорвало, и он сказал: «Думаете мне так весело стреляться? Неужели? Но я имею несчастье быть публичным человеком, а вы знаете, что это хуже, чем быть публичной женщиной!»

Слово было сказано: *я имею несчастье.*

Секундант и Соллогуб ухватились за эту соломинку, «Пушкин непременно хотел, чтобы я перед ним извинился... Я со своей стороны, объявил, что извиняться перед ним ни под каким видом не стану, так как я не виноват решительно ни в чем; что слова мои были перетолкованы превратно и сказаны в таком-то смысле. Спор продолжался довольно долго. Наконец, мне было предложено написать несколько слов Наталье Николаевне. На это я согласился, написал прекудрявое французское письмо («Немножко длинно, молодо, а впрочем, хорошо»), которое Пушкин взял и тотчас протянул мне руку, после чего сделался чрезвычайно весел и дружелюбен». Это еще раз доказывает сколь мало чувств вкладывал Пушкин в фигуру светского танца, одновременно требуя строжайшего исполнения всех его па. Письмо к Натали так никогда и не дошло, поэт просто порвал его, после того как формальности были соблюдены.

Соллогуб в это же самое утро уехал из Москвы.

Итак, весна 1836 года выдалась ранняя, уже в апреле было сухо и тепло. Все зацвело дружно, разом, особенно липа и сирень. Думалось, наступит благословенная жаркая пора, но лето шло на редкость дождливым. Тучи кружили и кружили над парком, проливаясь холодным дождем, будоража листву. Пруды кипели в струях воды; все блестело, переливалось водяным муаром, а когда выдавался солнечный ранний час, нестерпимо резали глаз миллион брильянтов. Парк не успевал просыхать, небесное окно скоро закрывалось, и вновь на кирпичных аллеях начинали куриться туманные столбы. Краски редких цветов размылись, поблекли под ливнями. Только дикая роза горела неопалимым влажным огнем морщинистых ало-фиолетовых цветков и робко пахла сквозь влагу. Казалось, куст моргает — от капель в лицо. Весь июнь и июль шли дожди. Особенно хмуро было в столице и, пожалуй, только один человек был рад такому осеннему ненастью. Октябрю в разгар лета. «Теперь моя пора!» Вдохновенье клубилось, он писал любовную историю Гринева на фоне пугачевского бунта. Работа спорилась, а только то, что писалось легко, и было от бога. Снятая дача на Каменном

острове взята в кольцо пустоты и одиночества. Все три сестры — Натали, Катрин и Алекс изнывали от скуки.

Все лето на островах тишина — идут маневры.

Но вот 1 августа сестра радостно пишет в письме: «Завтра все полки вернутся в город, потому скоро начнутся наши балы. В четверг мы едем танцевать на воды».

4. Капитанская внучка

К середине девятнадцатого века парк обрел те черты, которые уже дошли до нашего времени... окраины парка были отданы елям, любимому дереву Петра. Здесь царил сумрак и та особенная тишина, какая свойственна еловым лесам, где голос глохнет в навесах елочных лап, а шаги тонут в пружинной земле из слоя сухих иголок. Зной-ный запах душит малейший оттенок. Узкие расщелины-аллеи, не давая взору простор, шли в даль. Иногда еловая просека расступалась, образуя круглый партер, или род опушки, обсаженной по краям пирамидками вереска. Такой вход готовил сердце к сумраку и теснинам, еловые аллеи прятали парк, который и далее виделся путешественнику таким же тихим и темным. Тем более неожиданными были внезапные виды. Они караулили взоры, а пока шла грубая земля, аллея была умышленно неухожена, сморщена еловыми корнями, изъедена дождевыми протоками... И тем более гладкими казались утрамбованные дорожки битого красного кирпича вокруг прудов, аллеи из просеянного речного песка. Уж они-то выравнивались после каждого дождя. В теснинах еловых пирамид днем небо виделось узкой серебристой рекой, а ночью — дном звездного ущелья. Все еловые аллеи — веером — сбегались в один узел, где ель внезапно отступала, давая свободу царству стриженых декоративных кустов. Выходя из сумрачного тоннеля, путешественник вдруг осознавал объем пространства. Прямо перед ним расстилался парковый простор, где среди ровных кустов жимолости и чубушника вспухали живописными группами густо-зеленые холмы сирени, магнолии, жасмина и, забрызганные алыми цветами бугры роз. Сухую прямизну аллей сменял живой игривый серпантин случайных тропинок, только центральная аллея продолжала движение напрямик к загородному особняку, выстроенному в стиле русского классицизма: двухэтажный портик с античными колоннами, треугольный фронтон, изящный бельведер, увенчанный шпилем и две крытых галлереи — слева и справа — ведущих к двухэтажным флигелям, от которых, в свою очередь, отходят прямые короткие стены, образуя каре.

Путь путешественника через парк продолжается, чем ближе к особняку, тем больше чувствуется рука человека. Игра света и тени сменяется игрой цвета и блеска. Кое-где посреди зеленого партера сверкают мелкие овалы воды, окольцованные камнем. Махровую киноварь роз, гладкую мраморность лилий оттеняют и подчеркивают полированные узкие листы жимолости. Груды желтых садовых ромашек смотрятся ярче и спелей на фоне мелкой низкой травы бесконечного газона. Огибая дом, путешественник вновь переживал волнующую смену панорам, перед ним, с высоты верхней террасы, открывался пологий травяной спуск к нижнему парку, к роскошной вольности в английском стиле: на широком пространстве естественными группами росли исполинские сосны вперемешку с кленами и вязами, высоченные лиственницы, охваченные пожаром зеленого пушка, притягивали властно взгляд дубовые купы во главе с великаном, поднявшим к небу целую рощу веток, стволов, листвы. Все дышало спокойной волей. В разрывах дерев лежали широкие солнечные пространства. Склоны были залиты лесными цветами: золотом лютика, кровью горицвета, сухой белизной нивяника. Стволы дерев касались взгляда самой разнообразной поверхностью: лоснистой белизной берез, розовой чешуей и желтой шероховатостью сосен, черной корой ясеня, голизной дубовых сучьев. Купы то приближались к лицу крупной кленовой резьбой, то убегали вдаль светлой рябью ажурных листьев рябины, брызгами липовых шапок, плотными мазками тополиных высей. Сердце путешественника чувствовало и дикость пейзажа и его глубокую гармонию. Игра светотени была так богата оттенками, что напоминала волнующуюся поверхность моря. Рука художника, сколь ни была она деятельной, осталась незаметной, а совпадение души с природой заставляло сильнее биться сердце. Думалось тоже легко и свободно, тревоги и страхи отступали. Парк омывал вояжера сухим водопадом теней, озарял лицо зеленым лучом. Шаг замирал, чтобы не мешать водопою глаз. Гармоничный хаос нижнего парка замыкали в незримую раму излучина реки и цепочка прудов-зеркал на нитке светлого серпантина. А дальше взор путешественника бежал по холмам и перелескам, полям и пашням, под брюхами тучек — в рубиновую щель заката на горизонте, и все это было полно колыхания, мягкого шума, который ухо как бы и не слышит. Природой правит воображение, ее черты смягчены улыбкой... но пора, давно пора пустить любовь под эти своды.

Наконец, путешественника окликнули из белой беседки.

К этому времени колесо Фортуны еще раз повернулось в судьбе парка, и теперь он принадлежал вдове генерал-аншефа князя Ивина, и это его приемная дочь — Катенька — окликнула сейчас нашего путешественника из беседки «билье-ду».

Путешественником был молодой человек, недоучившийся студент Петербургского университета Петр Васильевич Охлюстин, сын бедного мелкопоместного дворянина Василия Петровича Охлюстина. Вот уже больше года Катенька и Петр Васильевич любили друг друга и признались в чувствах, но между влюбленными сердцами лежал глубокий ров самых сложных и неприятных обстоятельств.

Сначала о Катеньке.

Ее дед, капитан Лавр Кузьмич Милостив, был награжден золотым именным оружием за храбрость под Лейпцигом в 1813 году. В том же бою он спас своего соратника по полку и однокашника по Пажескому корпусу, в ту пору тоже капитана Аркадия Осиповича Ивина. При этом капитан Милостив был тяжко ранен и так до конца своей короткой жизни не оправился от тяжелого ранения. Судьба его вообще сложилась несчастливо. Выйдя в отставку, он рано потерял жену, сам ростил дочь, жизнь которой тоже не удалась. На двадцатом году ее соблазнил какой-то великосветский повеса и бросил, оставив с ребенком на руках. Хрупкая женщина не выдержала беды и потеряла рассудок. Контуженный капитан остался с внучкой и престарелой матерью. Состояние его тоже оказалось расстроенным. В отчаянии он обратился к князю Ивину с просьбой не оставить без помощи ребенка в виду того, что сам стоит одной ногой в могиле. Бездетный холостяк Аркадий Осипович принял заботы о девочке на себя, а после смерти несчастного капитана, удочерил семилетнюю Катеньку (как раз в тот год он приобрел Ганнибаловку с парком и занялся гражданской жизнью, выйдя в отставку) и дал ей прекрасное образование. Казалось, над бедной девочкой взошла счастливая звезда — она стала наследницей титула и большого состояния, расцвела, обещая со временем превратиться в настоящую красавицу. И вдруг — бес в ребро! — на старости лет вечный холостик князь женится на молодой писаной красавице Анне Дмитриевне Карнаковой, а вскоре — Катеньке только исполнилось пятнадцать лет — от страшного апоплексического удара уходит из жизни. Молодая вдова Анна Дмитриевна Ивина осталась с юной падчерицей на руках, которая была моложе ее всего на четыре года и годилась скорее в компаньонки, а не в дочери. Но это еще не все. Средства, оставленные мужем, поступили в полное распоряжение мачехи. Покойник не успел распорядиться о доле приемной дочери в наследстве и ее приданом, он, конечно же, рассчитывал дожить до ее совершеннолетия. Словом, Катенька осталась практически без гроша. Но дело было совсем не в этом. Красавица-мачеха была человеком широкой натуры, к своему положению «матери» относилась насмешливо и не собиралась ущемлять падчерицу ни до, ни после замужества. Будущее капитанской внучки было вроде бы обеспечено... Быстро стряхнув траур, молодая вдова погрузилась в перипетии светской жизни, между прочим, думая о вторичном замужестве. И такой жених, через годполтора, нашелся — это был полковник барон Орцеулов, тоже бездетный вдовец, богач, храбрец и удачливый карточный игрок. Молодая вдова Анна Дмитриевна полюбила его первым подлинным чувством, он отвечал ей взаимностью, мимоходом мачеха познакомила жениха с падчерицей, все, казалось, шло к браку, и вдруг барон совершенно увлекся семнадцатилетней Катенькой. До этого момента мачеха держалась с ней как с приятельницей, доверяла ей секреты, ходила под руку на петербургских балах, привлекая всеобщее внимание, и вдруг, прянувшая необычная красота падчерицы заслонила ее собственный успех у мужчин. Для избалованной красавицы это было громовым ударом. Ничто она не переживала так мучительно, как это открытие; а то, что сам Орцеулов внушал Катеньке неприязнь не делало ее мук легче, скорее наоборот. Барон совсем потерял голову и даже сватался! Конечно, ему было отказано. Счастье Анны Дмитриевны расстроилось, свет смаковал ее поражение, во всем она винила падчерицу, судьба которой — мачеха это вдруг поняла — оказалась полностью в ее руках; мучительно, не признаваясь себе самой, Анна Дмитриевна принялась мстить. В самый разгар первых светских успехов Катеньки мачеха увезла ее в новое имение, ссылаясь на нехватку средств. Прежде она никогда не считала деньги и презирала столь низкий предмет. Скупость стала одной из личин ее отчаяния, втайне Анна Дмитриевна продолжала любить неверного баловня-барона. Год они прожили уединенно, ограничивая круг знакомых помещиками-соседями, тем самым упускалась наивыгоднейшая пора девичества. Цветущей красотой Катеньки любовался только старый парк да женатые толстяки-соседи. Но ждать, пока плод просто перезреет, Анна Дмитриевна не собиралась, ее месть была задумана намного тоньше: она мечтала заставить девушку пережить то же самое, что испытала сама,— внезапную перемену чувств в любящем человеке. На роль счастливой соперницы она смело готовила себя. Надо сказать, что мачехе хватило ума скрыть свою драму и снова приручить к себе Катеньку. Наконец Анной Дмитриевной было найдено подходящее орудие — молодой мелкопоместный дальний сосед-помещик Петр Васильевич Охлюстин.

У Петра Васильевича история тоже была непростая: подавая блестящие надежды студентом Петербургского университета, он был вынужден внезапно оставить учебу

и вернуться в имение к матушке, которая прислала отчаянное письмо. Неразумные траты, дамское руководство небольшим хозяйством, два неурожая подряд привели к тому, что заложенное имение было просрочено и должно было пойти с аукциона. Любимый сын, воспитанный матерью в духе сыновьего почтения, бросил университет и вернулся спасать имение и старость матушки. Это был умный и твердый человек, который сделал все, чтобы удержать владение, где мелкими займами, где оборотами, где продажей леса. Эта борьба с призраком разорения была тем более обидна, что его троюродные братья, с которыми прошло детство, закончив Царскосельский лицей, смело шагнули в столичную жизнь. Такое неравенство было следствием того, что их отец, троюродный дядя Петра Васильевича по отцу, круто ушел в облак славы и богатства, став тайным советником и придворным банкиром. Деньги идут к деньгам. Имея порядочное состояние, дядя еще и разжился на строительстве второй русской железной дороги между двумя столицами, старой и новой. Почему он не протянул руки помощи жене своего покойного двоюродного брата? Хотя бы из-за памяти деда? Ответ на это был заперт в железном сердце. Мать несколько раз униженно обращалась к нему за помощью, но получала в ответ только холодные советы по ведению хозяйства, после чего перестала писать. Так, в унизительных хлопотах, в распоряжениях по посеву и молотьбе, проходила жизнь молодого человека, который не успел даже прожить собственную юность.

Зная характер падчерицы, ее жалостливое романтическое сердце и учитывая нежную красоту Петра Васильевича, Анна Дмитриевна рассчитала, что после знакомства они полюбят друг друга,— так и случилось. Что еще оставалось двум молодым одиноким душам? К тому времени мечта мачехи отомстить на свой лад остыла, сам факт, что красавице Кате досталась столь не блестящая партия, был достаточен. Предугадывая скорое сватовство, она уже собиралась сбыть бесприданницу с рук (без приданого — тоже было решено), но тут случился новый поворот, устраивая бедное счастье капитанской внучки, Анна Дмитриевна внезапно испытала к Петру Васильевичу темную страсть. Это была не любовь, а почти животная тяга, которая вновь подхлестнула тайные чувства к падчерице, красота которой в эти счастливые дни совершенно затмила мачеху. Она не захотела отдавать Охлюстина, хотя и не могла решить, что с ним делать. На сватовство Петру Васильевичу было отвечено неожиданным отказом, и это после столь длительного поощрения! Катеньке же было объявлено, что средства мачехи в столь плачевном состоянии (ложь), что поправить их можно только выгодной женитьбой и что, «пожертвовав счастью Кати своей молодостью», Анна Дмитриевна вправе ждать от нее благородной жертвы не требовать приданого (теперь оно опять появилось). Это был сильный аргумент, и он подействовал на честное сердце. Кроме того, Катенька была не из тех, кто жертвует жизнью ради любви. Но кто упрекнет ее в этом? Она смирилась. Срочно принялись искать жениха, и он был найден, и снова это был холостяк, причем записной холостяк отставной майор Полыхаев, не очень старый человек, губернский чиновник с крепким состоянием, решивший сменить холостяцкую планиду на семейное счастье. Мачеха объявила о предстоящей помолвке, о чем Катенька послала записку с дворовым человеком за двенадцать верст в Охлюстино. Она не смогла справиться с порывом отчаяния.

Петр Васильевич оседлал любимую лошадь, солового жеребца Яхонта, и ближе к вечеру прискакал к возлюбленной. Из записки он уже знал, что мачехи дома нет. Оставив лошадь у боковых ворот, он — путешественником — вошел в парк, где не был почти год, он шел, не удивляясь количеству перемен, сделанных в парке, новым цветникам, стриженым куртинам, беседкам — все говорило о полном избытке средств... тут-то его и окликнули из павильона «билье-ду».

Катенька была в слезах, она еще больше похорошела за то время, что они не виделись. Несчастья многим к лицу. Влюбленные объяснились. Она спрашивала о чувствах Петра Васильевича, и тот отвечал, что они неизменны, что он любил и любит ее одну. Тут она сказала о скорой помолвке с Полыхаевым. Ослушаться мачехи ей просто в голову не приходило, так как это было противу правил середины прошлого века. Насилие, скажете вы, и ошибетесь, брак светской женщины по-прежнему не считался браком любви, а числился чаще по ведомству делового партнерства. Поэтому брак с нелюбимым Катя не считала изменой своему чувству к Охлюстину, она так и сказала, но Петр Васильевич отчаянно воспротивился. Он горячо умолял любимую бежать из дома, тайно обвенчаться, и бог с ними, с малыми средствами! с милым рай и в шалаше, лишь бы только она решилась жить намного скромней. Катя сначала испугалась, затем мало-помалу его доводы и поцелуи сделали свое дело, и она согласилась. Условились на следующую неделю, на пятницу, в полночь. Катенька должна была выйти в легком платье без вещей к боковым воротцам в конце еловой аллеи. Слезы на Катином лице высохли, молодая душа снова видела все в розовом свете, счастливые, они вышли из беседки погулять по парку, не обратив слух на подозрительный шорох в кустах бузины у ступеней из павильона.

Тайна их сговора была известна Анне Дмитриевне уже через полчаса; разумеется,

из дома она никуда не уезжала, это была ложь, а выехав в екипаже из парка, оставила коляску с форейтором и лакеем в укромном месте, пересела на меленькую чистокровную арабскую лошадь и принялась — амазонкой — скакать по окрестностям. Еще с вечера подкупленный дворовый человек, доверенное лицо ее падчерицы, сообщил хозяйке о том, что им получена записка и назначено скакать рано поутру к помещику Охлюстину. Записка была ловко распечатана и прочитана. Утром Анна Дмитриевна сделала вид, что уезжает в церковь, оттуда заедет на Ижорские воды выпить целебной воды и вернется поздно вечером. Катя успела перехватить своего человека и сделать приписку о том, что «маман» весь день не будет. Птица залетела в силок, и ловушка захлопнулась. Покатавшись по окрестностям, амазонка вернулась к оставленному экипажу. Дворня доложила, что помещик Охлюстин уже час, как прискакал и привязал свою лошадь у коновязи, что у боковых воротец, там, где часовня Нечаянныя радости, что птички воркуют в беседке, где в кустах таится дева Анисья и все выслушивает, как велено. Амазонка Анна Дмитриевна решила покушать. Легкий обед был подан по-пейзански, тут же на лужайке. Вскоре прибежала Анисья и нашептала барыне все, что слышала, и, главное, об уговоре тайно венчаться. Анисье было жалко молодых, но ослушаться она не посмела. Анна Дмитриевна торжествовала: помешать побегу, ославить неудачного похитители... а этом было так много романтического (на ее вкус). Вот тут-то и внес свою первую поправку в злую интригу парк. В тот момент, когда бедный Петр Васильевич называл день и час тайного бегства под венец, кусты бузины вдруг так бестолково зашумели под ветряной струей, что Анисья не расслышала «пятницу», а более поздние слова плачущего Охлюстина: «В субботу мы будем свободны» приняла за срок. Одним словом, день побега она сообщила хозяйке неверно, на сутки позже намеченной полночи.

Что за порыв ветра потряс бузину в ту счастливую минуту? А может быть, до парка, до беседки «билье-ду» долетел порыв судьбы, эхо того рокового августовского залпа в Крыму 1855 года, который решил судьбу двух молодых людей, плачущих в беседке?

Покушав, Анна Дмитриевна вновь оседлала изящную лошадку и — Дианой — поехала а парк, насладиться испугом влюбленных.

Катенька тем временем показывала Петру Васильевичу нижнюю — английскую, пейзажную — часть парка, они первый раз были здесь одни, и никто не мешал капитанской внучке говорить о том, что в душе. Оказывается, она особенно любила эти уголки и даже дала свои прозвища самым заметным деревьям. Так, громадную корабельную сосну, которой по пояс были сосны-соседки, она назвала «одинокой мачтой». Один вертлявый, перекрученный в талии вяз Катя окрестила «галантиром» (от фр. galant — обходительный). И действительно, он напоминал ловеласа. Влюбленные тихо смеялись. Густую кучку клеиов, растущих по-английски от «одного корня», или веером из одной точки, она назаала «семеро братьев», а упавшую аркой березу — «викторией» — потому что, оперевшись на землю, ствол снова неожиданно и победно шел вверх и там, в вышине, распускался ветвистой кроной... а еще «нимфа» (об иве), «дуэлянты» (липа, упавшая на другую, но так, что обе продолжали расти) и, наконец, Перикл. Этим прославленным именем из греческой истории она назвала величественный дуб, с двумя мощно поднятыми в небо ручищами. Было что-то страшно человеческое в этом застывшем жесте, словно бы дуб поднял над головой-кроной невидимый меч двумя руками. Катя сама не знала, как тут угадала, ведь это был праправнук той первой язческой рощицы, посвященной Перуну... Перикл — это Перун.

Тут на тропе под дубом и настигла их верхом Анна Дмитриевна. Влюбленные были поражены, растеринны. Петр Васильевич был гневно отчитан, ведь он обещал оставить падчерицу в покое; ему было отказано от дома, а Катя отослана в комнаты.

Через неделю, в назначенную полночь, когда девушку никто не стерег, она вышла со страхом из спальни в дорожном платье, взяв с собой всего лишь одну легкую картонку с самым необходимым. Идти сквозь полуночный парк по ледяным от луны дорожкам было жутко. У малых воротец ее никто не ждал. Она была в полуобмороке, как вдруг из черной чащобы вышел ужасный человек без зубов и подал ей письмо от Петра Васильевича. Она вскрикнула. Дворовый человек что-то шамкал ей вслед, но она не слушая бежала назад вся в слезах. Ей казалось, что случилось что-то роковое, мерещилась чуть ли не гибель любимого. Собрав все свое мужество, она тихо прошла сквозь чуткий дом обратно в спальню и там, плача, распечатала бумагу. Охлюстин детским своим почерком писал, что его срочно вызвали в Петербург. Зачем — не знает. Что вернется как можно скорее. По дате было видно, что он отъехал уже как четвертый день. Она проплакала всю ночь; ни к завтраку, ни к обеду не выходила, сославшись на мигрень. Мачеха думала, что это уловки перед побегом, но назначенной ночью ничего не случилось. Около часу она вдруг ворвалась в спальню падчерицы, та не спала и встретила взгляд Анны Дмитриевны спокойно, даже насмешливо. Разговора не было. Утром, за завтраком, «маман» снова заговорила о скорой помолвке.

Месяц от Петра Васильевича не было никаких известий, и с пылом юного сердца Катенька решила, что все кончено. Она похудела, даже пожелтела, но опять красоты ее

нисколько не убавилось — наоборот, она полыхала еще ярче, как жар в углях. Осень началась рано, и весь день девушка проводила наедине с парком, она шла от «галантира» к «семи братьям», затем сворачивала к «одинокой мачте», и ей становилось легче, словно в листопаде слышался нежный шепот Петра Васильевича. Катенька не придала никакого значения известию о падении Севастополя. Крымская война для нее шла на том свете. А между тем случилось вот что: в августе во время последнего штурма севастопольской твердыни англо-франко-турецкой армией в одном бою были убиты пушечной бомбой троюродные братья Петра Васильевича, поручики Константин и Георгий. Ужасная весть об этом так поразила их престарелого отца и троюродного дядю Охлюстина, что тот слег и больше уже не встал. Нужно было решать, кто станет наследником основного капитала, владельцем нескольких имений и дворца на Кронверкском проспекте. Оба сына были женаты, но брак старшего был бездетным, а у младшего перед самой Крымской войной родилась дочь. Умирающий хотел вручить судьбу фамилии в мужские руки, но... о, смех Немезиды, единственным носителем имени Охлюстиных оказался Петр Васильевич. Он и был срочно потребован к постели умирающего. Кстати, банкир-дядя все-таки оценил про себя послушание сына, оставившего университет и свою судьбу ради благополучия материнской старости. То, что ему удалось удержать разоренное имение и выкрутиться самому, тоже было отмечено холодным глазом дядюшки. Одним словом, перед смертью старик ввел в права основного наследника Катенькиного суженого Петра Васильевича, который разом стал одним из самых блистательных женихов империи.

Первой об этом узнала мачеха Анна Дмитриевна, которая перехватила петербургское письмо Охлюстина. В нем Петр Васильевич круглым почерком потрясенно и нестройно излагал свои внезапные обстоятельства, клялся в любви, обещал быть к Покрову, просил скорый ответ. Мачеха была поражена этой молнией, зависть, ненависть, темная страсть к счастливцу, ревность довели ее до кровотечения из носа. Письмо было изорвано в клочки, а из соседней Лысановки был срочно вызван Катин жених отставной майор Полыхаев. В мрачной сутолоке чувств Анна Дмитриевна решила как можно быстрей обручить несчастную падчерицу, пока никто ничего не узнал. Но легко сказать обручить, если еще не было помолвки. Помещик Полыхаев приехал на следующий день, между ними состоялось объяснение, моложавый старик был одобрен, предстояло только окончательно объясниться самим молодым. Мачеха оставила их вдвоем, Катенька с Полыхаевым вышли в парк. Стоял чудесный день бабьего лета, тон задавали малиновые пятна сентябрьской осины, сад был омыт ласковым сиянием неба. Как ни был взволнован бодрый старик, он все ж таки заметил, что на Катеньке лица нет. На ней было простое платье с кружевным воротничком, из которого торчала худенькая лилейная шейка, Катенька не знала, куда спрятать свои беспокойные руки, и беспрестанно поправляла капор, торопливо повязанный шелковым шарфиком. Фарфоровая белизна щек подчеркивала бескровные искусанные губы и огромные черные глаза, полные больного сухого блеска. Нельзя сказать, что Полыхаев был каким-нибудь романтическим чудовищем, нет, это был честный человек и он искренне считал, что в его сватовстве нет ничего ужасного. Ведь он брал бесприданницу, сироту, вручал в ее руки свою честь, судьбу и круглое состояние, которое обеспечит ее будущее и после его смерти. В его поступке была своя правда... но сегодня на влюбленного старика накатил особый стих, что-то похожее на стыд и раскаяние охватило его ум при виде печального женского лица, при виде благородной красоты парка и, особенно, одинокой гордой сосны вдали, чей образ невольно настраивал на душевную честность, чья величественная крона говорила о величии и гордости человеческого духа, чья зелень зеленела назло стихиям. А ведь когда-то и он был молод и мечтал о том, что было стыдно вспоминать, о славе... здесь лежит Полыхаев... Красота молодой женщины и царственность пейзажа кровью прихлынули к лицу отставного майора и, остановив Катеньку рукой, он в порыве великодушия спросил о том, что у нее на душе? Катя в ответ расплакалась и все рассказала. Старик был растроган и ее откровенностью, и судьбой несчастных влюбленных, и собственным благородством. Он как бы не помнил сам себя. Он поклялся сделать все для ее счастья и, вернувшись, решительно сказал помертвевшей Анне Дмитриевне, что отказывается от своего предложения из-за нежелания мешать счастью Катерины Лавровны, что решил взять на себя заботы о ее приданом и прочие денежные нужды. Кроме того, он сказал мачехе неприятные слова о том, что, если бы был жив покойник генерал-аншеф Ивин, его приемной дочери не пришлось бы начинать жизнь в нищете и носить заштопанные перчатки; с тем благородный пылающий старик и укатил.

На этом неприятности Анны Дмитриевны не кончились, на следующий вечер прибыл из Петербурга нарочный Петра Васильевича, холодный настойчивый молодой человек, он объявил, что состоит при особе Петра Васильевича секретарем по особым поручениям, сказал, что доставил письмо к барышне Екатерине Ивиной и потребовал немедленного свидания, добавив, что у его патрона появилось подозрение о том, что посланное ранее письмо ей нарочно не передано. Тут же он пояснил о переменах в судьбе Петра Васильевича. К счастью мачехи, падчерица в этот день была нездорова и отошла ко сну раньше обычного. Насилу ей удалось остановить пыл молодого секретаря и убедить его дождаться утра. Поднявшись в кабинет, она взяла себя в руки и мрачно решилась на отчаянное средство—сказать падчерице, что якобы между ними была une liason (связь), и что именно это было настоящей причиной сопротивления браку ее с Охлюстиным. Она знала, что мужчине никогда не оправдаться от такого «самообвинения» женщины...

Ревность к Катеньке сделали Анну Дмитриевну игрушкой в руках самых черных и низменных чувств. Толкнув дверь в спальню падчерицы, которая читала в постели, она с дьявольской убедительностью рассказала эту лживую интригу, страстно смакуя оттенки *их* грехопадения. В этот темный миг она обладала Петром Васильевичем. Катя не хотела слушать, заткнула уши и упала в обморок. Что-то вроде раскаяния шевельнулось в уязвленном сердце—дав падчерице нюхательную соль, мачеха вышла в судорогах противоречивых чувств: злорадства, стыда и божьего страха. Обычно перед сном она гуляла, даже в ненастный вечер распоряжалась закладывать экипаж и каталась по любимой круговой аллее в нижнем парке, подняв каретное стекло. Так было сделано и в этот раз, экипаж тронулся в тот миг, когда по земле забарабанили первые капли дождя. Над головой проходил край ночной грозы, деревья дружно волновались осенними кронами. Вихри листопада мчались в темноте. Только один дуб не хотел сбросить листву, и по его кроне ходили темные буруны, крутились глубокие воронки. Лошади испуганно всхрапывали при бледных сполохах далеких молний, гром долетал с большим опозданием. Анна Дмитриевна придерживала рукой поднятое стекло и дышала сырой свежестью. Бурление парка, редкие брызги дождя, черное кипение лунных небес, ломаные зигзаги на горизонте — все это было в рифму ее клокочущим чувствам. Внезапно в вышине что-то треснуло, кони понесли и опрокинули экипаж. Форейтор с трудом вытащил госпожу из кареты и понес на руках к дому. Осколки каретного стекла изрезали ей лицо. Лоб, щеки, шея были залиты кровью. А виной всему стала исполинская ветка дуба, которую обломило ветром в тот роковой момент, когда экипаж проезжал мимо, ветку — величиной и весом с небольшое дерево — швырнуло на лошадей, кони понесли, остальное известно.

Ночью же привезли доктора, он вынул из лица несколько больших и мелких осколков.

Случившееся до глубины души потрясло Анну Дмитриевну; уверенная, что ее красоте пришел конец из-за обилия порезов, в мрачном мнении, что сие есть наказание свыше, в состоянии полного поражения, она ранним утром вызвала падчерицу к постели и во всем повинилась.

— Что вы хотите от меня, низкое чудовище?! — воскликнула измученная Катенька.

После этого она уехала с секретарем к Петру Васильевичу в Петербург, и больше они не виделись никогда, до конца жизни...

Брак капитанской внучки с Охлюстиным сложился счастливо, но это уже другая история. Страхи Анны Дмитриевны насчет красоты оказались напрасными. От той роковой ночи на ее лице остались три еле заметных белых отметинки: две около носа и одна на брови. Избавившись от блеска падчерицы, она вскоре вышла замуж за дипломата Льва Труворова и прожила остаток жизни за границей. Умерла вторыми поздними родами. Первенец ее — Аскалон — приехал в аннибаловское имение впервые в жизни в 1881 году, весной, когда отец оставил дипломатический пост и вернулся из-за границы на родину. Это свидание с парком произошло вскоре после казни императора Александра II народовольцами. Над весенней зеленью вновь стояли мартовские иды.

История мачехи и падчерицы — последний сюжет XIX века. Развитие общества и характеров в то время легко слагалось в романы. Но романное время длилось недолго, на смену эпике явилась бойкая орава осколков, жизнь умещалась в эпиграмму и эпитафию. Судьбы не имели критической массы и не вырастали в ветвистое дерево... до следующего *сюжета* прошло почти сто лет.

5. Вид на идеал

Если бегло бросить взгляд на всю историю отечественного парка, то мы легко заметим, что пейзажные стили находятся в прямом соответствии с манерой править. Настаивая на том, что наша государственность со времен Екатерины подчинялась не столько историческим законам, сколько эстетическим нормам (от вида подданных — к формам трудовых масс, от эстетики частного низменного — к тотальному эстетизму власти, направленному исключительно на состояние духа) мы и выбрали для примера наш вековой парк, на котором легко и наглядно видно как проходят *по живому* волны

жизни и нормативной эстетики, гребни и ножницы мысли. Но почему именно парк? Тут есть один секрет — начиная с Эдема, парк — это всегда вид на идеал. Парк Аннибала — вид на идеалы отечества. До Петра эта местность никак не выделялась из природы, это был лес Московии, где ограда не имела никакого значения (монастырский парадиз не в счет; это был сад, а не парк). Весь мир — храм и вертоград господень! Было в этом что-то от язычества, хоть христианство и настаивало: природа — не бог. Петр объявил натуру дикой чащей, в которой нет ничего полезного. Первый российский парк — Летний сад — был не просто официальным парком, он был наглядным образцом новой жизни, зерцалом истинной красоты. Истинной тогда означало — современной. За эталон были взяты голландские воспоминания царской младости, а план монаршего огорода (слова «парк», от английского park, в нашем языке еще не было) набросал сам Петр. Это было пышное барочное пиршество для глаз, с рядами отборных лип, каштанов, с обилием беседок и водяных потех, с массой скульптуры при поучительных надписях... Но целью и сюжетом этого огорода меньше всего были эти липы и эти потехи — мишенью был только человек, его стрижка и правка по новому лекалу. Натура играла роль боярской бороды, ее требовалось оголить, и Летний сад был прежде всего наглядным пейзажным уроком гражданского поведения. От человеческого пейзажа (читай — общества) требовались польза, читаемость формы, нерусскость вида. Парадоксальным образом петровский панегирик России стал кульминацией нерусскости, но эстетика тогда еще не погоняла историю. Форма и содержание были в общем уравновешены. Благодаря Петру Россия стала первой осуществленной утопией в Европе и больше с этого пути не сходила. Одна утопия сменяла другую. А в утопии, заметим, экономические законы имеют меньше прав, чем, скажем, эстетические: она живет по законам красоты.

«К середине XVIII столетия,— пишет историк ландшафта,— регулярность вышла из моды, настал черед пейзажного парка, где все делалось для того, чтобы создать иллюзию естественной, не тронутой руками человека природы».

Стоп!

Не слишком ли быстро и впустую мелькает перед глазами столь драматичная смена штиля — стилем, огорода — парком, человека — гражданином... Невская и отечественная стихии научили нас чувству юмора и иронии. Да-с. Под угрозой постоянной гибели и потопа к тому же Летнему саду нельзя было относиться слишком всерьез. Наш город-тритон породил особую стихию шутовства, шутовства царского, стихию насмешек над собственным оевропеенным азиатством. В Европе глупости стыдились, у нас дурость державно признавалась. И вообще Европа всегда для Расеи была родом пробного шара, колобком, по которому сверялось собственное движение: цыц! туда не должно. Не постепенно, а сразу в идеологические сады новой империи, в Летний и Петергофский, проникли разного вида шутихи, обманные перспективы, водяные розыгрыши. Их обилие чисто местная черта. На всем просторе Версаля не было местечка, где б король мог оступиться и полететь кувырком. Здесь — пожалуйста. Потайной фонтан смело прыскал в лицо царя, который наслаждался мгновением собственного ничтожества. Нет ничего слаще для монарха, чем короткий маскерад; возвращение к власти, видимо, ни с чем не сравнимое чувство. Итак, после Петра вышли из моды не регулярные сады в духе помпы барокко, вышла из моды история, надличная *память* и ее парковая муза — садовые ножницы.

Смех стал звучать глуше, потому что разом потерял остроту. Маскарадная личина прирастала к лицу, обманная перспектива приобретала черты большой политики.

С учетом отечественной инерции и кондовости, о смене идеалов было объявлено через рескрипт; сверху — значит свыше. «Повелеваю,— писала Екатерина II в указе от 1771 года,— о сломе и впредь не делании трельяжных беседок и крытых аллей». Известный авантюрист Казанова, забредши в Летний парк в те годы, с удивлением обнаружил, что статуи и бюсты уже не служат образованию, что дело Петрово в пренебрежении, раз у бюста длинно-бородатого старца написано на табличке: «Сафо», а у статуи старой грудастой матроны обозначено: «Авиценна».

Смена стилей шла под смех Немезиды.

Это был шутливый ветерок рококо, который шаловливо перетасовал историческую колоду, на смену философскому уединению пришло любовное, вдвоем; мраморные лики героев сменили бархатные полумаски; имя — анонимность, верность — ветреность. Царили не история и уроки примеров, а воображение и наука любезничать. При всем увлечении Францией, она была только лишь платоническим чувством нашей истории, никогда любовницей, тем более — женой. «Французская болезнь умертвила б нашу отроческую словесность»,— снова и снова предостерегал Пушкин (из письма к Вяземскому), «влияние английской поэзии будет намного полезней» (из письма к Гнедичу), и эти реплики были услышаны задолго до рождения поэта. Петр успел все разрушить и все начать, Екатерина все кончила. Именно при ней воцарилась свобода гражданских пейзажей, английские парки, где единственным гарантом свободы была власть. Вот суть второй поправки к Витрувию.

Эпиграфом к Екатерининскому ландшафту можно поставить известные слова Горация Уолпола о садовнике-теоретике Уильяме Кенте: «Он перескочил через садовую ограду и увидел, что вся природа — сад». Применительно к Екатерине, эти слова будут звучать так: «Она подошла к садовой ограде и увидела, что вся ее природа — сад». Сады Екатерины требуют самого тщательного взора. Принять свободную планировку, роскошь нарочитой вольности за суть русского английского парка было бы ошибкой. Урок английского либерализма, перенесенный на отеческую почву, имел свои особенности. Дело ландшафтной свободы было прочно взято под эгиду власти — столь важные идеи не могли быть доверены любителям. Государственным образцом свободы стал новый Екатерининский парк в Царском Селе. Если ближе к дворцу следы регулярности еще сохранялись, а трехзеркальный пруд (круг посреди двух мусульманских полумесяцев) являл собой аллегорию русской победы над Турцией, то далее лицейские сады ширились без насилия. Но царскосельские сосны и липы, имея точно такой же внешний вид вольности, как и английские, по существу, были не деревьями, а все теми же аллегориями. Аллегориями свободы, дарованной свыше. Душа гуляющих подчинялась абсолюту триумфа в вадушевной форме интима. Велеричивой петровской риторике давалась иная огранка, хотя суть — панегирик власти — осталась без перемен. (Не свободный рост дерева, как очевидный символ свободного роста индивида, а свободный рост дерева, как наглядное воплощение возможности абсолютной свободы при абсолютизме! Снова и снова благословлялась независимость формы от содержания.)

Первая роль отводилась искусству.

Оно продолжает начатое природой, скрадывая свое вмешательство.

Анонимность власти при этом поощрялась.

Власть и искусство идут под руку.

Этот союз — ради ближних, или подданных.

Наконец, только искусство признается средством перетворения жизни, а не революция, не просвещение, не закон, не экономика и прочая низменность. Но искусство особого рода, искусство как стройства, например, гражданственность понималась еще и как род откровенного публичного самообмана, патриотизм как обожание власти, критерием которого становится, например, отсутствие ложной стыдливости в выражениях этого чувства. Экстаз всего лишь быт государственности, живущей отныне по законам эстетики. Отсюда такая роль впечатления: о желании Екатерины сделать наставником наследника — Павла — великого д'Аламбера раструбили газеты по всему миру. Правда, наставником был другой — но дело не в сути, а в форме.

Идеалы садовника на этот раз как бы вполне воплощали вкусы гуляющей публики, степень очеловеченности природы была сведена к нулю, и натура в нетронутом виде впускалась в парк, но вольность такого вида и в этом случае подавалась как образец полной свободы Флоры и Помоны при наличии абсолютного божьего Промысла. Сюжет кардинально сменился, теперь игнорировалась не природа, а... власть. И на доказательство этого патетического самоотречения были (деспотически) брошены внушительные силы: в Царскосельском парке работало чуть ли не полтысячи садовников, стволы деревьев мылись мылом, а для прогулок в Саду Вольности придворные были обязаны носить особого образца петергофские платья в *тон* зелени. Эта «опейзаженность» человека в век Екатерины, наверное, и есть начало особой нашей расейской гармонии низших с высшими; так образцом вольного рабства объявлялась натура, где и сам бог был подданным самого себя. Такое устройство мира объявлялось и земным идеалом: царь тоже подданный у себя. При этом мерилом свободы становилось расстояние от власти, по принципу — чем к ней ближе, тем больше свободы, и наоборот. (В Сибири, конечно, свободы быть не могло). Сень императрицы была истинным небом и чуть ли не физическим законом, вкусы власти пронизывали реальность, как тяготение, ускорение и прочая физика. Екатерининский парк тоже был тому доказательством, здесь легкие абсолютизма дышали вольностью, здесь облагороженные кроны в союзе с обязательной темно-зеленой униформой убеждали, что золотой век воскрес под эгидой всепресветлейшей государыни. Человек был здесь не просто человеком (мелко!), а символом человека, аллегорией свободы. Все было рассчитано на видимость, на впечатление, как и подобает произведению искусства. Отныне представительство, реноме, р-репутация стали плотью и кровью нашей державности... Павел, правда, морщился, «не одобрял нововведений матери, в которых больше пышности, чем истинной прочности, завоеваний, которые служат приобретению славы, не доставляя действительных выгод, и даже ослабляют государство». Особенно пугала видимость самоотказа власти править. Кое-кто готов был по глупости (или умыслу) принять царство свободы за вседозволенность. Павел хмурился, но вышло именно так. В опасную брешь устремилась французская красота массовых жестов.

Петербургская публика принялась было жить по этим канонам романтической патетики: объятья на улицах столицы при известии о взятии Бастилии, шампанское в честь Национального собрания, круглые шляпы, фраки, клубы и прочая эстетика

равенства. Всей этой мишуре и политической экзотике была объявлена беспощадная война. Впрочем, у страха глаза велики, Россия всегда хотела переменить жизнь, не трогая строя, а Франция бредила очередной сменой социальных институтов, не желая трогать саму жизнь. Не пример Франция, не пример... но страх был велик, война Красоте объявлена, но, конечно же (здесь Павел был бессилен), по законам другой Красоты. Шило менялось на мыло, а суть не трогалась. Целью этой пейзажной войны садовника-монарха были только лишь людские очертания, виды и перспективы, обшлага и воротники. Зеленым массам подданных был придан прусский облик, а в человеке восстановлена цельность, не человек в гражданин, а человек-солдат. В нем все виделось гармоничным: и душа, и мундир, и обшлага под цвет отворотов воротника. Но вскоре выяснилось, что утопия на прусский манер не удалась, садовника удавили, внук сказал, что будет править «по-бабушкиному». Формы Екатерининской эстетики постепенно становились хребтом нового «бабушкиного века». При этом государственность потеряла чувство юмора. Петербург строг до мании, скучен, в нем нет ничего от московского хохотка. Оба Александра и Николая тоже теряют смачность, характерность, о них просто скучно писать. Да и к «бабушкиному» пейзажу они ничего не прибавили, жили по ее дирекции. Потемкинские деревни превратились в Аракчеевские фаланстеры, а обманные перспективы тесно окружили глаза власти.

Например, славу завоевал некий Гонзаго. Современник его обманного мастерства поэт Федор Глинка пишет о том, как гуляя по Павловску, «увидел за Розовым павильоном вид на прекрасную деревню с белой церковью, с господским домом и сельским трактиром. Я видел высокие крестьянские избы, видел светлицы с теремами и расписными стеклами; видел между ними плетни и заборы, за которыми зеленеют обильные грядки и райские садики. В разных местах показывающиеся кучи соломы, скирды сена и проч., и проч., только людей что-то не видио было: может быть, думал я, они на работе... но вдруг в глазах моих начало делаться какое-то странное изменение: казалось, что какая-нибудь невидимая завеса спускалась на все предметы и поглощала их от взора. Чем ближе подходил я, тем более исчезало очарование. Все, что видно было выдающимся вперед, постепенно отодвигалось назад, выпуклости исчезали, цветы бледнели, тени редели, оттенки сглаживались — еще несколько шагов, и я увидел натянутый холст, на котором Гонзаго нарисовал деревню. Десять раз подходил я к самой декорации и не находил *ничего;* десять раз я отступал несколько сажень назад и видел опять *все!*.. наконец, я рассорился со своими глазами, голова моя закружилась, и я спешил уйти...»

Ссора с глазами, ссора с живым чувством — хроническая наша болезнь.

«Что такое существенность и что такое мечта!» — воскликнул Федор Глинка и продолжил стихами: «Не так ли в утре юных лет Приманки счастье нам казало? Но время опыта настало, Совсем иным явился свет!.. Жизнь наша призраков полна, И счастья нет в подлунном мире! Там, там над солнцами в эфире Есть лучшая страна».

Но время опыта настало.

В конце века общие идеалы садовника и парка признали иллюзией, царю под ноги была брошена не челобитная, а бомба, повеяло революцией, народ выходил на первое место, на отечественной ниве появились новые цветы, например, уже упомянутый нами сын покойной Анны Дмитриевны — Аскалон Львович Труворов.

Вернувшись с отцом в Россию, после того как тот вышел в отставку, он только лет через пять попал в эти места, в парк и дом, где когда-то прошла молодость матери. Ему как раз исполнилось тридцать... вот особняк с бельведером под шпилем, в котором она умирала от скуки вдвоем с падчерицей, вот фамильный склеп, где покоится ее первый муж — генерал-аншеф Ивин — дурак, каких свет не видывал, по ее словам, вот злополучный дуб с исполинской культей над головой, о котором он столько слышал. Культя — обломок той самой ветки, которая опрокинула карету и оставила на красивом лице матери три белесых шрамика, два около носа и один на брови. Аскалон Львович не знал подробностей старинной драмы, случившейся почти сорок лет назад, да и не хотел знать. Так вышло, что он вырос полной противоположностью матери и отцу, и всему «роду человеческому» (его выражение). Он приехал в имение, вооруженный прекрасной идеей передать это просторное старое здание под бесплатную больницу для крестьян соседних деревень и рабочих писчебумажной фабрики в Ганнибаловке. Вместе с ним приехала и его невеста, молодая театральная журналистка Вера Головкина, которая и была, по сути, зачинщицей этого благородного дела. Они приехали в имение из столицы сначала на курьерском до Тарасовской платформы, у деревянного вокзальчика их поджидало маленькое изящное ландо с ловким кучером, похожим на полового. Аскалон и Вера были странной парой. Он — крупный видный красавец-бородач с открытым лицом и великолепными зубами, она — худая, на голову выше его, некрасивая черноволосая женщина с вечной папироской в прокуренном рту. Он следил за собой, даже имел манеры отца, которого, между прочим, презирал. Она — одевалась дурио, но

в этом было больше позы, вызова эмансипантки, чем природной пошлости. Он звал ее «дусик», она его — «собакой». Аскалон побаивался Веры, и вместе они производили тягостное впечатление. И любовь у них была тоже тягостной, с истеричным надрывом, театральная, бьющая на внешний эффект. Они оба нуждались в публичности чувства. Будучи дочерью из семьи негоцианта, Вера богатство и торгашеский дух презирала, однажды сорвала с рук аметистовые перстни и швырнула нищим. Аскалон Львович тоже хотел поразить ее воображение грандиозными попойками, лихачами; спал на полу, ходил в мятых штанах, покупал корзины цветов, в вот еще один современный широкий жест — он дарит эти ветхие пенаты страждущим... Вместе с ними приехал и Верин приятель — Вербилов, тоже журналист, тоже современный наглый смелый человек, тоже презирающий обветшавшие формы. Волосы его всегда были растрепаны, словно он только что стоял на ветру. Раньше он просил Вериной руки, но получил отказ. Присутствие Вербилова Аскалону было неприятно, но Вера не могла жить без свидетелей, без компании, без аффекта. Кучер преподнес ей букетик ландышей, она пришла в восторг, без конца нюхала цветы, пыталась приколоть их к шляпке, измяла и выбросила с гадливостью. Та же самая смена чувств повторилась и при виде парка. Сначала восторг, крики, ахи, беготня по балкону, с которого открывался вид на запущенный, но полный величия парк. Затем — кислые гримаски вокруг рта, попыхивание сигаретки. Мужчины молчали. Отец, живший в усадьбе на старости лет, к столу выйти отказался — он терпеть не мог друзей сына, неопрятных шумных людей с грязными ногтями. Накрыто было тут же на балконе, на белой скатерти темнели свежие винные пятна. Аскалон лениво думал о том, как сообщить отцу о своем решении отдать дом под земскую больницу. Вербилов сидел спиной к нему; они без церемоний не скрывали взаимной антипатии. Когда в небо взошла каменная луна, Вера устремилась в парк, запретив ее сопровождать. В парке она чуть не заблудилась, потом испугалась шорохов и теней на аллее. Гибкие акации в желтых цветочных рыльцах вздрагивали до пят при малейшем порыве ветра, как-то задумчиво и тревожно колебались, и было что-то фантастическое в этих движениях, беспокойное, тоскливое. Какая все-таки гадость — жизнь, думала Вера и, трогая рукой цветы, ежилась от отвращения. Вернувшись на балкон, освещенный лампами, она под влиянием лунной тревоги и тоскливых акаций внезапно объяснилась с Аскалоном, сказала, что брак с ним невозможен, потому что он — буржуа, и объявила, что принимает старое предложение Вербилова. Мужчины были ошеломлены, пили до рассвета, затем Аскалон велел закладывать коляску, чтобы успеть к первому поезду на Петербург. Кучер снова было преподнес букетик и едва не получил пощечину. Ехали до станции все вместе, молчали; уже порядочно отъехав, Аскалон Львович оглянулся назад. Над парком, на востоке, все небо было залито лазурным огнем. На его глаза навернулись пьяные слезы, прощай, новая жизнь.

Сюжета так и не получилось, а до бесплатной больницы руки не дошли. После смерти отца Аскалон страстно увлекся оперной певицей Жозефиной Вельбутович, здесь его следы теряются. Брак Веры с Вербиловым был несчастливым, претенциозный и пустой человек промотал Верины деньги, а сама она угодила в туберкулезный санаторий в Германии, где по слухам покончила с собой в припадке нервной депрессии. Последнее известие об Аскалоне, да и то косвенное,— это продажа парка с загородным особняком крупному нуворишу, совладельцу РОПиТа — Русского общества пароходства и торговли, владельцу издательства «Гриф», меценату и писателю Евграфу Стоюнину, писавшему под псевдонимом Орлов. В его доме на Фурштадской — окнами на Таврический сад — собиралась вся петербургская элита.

В лето 1900 года, в первое лето двадцатого века, в парке появились два чистеньких мальчика в бархатных штанишках до колен, в матросках и соломенных канотье. За мальчиками присматривала пожилая бонна, которая предпочитала дремать в беседке с книгой. Мальчики наслаждались свободой, играли в прятки, лазили по деревьям, просто бегали по аллеям. Вместе с ними носился молочный пудель с бантом на шее. Два лета подряд в парке кроме мальчиков так никто и не объявился. Затем загадочные мальчики исчезли вместе с бонной и пуделем — так же внезапно, как и появились.

Однажды теплым июльским вечером в парке возникла группа озабоченных молодых людей. Они спешно принялись готовить парк к ночной иллюминации, и в полночь, в тот момент, когда к дому шумной толпой шли гости, парк озарился стеклянистым блеском шутих, веерами фейерверков, взошедшими на черном звездном пологе павлиньими хвостами. Бухали маленькие пушки, в диких цветниках были расставлены бутылки, в их горлышках горели витые цветные свечи; гости были доставлены от Петрополиса к Тарасовской платформе экстренным поездом, а оттуда двинулась целая кавалькада, пугая спящие окрестности криком, и вздымая лай деревенских собак. Стояла светлая белая ночь. Впереди на автомобиле ехал сам хозяин-меценат Евграф Стоюнин или Орлов — жирный курчавый мужчина с лицом римского сенатора, в лавровом венке, в хитоне, в сандалиях на босу ногу. Поездка на дачу была обставлена как венчание Аполлона и Коломбины, роль первого исполнял сам хозяин, а Коломбиной

была его содержанка, прогрессистка, поборница женских прав, пианистка-дилетантка, красавица Нюта Врасская. В костюме Коломбины она сама правила рулем. Это она придумала маскарадное венчание, потому среди гостей было так много масок арлекинов, пьеро, эротов, саломей и мефистофелей. Под вязкую сень вековых лип, в едкую смесь зелени и луны ступили позолоченные тени русского декаданса. Нюта разрешила только три цвета: белый, красный и черный. Белый цвет — бумажный цвет жабо, сахарный цвет напудренных щек, седой цвет париков, облачный цвет вееров. Красный — мясной цвет губ, багряный цвет плащей, червонный цвет перчаток. Черный — угольный бархат полумасок, все остальное слилось с ночной чернотой.

Тихий парк привел всех в неописуемый восторг. Белая ночь была так светла, так жемчужно светилось небо, что видно было всю ажурную капель лесного полога, натянутого на ветки — до ничтожных брызг! — а резьбу каждого листа — до мельчайшей зазубрины. Штамбовые розы на клумбах казались грудами алого угля. Морской залив в вышине озарял лица, бросал на аллеи слабые тени.

Нюта кричала «бис» и аплодировала кустам.

Столы были расставлены прямо в липовой аллее, на ступенях пандуса, ведущего в нижний парк. Играла цыганская музыка, кто-то читал стихи, в кустах сирени блевали перепившие. Не обошлось без трагического скандала. Началось смешно: дамочка в костюме клоунессы застукала своего мужа беллетриста Подраменцева с маской в павильоне. Объятия не оставляли сомнений. Клоунесса попыталась влепить мужу пощечину. Но тот встал в позу: я вам изменяю и буду изменять. Мне нужны эмоции. Он был пьян и говорил с дурным актерским надрывом. И почему-то — с французским прононсом. Маска держалась дерзко и спокойно подкрашивала губы стеклянной пробкой от флакона жидких румян. На этом бы все и кончилось, но на беду мимо проходила мужская фигура в костюме Мефистофеля. «Не делай вид, что не узнаешь!» — страшно крикнула вдруг маска и сорвала с лица бархатные очки. Мефистофель споткнулся, замер и, покачнувшись, повернул обратно. «Плачь, Пьеро! — пьяно орал ему вслед Подраменцев,— ревнуй, жалкий филистер!»

Ночью же в дачу Орлова телеграфировали со станции (он ждал звонка), что гроб с телом Чехова на Москву проследует без остановки утром. В автомобили втиснулось семь человек. Орлов содрал хитон и надел фрак, из куска черного бархата была сделана траурная повязка. Он хотел во что бы то ни стало остановить поезд. Зачем? Он и сам не знал: с Чеховым был знаком шапочно. Когда показался поезд, Орлов встал на колени посреди рельс, его оттащили. Нюта не могла сдержать нервный смех. Курьерский пролетел мимо, последним к нему был прицеплен товарный вагон, украшенный гирляндами зелени, с простыми букетиками полевых цветов за железным засовом на двери. Все, трезвея, встали на колени. Когда поезд скрылся из глаз, пошли к колодцу, где мылись прямо из ведра ледяной водой. Нюта сняла со лба звезду из фольги и налепила на колодезный сруб. Назад шли пешком, сквозь лес, полный птиц. Трели в золотом дыме восхода казались горячими. Орлов говорил, что хочет креститься — он был первым атеистом на берегу аннибальского парка. Ему никто не отвечал. Вернулись при низком солнце. Парк после ночного радения показался ужасным: огарки свечей в цветах, как обмылки земляничного мыла; жирные плевки стеарина на листьях жимолости; опрокинутые стулья в липовой аллее, и последний удар — за полчаса до них застрелился Мефистофель, тот самый, которому скандальозная маска показала свое лицо. И сделал он это с дурной картинностью, встал на край баллюстрады вокруг бельведера, сначала пальнул в воздух, чтобы привлечь всеобщее внимание, затем выстрелил в сердце и рухнул с двухэтажной высоты в кусты. Он лежал на столе все в том же костюме черта, только кто-то отлепил наклеенные усы и бородку. Оказалось, что это был еще молодой мужчина. Его никто не знал. Какой-то железнодорожный инженер с Кавказа.

6. Восход звезд

Царь, ты опять встаешь из гроба
Рубить нам новое окно?

А. Блок

В начале века парк утонул в толще времен, опустившись на дно восемнадцатого столетия. Стоячие воды вечности затопили деревья. Странно это неподвижное бегство от времени, этот культ тонкого вкуса, обожание времен Петра и Елизаветы Петровны, охватившее, например, мирискуссников. А так как новые владельцы — Евграф и Нюта Врасская — исповедывали эту любовь, то над парком наступили млечно-сиреневые сумерки той галантной эпохи. Призраки былого ступили на берег Аннибала. Нюта даже сама пыталась писать маслом, подражая Бенуа. Втайне Евграф понимал, что ее манерная мрачно-декоративная живопись — пустая поза дилетантки, но, кажется, и сама Нюта отдавала отчет в собственных способностях. Жила в свое удовольствие, парк был подарен щедрым любовником в ее полное распоряжение, и она растворилась туманным пятном на фоне изумрудных валов с пятнами сиреневой пены. Ей, экзальтированной натуре, чудился на аллеях чудный женский смех, звуки поцелуев в беседках, скрипы песка под ножками и рокот карет по ночам. В стиле этого бегства вновь стали подстригаться боскеты, плющи обвили мраморы, ожили заброшенные гроты, заплескали в них ключевые фонтанчики. Откуда могла взяться эта ажурная вуаль, наброшенная на целую местность? Летучие брызги на сетке... тенета, силок... лунные льдистые блики на бархатной тине камзолов... игра золотого «АИ» на небосводе... Одно несомненно — здесь грезы объявлялись реальностью, чтобы сказать задушевное «нет» Расее. Парк становился островом грез посреди войны и крови. Лицо до глаз закрывалось веером из узорочья слоновой кости. Может быть, впервые отечественная красота утончилась до лезвия бритвы. На смену гениям-одиночкам явилась элита, вкус достиг концентрации сливок, мысль, наконец, оторвалась от волны и засверкала на солнце. Пеной? Амброзией? Слюной дьявола? Чистой слезой??? Сами вопросы напоминают бег волны, идущей на берег. Начинался восход новых звезд, а пока на липовых и еловых перекрестках всплывали полированные призраки Версаля, ежилось на ветру зеркало водных партеров Мон Репо, а то вдруг в светлом частоколе березовых аллей начинали лосниться и резать глаз мраморные углы, чугунные вензеля, а небо провисало шелковым пологом.

Впервые колонна Ганнибала-Миневры связалась тогда у дачных гостей с пушкинским Арапом Петра Великого, Петром Петровичем Петровым, Абрамом Петровичем Ганнибалом. Начала сочиняться легенда о том, что когда-то это была вотчина Ганнибала, что здесь бывал Пушкин...

Культ Петра.

Культ Петрополиса.

Культ Пушкина, как самого петербургского поэта.

Нюта встречала гостей подарками. Раздавались веера, шляпки той эпохи, опахала из перьев.

Парк переселился в прошлое вместе с Нютой, и только отдельные вершины еще торчали по пояс в зеленом забвении, среди них — могучий однорукий дуб-трезубец, да череда высоченных елок, идущих на русский брег шеренгой витязей в шлемах с шишаками. «У меня отношение к прошлому более нежное, более любовное, нежели к настоящему»,— писал Нютин кумир Бенуа.

Однажды в компании гуляк очутился Сомов, Нюта не рискнула показывать ему свои живописные безделушки, хотя тот спрашивал посмотреть. Взяв под руку, Нюта потащила его в парк, показать самые красивые уголки. Стояла чудная лунная ночь; художник, достав блокнотик, делал беглые рисунки карандашом: навесы плюща, арки стриженой зелени, садовая скамейка-эфемерида, сооруженная вокруг молодой сосенки, пятнистая собачка на макушке траурной урны, переплеты веток... он рассказывал о своей недавней поездке в Болье, о том, что задумал картину, не похожую на все то, что он прежде писал. «Представьте себе,— говорил он,— на полотне грандиозной величины толпу раненых. Толпу, от горизонта идущую на зрителя. Раненые, обезображенные калеки и воскресшие трупы, которые идут к Богу. Над ними, в разверзшихся небесах, опрокинутый и расколотый трон. Его окружают фигуры в ангельских одеждах, но с демоническими, насмешливыми лицами, в кривляющихся непристойных позах».

Запись об этом сюжете Сомов сделал в своем дневнике 27 февраля 1915 года.

Нюта молчала: странный сюжет. «Да я вижу вам неинтересно»,— заметил обиженно Сомов. Нюта молча встала перед ним на колени, тот смущенно вспыхнул, кинулся поднимать. Затем они направились к озерку в нижнем парке и по мосткам перешли на остров Любви с крохотной беседкой посередине. Светало. Стояла удивительная тишь. Только камыш бумажно шелестел сухими стеблями и качал бархатными шомполами. Где-то далеко-далеко шла гроза, молнии вспыхивали за горизонтом и озаряли небо на западе. Сомов говорил, что национальная сущность всегда лежит в природе, а космополитизм гнездится в духе. Нюта, между прочим, заметила, что этот парк сделали в английском духе, в эпоху Екатерины. Сомов возражал: наша красота всегда была пришлой, форма — вечной варяжской гостьей. Но только в той форме являлась красота, в какой нуждалась вот эта природа. Помните, как мужи Владимира выбирали веру? По душевной простоте — верили только впечатлению. Красиво ли сие? Сходили к болгарам в мечеть, к немцам — «видели в храмах их различную службу, но красоты не видели никакой». Живое чувство было поражено только в Греческой земле. Природа как бы увидела свою форму. «И не знали — на земле или на небе мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой». Наш главный критерий — красота, и ваш парк в английском духе сделал зримой ее русские черты. Те, которые таятся здесь в ожидании. Неужели вы не чувствуете этой паутины красоты?

Нюта приложила руку к его губам. «В пришлости формы,— пробормотал художник,— нет ничего зазорного... в этом природа нашей всемирной отзывчивости...»

Звонко шлепнула рыба. Поверх ртутных зигзагов легли концентрические круги разбегающейся воды. Зубцы еловых елей становились все черней на фоне разлива лазури. От воды повеяло холодом, и они пошли в дом. Цвета оживали на глазах, наливались кровью. Проступила из сумрака красная мякоть цветущей фуксии, налились лиловой влагой фиалки, отливали желтизной плюшевые лужицы ноготков, к мшистой красноте бархатцев прильнула белизна лобелий, вензеля из бегоний и настурций. Одновременно с красками проступал ясней аромат, запах сырой земли. Они шли сквозь это миражирование красоты, под плеск лип и молчали... Больше в жизни свидеться не пришлось.

А пока жизнь все чаще вторгалась в подвуальные черты. Вот в полумаске Арлекина появились сумасшедшие глаза солдатика-дезертира, которого приставы поймали именно в парке. Беглец жил в самодельной норе под беседкой Волан. Вот в Ганнибаловке открыли картонную фабрику, где делали козырьки к военным головным уборам. Или — на парадном крыльце был найден орущий младенец, плод тайной пейзанской любви. Картонная фабрика часто горела, то и дело гас электросвет. Живопись Нюта забросила, скучала; дом был полон беглецов из столицы, говорили бог знает что. Вдруг к столу перестали подавать сладкое. Нюта послала Стоюгину—Орлову телеграмму, что жить без шоколада не стоит, и однажды все кончилось. Внезапно дверь в гостиную распахнулась, быстро вошел нежданный Евграф в пыльном автокостюме. Кивнув гостям, шепнул Нюте, что сейчас едут. Куда? Опешила Врасская. «Штрюцели кончились! — вскипел в свою очередь тот,— пиленого сахару тоже нетути...» Хозяева вышли объясняться в комнаты. Только через час гости обнаружили, что одни в брошенном доме. Заметим, что случилось это еще за год до отречения, до двух революций — февральской и октябрьской. Остаток жизни Нюта с Евграфом прожила в эмиграции, сначала в Париже, затем в Бразилии и снова в Париже.

О чем шумел в те годы парк? Какие каббалистические знаки выводил ветер на этой зеленой стене? Единственным обитателем парка был в то время юродивый Володя Король, который жил в пустом ларе из-под угля в открытой кочегарке. Прежде он обитал при часовне Нечаянныя радости, затем перебрался в ларь. Он-то и увидел богородицу в непастный осенний денек, которая якобы ходила между дерев и чистой тряпицей вытирала кровь, текущую из берез. «Вытнрат, плача, а тряпица все белая, не краснитцца...» А еще видел он, что стоит над макушкой ели икона прямо в воздухе и светит до рези в глазах. Володя Король прибежал в Ганнибаловку и взбаламутил народ. Ему б не поверили, если б на Володиных руках и на ребрах не появились стигматы. Толпа, подхватив иконы, двинулась в парк. Для того, чтобы прекратить религиозную вспышку, были мобилизованы сознательные рабочие с картонной фабрики. Не обошлось без драки. В давке Володю нечаянно затоптали, тем все и кончилось. Когда из района прибыл наряд народной милиции, Володю как раз везли на телеге к погосту. Юношу обмыли от угольной крошки, одели в чистое, расчесали волосы, положили на грудь икону. В общем, явно поверили в Володину святость. В целях окончательного пресечения истерии, тело отняли, увезли в район, в городской морг, где он был использован на анатомическом уроке медучилища имени товарища Семашко и затем захоронен где-то на общем кладбище туберкулезной больницы. Для парка эта история имела весомые последствия, народ заметил, что особняк-то буржуйский, хотя и опечатан и подчистую реквизирован, но стоит бесхозно, и рабочие-бумажники с картонной фабрики явочным порядком заняли дом «царских сатрапов». Набилось человек пятьдесят, те, кто попустрей, заняли комнаты, неудачники поделили фанерными перегородками залы. Угля не было, каждый топил как мог, наставили буржуек. На дрова ушло несколько аллей. Первая зима выдалась мягкой и снежной, зато вторая была на редкость лютой. Часть жильцов разбежалась, все ж таки шагать до фабрики было далековато, самые упорные остались. Вьюги шли одна за другой, в Николин день от мороза лопались деревья. Жили шумно, склочно, грязно. Туалеты без водослива давно заколотили, нужду справляли в «скворешниках», натыканных вокруг особняка. В новый год, когда топили особенно рьяно, дом, наконец, загорелся (этого давно ждали). Огонь чудом удалось потушить, но крыша прогорела, в черный провал полетел снег, и дом опустел до начала тридцатых годов. (Стихийного фаланстера не получилось, но Фурье здесь ни при чем; его фаланстеры топились углем, а город Солнца у Кампанеллы находился в южных широтах. И тот и другой интуитивно чувствовали, что климат и утопия разные вещи). Несколько погорельцев попытались жить в летних флигелях, но собачий холод всех выжил. Парк опустел, только летом в нем обитала какая-то шпана. После того как чужаки снасильничали одну девку-ягодницу, местные стали обходить парк стороной. Это было самое смутное время для парка, впервые план красоты, созданный Кампорези и Сонцевым, дрогнул, зеркало замутилось, озера затянулись ряской, проточная вода перестала промывать верхний парк, лес перешел в наступление, и берег Аннибала вернулся к времени до человека.

Это была пора расцвета дионисийской моци: узкие еловые аллеи времен Анны Дмитриевны совсем заросли, ели тесно сомкнулись в который раз, но, кажется, навсегда. Даже широченная центральная аллея от въездных ворот утонула в набеге елового подроста. Еловый лесок рос, тянулся ввысь. Между лесом и парком протянулся сначала узкий, а затем все более широкий мост из ели и пихты. Взметнулось вверх несколько лиственниц с размахом веток в беличий прыжок. Со стороны дома, к покосившейся колонне из леска устремился острый мыс молодой поросли. Через пару лет зеленый утюг докатился до самого подножья колонны, и вот уже еловые лапы стали царапать мрамор, подбираясь к бабьему лицу лжеполководца. Зеленые партеры, которые так холила Нюта Врасская, пали первыми. Гладь ровной стрижки сменили бугры и ямы. Перед фасадом встало пестрое войско: шатры шиповника, копья вереска, конские гривы акаций, шлемы чертополоха... Нежные цветники, клумбы штамбовых роз, вензеля ноготков — от всего этого и следа не осталось. К парадным ступеням желтым дымком — пах! пах! — стремилось золото лютиков, рдела ржавая кровь горицвета. Шла пальба и перестрелка нивяника, васильков и ромашек. Прямые линии искривились, квадраты расплылись, цветочные проспекты рассеялись в жадном хаосе сорняков. Петербургская планиметрия повсюду терпела поражение. Почему?

Почему шпалеры Версаля и ранжиры Петрополиса так нуждаются в ножницах садовника? Стоит чуть ослабить удила, как натура бросается в пьяное бегство.

Почему Северной Пальмире шепотом бросали проклятья еще во времена царя-Гороха? «Питербурху де быть пусту». Эти слова бывшей царицы и петровой жены Авдотьи Лопухиной, сначала попали из показаний царевича Алексея в протокол допроса, а оттуда в «Историю царствования Петра Великого» историографа Устрялова и труд Соловьева. Какая амплитуда оценок! От письма Меншикова, в котором он Питербурх называет «святой землей», и панегириков Сумарокова — «северный Рим!» — до зубовного скрежета Достоевского: «...а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон, кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится, и все вдруг исчезнет». Набор проклятий можно продолжить — Лесков: «...они скоро все провалятся в свою финскую яму». Белый: «Горы обрушатся от великого труса; а родные равнины от труса (землетрясения) изойдут повсюду горами. На горах окажется Нижний, Владимир и Углич. Петербург же опустится». Блок: «Ему казалось, кое-как, Что Петербург не враг России». В 1915 году один современник пишет другому: «Москва действительно сердце России, а Петроград... вы думаете голова, увы, нет! Это геммороидальная шишка коллежского асессора, который Петроград принимает за Россию. „Быть ему пусту",— говорили старообрядцы».

А как же Пушкин?

«Люблю тебя, Петра творенье...», а дальше: «Ужо, тебе!»

А как выскальзывает — обмылком — само имя столицы, никак не дается в руки: Питер-бурх, Петербург, Санкт-Петербург, Петроград, Питер... или Северная Пальмира, Северный Рим. Но ведь сказано, четвертому Риму не бывать.

И все-таки, как же наш самый петербургский Пушкин?

Сказать, что он видел в Петрополе и зло, и благо — значит, уйти от ответа, отделаться среднеарифметическим ничто.

А ведь он разгадал его тайну. Только не в «Медном всаднике», а в «Уединенном домике на Васильевском».

И опять сноска в тексте: Пушкин, пробуя на слушателях законченный замысел своего «Влюбленного беса», рассказал его как-то на вечере у Карамзиных. И надо же! Один из гостей — юный Титов, вернувшись домой, записал рассказ поэта в тетрадь, а вскоре явился с повинной к автору и перечел записанное, в надежде опубликовать повесть. Пушкин был убит. Устно поправив чтеца, он махнул рукой на давний замысел. Стыдливый плагиат был вскоре издан, шедевр — погиб... Собственно *петербургская* суть замысла в том, что даже влюбленный черт не смог осчастливить свою Веру и погубил ее. Благие порывы зла — все равно зло. (Здесь еще и спор с Гете, у которого Мефистофель говорит: «Я — силы часть, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».) Пушкинский бес — душа Петербурга, который есть таким образом *любящее зло*. Вот ответ поэта.

А тайное имя Петрополиса было всегда одно и тоже — Амстердам! Именно его было велено построить Доменико Трезини. Велено — исполнено.

Достоевский сделал попытку провести через прямоугольники Амстербурга древесное кольцо в духе московских кругов, соединить Летний сад, Марсово поле, деревья Таврического с зеленью Адмиралтейства и Исаакия извилистой бульварной полосой. Кривой линией поверх геометрии углов. Но попытка эта была мысленной.

Последним «словом» паркового искусства в конце века стал сад садиста, эстляндского барона Карла-Августа-Симеона-Генриха-Фридриха фон Нейман-Муциуса. Его творение находилось где-то в районе современного Керново, недалеко от Балтийского побережья. Пресытившись собственным парком, новый маркиз де Сад велел половину деревьев выкопать и посадить в те же ямы, только головой вниз, а корнями вверх. Велено — исполнено. И что же? Деревья в массе своей прижились! Корни, кое-как, пустили ветки, а кроны, с грехом пополам, превратились в корни.

Но вернемся в брошенный парк.

Если регулярную часть на верхней терассе смял еловый частокол и вал чертополоха, то в нижнем вольном парке, наоборот, соразмерность и величие остались прежними, даже после того как всласть набрали воздуха и размаха.

Врастали в небо колоссальные сосны. Поражали массой священные дубы во главе с одноруким трезубцем (теперь уже двузубцем). Благоухали вековые липы. Земля между стволами лежала чистой и ровной, осенью — под ковром палой листвы, зимой — под снежным покровом, летом под иглами и травой. Странно, но алчный кустарник не захватывал полосы света и открытые пятна солнцепека, только кое-где встали тихие фонтаны шиповника — зеленые фонтаны в струистых чашечках цветов — да выше поднялись камышевые трубки на озерцах. Еще больше! Вот уже полвека как парк хранил любимые черты капитанской внучки: так же вился коленами «галантир»; стояли веером семь кленов, «семеро братьев»; зеленели, обнявшись, «дуэлянты»-липы, розовела на закате телесной чешуей и золотой шелухой сосна — «одинокая мачта»; рокотал малахитовой тучей дуб Периклес.

Постепенно, сама собой, оживилась проточная вода в нижнем парке, просочились по линиям красоты родниковые побеги. Тривиальный гений покойного Сонцева снова воскрес, ряска облезла с прудов, и зеркала засияли на солнце.

В начале тридцатых годов здесь было решено открыть пансионат для полярных летчиков и вокруг устроить парк культурного отдыха. Так в парк вступила новая Красота.

На создание парка были мобилизованы студенты ВХУТЕИНа. Устьем малой пейзажной революции была конкретная дата — 7 ноября 1933 года, шестнадцатая годовщина Великого Октября. На работы были отведены один месяц каникул и месяц учебы. Студенты разместились в заброшенном крыле вместе с рабочими-строителями, которые начали ремонт особняка. Стоячую тишь разбудили перестуки топора и молотков. Среди рабочих находился и плотник Прогресс Молокоедов — отец последнего героя нашего повествования. Свое громкое имя он получил в семнадцатом, родившись в семье сельского активиста и агитатора. Революционные имена были в моде: Октябрина, Вилен, Нинель (читать с конца), Коминтерн... вкус к звучности сельский плотник пронесет через всю жизнь, он и своего послевоенного сына назовет Авангардом. Но мы забежали вперед.

К запахам парка надолго примешался дух свежей краски, скипидара, олифы, вонь столярного клея, кипящего в котелках. Время было веселое и строгое. Первым делом сбили злащеных купидонов с беседки «лямур», а ее купол украсили макетом огромного подшипника... Когда-то Вольтер и иже с ним считали панацеей от всех бед просвещение, отныне панацеей была объявлена производительность труда.

Злащеные обрубки амуров были торжественно сожжены в ночном костре, вместе с другой ненавистной символикой неравенства: орлами, викторскими топориками и прочим деревянным хламом, который с гиком содрали со стен особняка. Новая красота говорила «нет и нет» дореволюционным изыскам. После беседки «билье-ду» настала очередь ганнибаловской колонны. Латинская надпись у основания — Hannibal — была сбита. Но вот что удивительно! Сам бюст на макушке был оставлен в покое. Строгие юноши и девушки решили (и правильно), что общий абстрактный облик полководца вполне сгодится для олицетворения другого героя человеческой истории — товарища Августа Бебеля. Кроме того, бюста самого Бебеля под рукой не имелось. Ограничились тем, что крупно красными буквами — сверху вниз — написали по всей колонне: «Вечная слава революционеру Бебелю!» В этой грубоватой подделке есть один интересный элемент новой красоты; бедность вынуждала ее пользоваться старыми знаками для выражения новых идей. Бебель в античном шлеме?.. Здесь, конечно, таилось противоречие, но до поры до времени оно было скрыто.

К 16-й годовщине Октября парк преобразился. Крестьян, съехавшихся из окрестных колхозов, и рабочих писчебумажной фабрики имени Коминтерна из поселка Новая Балка (быв. Ганнибаловка) встречала триумфальная арка с лучистой звездой на горбу. День шел к вечеру, и арка была озарена лучом прожектора. Вообще, электрический свет был самой ударной силой торжества. Арка, аллеи и фасад особняка были иллюминированы сотнями лампочек. Крышу венчала грандиозная фанерная композиция из трех объемных коней, влекущих триумфальную колесницу с фигурой Свободы. Свобода держала в поднятой руке пальмовую ветвь, а на колеснице было начертано: СССР. За ней мигал огнями Днепрогэс. Слева и справа от квадриги высились силуэты трактора и аэроплана. «Даешь аэропосевы!» Весь фасад был задрапирован кумачовыми полотнищами. Что ж, это было мощное зрелище счастья, отсветы которого дошли и до современного поколения.

Установленные на столбах громокоговорители передавали марши, в них сверкали сила и энтузиазм масс. Люди пели легко, свободно, хором. На фронтоне в электроогнях сиял портрет вождя — символ общего братства, человек-идея и идеал. Сам парк, его деревья, никто не тронул, лишь была расчищена от подроста главная аллея, да несколько елок у арки обтянули кумачовыми транспарантами: «Искореним бескультурье!» и «Смерть угнетателям!» Новая красота игнорировала окружающее, не замечала его, целью ее, как и раньше, был прежде всего человек, его воспитание, его душа, его самочувствие. Снова и снова эстетика власти пыталась решить нашу отечественную квадратуру круга: силой привить дух свободы, и эпиграфом ко всей этой новизне прочно встала мысль Максимилиана Робеспьера (которого Пушкин называл сентиментальным тигром Французской революции) о том, что массы должны внешне проявить себя, а это возможно лишь тогда, когда они сами для себя являются зрелищем. Тем самым, например, парк как зрелище не принимался в расчет, он был всего лишь фоном к самолюбованию праздничных масс. Так, целью новой культуры стала не гармония с миром, а контраст. Но и тут не обошлось без противоречия — победа как бы постоянно нуждалась в контрасте, в диссонансе; для выгодного сравнения рай стал жадно нуждаться в преисподней. И сравнение это стало постоянной величиной, вектором жизни-сравнения. Между добром и злом наметилась прочная пуповина, первое нуждалось в последнем.

По робеспьеровской формуле (быть зрелищем для самого себя) вся власть в обществе отныне отдавалась Красоте. В первую очередь Красоте организованных масс на фоне организованного (в тон) пространства, красоте солидарного вида. Эстетика получала неограниченные права над зрелищем-бытием. В такой крупной ставке на жизнеустройство по законам красоты было много не только от века Екатерины, но и от идей Уильяма Мориса, изложенных в социально-утопическом романе «Вести ниоткуда, или эпоха счастья». Стремление к красоте понималось всеми как стремление к наивысшей социальной справедливости, где человек был главным трофеем революции...

Но вернемся в агитпарк. Как ни старались вхутеиновцы, но все ж таки им не удалось довести отрицание прошлого до совершенства и убежать старых форм. Квадрига, пальмовая ветвь в руке Свободы, огненный ангел Революции (крашеная фанера) с мечом на куполе разрушенной часовни — все это была прежняя символика. Молодые революционеры поспешили объявить всю прошлую историю России — банкротством. Но тогда откуда взялся социальный триумф? Почему естественное историческое развитие России от гнета к свободе, ее дооктябрьское существование отменяли ради некого пустого места, на коем воздвиглась триумфальная арка? При таком подходе Октябрьский поворот становился аномалией, а не законным итогом социальной эволюции. Впрочем, петроградский период революции имел свое начало и конец; когда столицей государства рабочих и крестьян снова стал «третий Рим» и «второй Царьград» — Москва, отношение к прошлому стало постепенно меняться. Москва и Петербург снова столкнулись, но теперь уже в лоне общей идеи: московские годовые кольца наложились на петроградскую сетку. Это было драматическое взаимовторжение, черты которого (Москваполь) можно обнаружить повсюду.

От Петербурга на парк ложилась тень первого петровского Летнего сада. И там тоже были сильны идеи воспитания масс, правда дворянских, и там был силен культ голой пользы от идеала, и тогда (и теперь) властная рука зачеркивала устаревшие буковки. Тогда — «ижицу», теперь — «фиту» и «ять».

От Москвы на парк Аннибала роняло тень нечто совершенно иное — по существу, парк культуры и отдыха имени Бебеля строился по эталону, который возник в 1923 году на берегу Москва-реки, у бывшего Нескучного сада. Речь — о Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, где был наскоро сооружен из фанеры и дерева недолговечный ансамбль выставочных павильонов «Махорка», «Красная Нива» и других... Это был макет народной победы. Здесь впервые был воплощен пафос социалистического триумфа, идея представительства перед капиталистическим окружением в виде *выставки*, мысль об организации масс в свидетелей побед. Культу голой пользы сегодняшнему дню (Петр) был противопоставлен романтический культ пользы будущему (Сталин).

Но и тут не обошлось без Екатерины Великой. В нашей истории именно она была первой по части организации *выставок викторий*. Еще в 1774 году, когда была закончена победоносная война России против Турции, явился на свет ее императорский план о гигантском празднестве. На помпу были брошены прямо-таки бешеные деньги, и вот на Ходынском поле в Москве гений Баженова создает целые здания в виде покоренных турецких крепостей и военных кораблей. На земле была изображена огромная карта Крыма и проч., и проч. Главное здесь то, что Ходынское увеселение и его колоссы были только лишь видимостью, знаком или фикцией бытия, и ничем больше. Постройки Баженова носили временный характер.

И опять повторяется застарелая болезнь отечества — «ссора ума с глазами и чувствами». Снова человек натыкается на зловещую декорацию жизни в стиле покойного Гонзаго. До каких пор? Время для парадной выставки — 1924-й год — было совсем не подходящим, но так был силен энтузиазм власти и жажда самоутверждения, что победу

хотелось показать всем немедленно. Но ведь идея *показа* противоречива, есть у нее, например, такая неприятная сторона: выставка — это всегда некий *итог*, он абсолютно противопоказан *началу*. Стоит только объявить жизнь выставкой достижений, как она омертвляется до суммы экспонатов, где человек всего лишь доказательство прав у власти, а бытие переходит в подчинение не экономическим законам, а правилам *показательности*, то есть, бытие, по существу, подчиняется эстетическим принципам.

Вывод: мы живем в государстве-эстетике.

Итак, не «страна» а — «выставка».

Не «человек», а «трофей революции», со всей вытекающей отсюда — как следствие — кровью.

И только извечные российские *временность* и шаткость построек — спасение от идеалов власти и искусства силы. Так, самым первым памятником революции в Москве стал гипсовый бюст Робеспьера у Кремлевской стены. На брезгливых губах Максимиллиана каменело его знаменитое кредо высшей справедливости: только революционная убежденность судьи — основание для приговора... что ж, первый памятник первым же и рассыпался, а вот кредо оказалось покрепче. Высшей справедливости всегда сопутствуют высшие меры.

Кончился праздник в парке, и уже утром 8 ноября были сняты с фасада полотнища и гирлянды. Все было вновь брошено. Дожди и снег подпортили фанерную квадригу Свободы настолько, что весной ее пришлось снять. Подгнил и завалился и ангел с карающим мечом, который стоял на макушке заколоченной часовни. Дольше всех держался подшипник на куполе беседки «лямур», но через год, в одну грозовую ночь, и ему пришел конец, порыв ветра сорвал фанерный барабан и долго крутил в воздухе, пока не сбросил в овраг. Снова делу не хватило добротности. Единственное утешение: нет прочности у добра, но ведь и у зла тоже. От всего поспешного великолепия осталось только восемь непонятных букв на фронтоне: РОТ-ФРОНТ... но кто сегодня сумеет расшифровать, что они значат? Кто прочтет это «мене текел фарес»?

Но буквы были вырезаны из жести, вбиты в камень саженными гвоздями и выкрашены самой алой краской. Буквы кричали, орали, взывали к чувствам... революция вновь (как при Петре, Павле и других реформаторах) становилась прежде всего *словотворчеством*. Слова окружали человека, цифры превращали в единицы хранения, а над головой звездами всходили круглые даты, и все они просили крови.

Только однажды капли из водопада крови забрызгали белые цветы парковой гортензии. Капли были черным-черны, потому что случилось это июньской ночью тридцать седьмого года. В ворота под каменной аркой шумно въехал «воронок» и, шаря лучами фар, проехал вглубь заброшенного парка, остановился; вышли четверо в кожанках, огляделись, тихо покурили папироски, затем как-то бегло вынесли свернутый рулон брезента, развернули по земле, в той стороне, куда светили фары, в двух шагах от гортензии, которая пылала в лучах фар пятнами сочных бело-мраморных цветов. Делали все молча, а если и говорили — вполголоса. Тут стал накрапывать мелкий ночной дождь. Четверка заторопилась и поспешно вывела из фургона двоих в штатском. Мужчину и женщину. Штатские были одеты не по-летнему: мужчина в пыльнике, женщина в габардиновом пальто-реглане. Она не верила, что наступил конец, и страшно вскрикнула, увидев ярко озаренную гортензию и расстеленный брезент, который показался ей огромной квадратной яминой. Ей приказали молчать и сесть на землю, она подчинилась, тогда палачи поставили за ней на колени мужчину. Его лицо было в кровь разбито, он был вял и похож на пьяного. Стреляли почти одновременно, в упор, женщине — в затылок, мужчине — в висок. От выстрелов в парке проснулось воронье, и в темноте поднялся истошный грай. Женщину умертвил самый молодой из четверых, и после выстрела его вдруг вырвало. Над ним тихо посмеялись: он был из новичков и сегодня проходил оперативное крещение. Когда тела завернули в брезент, новичок отошел в сторону и, отломив ветку погуще, принялся стирать с защитного галифе блевотину и брызги крови — он слишком близко встал во время выстрела. Фамилия новичка была Балабашов, и он хорошо знал застреленную Алину Юдину. Они были детьми революции, когда-то вместе учились на рабфаке, вместе вступали в комсомол, дружили, было им тогда по двадцать лет, и Алина стала его первой женщиной. Потом их пути разошлись. Они не виделись десять лет и встретились всего лишь час назад в фургоне «воронка». Балабашов знал, что сегодня особый случай — ликвидация по спецсписку «при попытке бегства во время этапирования», но кого повезут в расход, понятия не имел, и увидев Алину, страшно испугался. Он боялся, что она при всех узнает его, но та — слава богу — молчала, только пару раз ошпарила взглядом огромных фосфорических глаз. Он с облегченьем решил, что она его не узнала, но ошибся: когда стал доставать из кобуры пистолет, Алина негромко сказала: «Ну, здравствуй, Колька...» Тут-то он и выстрелил, чтобы никто не услышал этих слов. В ее голове, в гуще черных волос, открылась красная роза...

Почистив галифе, Балабашов помочился в кустах. Воронье стихло. От спецмашины донеслось злое бибиканье шофера. Застегиваясь на ходу, Балабашов побежал к «воронку». Изнасилованная ветка гортензии с измочаленными в крови цветами — вот и все, что осталось на земле от любви двух комсомольцев. Да еще незримый водоворот ужаса, который закружил с тех пор в этом месте. Омут смерти.

В «воронке» Балабашов узнал, что в брезентовом тюке на полу машины — муж и жена. Алина вышла замуж за политкаторжанина.

Больше брызги крови от алого водопада в парк не долетали. И до начала войны ни один выстрел не пугал его тишины. Может быть, только чаще стали мелькать красный, багровый и алый цвета — в бутонах диких роз, в листьях осенних кленов, в чащах калины, в лепестках пионов. Парк продолжал жить зеленой жизнью. Птицы все так же горячо пели в кустах, и ветки качались от ветра, грозы брели на чуткую массу и щупали молнией кончики сучьев, острия стволов. Омут смерти окружили веера траурных папоротников, пахучие звездочки намогильных флоксов, изломанные мечи красоднева.

Гортензия, растущая на дне невидимой могилы, зачахла; осыпались белые душистые глаза, почернели и скукожились когда-то глянцевитые ветки.

Остался и след от рокового брезента, на квадратном ожоге выросли сотни мелких зеленых крестов барвинока, да кое-где поднялись страшные стебли вороньего глаза, увенчанные одинокими черными ягодами.

В конце тридцатых годов в парк вновь явились люди, старый особняк оброс строительными лесами, а к августу 1940 года, к Дню Воздушного флота, здесь открылся пансионат для летчиков. На макушке ганнибаловской колонны вместо головы в античном шлеме появилась модель самолета ПО-2.

Новые идеалы сделали парк раем товарищей. От революционного романтизма двадцатых годов, минуя триумфальный классицизм, Красота пришла к пионерскому ампиру... На аллеях и дорожках верхней и нижней террасы появились культбойцы той легендарной армии из гипса и бронзы, которая перед самой войной успешно оккупировала наши сады, парки культуры и отдыха, проспекты и стадионы. Расстроенные арьергарды той армии дошли и до наших времен. Особенно в провинции. Нет-нет, да и увидишь где-нибудь в пристанционном палисаднике фигуру легендарной пловчихи с веслом, точнее без весла, с железной проволокой, на которой болтается отбитая рука. Фигуры эти известны: футболист в гетрах с мячом у правой ноги, колхозница с каменным снопом пшеницы на плече, пионер, дующий в гипсовый горн или отдающий рукой салют, дискобол, летчик в авиашлеме с ладонью у глаз, пограничник с собакой, крашенный серебряной «бронзой»... плюс цветники в виде пятиконечной звезды, клумбы из цветочных букв: И, В, С, или С, Т, А, Л, И и Н. Иногда среди скульптурных шеренг появлялся курчавый мальчик, облокотившийся локотком на гипсовую тумбу — образцом для ваятеля (редкий случай в искусстве) послужила фотография маленького Володи Ульянова из семейного альбома. А принимал спортивный парад новой красоты сам вождь, в неизменно бронзовом кителе и сапогах. Он на две головы возвышался над прочими фигурами и приветствовал протянутой рукой. Пионерский ампир был смешон... и все же, все же в нем был свой смысл. Да, ему порядком досталось от наших эстетов. За пошлость и помпу. Пожалуй, иронии хватило чересчур. В цене всегда неоценочное знание, истина ничего не имеет против личностей. Нельзя, скажем, начать изучение предмета с негативной наклейки: фу, впечатлионизм (импрессионизм), фу, формализм... В конце концов, оценочный оттенок бесславно смывается. Так вот, мало кто заметил, что юность нового вкуса воплотила в себе идеалы совсем иного, чем прежде, порядка.

Плодородной почвой государственной красоты версалей и петергофов было неравенство. Только оно — чем неравней, тем лучше! — было способно рождать красоту. После нашей революции настало неслыханное: государственную же красоту должно было породить всеобщее равенство, то есть то самое положение дел, которое изначально считалось бесплодным. Англичане народ пренебрежительно называют nobody (никто). Мы поверили, что это «ничто» вполне способно народить *что-то*. Советская Россия приняла лозунг: «Кто был никем, тот станет всем!» От тривиальной идеи оформления *праздника*, например, коронации, пасхи, рождества, победы, тезоименитства и тому подобного русский человек шагнул дальше, к оформлению *непраздника* или быта, или бытия вообще и всегда. Это был, конечно, апофеоз гуманизма. Черновиком этой новой соборной красоты некрасивого стал и парк пансионата полярных летчиков накануне второй мировой войны. Здесь отдыхало сердце военного человека, летчика Кости Дубровина, а его глаз, высосанный полярной ночью или полярным днем, учился тут робким азам прекрасного. Девушка с веслом была на самом деле Любовью, которая стойко разгребает волны невзгод. Салютующий пионер был Счастливым Детством, у каждого из них были родные отец и мать, но у всей счастливой пионерии была еще одна идеальная мать — Родина, и отец всех детей страны — Сталин. И от этого чувства большой семьи у молодого летчика Дубровина сладко вздрагивала душа. Гипсовый пограничник с собакой на самом деле был Верностью. А там дальше шли Дружба,

Смелость, Самоотверженность... а пошловатость этого гипсово-бронзового лубка, пузатенькая эклектика (вульгарность которой, конечно, не осознавалась), освобождала (в тайне) чувство и душу от утомительной нормы. Фигуры белели на солнцепеке, на фоне парковой зелени. По травяному газону из ноготков и бархатцев было высажено имя вождя. Высоко-высоко в необъятном небе глаз молодого пилота различал легкий силуэт аэроплана. От сильных рук Кости пахло касторовым маслом и бензином. Он думал о том, что скоро война, и вместе с тревогой ощущал радость. «Любимый город может спать спокойно. И видеть сны, и зеленеть среди весны». Дубровин готов был птицей подняться в это июньское небо и соколом броситься на врага в шеренге летящих на запад «ястребков». Что плохого в том, что предвоенный парк отдыха поддерживал в нем патриотизм? Что плохого в том, что он любил, как девушку, свое земное советское пространство, вместе с этим маленьким клочком земли и поднебесьем над ним? Любил и трепетал перед братской могилой героев гражданской войны на окраине парка... Он был никем и стал всем: дубовым листом, пятиконечной звездой на фюзеляже, солнцем, гудком паровоза «ИС», флажком на башне элеватора, рыбой в сетях Московского моря, гелиотропом в липовой тени, камешком на аллее, небом, соколом, человеком, красным ангелом воздушного флота.

Что мог, скажем, Запад поставить тогда на пьедестал в эту аллею идеалов? Любовь? Нет. Дружбу? Тоже нет. Самоотверженность? Тем более нет. Любовь была давно взята под сомнение и осмеяна. Признавалась только любовь к себе. Дружбы там не существовало, особенно в том государственно-интимном обличье, которое царило в стране товарищей. Там, со времен французской революции, личность была расщеплена на две половинки — человек и гражданин, и последний был, в конце концов, принесен в жертву первому. Здесь человек и гражданин признавались суверенными половинками, и на личность ложилась двойная нагрузка. Там гражданин был унижен, здесь он приравнивался к государству. И наш новый герой, молодой полярный летчик Костя Дубровин верил в то, что государство — это он. Да, фигуры добродетелей, крашенные бронзовой краской и цинком, были уродливы и аляповаты. Культура равенства переживала неолит. Да, аллеи коробила вкус эстета, но идеалы государства-летчика были отлиты из чистого золота. Это был убедительный образ нужного мира, вид должного. С эстетикой в высшем смысле все было в полном порядке. Эта «красота» была готова «спасти мир». Но... но у нее был один соперник, тот, который только и мог быть,— другая красота. И там тоже один за другим на пьедесталы духа вставали: Сила через разум, Воля, Чистота расы, Верность, Новый порядок, Героизм тевтонца, Мощь арийца и так далее.

Столкновение двух государств, двух эстетик было неизбежным.

В этой войне, в частности, нужно было найти ответ на вопрос: удалось ли создать нового человека с помощью политических средств?

7. Фауст и феникс

Июньское небо в ту ночь почти не темнело, белая ночь незаметно рассеялась в рассвет и так же легко занялся день. О том, что началась война, летчики узнали, как и вся страна, из репродуктора. К вечеру пансионат опустел. Еще через две ночи над парком прокатился туда и обратно железный вал «Люфтваффе». Бомбардировщики летели бомбить Ленинград. По жребию судьбы «ястребок» Кости Дубровина принял первый бой в небе недалеко от Аннибалова парка, бой сложился неудачно, звено истребителей было рассеяно, два сбиты, и только Дубровину удалось, прижавшись почти к верхушкам деревьев, уйти от погони «мессершмиттов». Он узнал с высоты свой пансионат (как это было давно!), оглянулся на белый камень — главный корпус в толще зелени, зажмурился от прямого блеска озер в нижнем парке. Слепящие зеркала били по глазам трассирующими вспышками солнца. Он думал, что больше никогда не увидит эти места, а судьба решила иначе.

Но впереди лежала еще целая пустыня войны, которую каждый переходил в одиночку.

В конце июля по парку было сделано несколько случайных выстрелов из ствола самоходной гаубицы; немецкого офицера из головного «опеля» насторожил одинокий особняк на вершине парковой террасы. Оглядев с поворота шоссе в бинокль дом, он заметил, что среди заколоченных окон два окна — на втором этаже — раскрыты настежь, и там, в глубине, колеблется ветерком белая шторка... Это показалось подозрительным, прозвучала команда, и гаубица плюнула по особняку тремя снарядами. Недолет, перелет, третий снарид ударил во фронтон и, пробив стену, упал на мраморную лестницу из парадной на второй этаж. Упал и не взорвался. Зато первые два сделали свое дело: взлетела на воздух беседка «лямур-подшипник», а второй разрыв превратил в щепу и мочало столетнего «галантира». Кончились коленца и уморительные позы обходительного виза. Взрыв потряс и старую липу — от вечного кавалера осталась могильная ямина... никто не появился в проемах окна, ветер все также лениво теребил кисейную занавесь на перекрестках цейсовского стекла. Из майбаховского бронетранспортера была пущена пулеметная очередь по кустам жимолости. И снова знойная летняя тишина, пение птиц, гул пчел над цветочными пещерками. Офицер опустил бинокль, и колонна тронулась дальше.

А потом наступила зима.

Снег одинаково ложится на все голые безлистые деревья, отмечая похожими зигзагами, росчерками и кляксами голизну лип, кленов, берез. Здесь снег похож на пыль. Другое дело — хвойные породы. Только вечнозеленые ели, пихты и сосны придают снежной массе снежную форму... На сосне снег лежит искрящейся сетью, сквозь звенья которой травянисто торчат зеленые кисточки иголок и свечи рыжих шишек. Льдистая сеть колеблется на ветру вместе с кроной, играя на зимнем солнце снежной вуалью, но стоит только дунуть покрепче, как — пырх! — снег слетает вниз ручьями белого пороха, а зеленая крона вновь свободно зеленеет морозными иглами. На елке снег лежит сказочной рыхлой шубой, с обязательным круглым снежком на самой макушке, надетым на зеленый трезубец. Лапчатые ветви врастают в снежные рукава, снег на ели отливает серебряной парчой, «звенит» для глаз кольчужным звоном, прыскает голубыми искрами на солнце. Еловые красно-кирпичные шишки буквально рдеют среди пухлой белизны... странно, что первое пейзажное изображение русской зимы написано было лишь в 1827 году (!) Никифором Крыловым. Если взять за точку отсчета начала нашей светской живописи работы петровских пансионеров, то больше ста лет отечественная кисть *бежала зимы* (галлицизм.) Россия упорно хотела выглядеть Голландией, Италией, Францией, древним Римом, но только не самой собой. Снег, правда, мелькал в жанровых картинах, но только как фон. Наконец, отважный Крылов проткнул кистью небосвод и на пейзажную живопись посыпался крупный снег.

Снег сочельника.

Снег рождества и крещенских морозов.

Граненый пар лесов.

В канун рождества парк Аннибала впервые стал предметом немецкой мысли. В парк с небольшой командой на четырех тяжелых «опелях» приехал Дитрих Хагенштрем, недавний баварский лесничий, а ныне унтер-офицер инженерной роты. Его пехотной команде было поручено вырубить крупные деревья для наземных укреплений.

Хагенштрем — высокий лобастый человек со штатскими бакенбардами рыжего цвета, на лице — круглые очки. Он мобилизован в войска обеспечения с тридцать девятого года. За его узкими плечами: Дания, Нидерланды, Бельгия, Франция. Настал и черед России. Склонный к умственным выкладкам, Хагенштрем с особым интересом обошел почти весь верхний парк. В загородном помещичьем доме квартировал метеовзвод, и многие дорожки были расчищены от снега. Хагенштрем гулял в одиночестве; его команда, набранная из обученного ландс-штурма, устраивалась в свободных апартаментах особняка, топила голландские печи. Был самый-самый канун рождества, и солдаты готовились встретить новый, тысяча девятьсот сорок второй. По столу бренчали мерзлые банки с тушенкой, шуршали буханки в станнолевой обертке.

Стоял ясный морозный день. Хагенштрем поднял меховой воротник офицерской шинели и спрятал руки в перчатках вглубь карманов. Он был почти ошеломлен, но ни за что б не признался в этом. Он и не подозревал, что в советской Московии есть ландшафтные парки, культура деревьев, подбор пород по принципу бекононовской ver perpetuum, эстетически осмысленная пейзажная масса. Он машинально считал, что вся Россия — варварский лес, и с тем большим удивлением — шаг за шагом — постигал и осмыслял увиденное. Наметанным глазом лесничего он сразу увидел, что парку не меньше двухсот лет. А то и все триста! Такая глубина ландшафтной мысли изумляла. Зимнее солнце холодно скользило в высоте. Хагенштрем стоял на краю верхней террасы, на том самом месте, где в 1712 году стоял граф Головин, где сто пятьдесят лет спустя стоял влюбленный в капитанскую внучку Охлюстин, где сейчас стоял он — унтер-офицер и лесничий — и недоверчиво взирал на величественную панораму нижнего парка. Деревья были раскиданы вольготно и широко, только кое-где стволы и кроны были собраны в купы, подчеркивая взаимную красоту друг друга. Это была могучая колоннада телесно-желтых, пятнисто-черных и мраморно-белых стволов. Явственная английская схема ландшафта: «свободное дерево — символ свободного роста индивидуума» была легко перенесена на иную природную почву в русскую глухомань, и стала смешанным парком, со своей собственной физиономией и без налета той викторианской вымороченности, которая проглядывает в любом облике британской вольности. Эта, умноженная на три, пейзажная англомания была тем более несносна глазам Хагенштрема, чем дольше он думал о том, что идею свободы личности подарили Европе и миру именно немцы. И вот надо же — своей ландшафтной культуры они не создали. Немецкий гений в парках был уязвлен бессилием. Русские тоже заимствовали чужую форму, но то русские... Хагенштрем перемещал из кармана в карман плоскую

химическую грелку и отогревал то левую, то правую руку. Корабельные сосны, где прямо, где косо возносились к молочному пару декабрьских облак. Казалось, что их шершаво-золотистые стволы озарены каким-то вечным солнцем. Эти ликторские пучки, фасции римского духа, окружали голые веера стройных кленов, копья туй, перья берез. А в стороне высился расейский перл — могучий дуб с обломком левого древесного русла, который казался изломом слонового бивня. Дуб не успел осенью сбросить листву и шумел сейчас мерзлой чешуей, как морская волна мокрой галькой. Хагенштрем втайне нервничал: в пейзаже было чересчур телесного здоровья, а война хоть и была близка к победе, все же не кончилась. Агония Советов затянулась. Правда, Ленинград был окружен и обречен на голодную смерть («быть ему пусту»), но Москва остановила натиск фельдмаршала фон Бока... вот вдруг стал нужен лес для защитных (?) эскарпов, как будто русские могут наступать.

Запустение снегов и холодные токи декабрьского света придавали парку грозную живописность. Кое-где из сугробов торчали пьедесталы с бронзовыми фигурами спортсменов. Они возмущали вкус Хагенштрема, вот оно! глядя на это уродство, думалось о том, что искусство тоже может пасть жертвой самой грубой популярности. Кроме того, думал Хагенштрем, как может социальная революция выступать в форме такого культурного реакционерства?.. И все же, грубые вблизи, издали они производили впечатление — воины, играющие на морозе голышом в мяч, метающие диск... Хагенштрему было не по себе, он топтался на месте, хотел и не мог уйти. Немец инстинктивно не признает чужого превосходства (Т. Манн), но даже тайный знак равенства тяготит его душу. Здесь в снегах Хагенштерм вспоминал свой родной Вейсенбургский лес на отрогах Франконских Альп, священную тишь, наклонные лучи света вперемешку с патетикой древних буков. В том сумрачном храме можно было встать на колени и молиться германскому духу, но и здесь, здесь... Хагенштрем не довел мысль до точки, а, повернувшись спиной к панораме бронзовой утопии, вернулся к солдатам. Он был зол, сам не понимал причины своей досады и отдал команду немедленно приступить к рубке сосен.

...Может ли красота сама постоять за себя?

Грохоча мотопилами, солдаты спустились в нижний парк. В пустоты тишины с зубовным шипеньем устремился звон и зуд стальных зубьев по стылому дереву. Сосны падали с пушечным гулом. Самая высокая — сосна-одиночка — рухнула на замерзший овал, проломила лед и обмакнула зеленую крону в темную ледяную кровь.

Обнаружив пруды, солдаты устроили рождественский каток, кружились шутовскими парами на скользких сапожных подковках. Не обошлось без курьезов. Проходя мимо дуба, молоденький солдат Бендикс Кнут ради смеха саданул топором по стволу. Древесная броня так отпружинила лезвие, что отпрыгнувший топор задел Бендикса. Да с такой силой, что на груди разом расплылся синяк.

Сосны распилили на двухметровые звенья. Ветер понес по сугробам пыль из опилок.

Вечером Хагенштрем велел срубить елку для рождественской ночи и установить в парадной зале на первом этаже. Когда солдаты внесли ель и стали забивать комель в крестовину, обнаружилась одна загадка. В еловый ствол намертво вросла небольшая икона без оклада. Позвали унтер-офицера. Хагенштрем взял топор и осторожно отщепил доску от ели. Она была черна от потеков смолы, и все ж таки на ней был различим лик православной мадонны — богоматери. Видимо, когда-то ее варварски прибили к стволу. (Правда, отверстия от гвоздя унтер-офицер не нашел.) Этим все и кончилось. Хагенштрем мог бы бросить эту находку в печь, но что-то остановило нашего лютеранина.

Застолье кончилось быстро, во втором часу ночи, сказалась общая усталость.

Ночью Хагенштрем несколько раз просыпался беспокойно, без всякой видимой причины, пока не понял, что виной тому густой запах ели. Он спал на втором этаже, в каком-то кабинете, где стоял лицом к стене портрет Сталина. Кабинет располагался прямо над залой, куда елка, отойдя от холода, надышала вроматом смолы и хвои. Он проникал до костей. Это был пьянящий запах детства. Хагенштрему сквозь сон мерещилась покойная мать, рождественские игрушки, шоколадные орехи с марципаном в золотой фольге, стеклянные гномы в гуще иголок, свечи, хлопушки... это так не вязалось с войной, что он просыпался и видел, что весь залит лунным сиянием. Окно было задернуто лишь наполовину, часть шторы была оборвана. Заслонившись рукой от луны, Хагенштрем лежал на диване, и мысли его бессвязно блуждали, он думал о том, что фаустианская мощь Германии позволяет ей иметь зло на посылках, что сатана в горсти бога может приносить победы человеческому духу, что суть русской натуры слишком пресна, ее бог — целомудрие, а в этом мало мощи. Так он постепенно снова засыпал. Германская анима облетала парк. И это была не душа, а *дух*. Суровый мужской дух, отмеченный порочной красотой и отягщенный двумя великими, чисто немецкими страстями: тягой к власти и тягой к самоубийству, ведь мужское начало не могло рожать. От его горнего полета не падала ни одна снежинка с кончика хвои. Духу Германца была открыта вечность, и он видел парк во все времена — цветущий и снежный, живой и мертвый, во всем протяжении роста от семени до трухлявого пня во веки веков. Населенный всеми жившими призраками, русскими юношами и старухами, девушками и стариками. В этой туманной толпе одни виделись резче и рельефней, другие — сливались с лунными бликами. Иногда можно было разглядеть темную розу в руке. Они продолжали жить сами по себе, и за полетом тевтонской тени следил (ладошка козырьком к глазам) только лишь юродивый Володя в рубище и полевом венке на голове. На ладони его чернела красным рана.

Парк переливался волнами времени.

Две красоты смотрели глаза в глаза. Символ одной — полная свобода — пища человека; символ другой — только ограниченная пища свободы. С высоты ночного полета вечный парк был похож (как и всегда) на поверхность моря; на зеленые валы была наброшена пятнистая тень-сетка в расплывах пены. Один за другим бежали к берегу шипучие гребешки весеннего цветения. Одна за другой разверзались воронки тлена и смерти... Хагенштрем ворочался во сне. Утром ему стало жаль спиленные деревья. Ведь он был лесничим и дерево уважал больше человека.

Дитрих Хагенштрем застрелится через полтора года, когда его часть попадет в окружение под Гатчиной; в последнем письме домой он напишет о том, что история германца — это упражнения в самоубийстве. Письмо он не отправил, боясь полевой цензуры. Он вполне мог бы сдаться в плен; ему, младшему офицеру инженерного тыла, легче других было поднять руки вверх. И все же он, не дожидаясь развязки, выбрал: пуля в лоб. Когда его труп наспех зарыли в землю Русланда, другой немецкий солдат — его друг — Лебрехт Мауэр сказал, что за всю войну Дитрих не убил ни одного человека, кроме себя. Но это будет еще через полтора года, а пока Хагенштрем сел в головную машину, и колонна тяжелых «оппелей» повезла сосновую рощу вон из Аннибалова парка.

На ее месте осталась безобразная плешь, утыканная пнями. Еще больше досталось парку весной сорок третьего, когда в его окрестностях проходил танковый бой, а затем парк и особняк еще пропахали два артобстрела. Взрывами сорвало крышу на правом флигеле, полегло несколько вековых лип вдоль пологого пандуса от особняка к нижней террасе, выгорели кусты жимолости и сирени, сквозь серебристые ели верхней половины парка пролегли грязные рваные просеки со следами танковых траков. Утреннее солнце озарило мягким светом ошметки стволов, обломки деревьев, спиленные миной верхушки, черные пятна солярки на земле и ожоги в траве. Полегли «семеро братьев» и «дуэлянты», «одинокую мачту» прикончили еще раньше солдаты Хагенштрема. А вот Периклес уцелел. Но теперь и второе его русло — правое — было сломано, теперь от ствола в обе стороны, на равной высоте отходили две внушительных культи, равной же длины. Хочешь не хочешь, но каждому бросалось в глаза, что дуб стал похож на исполинский живой крест, из верхней крестовины которого перли могучие ветки.

Только в сорок пятом, весной, спустя почти сто лет после драматичной истории любви Петра Васильевича Охлюстина к Катеньке Ивиной, урожденной Милостивой, в парке снова завязался плод романа, новый *сюжет*. И снова это была история любви, видно, в раю других историй и не бывает.

Помните молодого летчика Костю Дубровина? Так вот, в марте сорок пятого года он угодил в тыловой госпиталь, и — надо же — в тот самый, что находился в бывшем пансионате полярников. Так летчик снова встретился с домом и парком, где провел свою последнюю мирную ночь перед войной, откуда ушел на фронт. Ранение было пустяковым, но он был основательно контужен и приходил в себя рывками, как усталый бегун. Однажды он во сне почувствовал счастливый запах сирени, утром он проснулся с улыбкой на губах и понял, что дело пошло на поправку. За окном сияла чистая голубизна весны. Костя был еще слаб, но вышел на балкон и снова встретил знакомые виды, правда, они были сильно потрепаны войной, исчезла сосновая роща, дуб-исполин потерял правую руку и стал похож на распятье, видны были следы от танковых траков, тиснутые на земле, и все же сердце Дубровина сжалось от тихого восторга. В сирени набухали белые кисти, ветки были подернуты зеленым дымком. Тут к нему подошла милая медсестра, которая опекала его палату на втором этаже и попросила вернуться в постель. Дубровин заметил, что она почему-то смущена, заметил, что она красива, и понял, что его душа изголодалась по чистой любви. Ее звали Лиза Радова. А смущена она была тем, что больной Дубровин был молод, хорош собой, кроме того, он был летчиком, асом, аристократом войны. Единственным летчиком на весь госпиталь. Военно-воздушный флот был тогда кумиром страны, а он был пилотом-соколом этого флота. Костя шутливо упирался, любезничал, говорил комплименты, а щеки его горели. Через два дня они уже без памяти любили друг друга. Что может быть банальней любви в госпитале? Расхожий сюжет всех мировых войн, но... но это святая банальность.

Биография Кости умещалась в строчки анкеты вступающего в члены ВКП(б): из рабочих, закончил Оренбургское летное училище, начал службу в авиаотряде полярных летчиков под Москвой, воевал в 6-м авиационном полку 1-го Белорусского фронта. Награжден медалями и орденом Красного Знамени. Это был смелый и отважный молодой мужчина, человек честный, верный и цельный, и еще надежный товарищ, что было особенно важным в ту уже далекую от нас эпоху товарищества. «Мой товарищ, тебя я не знаю, но любовь в моем сердце жива», «Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой». «Давай закурим, товарищ, по одной» — пели тогда. Товарищество было этической кульминацией Октябрьской революции. Вершинной точкой всеобщего военного равенства.

Жизнь Лизы тоже умещалась в трех строчках: она была ленинградской школьницей, которая за год до войны поступила в медучилище; когда началась война, медучилище эвакуировали в город Молотов, где она проучилась еще два года, а потом получила назначение в этот госпиталь. Вся ее ленинградская родня погибла в блокаду, кроме старшей сестры Алины, которая сейчас была переводчицей при штабе дивизии, там, в Польше, в гуще победы, и Лиза завидовала ее судьбе. Лиза Радова была мятежной натурой, строгая и порывистая, нежная и истовая, чистая и впечатлительная. И очень русская (северная душа), то есть жертвенная. Она играла на гитаре и смело пела перед ранеными песни из кинофильмов. Многие были влюблены в нее до отчаяния, за ее симпатиями ревниво следили десятки глаз. И все же любовь Лизы и Кости взяла сразу такую высокую и чистую ноту, что госпиталь затаил дыхание, боясь спугнуть красоту чувства. Костя шел на поправку, в конце апреля его должны были выписать. Наши штурмовали Германию; все — и частное, и общее — шло к развязке. И кроме того, фоном этого строгого и пылкого чувства была буйная весна, прибой клейких побегов, цветение черемухи, белый кипяток крупной сирени, свечение первых цветов в дымке, перестрелка соловьев, всеобщая алчба, биение сердец, когда легкое пожатие руки или вид любимого человека со спины в больничном халате, в тапочках на босу ногу вызывает счастливые слезы.

Они решили пожениться сразу после победы.

Но все переменилось, когда в четвертую палату для тяжелобольных доставили новую партию раненых. Среди них был один ослепший лейтенант с ранением в голову. Лиза увидела эту забинтованную наглухо голову до линии рта, и душа ее оцепенела. Потом, когда лейтенант заговорил звонким голоском,— она выбежала из палаты с мертвыми глазами.

Вечером Костя узнал, что до войны Лиза любила ленинградского инженера Тимура Баренца, что они хотели пожениться, что когда он ушел на фронт, они переписывались, а потом она получила в Молотове похоронку. А оказывается, он жив, и лежит сейчас в четвертой палате, слеп от ранения, но еще не знает об этом, потому что врачи хотят дождаться, когда спокойно срастутся черепные кости, тогда и снимут повязку с глаз. А пока пусть он думает, что зряч. Дубровин был ошеломлен, Лиза плакала. Ни он, ни она не считали нужным бороться за свое счастье, раз случилось такое. Костя отступал перед законом товарищества, ведь тот лейтенант был первым. Он тоже воевал, и этого было достаточно. Лиза понимала, что никогда не простит себе измены живому Баренцу, что она обречена прожить со слепым Тимуром до конца жизни. Для летчика и медсестры в том, что с ними стряслось, не было ничего похожего на борьбу чувств; обмануть лейтенанта, бежать, уехать — ничего такого им и в голову не приходило. Они подчинились року справедливости — и все.

Два дня Лиза не могла сказать Тимуру Баренцу, что она здесь, рядом с ним, физически не могла, хотя уже решилась. Два дня она приходила в четвертую палату для тяжелобольных и говорила неестественным голосом, боясь, чтобы Тимур не узнал ее. И все же тот явно настораживался при ее коротких словах: «Поднимите голову», «Осторожнее», «Вам нельзя пока открывать глаза». Наконец, поздним вечером она, собрав все душевные силы, вошла в палату. Тимур не спал. «Тимур, это я»,— сказала она и зарыдала, упав головой ему на грудь. Баренц закричал на всю палату: «Лиза!» Она зажала ему рот ладонью. У окна лежал умирающий больной Толокнов. «Так это ты, ты?» — спрашивал Баренц, хватая руками ее руки, и ощупывая сырые щеки. Потом он тихо, счастливо засмеялся. Они проговорили до утра. Баренц говорил о себе, о том, где воевал, как был ранен. Говорил, что писал ей в Молотов, но письма возвращались. Писал в Ленинград после прорыва блокады. Писал ее подруге Наде Чайкиной. Вспоминал, как они тогда, до войны, встречали Новый год в мансарде напротив Кировского, и что всю войну он проносил с собой ее детскую фотографию, где ей всего восемь лет, другой не было. «Почему ты все плачешь, Лиза?» — спрашивал он.

Вскоре о встрече Лизы с прежним женихом знал весь госпиталь. Костя потребовал от главврача, чтобы его немедленно выписали, и ему обещали сделать это к концу недели. Шли последние дни апреля, наши войска штурмовали Берлин. Многие уже называли и день Победы — 1 Мая.



Лиза готовилась к последнему испытанию: главврач решил, что скрывать слепоту Баренца больше нельзя, раны зарубцевались, и надо снять головную повязку.

День был солнечный; Лиза сняла повязку и, наконец-то, увидела лицо Тимура. Оно постарело, на лбу вился глубокий шрам. Тимур счастливо улыбнулся — сейчас он увидит ее... и открыл глаза. Внешне они были неотличимы от живых — большие карие глаза — если бы не мертвые стоячие зрачки... «Я ничего не вижу, Лиза,— сказал он с обидой,— разве теперь... ночь?» Рыдая, она ответила, что никогда-никогда не оставит его.

Утром Баренц попытался покончить с собой, но ему помешали.

Несколько дней он лежал лицом к стене, ни с кем не разговаривая, а потом сказал Лизе, что она свободна, что он не хочет от нее никакой милостыни, что он все равно не станет жить и сделает *это*, как только выпишется. Лиза твердо сказала, что не позволит ему перешагнуть через ее любовь и не отойдет от него ни на шаг. С разрешения главврача она спала теперь на полу, у его постели.

С Костей Дубровиным она простилась накануне. Расстались коротко, по-мужски. Поклялись все забыть и крепко дружить всю жизнь; Костя оставил свой адрес. Она хотела проводить его до ворот, но Дубровин запретил. Шел быстро и ни разу не оглянулся.

Девятого мая госпиталь праздновал Победу. Весть о ней пришла ночью, под самое утро. Захлопали двери, по палатам покатилось громовое «ура». Часовые у ворот открыли пальбу в небо. В парке очнулись сотни ворон и подняли гвалт. Главный разрешил вынести столы из столовой и поставить в липовой аллее у корпуса. Ходячие вынесли на себе лежачих, на столах появился спирт. Среди общего гама и счастья не было только Лизы с Тимуром. Баренц не хотел идти из палаты и лежал в прежней позе лицом к стене. Лиза сидела рядом на постели. У нее было старое лицо и сухие глаза. Она уже не могла плакать: она поняла, что не любит Тимура, но запрещала себе думать о летчике.

К обеду начали собираться тучи, и к концу дня — как назло — парк и окрестности накрыло. Грозы такой исполинской силы парк не видел больше ста лет. Природа притихла, смолкли птицы, упал ветер. Вода в прудах остеклепела. Вселенская тьма надвигалась крутым обрывом мрака. Только иногда далекие раскаты грома нарушали абсолютное молчание. В госпитале закрыли все окна, стали убирать столы из аллеи. Тут налетел вихрь. Понеслись в душном воздухе листья, ветки, сор. И один за другим грянули первые удары молний. Ударили сухо, близко, ослепительно. Казалось, земля стала тонкой и гулкой, как лист кровельного железа. И страшные удары били не по земле, а по этому железу. Сразу две молнии вонзились в дуб, он вспыхнул, но пламя было тут же сбито откосом дождя. Кромешная вакса брюхом плыла сквозь парк. В госпитале отключили свет, и палаты, полные людей, при вспышках небесного магния виделись, как гравюры Дантова Ада. Самые смелые продолжали праздновать день Победы на ступенях парадной лестницы, встречая каждый удар грома криками «ура».

Лиза добыла на кухне солдатский котелок с горячим вишневым киселем и побежала к Тимуру, но кровать Баренца была пуста. Она обезумела от страха за его жизнь, бегала из палаты в палату, кто-то пьяно обнимал ее в темноте, она вырывалась. Вдруг ей показалось, что Тимур пошел в парк. Да, он вышел под молнии. Баренц впервые в жизни шел в полной темноте слепоты, шаря руками по стенам, спотыкаясь, натыкаясь пальцами на что-то холодное круглое, в чем вдруг узнавал питьевой бак. Его пальцы брели по бесконечной шероховатой тьме, которая отныне стала его жизнь. Он нашел боковую лестницу (холодок стальных перил, узкая полоса, круто бегущая вниз), обнаружил дверь (лаковое крашеное дерево, скользкое стекло), нащупал ручку (слиток железного льда) и вышел в грозу, вошел в водяную толщу ливня. Зачем? Он и сам не знал. Наверное, он искал смерти. А может быть, хотел слепо довериться этой теплой трепещущей мгле бытия, скрыться в ее материнской утробе? Если так, то он искал защиты, а значит жизни. Нечто породило его из тьмы на свет, и он сейчас без страха шел вглубь этого нечто. Он не чувствовал своих глаз и смотрел как бы всем лицом. И вдруг перед ним, далеко-далеко впереди пробежала тонкая световая змейка. Он замер, напряженно вглядываясь в горизонт. Над головой прокатился гром. Вода мешала дышать. Что-то мягко хлестнуло по лицу; ветка со свежими клейкими листьями. И снова вдали черноту прочертила тонкая струйка, за ней вторая, третья. Он увидел линию горизонта, какую-то странную ровную пустыню и свою длинную тень под ногами. Видение вспыхнуло и погасло. Тут он почувствовал на своем лице свои же глаза. Как будто их с силой кто-то ввернул под брови, как электрические лампочки. Пелена упала с глаз. И он увидел вдали, при вспышке молнии, белоснежный дуб с клокочущей чернозеленой кроной.

Тут его и настигла Лиза.

«Я вижу, Лиза, я все вижу!» — кричал Баренц. Она подумала, что он сошел с ума, но когда их глаза встретились — потеряла сознание. Баренц поднял ее на руки и побежал обратно.

Уже много после врачи объяснили это прозрение тем, что контузия временно вывела из строя ту часть мозга, которая ответственна за восприятие. Мощные зрительные импульсы от вспышек молний восстановили обратную связь.

А может быть, все дело в том, чтобы идти в тьму, не закрывая век и не мигая смотреть на молнию?

В тот исключительный вечер дня Победы только грозой дело не обошлось. Спирт, теснота, обилие пьяных — сделали свое, и ночью загорелся боковой флигель. Затем огонь перекинулся на крышу. Пламя, правда, потушили и обошлось без жертв, но очередной пожар вновь сделал здание непригодным для жилья, и госпиталь перевели.

Казалось бы, теперь, когда Тимур стал видеть, Лиза могла б решиться на то, чтобы отстоять свое чувство, тем более, что она сказала Баренцу о Косте, и сказала, что уже не любит его так, как до войны, но жертвенная сторона Лизиной натуры пересилила. Она обещала Тимуру вечную верность. Когда из парка одна за другой потянулись подводы с ранеными и инвентарем, Лиза отбежала в сторону наломать несколько веток сирени на прощание. От душного запаха все-все в душе перевернулось на миг: это был запах тех счастливых ночей, когда она с Костей молча стояла на госпитальном балконе, он нежно обнимал ее за плечи, а ночь наплывала на них перистой сенью соловьиных звуков, свечением будущих снежных кистей сирени, мерцаньем звезд. Баренц увидел, как Лиза спрятала мокрое лицо в наломанные ветки и отвернулся. Он не хотел видеть ее слез.

Странное желание *не видеть*, для человека, который недавно прозрел.

Война, миссия Хагенштрема, танковый бой, артобстрел и, наконец, жуткая гроза победы оставили в парке Аннибала безобразные отметины — плеши в верхнем и нижнем парке, шрамы в рощицах, сломанные стволы, особняк с обгорелыми стенами, дуб с угольной рытвиной до земли. Но еще тяжелее парку пришлось после войны, когда его отписали на баланс Новобалковской писчебумажной фабрики им. Урицкого, и уцелевшие деревья, пруды, беседки, гроты, части партеров и разрушенный дом перешли под начало заместителя по быту Ивана Фаттаховича Гильдяева. Ивану Фаттаховичу нужно было построить из ничего жилой дом для инженерного персонала в поселке и котельную. Своих строителей не было, чужих надо было заманивать калачом. Да где его взять? Но однажды калач нашелся — Гильдяеву строили за лето двенадцатиквартирный дом и котельную (коробку), а Гильдяев обязался сверх оплаты подбросить левакам десять вагонов кондиционного леса из пункта А (парк) в пункт Б (лесопильня), а оттуда тес и брус с доской следовал в конечный пункт С (безлесый городок Крымского южнобережья).

Начали «лесоповал» с дуба, уж больно вызывающе торчал он над головами. Шли на него по дурости с одной мотопилой и одной запасной цепью. С мотоциклетным ревом пила врезалась в тугую древесину и завязла. Порвали первую цепь, затем вторую, запасную. Тогда Гильдяев велел валить без технических затей — топорами. И дуб повалили. Падая, исполин так ухнул и застонал, что два мужика из пяти перекрестились. Даже Гильдяев вытер пот со лба грязным платком.

Кажется, что такое Гильдяев? Мелкий хозяйчик, зам. директора по быту, ну его и мимо. Но отмахнуться не получается. Если все, что касается парка, становится историей, то и Иван Гильдяев — историческая фигура, встает в один ряд с графом Головиным, с архитектором цивилис Кампорези, с генерал-аншефом Ивиным и прочими ...на равных.

Граф Флор Иваныч Головин основал парк — Гильдяев должен был его уничтожить. Иваном Фаттаховичем заканчивалась событийная цепь длиной в три с половиной века. В своих мягких шевровых сапогах и в черном чесучовом пиджаке поверх шелковой майки он стоял в финале эстетической мысли, развернувшейся в формах пейзажного парка от века Просвещения к веку Социализма. Хотя бы поэтому нельзя горько отмахнуться от «гильдяевщины». Увидев его полное, чуть раскосое лицо с широкими скулами и вишневыми губами, покойный Вл. Соловьев, наверное б, испытал тот самый страх перед неизбежным «панмонголизмом», последней волной татарщины, которая в конце концов снесет Европу в тартарары, как сервиз со стола. Но бог с Соловьевым и закатом Европы, наш предмет — Гильдяев, которого, кстати, мало кто на фабрике уважал. Для большинства он был просто тьфу. Напрасно. И *тьфу* имеет свою глубь. Одобрительно похлопывая упавшие бока исполина, Гильдяев, конечно, не подозревал, что в совершенстве воплощает в себе эстетику прагматизма. Было ли ему жаль парка, собственноручно помеченного меловыми крестами? Да, Гильдяеву было не по себе, и кошки порой скребли по сердцу. Поэтому он и начал с дуба, похожего своим крестом черт знает на что... Чувствовал ли он красоту этих благородных форм и линий? Да, он понимал, что парк красив, он даже запретил своим пьянчугам справлять большую нужду в кустах, отсылая желающих в сортир, наскоро сколоченный в конце аллеи. (Малую нужду пришлось разрешить — за всем не уследишь.) Кто бы мог сделать большее на его месте? Сортир в «лесу»! Он чуял красоту вековых стволов, но еще больше восхищался

их габаритами, потому что от этого была прямая польза. Вот он ключ к этой нечистой силе — *польза*. Гильдяеву нужно было из ни-че-го строить дом для инженерного персонала фабрики. Послевоенным людям негде было жить, в бараках в комнате ютилось по две семьи — слева и справа от занавески. Спрашивается, за что воевали? С этим надо было кончать; безобразие одного зачеркивало красоту другого, и прекрасное отступало перед пользой. «А теперь вот их»,— сказал Гильдяев, тыкая в сторону столетних лип руководящим пальцем. К вечеру аллея из сорока двух лип была снесена подчистую. Вместе с кронами наземь упала сень, солнце пошло сечь по потным спинам, от жары у мужиков занимало дух, а тут еще на сырость и пот невесть откуда налетели оводы, грянули хлопки, раздались матерки, под мокрыми майками распустились кровяные пятна от укусов. Гильдяев приказал одну липу пока не трогать и сидел в той тени на случайном ящике, обмахивая лицо парусиновой шляпой. Кстати, он даже не знал, что то, что он видит, называется парком. Гильдяев называл *это* садом. Для него парк был техническим словом: автопарк, ремонтный парк... Иван Фаттахович инстинктивно чувствовал свою правоту — наконец-то, от *саду* был хоть какой-то толк. Что ж, если вернуться к эстетике пользы, то на стороне Гильдяева были весьма значительные силы. Например, Сократ. Ведь это он первым заметил в беседе с Аристиппом, что каждая вещь прекрасна, если она хорошо служит своей цели, «даже золотой щит безобразен, а корзина для мусора прекрасна, если щит плох, а корзина надежна». Сократ здесь отмечал тонкую взаимосвязь прекрасного с целью, утверждал, что красота (и благо) есть целесообразность. Но ведь эту мысль можно легко извратить, сказать, например, что благо — есть только польза, или что корзина с навозом прекрасна, если она полезна. Для Гильдяева так оно и было: бесполезность садовой эстетики была для него слишком явна по сравнению с пользой от десяти вагонов доски, теса и бруса. На стороне Гильдяева был отчасти и барон Монтескье, который писал, что «испытывая удовольствие при виде полезного для нас предмета, мы называем его хорошим». Следовательно: стволы срубленных лип были весьма хороши в силу полезности для нас. Правда, барон не считал, что такое вот — прекрасно. Нет, восклицал он, «только созерцание предмета, лишенного непосредственной полезности, мы называем прекрасным». Но в этих оттенках легко запутаться простаку. Тот же Гильдяев ничтоже сумняшеся предпочел «хорошее» «прекрасному». Сидя в тени и, покуривая папиросу «Беломорканал», он плевать хотел на мертвых мертвецов, доказывал всем своим решительным видом всю резонность опасений абстрактных философов о том, что понятие целесообразности эстетического можно легко низвести до пресловутого прагматизма. Ну, хотя бы до американского прагматизма с одиозными пунктами Джемса и Пирса. Джемс: «Идеи — лишь инструменты для достижения цели, орудия действия». Пирс: «Задача мысли не в познании, а в преодолении сомнения, которое является лишь помехой для действия. Истинно то, что полезно». Гильдяев: «Польза всегда права, потому что от бесполезного никакого толку нету».

Гильдяев был, наконец, и родом американской мечты с ее кредо: красота — это изобилие нужного.

Когда жара спала и надобность в персональной тени отпала, Иван Фаттахович велел срубить последнюю липу. Срубили. Сто лет молча лежало у его ног. И ничего не случилось. Только в одуряющем запахе лип витало какое-то живое безумие, да в гудении пчел над холмами веток чудилась глухая угроза. Бог лесопарков оцепенело сидел на кленовом престоле под золотой липой и смотрел в глазки Гильдяеву. Оба молчали.

Так может ли красота отстоять себя? Выходит — нет. И все же... жизнь не дала Ивану Фаттаховичу вырубить парк Аннибала под корень. В колесо американизма стало вставлять палки расейское головотяпство. Строители потребовали лес вперед, сами ж к работе так и не приступили, поковырялись в земле три чужака и исчезли. Обещали прислать транспорт за бревнами и прислали. Но тут же уперлась дирекция фабрики — или стройте дом с котельной, или не видать вам леса, как своих ушей. Рубку парка временно приостановили. Началась тяжба, полетели письма наверх. Какой-то рабкор черкнул заметку в газету района «Всходы коммунизма» о гибели заповедного парка-орденоносца (?) и о невнимании к культурному досугу поселка. Деревья между тем гнили в штабелях. Затем наступила зима. Затем уволился с фабрики и канул в Лету антихрист Гильдяев. Затем умер Сталин. Затем закрыли писчебумажную фабрику из-за полной изношенности оборудования. Парк перевели на баланс поселкового райсовета и еще лет десять до Возрождения парк Аннибала был предоставлен сам себе. Только однажды, где-то в середине пятидесятых, к живописным развалинам особняка подъехала полуторка и приезжие перетащили в кузов несколько брошенных среди аллей бронзовых тел: дискобола, пловчиху, городошника, пионера с горном у губ и бюст осужденного партсъездом вождя, который просто сбили ломами с пьедестала у парадного подъезда.

В лесной тишине и полузабытье парк залечивал глубокие раны. Зло и на поводке Фауста и под маской пользы, не достигая желанной цели, где оно, наконец, будет оправдано, оставалось все тем же злом без прикрас. Его следы все те же — могилы, шрамы, пятна солярки, опилки, сухостой, свежие пни, зола и головни, в которых все так же мерещится пламя. Брошенный берег бредил этим огнем. Набегали золотые зори, клубились розовые туманы, тени птиц скользили по листьям, блистали и гасли в небесах дожди, змеились кусты молний, волна за волной наплывал прибой воскресения. В права вступила тайна живородящей силы. Сон Ганнибала был полон свежести и когда в листве — на миг — открывались глаза, они видели вверху голубые бездны, обозначенные налетом перистых облак, купол древней юности над миром и парк вновь забывался в сладкой истоме. Тихо растекались по земле молодые корни, на чешую натекала новая чешуйка, крепла кора, все тяжелей становился листопад, гуще ажурная тень, к зелени добавились мокрая чернота стволов, киноварь осенних красок, сухой стук желудя по корням. Осенью парк начинал сквозить частоколом стволов, просвечивать на закате. В ранний снег — золотая листва желтела сквозь белую лепку. В пасмурный день он ложился ровным спокойным потоком. Зато в ветреный день освещение беспрестанно менялось, чертя новые контуры, распахивая глубины. Зимой на стволах яблонь появлялись белые царапины и плеши — следы заячих зубов. Свет простреливал парк навылет. Летом тучи вязли и дробились, солнце висело, как клубок пара, и в этом тумане дерево казалось больше себя. В сумерки вперед выступала рябина, ее разрезной легкий лист заслонял парк ажурной сеткой, которая легко смотрелась на фоне светлой заводи неба. Но в этой нежности было и упрямство и мощь.

Самым неожиданным стало восстание из тлена Периклесова дуба. Сначала из пня брызнули гибкие побеги, из отпрысков выделилось три наиболее сильных ветки, они круто пошли в рост, толкая друг друга, цепляясь листочками, упираясь локтями, пока, наконец, года через два, все три ипостаси не срослись намертво в одну колонну, которая, частью оперевшись на пень, частью пустившая новые корни, быстро и свободно устремилась ввысь. О муках срастания напоминали только рытвины и бугры у основания колонны. Достигнув прежней высоты, дубовая крона опять разделилась на три руки, словно бы деревянная река шла по иссохшему древнему руслу, повторяя прежний силуэт. Вокруг центрального дуба поднялись молодые дубки, и хотя стартовали они одновременно, но заметно уступали в росте и толщине новому патриарху. Парковый классицизм упрямо настаивал на том, что идеальность — важнейшее условие впечатления, и что гармония интересов частного с общим возможна.

Так же споро поднялась вверх сосновая роща, вырубленная солдатами Хагенштрема. Сначала на месте вырубки завертелся травяной вихрь: султаны иван-чая, могутные воробейники, полчища громадных колокольчиков, зонты дудников. В этой желто-розово-синей воронке проклюнулась из земли молодая ольха, под покровом которой показались и дружные ростки сосен. Наконец, они перегнали ольху и рванулись вверх. Стих травяной вихрь, вновь проступила сухая земля. Все туже переплеталась корневая сеть, все выше плескались сосновые шапки. Так же быстро сомкнули колючие стены израненные траками ели. Трудней всех пришлось липам, но год за годом, по мере того как рассасывались в земле сгнившие пни, и они молодой оградкой встали справа и слева от аллеи, которая пологим пандусом соединяла нижний парк с развалинами особняка, пансионата, госпиталя. И что самое удивительное — гармоничный чертеж английского парка был восстановлен без ущерба красоте. Купы деревьев повторили гармонию свободы и равновесия масс. Набег одной породы деревьев эффектно сменялся другим напором. Новая линия магически повторяла первый изгиб. Свежий прибой заполнял зеленью прежний сосуд классических форм. Неукоснительно выдерживался и принцип Бекона о вечной весне; волна круглогодичного цветения бежала по замкнутому кругу — белизна сирени и яблонь, летняя зелень, сентябрьская кровь рябины и пупырчатое золото кленов, и снова сквозь снег воскресала зеленость елок сосен и пихт. Даже подрост — бич для садовника — и тот снова и снова держался в тени, не нарушая равновеличия масс... откуда бралась эта животворность? Что было мерой этого пейзажа? Где спрятаны те меха, что вновь гонят искру из сырых головней и растят новый пламень? Кто уравновешивает чаши красоты, когда спит глазомер человека, когда садовые ножницы съела ржа, когда... чу! все так же струится проточная вода по чертежу покойника Сонцева... или эту неопалимую ткань ткала сама София — вечная женственность? Или мера всех вещей не человек, а следовательно *мера дочеловечна* и пустая земля радовала глаз и тогда, когда на ней не было ничьих глаз?

Если это так, и красота была до Адама, значит, цель чего-либо всегда внутри самой цели, а не вне. Она живет по себе, а не ждет, пока на что-нибудь сгодится. Следовательно, как человечность цель человека внутри него же, так и красота есть цель прекрасного в самом себе. И не надо никаких обоснований для человека или красоты. «Человек имеет полное и законное право на существование и не будучи ничем другим, как *только* человеком», писал Белинский. «Красота полезна, потому что она красота», возражал Достоевский прагматикам, а значит, только она спасает и «спасет мир», помогая человеку «выделаться в человека».

Выделаться в человека... если применить эту мысль к парку Аннибала, то легко

обнаружится и его высшая цель — воскресить человека, никак того не желая, помимо воли (*помимо*), ведь деревья не ведают, что творят с нами.

Здесь берет начало последний *сюжет* ландшафтного повествования. Его можно было бы назвать: авантюрист и красавица, но мы ограничимся фамилией и именем нового героя нашего времени.

8. Авангард Молокоедов

А забрезжил этот сюжет в самом начале Возрождения, в 1966 году, когда идея охраны прошлого стала общественным делом, а начался аж через десять лет, когда в голову молодого человека Авангарда Молокоедова, секретаря районного отделения ВООПИиК пришла авантюрная идея о том, как выбить из райсовета и местных властей деньги на реставрацию Аннибалова парка, особняка начала XVIII века и часовни Нечаянных радости. Этой сомнительной идеей стал... Пушкин. Поначалу мысль о поэте наш авантюрист отринул как вздорную, но чем больше он бродил по аллеям, набрасывая карандашом подробный план парка, чем больше прикидывал в уме, тем прочней мысль о поэте утверждалась в его голове. Пушкин! Российский палладиум!

Под эгидой этого священного имени уже сохранялись в первозданной свежести земли Михайловского и Петровского, дворцы в Полотняном заводе и Бахчисарае, дома, бани, больницы, запруды, рощи, дороги, беседки, аллеи, парки, озера, фасады, дорожные станции, пейзажи, горки, набережные, панорамы, скамейки, дубы, интерьеры, монастыри, кладбища, избы, часовни, гроты, аистиные гнезда, певчие птицы, палисадники, мемориальные пруды, лещи и щуки, холмы, луга, перелески, курганы, купальни, нивы и прочая бесконечность уголков земли Болдина, Аккермана, Царского Села, Чудова, Кишинева, Выры, Ярополъца, Опочки, Тригорского, Арзамаса, Москвы, Оренбурга, Святых Гор, Острова, Порхова, Одессы и прочая и прочая.

Почему бы к пушкинскому архипелагу не причалить и этот парк, и это небо, и эти задумчивые панорамы? Тем более, что до могилы поэта по прямой каких-то сто — пятьдесят километров. Разве не мог он заглянуть сюда? спрыгнуть с подножки дорожной кареты, размять ноги и сочинить что-нибудь такое: «Воображать я вечно буду Вас, тени прибережных ив, Вас, мир и сон Тригорских нив. И берег Сороти отлогий, И полосатые холмы, И в роще скрытые дороги...»

В голове авантюриста Молокоедова вертелось: здесь, в 183...-м году, по пути из Михайловского в Полотняный завод, в особняке отца декабриста Эн, останавливался великий русский и так далее и тому подобное.

Конечно же, эта легенда не выдерживала ни малейшей критики, но парк по старинке назывался Аннибаловским, можно было б (накручивал Авангард) и прадеда, и деда приплесть, мол, не зря в народе бытует молва...

И письмо сработало. Без пушкинского заступничества когда бы еще дошли руки до дела. Года через полтора, пусть медленно, но развернулись работы по восстановлению особняка и облагораживанию парка: вычистили пруды, вырубили редкий подрост, поправили аллеи, по гравюрам восемнадцатого века восстановили беседки «лямур», «билье-ду», срубили прожорливую стайку иудиных осинок с купола осевшей часовни Нечаянных радости, восстановили жиденький крест, задраили решеткой ее окна, вынесли вон шестидесятилетнюю грязь, навесили у входа массивную стальную дверь. Старый дом оделся в леса. Начали латать прогоревшую крышу, расставили в сирых залах электросушилки. Сняли с макушки мраморной колонны ржавый самолетик, на который было стыдно смотреть. Соскоблили грязюку, мох и плесень в искусственных гротах. Снова в алебастровых чашах ожила ключевая вода. Казалось бы, обман удался, но не тут-то было. Наша истерическая этика не могла не вскипеть праведным гневом... В конце августа 1980 года по аллее к особняку подъехала лаковая алая «Лада», или «жигуль» в экспортном исполнении (а переименовано отечественное авто потому, что на французском «жиголо» — род сутенера, в этом смысле «лада» — галлицизм), и из машины вышла решительная девушка неопределенного возраста от двадцати до тридцати лет, с красивым лицом. Уже потом, когда поединок кончился, наш герой Авангард Молокоедов обозвал ее про себя гадкой красавицей. Девушка искала Молокоедова, ответственного секретаря местного отделения ВООПИиК, который вот уже второе лето проводил свой отпуск здесь, на лесах вокруг особняка, на аллеях. Красавицу окружили сразу три провожатых и довели к Авангарду. Разговор был короткий. Девушка оказалась литературоведом, новоиспеченным кандидатом наук. Звали ее потрясающе — Магдалина. А начала она с того, что вручила подрастерявшемуся Молокоедову копии переписки между исполкомом и местным отделением общества, где, то на одной, то на другой страничке, мелькали слова: «пушкинский мемориал», «заповедные места», и даже «святой уголок отечества», а замыкала тексты его залихватская подпись. Красавица потребовала объяснений. У пушкиноведов, сказала она, нет никаких сведений о том, что Александр Сергеевич бывал в этих местах и тем более здесь *творил*, как об этом постоянно говорится в документах общества.

Объяснитесь!

Оказалось, что она уполномочена все это выяснить одним известным пушкинистом, секретарем которого является, и который узнал про эту самодеятельность случайно. Девушка была заранее настроена разоблачать.

Авантюрист Молокоедов смотрел на ее красивое лицо с молочной кожей, на то, как выразительно гуляли брови над восхитительными глазами цвета спелого крыжовника, на медовые золотистые волосы вдоль спины, соображал, как быть. Сначала он попытался пустить пыль в глаза, отделаться общим трепом. Но красавица не собиралась выслушивать его комплименты и круглые фразы. У нее оказалась прямо-таки бульдожья хватка. «Я не затем катила из Питера,— сказала она,— чтобы вы вешали мне, извините, лапшу на уши». И снова потребовала объяснений и обоснований для реставрации. Тогда Молокоедов стал отчаянно врать, что местное отделение общества располагает «железными» материалами краеведов, в которых черным по белому доказано, что Пушкин был здесь несколько дней летом 1835 года, у тогдашнего владельца усадьбы графа икс (фамилию Авангард выдумал на ходу), на обратном пути из Полотняного завода, где побывал у родителей жены по денежным делам. Есть тому неопровержимые письменные свидетельства, они приобщены к делу... как кульминация этой беспардонной лжи в воздухе возникла некая малахитовая — под цвет глаз красавицы — папка с белыми тесемками, которая якобы хранится у него в сейфе.

Авангарду самому стало стыдно от такого вранья, но он взирал на хмурую Магдалину непорочным взором.

Молокоедову тридцать семь лет. Сейчас у него злое выражение лица. К тому ж сегодня он небрит. У него обманчивая внешность провинциала.

Красавица задумалась: если слова Молокоедова — правда, то ее патрону выпадал шанс вписать несколько строк в летопись пушкиноведения. Новые факты из жизни поэта ценятся на вес золота...

Авангард поклялся завтра же представить ей эту папочку в полное распоряжение. Почему завтра? Потому что закрутился в его голове еще один план.

Наступила передышка.

Авантюрист показал красавице вечерний парк, пруды, залитые закатной ртутью, смешную сосну, у которой все ветки росли только с левой стороны, за что он прозвал ее «Гребенкой». Ввернул при виде окрестных панорам из беседки слова Пети Трофимова: «Вся Россия — наш сад». Добавил из Лихачева о «стыдливости нашей формы», на что Магдалина заметила о западной стыдливости к истине. Авангард взял в ладонь ее холодные длинные пальцы и осторожно сказал о том, что почему бы Пушкину и не побывать здесь, тем более, что дорога из Петербурга на Псков, а оттуда — в Михайловское проходила там же, где и сейчас, в нескольких километрах от парка, что парк хорошо виден с поворота шоссе на склоне Поклонного креста, что глаз поэта не мог бы прозевать столь живописную гряду. «Да,— согласилась красавица,— такое вполне вероятно». Но тут же насторожилась: что вы хотите этим сказать? Авангард свел все к аллегории. Главное — руки она не отняла. Он продолжал плести свои плутни и предоставил в ее распоряжение бывшую гостевую комнату в отремонтированном флигеле. Это была та самая комната, в которой когда-то, в середине прошлого века, ночевал доверенный секретарь Петра Васильевича Охлюстина и которую он почти до утра мерял бессонными шагами, думая о том, как вернее исполнить деликатное поручение и увезти с собой Катеньку Ивину... Легкие токи бродили по молочному лицу красавицы, она смотрела на авантюриста женским оценивающим взглядом. Ее кошачьи глаза влажно мерцали. Качалась на малахитовых зрачках тень неясного желания. Молокоедов был провинциален, широкоплеч и наивен. И эти мальчишеские глаза, нервный рот. Они были вдвоем, пили местное вино самого дурного толка, парк сонно дышал за окном, стены и пол пахли свежей доской, смолой, ноздри красавицы иногда раздувались от возбуждения. Она распустила вдоль спины прямые стеклянистые волосы с искусственным оттенком цветочного меда. Авантюрист незримо крался все ближе, ближе, его рука с невинной наколкой нырнула в пушистое стекло, одним словом, Молокоедов овладел Магдалиной, а утром, думая, что дело в шляпе, чистосердечно признался, что никакой заветной папки с тесемками у него нет, что пушкинский визит в сии пенаты целиком на его нечистой совести, что вся эта хитрость — всего лишь рычаг для того, чтобы спасти парк, дом и окрестности от хронического вандализма, тем более, что в Новобалковске планируют открыть цементный завод, и у местных вся надежда на Пушкина.

Красавица зловеще рассмеялась, затем бесстыдно принялась за туалет, вытерла грудь влажной махровой варежкой, осмотрела гладкие, как изнанка перламутровой раковины, подмышки, выдернула пинцетом случайный черный волосок и занялась макияжем лица. И все это молча, под напряженным взглядом Молокоедова. Наконец, она сказала этому мальчишке, что «постель — не повод для знакомства», что рассчитывать на ее пособничество в авантюре просто глупо, что ложь и Пушкин — понятия

несовместные, и, что, конечно, истина с ее подачи восторжествует. Афере его пришел конец, да и карьере тоже.

Авангард был в отчаяньи. Черт с ней, с карьерой! Он яростно кричал Магдалине о том, что разоблачение остановит все дело на самом взлете, что дом будет брошен, парк загажен, а трубы цементного зверя вырастут вон там, что потом истина может восторжествовать, потом, когда реставрация закончится, что осталось год-полтора, а там, пожалуйста, разоблачай! что есть, наконец, высшая правда, в его вранье — интересы народной памяти отечества и самого Пушкина! что святая ложь выше садистской истины, что мы стали иванами не помнящими родства, которые гадят в чистые источники духа, что пора перестать быть рекрутами прогресса и превращать катастрофы в повод для героизма, что интеллектуальная челядь трижды виновата перед народом, что тело его и душа страждут от потравы, жаждут по правде, а глаза слепнут от вечных поминок по духу, что вся наша бестолочь, пьянка, гниль, разор и развал — лики народного алиби перед богом за неправую жизнь, что радиация корысти превратила жизнь в крысиные бега, в жизнь-выгоду, а людей в слепошарых котят, жрущих свои же хвосты! опомнитесь, комариная кровь! что прошлое искалечено бомбами неистовых скопцов, что не реставрация памятников, а реставрация культуры и реанимация мысли нужны, что общее дело федоровское по восстанию отцов и дедов из тлена надо начать уже сейчас, что презрение к почве стало гражданской доблестью, смех и хохот в лицо святыням — тоном жизни, что на головы беспамятных иванов льет и льет мочой поток социального оптимизма, что сатана заплевал нам глаза, очнитесь! вы ж плевками глядите! марсиане, пудели яа пашне! что Пушкин, как неприкаянный утопленник, увешан раками-раачами и мается под окнами, и стучит, и воет, а вы, погань, навалились всем скопом на отеческие дырки, не залечивая раны, а насилуя их, вурдалаки на могиле гения! вы горстями продаете землю с его могилы, распахивая ее свинскими рылами в поисках новых двугривенных, а ведь Пушкин младенцем провидчески нарисован на нашем палладиуме, у щеки Владимирской божьей матери, а вы, вы...

Странный сюжет, первый, в котором нет любви.

Он кричал, а она наслаждалась его страстью, которую считала всего лишь паникой и легкими нажимами обводила рот косметическим карандашом, шлифуя губы. Потом холодно сказала, глядя прямо в глаза, что она не имеет ничего против реставрации этого милого уголка, но, что если *правда* сможет напрочь помешать благородному делу, тем хуже для такого вот общества, где нет прав у истины. А раз так — значит «так ему и надо», пусть сгнивает до корня, раз оно не способно переварить правды, раз питается ложью. Потом добавила, что Пушкин для многих хорошая кормушка, но ее цинизм лежит в другой сфере, и не ее вина, что писать о живых — риск, что только мертвец может обеспечить. И наконец, заключила: раз это хваленое отечество не дает ей того минимума, который положен рангу великой державы, раз жить приходится *недостойно*, то она считает себя свободной от всяких обязательств.

«Ах ты, фря,— взорвался Молокоедов,— сука рваная!»

Красавица спокойно влепила ему пощечину и уехала на алом автомобильчике.

В этот день Авангард на работу не вышел, а к вечеру безобразно напился в одиночестве, в пустой сторожке у боковых воротец, а напившись, пошел в парк, где принялся искать «точку красоты», и нашел ее. Давно у Авангарда был этот *бзик* найти ту точку, которая, по его мысли, была невидимым центром парка, истоком его красоты, первобуквой и первоатомом. Тайно и упрямо он верил в ее существование. Иначе трудно было понять, почему, например, ни на одной из берез нет уродливых наплывов чаги, почему никакой червь не точит широкие листья кленов и остролистые купы вейчелы, почему вообще нет плесени, мха, плюща и лишайника на стволах парковой коллонады. Откуда идет этот светлый чад благодати? Отчего ни один бесовский прыщик не проклюнулся на зеленом лице Аннибала? Должна быть какая-то радиация прекрасного, рассуждал он.

И в этот несчастный день Авангард Молокоедов нашел тайный источник. Но где, он тут же забыл.

Или ему все померещилось спьяну?

Он чуть не наступил ногой в этот радужный зрак, который печально открылся на земле, в стелющейся гуще зеленых крестов барвинока, подобием овала зеркальной амальгамы, перламутрового белка с травяиистыми прожилками. Качнувшись, Авангард уцепился рукой в поданую ветку лещины: зрак светился в центре треугольного отрезка травы, и окружали его траурно-узорчатые папоротники, свечи кизильника, облепленные розовым цветочным нагаром, малахитовые пилы кровохлеба, согнутые острием вниз мечи красоднева. На опаловый свет из-под земли слетелись синие девственные фиалки, нагловатые ветреницы, белоснежные цветы флокса, похожие на мертвых бабочек... Трезвея, Авангард увидел, как радужный зрак тихо воспарил — все сильней и сильней лучась — на уровень его глаз и слепяще посмотрел ему прямо в лицо огненным треугольником. И человек оказался наг, а в том месте, где лучи, шевелясь, ожгли его кожу, по всему телу Молокоедова пошли радужные пятна и павлиньи глазки.

Медные лучи электрически пронзили весь парк. Деревья стояли с головой в золотом накале, не отбрасывая теней. Как незримое силовое поле магнита делается видимым с помощью железных опилок, так и чертеж красоты проступил в этом рое слепящих игл странным рисунком абсолютной истины. Рисунок этот читался как откровение, проникал до мозга костей, но сразу же забывался. Стоя стоглазым голым Аргусом, пьяный Молокоедов понял, что его подлинное имя Георгий и увидел пеструю смену картин, которые пронеслись перед ним перистым вихрем, которые виделись ясно и понятно, но из памяти исчезали бесследно. Он стоял посреди чужого сна с широко отверстыми глазами — только одна картинка запомнилась, и уже поздней он смог даже расшифровать ее — помогли записки Пушкина о своем легендарном предке, арапе Ганнибале, об эфиопском детстве арапа, о том, как он был похищен и увезен из Африки на корабле, как долго и безнадежно плыла за кораблем его любимая сестра Лагань... Неужели он подсмотрел сон Пушкина?.. Авангард увидел парк Аннибала морским заливом, по которому он — Молокоедов — скользил пенным лазурным гребешком и ничего не слышал из-за шипенья и лопанья сотен пузырьков в голове, не слышал, но видел, обегая прохладный корабль, который был и парусником и арапчонком одновременно, корабль плакал, а за ним плыла по волнам круглая девочка-луна, черная гибкая рыбка. Она тянула из воды руки, звала печальным голосом, пока не захлебнулась и не пошла на дно, опускаясь все ниже и ниже вдоль сотен глаз бездонного Молокоедова, черной эбеновой статуэткой. Он пытался ее спасти, но как может спасти морская волна? Луна легла на дно, и на ее солнечный свет слетелись траурные рыбки. Авангард остался одиноким гребешком в море. Тем временем мальчик-корабль превратился в далекое грозовое облачко, которое причалило к косому осеннему дождю над березовым перелеском. Так вот как эфиопская тьма пришла на наш берег, думал Молокоедов, закрыв глаза на лице и продолжая следить всей кожей. Имя этой тьмы — свет, думал он, тьма беременна им, а значит светоносна. Ее изнанка — белая ночь. При этом Авангард ясно видел, как та чернильная тьма становится светом, как брызжет из нее радужный пестрый пронзительный луч, озаряя парк невиданными раскатами золотого сияния. Сквозь зарево все сильней накрапывал слепой солнечный дождь.

Он очнулся оттого, что капель ясновидения кончилась, и кожа его ослепла. Авангард огляделся по сторонам, пытаясь понять, где он, в какой части парка. Смотрел и не понимал. Деревья были окутаны цветным туманом, одуряюще пахли флоксы, магический зрак пропал, иссякла геометрическая вьюга из медных пронзающих лучиков. Через все влажное чистое небо шла радуга, один конец которой спускался прямо к Молокоедову, и он стоял сейчас как раз в ее разноцветной толще и со смертной горечью видел, как в магическом столбе гаснут видения, истины, пророчества, знаки и черты провидения. Он поднял руки к глазам, руки были полосаты от цветов спектра. Тут-то его и облаяла злая собачонка, звонкая каменная собачка с отбитым хвостом и кончиком уха. Авангард Молокоедов пьяно таращился на нее, соображая, каким образом может лаять камень, пытаясь понять, где он уже видел эту тварь? Это была облупленная собачонка с погребальной урны хвостатого кладбища посреди мрачного ревира. От него уже и следа не осталось, ан нет — чернее червоточина на райском плоду. И человек с тоской понимал, как глубоко ушел корень мирового зла в землю, как ужасно кишит червь в яблоке, как укушена красота этим тявкающим плевком. Гений парка продолжал двоиться. Молокоедов пнул собачонку, но отбил ногу... о мраморный камень. Носок кроссовки пришелся на полированный бок конского черепа. Белая кость продолжала целить в палладиум. В пустых глазницах снежного коня шныряли собачьи глаза, щуршал в черепе змеиный шип. Почему арапская *чернота* так светла? и почему *белое* так чернеет? Неужели божий промысел тоже с изъяном? Кто хохочет так над нами, двигая пружинки? Дьявол? Или... страшно подумать... сам бог? Молокоедов трезвел, дождь еще продолжал шелестеть листвой, он шел со стороны света, и капли падали молочным жемчугом. Падали, катились по листьям и, срываясь, гасли. Авангард озирался. Магический зрак продолжал неясно миражировать перед ним. Казалось, он хотел проступить во всей силе, но нет, треугольник гас в сырой траве, уходил в землю. Все тоньше становились его жилки, только силовые линии тайного чертежа были видны ясно, отчетливо. Этих линий было три, они вытекали тугим пучком из одной точки — той самой,— а затем светоносными неоновыми жгутами растекались, одна — вдоль ручья, другая чертила абрис деревьев, третья бегло рисовала незримое: ритм, тяжесть, гармонию. Мотая тяжелой головой, Авангард Молокоедов, наконец, выбрался на аллею. Побрел к флигелю. Его уже искали, требовали к телефону, скандал разгорался. Шаг, второй, и его фигура растворилась в пасхальном мареве после дождя.

На этом месте он соскальзывает в Лету со страниц зеленой летописи.

Сразу после разоблачения научной мистификации и разносного фельетона про авантюриста от культуры начались трудности с финансированием реставрации, со

стройматериалами. Работа то останавливалась, то чуточку продвигалась, пока совсем не заглохла. Дом так и стоит — в лесах. Я был там недавно и провел в парке весь день; а потом пошел снег. Майский снег! Откуда хлынули эти лилово-черные тучи с палевыми боками? Они прошлись над весенними верхушками ледяным днищем, роняя крупные хлопья. Все гуще, гуще. Удивительно было видеть, как снег сначала таял в вышине, не долетая до веток, до земли, затем повалил обильней, и снежное мерцание стало погребать цветущую черемуху, яблоню, зеленистые пучины лип, крапчатые норки цветов. Иногда порыв ветра встряхивал снежную шапку, и снег, обвалами, чади белизной, сыпался вниз сквозь клейкие тенета на землю. Нагретая прежним солнцем листва, теплые почки, прогретые стволы, ветки, горячая земля брали свое, и снежные пелены стали расползаться, таять, сыпать холодной каплей. Ледяной утюг катил по небесам к горизонту. Снег был сброшен и забыт. И редкая картина — снежные омофоры словно бы охвачены огнем — бестелесное пламя на глазах выедает в платах зеленые дыры, муравчатые ожоги, малахитовые узоры. Потом выглянуло солнце, и парк, насквозь омытый, засверкал с такой рождественской силой, что на него нельзя было смотреть без слез. Шумели холодные ручьи в листьях исполинского дуба, гасли последние хлопья в макушках корабельных сосен, тихо переливали стеклом липовые кроны. Только яблони стояли по колено в сугробах, в грудах смытых лепестков, но на ветвях было еще порядком налеплено душистого снега, чтобы завязь могла понести. И столько прелести было вокруг, что думалось — красоте нужны эти небесные розги, этот снег, чтобы ландшафт стал крепче, стройней, целокупней, чтобы ледяные пальцы ободрали слабые цветы, вырвали ветхосидящие в короне лепестки. Не в этом ли была главная загадка натуры? Глядя отсюда, со дна времени, сквозь всю толпу истории, думалось о том, что все зло шло только на благо. Опасная мысль! Во всяком случае, такое впечатление создается. Возьмем хотя бы последние полвека: артобстрел, краешек танкового боя уничтожили старые деревья и расчистили место для новых. Спустя пять лет от гильдяевского ига пали столетние липы и дуб-патриарх — кажется, дальше некуда, парк изувечен навсегда, но новый дуб ударил из земли с удесятеренной силой, и не один, вокруг забила целая дубковая рощица. Липы выросли тоже еще гуще, еще душистей. В этом кровотворчестве есть что-то сродни тому торжеству над обстоятельствами, какое демонстрировал — продолжим лейтмотив — тот же Пушкин, и которое точно подметили пушкинисты: ссылка на юг стала неоценимой услугой развитию его романтической поэзии, а холера морбус породила золотой пожар болдинской осени. Он пустил на растопку таких пожаров собственную судьбу. Одним словом, и парку, и Пушкину все — парадокс! — шло в рост, в строку, в рифму, в масть.

Парк Аннибала — ристалище, свет в глуби эфиопской тьмы, где зло шло на благо, где младенец рос в пучине черной благодати. И наш российский арап был «гением этой местности».

Трагическая мысль...

Туча-льдина, туча-каток скрылась за горизонтом, снежок догорел дотла. В сосновой роще стоит сухой прогретый запах пустой дачной комнаты, окном на солнце. В еловом коридоре сумрачно и пахнет сырой шишкой. В липовую аллею надуло душистого тумана от соседней сирени. От каждого ствола и листа в сердце идет ток. И мысль, которую внушают они, проста: ты с нами — одно целое. И всюду птицы, птицы, порхание теней, видных только краешком глаза и редко — в упор. Их полет наполняет парк красотой быстроты. И это мелькание только подчеркивает красоту стояния на месте. А мера этой красоты — длина живого ствола. Вот градостроительный модуль России, вот крайний предел ее сжатия и упругости, косточка, до которой можно объесть, длина ее стежка. Мысль о модуле — бревне — идея Владимира Осиповича Шервуда. Мысль архитектора. Ее подтверждение и парк Аннибала, история его стойкости, и хотя бы вид с высоты на колесо Москвы, так похожее на срез дерева с годовыми кольцами, где царит не польза, а образ. Где кратчайшее расстояние между двумя точками измеряется не метром, а эталоном, то есть соответствием пройденного пути идеалу. Это, конечно, неудобно, но не бессмысленно.

Закатное небо превратило парк в зеленый храм, в заповедную заводь. Стволы стоят по пояс в угрюмом золоте. Земля рассеялась под напором длинных косых лучей, и парк оказался островом посреди зеркала, замер, оцепенел, глядя в собственное отражение. Луч, встречаясь с преградой, переламывался, как в призме, разворачивался в веер лучей, и парк ежился и лучился, как живой радужный купол. Темнело на глазах. Живописные массы сливались в одно целое. Все плотней мрак, он тоже пускает побеги и листья тьмы. Смолкают птицы. Сильней становится запах сирени. Все заворожено, заморожено мглой. Где-то стороной проходит гроза. Далекие зарницы вспыхивают и гаснут. Бесшумные вспышки озаряют небесные дали, бросают мгновенный свет на облачные розоватые горы. Кажется, что там — на миг — распахивается океанская панорама: штиль, морская гладь, еще один далекий горизонт. Оттуда идет вечный прибой прекрасного, приступ за приступом, и парк эхом вторит этим набегам. Но вот все гаснет и тонет во мгле, в чернильной толще пушкинского черновика. Проносится

над вершинами гробовых елей ангел местности и гаснет. Лицо его неразличимо, но неужели *лик* может быть порочным? Кто забросил в наш словарь это страшное устойчивое сочетание двух антиначал — порочная красота? Не успеешь задать немой вопрос, как начинает брезжить ответ, словно местность сама думает за тебя. Невозможно поверить, что эта арапская непроглядность таит в себе столько сияющих панорам, видов, аллей, силуэтов, куп и куртин. В этой слитности — в черное, до тла, до «ни зги» — состояние первозданности мира, состояние начала. Только шум (как ток крови в ушах) выдает с головой невидимый парк, да внезапное чирканье болида с его коротким светом. Гроза уже ушла за горизонт, и небо перестало моргать сухим блеском.

Так глухо и ненасытно парк шумит до рассвета... ворочают белками глаза поэта в могильной земле, растут темные сосны вдоль силовых линий справедливости, озаряются сполохами красоты ум и душа. И если чернота, по существу, так светла, значит блюсти меру свойственно всей вселенной, значит, мера стоит в начале мира, значит, человек в человеке никогда не был оскорблен вселенским азвизгом, потому что красота не может оскорбить ни слуха, ни зрения, ни чувства, ни самое себя. Словом, она — *непорочна.*

Чья это мысль? Парка? или это *его* бормотание: «Ты богоматерь, нет сомнения, Не та, которая красой Пленила только дух святой. Мила ты всем без исключенья; Не та, которая Христа Родила, не спросясь супруга. Есть бог другой земного круга — Ему послушна красота, Он бог Парни, Тибулла, Мура, Им мучусь, им утешен я. Он весь в тебя — ты мать Амура, Ты богородица моя».

Все спит, не спит только он — genius loci — гений местности. Он все объемлет. Он и снится самому себе и бодрствует. Его глаза широко открыты везде. Зрак видит. Блеск белков пронизывает сырую землю. На губах запеклись слова. У него, как у бога, нет век.

Тем злее на эти глаза, на эту зрячую землю летит летний снег — цементная пыль. Паршивый заводик невдалеке успешно построен. Он курится мертвой мукой. Падает на парк пылевой снегопад, роятся бесовские снежинки, ложится сухая пороша. Уж этот-то снежок не расстает, не прольется чистой слезой. Нет, он налипнет на листья, нависнет на ветках, застит бессонные очи каменной коркой и закроет, наконец, веки покойнику... но мы забежали вперед. Эта глава еще только пишется, хоть название у нее уже есть:

9. Тяжкая манна

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Игорь
МИХАЙЛОВ

Этапный сахар

Усталостью сраженный наповал,
во время передышки на этапе
раздачу сахара я прозевал
и впал в отчаянье, что так прошляпил.

Я рвался к ускользавшему пайку
(хоть мог прикладом схлопотать по шее),
но тщетно тщился втолковать стрелку,
что я не вру,
что врать я не умею...

Еще такого не было пока!
Кому такое доводилось встретить,
чтоб мимо сахара прошел зэ-ка
и мог его бездарно не заметить?

И вновь меня отпихивали злобно
(решил, мол, доходяга «закосить»!)
и нецензурно чем-то несъедобным
взамен мне предлагали закусить.

О, я тогда уже прекрасно знал,
что сахар нам —
спасение в скитаньях,
что он замена отдыха и сна,
синоним жизни,
концентрат питанья!

...С тех пор я уйму перенес обид,
порой казалось: наповал убит.

То барственным движением руки
снимал статью из номера редактор,
то рецензенты, смыслу вопреки,
облаивали рукопись бестактно.

То книгу, плод давнишних упований,
рассчитанную скромно на века,
из года в год передвигали в плане,
чтоб напечатать нужного дружка...

Какая это, братцы, ерунда —
пороги, мною попусту обитые,
в сравненье с той жестокою обидою,
мне в память врезавшейся навсегда,

когда, поняв своим чутьем голодным,
что шансы выжить сократились вдруг,
я на этапе плакал всенародно,
тот горький сахар упустив из рук!



О, как здесь люди исчезали!
Еще вчера был крепок, зол —
почти такой же, как вначале...
И вдруг — распался, вдруг — «дошел»...

А я — сквозь голод, холод, тьму —
плыл осторожно по теченью
и, сам себе на удивленье,—
вдруг выжил — вопреки всему...

◆◆◆

В Соснове есть один участок дачный,
крупней всех прочих — соток пятьдесят,
и неспроста его с оглядкой мрачной
старательно обходят все подряд.

Там, затаившийся внутри участка,
стоит большой, но неприглядный дом.
Хозяина вы встретите нечасто —
живет он нелюдимо, бирюком.

Персона...
Сталинист, конечно, ярый,
палач отменный и гроза зэ-ка...
Писал бы он, наверно, мемуары,
да не выходит: грамотность низка...

Но ведь не все доверишь и перу...
А жаждет он, томит его желанье
кому-то выложить воспоминанья,
как рыбе надо выметать икру.

Хвались широкою натурой русской,
посадит в кухне с краешку стола,
с пол-литрой, стопочкою и закуской
и заведет про всякие дела —

про нарастанье классового гнева,
когда валились в кучу стар и мал,
когда скоплялись те, кого налево,
и объявлялся, так сказать, аврал...

«Все помогали, кто у нас служил,—
тут даже бабы набивали руку...
Ну, вроде бы взаимная порука,
такой порядок был, такой режим...
Но, главное,— ответственность какая,
коль не поймешь чего-то впопыхах...»

А Лешка пьет, сочувственно кивая
и обмирая где-то там, внутрях.
Пьет Лешка, водкою насквозь прогретый,
таращится, не зная, как тут быть:
стараться ли запоминать все это
иль лучше, чуть услышав, позабыть?

Да вот беда: и ночью, как на грех,
в июльскую жару знобит, как в стужу,
когда кровавые приснятся лужи
и скользкий вид подвалов жутких тех.

И боязно: а чешется язык
приятелям поведать по секрету,
и вот чудовищная эстафета
пошла гулять и вкось и напрямик.

А длинный Лешка вовсе отощал,
пьет у друзей, у тещи, у невестки,
пьет Лешка с закусью и натощак
и вновь в тот дом бредет, как по повестке.

Пугает страшное...
Но, словно поп,
идет он слушать исповедь лихую,
заранее тоскуя и психуя,
но пряча свой предательский озноб.

Идет на вызов, зубьями стуча,
мозгами помрачаясь понемножку,
и, очевидно, скоро станет Лешка
последней самой жертвой палача!

Юрий
КРАСАВИН

НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ

Рассказ

Лет десять тому назад... Но, впрочем, надо обозначить нынешний день, соотнеся его с каким-то важным событием, а потом уж отсчитывать — так точнее обозначится время.

Нынче на многое в прошлом мы оглядываемся, и эхо давно случившегося достигает нас, повергая в состояние контузии той или иной степени. Мы побуждаемы к размышлению, мы жаждем осознать происшедшее ранее, нам хочется привести свои возбужденные мысли в стройную систему, растревоженные чувства в упорядоченное состояние. Вон в газетах печатают политические портреты тех, кто был безвинно казнен, и тех, кто их казнил; в журналах публикуют ранее клейменные и проклятые романы; обнажаются застарелые язвы и выносится точный диагноз былого общественного недуга; невеселыми размышлениями отмечается вторая годовщина Чернобыльской катастрофы...

Вот, пожалуй, упоминанием о Чернобыле, и можно сориентировать день нынешний, а уж от него отсчитать десять лет назад. Таким образом я привязываю свое повествование, как глупого теленка к тычку, в землю вбитому.

Итак, со временем все ясно. Теперь о месте действия: дело было в Новгороде, я работал тогда... Титул у меня был пышный, вернее, длинный: ответственный секретарь Новгородской областной писательской организации. Человек на такой должности облечен ответственностью, но, увы, не властью, следовательно, благо, которое он может совершить, имеет весьма ограниченные размеры. Тем более в Новгороде, где численность организации была очень невелика: пять человек. При таком малом составе должность ответственного секретаря считалась синекурой и была тогда желанна для любого из новгородских писателей, исключая разве что смиренного старичка, не претендовавшего решительно ни на что и жившего даже не в Новгороде, а в Боровичах. Каждый из остальных рядовых членов (назову их: Прозаик, Поэт, Драматург) проводил политику столь хитрым образом, чтоб свалить должностное лицо — ответственного секретаря — и самому стать таковым. Иллюзия простоты этой операции подогревалась тем, что один человек по сути составлял четвертую часть нашей организации, а два — ее половину. При нейтралитете третьего, двое уже составляли большинство.

Это большинство из двух человек, Прозаик и Поэт, распив бутылку яблочного вина в станционном или гостиничном буфете, являлось в наш писательский оффис с самыми решительными намерениями — чаще всего они требовали денежных выплат под какой-нибудь соусом.

Кстати, об «оффисе»: это была довольно большая комната на нижнем этаже, с двумя окошками, выходящими на грязный неухоженный двор. У нас постоянно воняло канализацией, и наши отчаянные обращения в домоуправление и выше не помогали: нам объясняли, что дом старый, трубы прогнили, отремонтироать их невозможно, надо заменять, а замена — это уже капитальный ремонт, который намечен на следующую пятилетку или чуть далее. Восемь лет занимал я свой высокий пост и все восемь лет вкушал канализационные ароматы. Не один, разумеется, а вместе со всеми профессиональными писателями Господина Великого Новгорода и нашим литературным активом. Впрочем, с художниками тоже: они соседствовали с нами, их «оффис» был бок о бок с нашим.

Итак, мое оппозиционное большинство являлось ко мне и поднимало любой вопрос, решая его в свою пользу самым простым, так сказать, демократическим путем — открытым голосованием. Процедура эта происходила у нас довольно часто — тут надо учитывать древнюю традицию вечевого новгородского правления, следовательно, неизбывную тягу к ней, генетически заложенную в крови.

Прозаик с Поэтом, требуя денег, ставили правящее лицо, в данном случае меня, в тяжкое положение: ведь они считались только с собственными нуждами, а не с возможностями самой маленькой писательской организации в России и не с финансовой дисциплиной. Коллеги мои рассуждали на удивление трезво и логично: если есть на свете деньги, значит, они должны быть разделены и не как-нибудь, а на три части: Поэту, Прозаику, Драматургу; старичок в Боровичах не в счет — у него пенсия. А то,

что имеющиеся деньги полагается тратить на исполнение какой-то работы, во внимание не принималось. В том и было коварство их политики: нажать на ответственного секретаря с тем, чтобы он допустил финансовые нарушения, и тогда уж снять его с должности как раз за эти преступления.

Я отказывался нарушать закон, тогда большинство выносило решение о смещении меня с должности: уходи, мол, князь, не надобен еси.

Ну, дело прошлое, и я не стал бы распространяться о кипении наших страстей, не стал бы даже и упоминать о них, если бы они не имели касательства к тому главному, о чем я хочу поведать.

Скажу только, что обком партии неизменно вмешивался в ход писательских дворцовых переворотов, желая примирить непримиримое. Для этого в обкоме имелся подходящий работник — Виктор Иваноанч Кулепетов, очень милый человек, одаренный к тому же явными дипломатическими способностями: вставши на вершине воздвигнутых нами баррикад, он умел красноречиво воззвать к нашему здравому смыслу, усовестить и усмирить. «Ну, как вы не понимаете, Юрий Васильевич? Ясно же: незрелые люди!» — говорил он мне доверительно о моих оппозиционерах. И столь же сердечно им обо мне: «Красавин молодой еще, неопытный...»

Выше Кулепетова был заведующий отделом пропаганды Альберт Мартынович Тэммо, но он редко нисходил с горных высот до нас, а если и случалось такое, то лишь в паре с Кулепетовым. Роли у них распределялись при этом так: Виктор Иванович карал гневными речами, а Альберт Мартынович бодро обещал «ликвидировать проблему» и «решить вопрос».

Ну, а еще выше был секретарь обкома по идеологии — это такой уровень, до которого наш вечевой гвалт достигал лишь в форме отдаленного и неясного шума. То есть, в форме сухой информации, лишенной эмоциональной окраски: бузят, мол, писатели, авось скоро кончат.

Каждому областному центру до́лжно иметь приличную футбольную команду, парутройку генералов в отставке, музыкальный ансамбль или хор народной песни, театр и хотя бы одного олимпийского чемпиона (по гребле, например), ну и писательскую организацию. Когда этот своеобразный «джентльменский набор» у города есть, власти спокойны: они не хуже других. Ну, а чем там, к примеру, писатели заняты, бог ведает. Главное, что они есть в наличии — этого достаточно.

Многого от нас не требовали. А что тут потребуешь! Писательское творчество — тайна. Оно не поддается директивным указаниям, не регламентируется планом, не стимулируется социалистическими обязательствами — это сознавали в обкоме партии и рассуждали, наверное, так: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. «Дитя» же — писательская организация — капризничало по самым мелким поводам, возводя сущие пустяки до принципиальных высот. Стены «оффиса» содрогались от бурь и гроз, кипение страстей накаляло их до всех цветов побежалости.

Писательское вече, уступая усилиям дипломатичного Кулепетова, на некоторое время замирало, а потом опять взрывалось страстями, опять мне выносился вотум недоверия, и я слал телеграмму в Москву, в Правление Союза писателей России, информируя о своем очередном смещении с поста. Туда же уходило послание моей оппозиции с подробным изложением моих аин: работу развалил, положенные восемь часов в конторе — «оффисе» — не отсиживает, деньги остаются непотраченными, старых не уважает, молодых притесняет. Там иногда «реагироали»: присылали комиссию, составленчую из служилых людей сопредельных с нами земель — из Твери, Пскова, ну и из Москвы тоже; комиссия знакомилась с состоянием дел, констатировала наши достижения и упущения, отметала явную клевету и... я оставался на посту до следующего веча.

Появление посторонних писателей (даже если это была не комиссия, а просто кто-то приезжал по саоим делам) я всегда воспринимал как элемент привходящего благоразумия. То есть от их приезда наша великая писательская пря обретала четкие смехотворные очертания, и на душе у меня становилось легче. Новгородцы пошучивали, что-де Москва и Ленинград — это наши пригороды, поскольку Новгород между ними да и древнее их гораздо, а в общем-то мы глубоко чувствовали свое провинциальное ничтожество: и писатели, и художники... наверное, и футболисты тоже. За отставных генералов не поручусь.

И вот сидел я однажды в своем оффисе... кажется, на этот раз канализация несколько упорядочилась, и миазмы были не так густы, а впрочем, не помню... сидел я, растворилась дверь и вошел давно знакомый мне лично поэт Антонин Чистяков, а следом за ним человек невысокого росточка, неказисто одетый (под пиджаком поверх рубашки джемперок, под рубашкой свитерок) и очень хмурый, чем-то недовольный. Здороваясь, он небрежно, как бы нехотя, пожал мне руку и сказал весьма невнятно:

— Абрамов.

И тотчас отошел, сел подальше, стал листать газеты, то ли прислушиваясь, о чем мы с Чистяковым говорим, то ли нет.

Антонин Чистяков в свое время стоял, можно сказать, у колыбели нашей славной Новгородской писательской организации. Создана она была одной из последних в России; я тогда в Новгороде не жил, а вот Антонин был одним из двоих остепененных членством в Союзе писателей, которых можно считать, собственно, коренными новгородцами, а уж к ним потом присоединились еще трое, приехавшие из-за пределов области,— состоялся учредительный съезд из пяти человек, таким образом история организации началась. Чистяков рассчитывал, что именно его изберут ответственным секретарем, приняв во внимание организационные заслуги, но этого не произошло. Он разобиделся настолько, что перебрался вскоре на жительство в Ленинград, обменяв квартиру; однако же с тех пор не любил Новгород, утверждая, что писательская организация здесь состоит из двух дураков и двух алкоголиков, и бывал только в северном краю области, где у него в деревеньке, неподалеку от Боровичей, был свой дом, игравший роль дачи. По-видимому, там у Антонина гостил и Федор Абрамов — вот чем объяснимо их совместное появление в Новгороде.

Мне и ныне трудно понять, что могло подружить этих двух людей: знаменитого прозаика и малоизвестного поэта. Впрочем, то была не дружба — Абрамов держался генералом, а Чистяков смиренно, даже этак боязливо исполнял при нем обязанности адъютанта.

Антонин Чистяков всегда был робким и смирным человеком, неведомо почему. Можно, конечно, эту манеру поведения назвать и скромной, но мне она не нравилась, поэтому я скромность и именую робостью. Антонин не любил возражать кому бы то ни было и, если был с чьим-то суждением не согласен, просто отмалчивался; при этом был обидчив и, разумеется, самолюбив, как все поэты. Где-то внутри бушевали в нем протест или возмущение, прорываясь наружу лишь изредка, а вообще-то он всегда был тих. Встретив в Новгороде знакомого ему стихотворца, бывшего офицера, автора множества барабанных стихов на тему «Ах, какой я хороший: честный, храбрый, боевой!», коими он заполонил все районные газеты области, Чистяков перед ним становился чуть ли не в стойку «смирно». Потому, видите ли, что когда-то давно, лет двадцать или тридцать назад, служил в армии под началом как раз у этого офицера, который потом уже, уйдя в отставку, принялся писать стихи. Впрочем, может, и не поэтому, а черт знает почему! Ведь и без той былой военной службы Антонин держался бы почтительно перед нашим стихопёком. Не написавши ни одной поэтической строки, отставник преисполнен был важности и несокрушимого превосходства, имел осанку литературного «мэтра», тогда как Чистяков, автор многих поэтических сборников и журнальных публикаций, уже не одно десятилетие носивший в кармане членский билет Союза писателей, помалкивал о своем таланте. Во всяком случае не выпячивал грудь вместе с брюшком, не пыжился, не изрекал банальности под видом важных откровений.

Ну, а Абрамов являл в себе иные качества по сравнению с Чистяковым: достоинство свое соблюдал строго, разговаривал прямо и твердо, не подлаживался ни под кого, а заставлял других подлаживаться к себе. Вот потому и недоумеваю ныне, как недоумевал тогда: что же сблизило их, явившихся в мой оффис, очень уж они были непохожи. Но — возможно, тут и ответ: потому и сошлись, что разные люди. У одного была потребность взять кого-то под крыло, у другого — нужда в чьем-то покровительстве. Абрамову нравились стихи Чистякова, он даже любил их цитировать; Чистяков почитал в Абрамове талант трезвого реалистического романиста, публициста да и просто хорошего русского мужика, ибо это тоже талант.

Явились гости по делу: скоро съезд писательский, и секретари правления решили разъехаться по городам и весям России, чтоб поближе узнать проблемы быстротекущей жизни: Федор Абрамов выбрал Новгородчину, поскольку она родственна его архангельской родине.

Я тотчас занялся хлопотами о гостинице, но без всякого успеха: время летнее, самый туристский сезон, а заранее гости меня не известили. Пришлось обратиться за помощью в обком партии, но Кулепетова на месте не оказалось: приболел, лежал в больнице. Я поднялся на уровень выше, то есть позвонил Тэммо: так и так, мол, приехали Федор Абрамов и Антонин Чистяков, им необходимо то-то и то-то. «Поможем! — бодро озаботился тот.— Ждите, позвоню».

Надо сказать, что незадолго перед тем был опубликован очерк Абрамова и Чистякова «Пашня живая и мертвая», и это наделало много шума. Суть очерка: дичает, пустеет, разоряется земля одной из коренных российских областей — Новгородской,— а посему судьба ее внушает большие тревоги и опасения. Это было в эпоху, когда бодрячеcкий тон — «Все хорошо, прекрасная маркиза, за исключеньем пустяков!» — процветал; высшим проявлением партийности и патриотизма было как раз твердить взахлеб: все хорошо, все хорошо! И тут вдруг новгородскому начальству в глаз колют: что и то плохо, и это. Партийные верха нашей области оценили очерк как явное и злоумышленное очернительство, как намеренное «сгущение красок». Но тут слух прошел, что в верхах, еще более высоких, очерк не произвел раздражающего воздействия, там

не осудили авторов, а потому, хочешь не хочешь, теперь их следовало привечать. Поэтому Тэммо бодро ответил: сейчас, мол, все уладим.

Пока суть да дело, я пригласил гостей к себе домой выпить чаю, благо жил рядом. Пригласил, заведомо сомневаясь, что Абрамов примет приглашение: уж очень сурово он держался. Меня, признаться, задела небрежность, с какой он подал мне руку, называя себя, да и то, как отчужденно сидел, листая газеты. Однако они оба согласились охотно.

В квартире моей Федор Александрович огляделся этаким цепким, хозяйским глазом, ему понравилась некоторая пустынность жилья, то есть отсутствие лишних вещей, вроде ковров и хрусталя. Просвечивала, так сказать, честная бедность. Выяснилось, что и сам я, и жена моя — люди, выросшие в деревне, знакомые и с запахом навоза, и парного молока, что Абрамову было по сердцу. А от моей шутки: «Хорошо-то не жили, и начинать незачем!» гость немного помягчел, утратил официальность.

Я приглядывался к Абрамову и постепенно смирялся с его манерой поведения — этакой не слишком любезной, строгой. Некоторые неудобства общения с ним искупались сторицей: гость мой относился к тому крайне немногочисленному разряду собеседников, для которых процесс думания, размышления естествен и постоянен, как дыхание. И надо ли говорить, что размышления его были не на праздном уровне, а «по делу»; что ни суждение — то дельная мысль, неожиданный ракурс. Таких людей я в своей жизни встречал мало, могу пересчитать на пальцах одной руки.

Разговаривали мы, помнится, о том явлении, которое немало дивило нас: о своей шефской помощи в мелиорации Новгородской области объявила среднеазиатская республика. Соображения пропаганды взяли верх над экономикой; шуму было много, а толку чуть: звонкими лозунгами о дружбе народов прикрывали обыкновенную бесхозяйственность, ибо это мероприятие обходилось в очень круглую копеечку. Приезжим мелиораторам шла тройная оплата: во-первых, дома, по основному месту работы; во-вторых, им начислялись командировочные; и в-третьих, старались побольше заплатить уже здесь, на Новгородчине. Ну, это еще не беда — денежные выплаты: был бы прок от них. Но откуда быть проку, если приезжали люди в основном неквалифицированные, из тех, что и у себя-то дома не нашли дела, их еще учить да учить надо. Таким образом цена этой «помощи» была непомерно высокой, иначе говоря, разорительной для бедной Новгородчины. Цифры освоенных средств бодро ложились в отчеты, радуя сердца администраторов, и это в то время, когда полным ходом шло запустение и оскудение новгородской земли, когда пашня, на протяжении столетий кормившая поколения русских людей, зарастала, дичала или под натиском бесцеремонной техники становилась мертвой.

О том и писали в своем очерке мои гости, о том и говорили мы, сидя за столом у меня дома, когда позвонил Тэммо и сказал, что нас примет второй секретарь обкома партии Смирнов, и там, само собой, «решится вопрос с гостиницей».

Мы отправились.

Та беседа в обкоме была краткой: гости наши обозначили цели своей поездки по области да попросили помочь с гостиницей и транспортом. Смирнов держался сухо, но в ответ на просьбу тотчас распорядился, позвонив заведующему хозяйственным отделом... фамилию его я, каюсь, позабыл, но помню, что это был мужчина суровый: если попадется, бывало, навстречу, то на твое почтительное «здравствуйте» он в ответ ни гу-гу, не снизойдет. Ба! Осипов его фамилия. Вишь ты, всплыло в памяти. Можно бы обойтись и без этой фамилии, но раз уж вспомнил...

Итак, мы спустились на этаж ниже, я зашел к Осипову спросить о машине, когда ее можно взять, и услышал от него суровое:

— А кто за нее платить будет? Писательская организация?

Бюджет руководимой мною организации таковой затраты позволить себе не мог.

— Простите,— посмел заметить я,— но ведь вам же только что позвонил Смирнов! И это именно он послал меня к вам.

— Позвонил... Но я спрашиваю: кто будет платить за машину? Может быть, вы из своего собственного кармана?

Мой собственный карман и вовсе был некредитоспособен.

Я, озадаченный, вышел. Абрамов с Чистяковым увидели мою расстроенную физиономию: «Что, Юра?» Я им: «Сейчас, сейчас...»

И отправился опять к Смирнову. Второй секретарь обкома в ответ на мою жалобу: «Не дает Осипов машины!» — сделал недоумевающее лицо и отослал меня обратно: мол, распоряжение отдано, повторять нет смысла. Я опять мимо Абрамова и Чистякова — к суровому хозяйственнику. Секретарша к Осипову не пускала: занят. Следовательно, ждать, когда он освободится. Я ждал его, мои гости — меня.

— Юра, в чем дело? — спросили они.

Я рассказал им.

— Уж это не случайно, Федор Александрович, я их знаю,— обронил Чистяков уныло.— Нам выражают таким образом свое неудовольствие за очерк.

— Ну, что вы! — возразил я.— Сейчас будет машина.

Я не допускал мысли, что руководящие товарищи родной мне области могут играть в такие игры.

— Ладно, обойдемся,— сказал Абрвмов, помрачнев.— Ни о чем больше не проси, Юра. Пошли отсюда.

И мы удалились.

Удалились-то удалились, но... за гордыню Бог наказывает: лишь с большими трудностями удалось мне выбить гостям комнату, да и то не в гостинице, а в общежитии. Чистяков, впрочем, ушел ночевать к знакомому журналисту, у которого всегда останавливался. А Федор Александрович, как потом признался, не спал всю ночь: в его апартаменте было и шумно, и сквозняк из-под двери в окно...

Приятель Антонина Чистякова, человек добросердечный и простодушный, писателей уважал и знакомством с ними дорожил. На другой день он предложил Абрамову свои услуги, поскольку, будучи инвалидом войны, имел «Запорожец». На этой машине они втроем и уехали в какой-то колхоз, и так ездили несколько раз, а я в это время где-то заседал: то ли на партийно-хозяйственном активе, то ли на очередном пленуме неведомо какой организации.

Я чувствовал себя уязвленным и обиженным: все ездят на служебном автотранспорте — директора заводов и председатели колхозов, мелиораторы и милиционеры, совслужащие и партработники и прочие деятели, коим несть числа,— для всех найдется казенная автомашина, и дело каждого уважаемо, неотложно, необходимо; только писатели — сироты. Только их занятия чванные чиновники считают чем-то второстепенным, досадным, следовательно, ненужным и даже вредным. И так легко этим людям пренебречь писателем — ведь от него ничто не зависит: ни размер оклада, ни продвижение по службе. Гораздо важнее понравиться своему начальству, а дружбу иметь не выгоднее ли с директором какого-нибудь магазина, скажем, обувного или книжного, а не с поэтом да прозаиком? Звание высокое — писатель! — а человек-то бесполезный, поскольку что с него взять? Нечего. Так что удержаться от соблазна поторжествовать над ним очень трудно, вот и тешат свое мелкое тщеславие чиновники, вроде этого Осипова...

Такие обиды кипели во мне, пока я заседал; все никак не мог успокоиться. Ну, ладно, мол, я — не велика шишка. Но — Федор Абрамов! Как-никак лауреат Государственной премии (а что такое «лауреат»? В переводе с греческого означает «увенчанный лаврами»), то есть это человек, увенчанный лаврами за романы, кои находятся в центре читательского интереса, следовательно, совершенствуют человеческую душу, формируют личность, пробуждают ее добрые силы, иначе говоря, производят самую тонкую, самую ответственную работу...

Что останется на этом свете от Осипова, разъезжающего на черной «Волге»? Да его хоть золотом осыпь, он ничего не сделает полезного людям, и нечем будет его вспомнить. Это Абрамову надо создать условия наибольшего благоприятствования, то есть вкладывать государственный капитал, обеспечивая ему условия, ибо это прибыльное дело — он оставит свои книги, которые станут нашим национальным богатством. Почему же получается наоборот?

«Боже, сделай так, чтоб поставили потом памятник Осипову... или устроили музей Осипова,— молил я, неверующий в Бога человек,— пусть люди приходят туда, а им экскурсовод показывает: вот стул, на котором сиживал товарищ Осипов... вот его служебный телефон... а вон во дворе стоит его персональная черная „Волга“. Пусть люди духовно обогащаются, созерцая эти атрибуты...»

Увы, от моих рассуждений и молений ничего не менялось: Абрамов с Чистяковым ездили на прихрамывающем «Запорожце», грозившем развалиться, едва они съезжали с асфальта на проселок, и ночевали по-прежнему без удобств.

Вечерами, вернувшись из очередной поездки, они приходили ко мне домой, и мы подолгу просиживали, беседуя о том, что удалось увидеть за день — то есть о пашне, живой и мертвой, об угасающих новгородских деревнях, о гиблых дорогах... О том, как «достучаться» до человека, пробудить его совесть, достоинство, любовь к родной земле и родной семье.

За этими беседами я чувствовал себя мобилизованным на святое дело и как бы вознесенным судьбой на иной уровень жизни, отчего все обретало ясность, значимость и высокий смысл; стали видны вдруг земли до Белого моря и Урала, до Кавказа, Карпат и Балтики — я чувствовал уже свою личную ответственность за их судьбу.

В эти вечера наши новгородские писательские деяния представали передо мною в таком свете, что совестно и досадно было, непереносимо совестно и досадно.

А между тем как раз в это время очередная волна недостойной суеты выносила нас на гребень: один из моих коллег — Поэт — обратился в областное КРУ (контрольно-ревизионное управление) с требованием немедленно провести ревизию финансовой деятельности руководителя Новгородской писательской организации, поскольку-де имеются нарушения в особо крупных размерах. Это заявление немало распотешило контролеров-ревизоров; они спросили: какова годовая смета писательской организации? Восемь тысяч рублей, из них половина идет на зарплату руководителя и бухгалтера, а другая половина — на аренду помещения, на командировки, канцелярские расходы, телефонные переговоры и тому подобное. Что же тут можно нарушить в «особо крупных» размерах? А у областного КРУ заботы такие: есть заводы с многомиллионными сметами, не ревизованные уже несколько лет. Поэту сказали, что оно-де, КРУ,— зверь крупный и охотиться на мелких пташек, вроде писательской организации, не желает. На это Поэт отвечал, что он, как сын работника НКВД, погибшего на фронте, не потерпит их ротозейства и головотяпства, и у них будут неприятности особо крупные. На это ему было заявлено, что они, ревизоры-контролеры, тоже не чужих отцов дети... В общем, повеселились они там, в КРУ.

Примерно в эти же дни кто-то из доброжелателей сообщил мне, что видел папки с бухгалтерскими документами нашей писательской организации в другом конце города у старушки-машинистки, которая снимала с них копии: ясно, что оппозиция моя вела очередное планомерное наступление.

Я в свою очередь предпринял оборонительный ход: заявил в милицию об исчезновении документов. Приехал милиционер, потребовал открыть сейф, документов там не обнаружил, бухгалтершу увез с собой для объяснений. А то была хитроумная бухгалтерша: она умудрялась тогда работать одновременно в четырех местах. Да, да, кроме нашей конторы, еще и у художников — это-то я ей разрешил, а вот что, помимо того, она еще и в некоем спортивном обществе (кажется, «Урожай»), а также... в народном суде — это открылось лишь потом. Таким образом она получала четыре зарплаты. Возможно, и больше: уйдя, бывало, в отпуск и уже начислив себе отпускные деньги, она на другой день являлась на работу и просила меня написать приказ о ее отзыве из отпуска: у нее-де квартальный отчет; у художников она поступала точно таким же манером — итого четыре зарплаты за один отпускной месяц в наших двух «оффисах». Как уж в спортивном обществе и в народном суде, не знаю. Неужели и там еще четыре?

Итак, в среде писателей и художников разразилась сенсация: «Бухгалтершу в милицию замели! Дело шьют!» Ну, разумеется, ее вскоре отпустили, как только записали чистосердечное пояснение, почему документы из сейфа, которым она ведает, гуляют по городу; однако же неожиданным поворотом событий хитроумная бухгалтерша была обескуражена, а оппозиция моя временно смущена и озадачена.

Такие вот страсти кипели у нас своим чередом.

Как видите, мы, новгородские писатели, в ту пору скучать никому не давали: ни милиции, ни обкому партии, ни контрольно-ревизионному управлению, ни собственному литературному активу.

Однако вот что скажу: ни разу во время моих бесед с Абрамовым и Чистяковым мы не опустились до обсуждения наших склок. Не та была атмосфера.

В то время, признаться, меня заботили больше не оборона от коллег в Новгороде, а нелегко складывавшиеся отношения с Центральным телевидением: творческое объединение «Экран» задумало поставить многосерийный телефильм по моим деревенским повестям и уже заключило со мной договор, и сценарий я уже им написал, но... в решающий момент, когда я приехал туда, хитроумная дамочка из «Экрана», вроде моей бухгалтерши, отвела меня в сторонку и тихонько мне сказала: «Вы хотите все деньги один заработать... у вас должен быть соавтор, понимаете?»

Мне очень хотелось, чтоб вышел на телевидении фильм о моей деревне, столь любимой мною (это глубокая боль и все-таки в то же время и гордость моя!), но на соавтора я не согласился: «Я не умею работать с кем-то!» На это хитроумная дамочка сказала: «Вы не понимаете... Работайте один, но фамилий на титульном листе будет две».— «Нет, это вы не понимаете,— отвечал я ей.— Соавтора у меня не будет».

И сценарий мой лег на полку в архив там, в «Экране»; фильм не был поставлен. Никакие мои доводы и аргументы во внимание не были приняты: когда речь идет о дележе денег, люди становятся ужас как принципиальны, просто на удивление.

Вот об этом я, помнится, посетовал перед моими гостями. То было серьезно, и сокрушало мое сердце, а что до новгородского «веча» — это все-таки суета, и его мы во время тех бесед не могли обсуждать. А если б зашла об этом речь, то могу представить себе, как воспринял бы ее мой гость,— и нахмурился бы, и рукой отодвинул, и мог бы осудить нелицеприятно, прежде всего, меня, как непосредственного участника недостойных событий.

По-моему, мы говорили о более достойном и ни в коей мере нас не роняющем: не столько о текущем дне, сколько о Времени; не столько о своих завтрашних заботах, сколько о Судьбе Родной Земли. Да простятся мне высокие слова!

Да простятся они мне, ибо я пытаюсь дать понять, о чем мы тогда говорили. Как жаль, что я не записал в ту пору! Казалось, впереди времени много — лет двадцать, а то и тридцать; что беседа наша — только начало, а будет и продолжение, будет еще время и записать, и осмыслить, и уточнить. Вот и остались лишь общие впечатления да обрывочные воспоминания.

Помню, я рассказал моим гостям, как несколько лет назад, когда жил еще не в Новгороде, а в районном городке Калининской области Осташкове, был вызван на совещание молодых писателей при журнале «Октябрь». Там устроили собеседование на тему о том, о сем, желая узнать, кто из молодых чем дышит и нет ли в нашей среде чуждых журналу «непатриотических» веяний. Первым на этом вольном собеседовании выступил начинающий писатель с Кубани, комбайнер; он рассказал, как у них там все хорошо, в Краснодарском крае: и в колхозы-то принимают только с испытательным сроком, и дороги-то асфальтированы, и Дома культуры с колоннами, и урожаи по пятьдесят центнеров с гектара, и надои по пять тысяч литров от коровы... Слушая его, сидели сотрудники «Октября» этакие размягченные, благостные, довольные. А потому довольные, что вроде бы как и по всей стране такая благодать: сельское хозяйство процветает, крестьяне-колхозники безмерно счастливы, так что перед писателями цель одна — восторженные гимны слагать.

Терпел я, терпел — такая меня злость взяла! Встал вслед за кубанцем, заявивши: позвольте, мол, провести некоторые параллели. У нас на тверской земле пастбища и сенокосные угодья зарастают кустарником, а наши тверские деревни обезлюдели настолько, что подчас на той или иной ферме некому не то что покормить, а и подоить буренок — таковы драмы! Стоят коровы некормленные, недоенные, ревмя ревут, не потому ли средний надой от каждой буренки по моему Осташковскому району составляет около полутора тысяч литров, то есть в три-четыре раза меньше, чем на благословенной Кубани,— таковы проблемы! А дороги у нас в такой степени гиблые, что в тракторную тележку с молочными бидонами «запрягают» сразу два трактора, а иначе не вывезти — таковы сюжеты. Ну, а с Дворцами культуры у нас ни проблем, ни сюжетов нет, поскольку нет дворцов, а есть бревенчатые клубы-избы с протекающими крышами и покосившимися крылечками. В заключение своих параллелей я спросил, обращаясь к помрачневшим сотрудникам «Октября»: как это так получается, что мы, писатели одной страны, в столь неравном положении? Отразит комбайнер с Кубани жизненную правду в своем художественном произведении — он будет в их глазах слыть настоящим патриотом, идеологически зрелым человеком и желанным автором; а отражу эту правду я — обрету репутацию очернителя, чуть ли не антисоветчика, и меня на порог редакции не пустят.

В общем, бестактную речь произнес, чего говорить! Испортил обедню. Главным редактором «Октября» был тогда Всеволод Кочетов...

Когда я начал свое выступление, мой сосед (он был из Днепропетровска) наступил мне на ногу: не возникай! Но я не унимался. Он снова наступил — я еще больше разозлился. Днепропетровец вскочил вслед за мной и заявил, что недавно был он с командировкой «Октября» в Тюмени, где тоже рабочих рук остро не хватает, я вот секретарь тамошнего обкома партии просил писателей создать о нефтяниках такое произведение, чтоб люди хлынули на нефтепромыслы, и проблема была бы решена. Вот, мол, наша задача а том и состоит, чтоб, к примеру, писатель из Осташкова создал книгу, которая позовет людей в село...

Парень этот, побывавший в Тюмени и так хорошо понявший призыв секретаря обкома, объяснил мне потом: «Я тебя спас! Ты забыл, где находишься? Не выступи я — собеседование наше дало бы такой крен, что тебе этого никогда не простили бы».

— Далеко пойдет,— заметил Чистяков негромко, выслушав мой рассказ.

— Никуда он не пойдет,— возразил Абрамов.— Вечно ты, Антонин, не с той стороны смотришь. Литература — не сфера обслуживания.

И Антонин тотчас согласился: да, да, не сфера обслуживания, разумеется, да вот взгляд этот на литературу и литераторов, так сказать, весьма распространен.

— Каждый должен исполнять свой долг,— продолжал размышлять Абрамов,— в меру совестливости и сил своих. А уж потом рассудят, кто есть кто.

Рассказ мой в определенной степени заинтересовал его, и он порасспрашивал немного о том совещании молодых писателей, которое пришлось на пору великого противостояния «Октября» с «Новым миром». От меня, жившего тогда в глухом районном городке, литературный мир был отдален и отстранен, как от древних греков бытие богов-олимпийцев. Честно признаться, я не очень-то четко понимал суть и содержание борьбы между журналами, хоть и учился тогда заочно в Литературном институте. Помню, как, будучи на том совещании в «Октябре», удивился такой сцене: в перерыве нашего совещания все вышли в коридор покурить, и вот здесь («в кулуарах», так сказать) главный редактор запросто, то есть вроде бы демократично, встал вместе с нами, начинающими — вроде, рядом, и вроде, попросту, но... расстояние протянутой руки иногда подобно пропасти.

Это был человек энергичный в каждом своем движении, каждом слове, с цепким взыскательным взглядом, с твердой интонацией в голосе. Словно некий отсвет высоких сфер лежал на нем: доходила до нашего слуха кое-какая информация о нем: то его «вызвали в ЦК», то о том, как он «позвонил члену Политбюро».

Я успел заметить тогда, что редакцию свою он держал в трепете. Помню, как ждали его появления каждый день, как встречали — тут были и страх перед строгим, взыскательным начальником, и уважение. И вот хоть стоял он тогда рядом с нами, но это было, как прихоть, как великодушный поступок большого человека, а не его душевная потребность. Вот тут, в кружке́, и произошло то, что меня удивило: один из молодых авторов «Октября», кажется, рабочий издательства «Правда», обратился к Кочетову:

— Всеволод Анисимович, а знаете, на здании, что напротив входа в «Новый мир», есть барельеф, и на нем написано... не помню дословно, но по смыслу так: вся, мол, наша надежда только на тех, кто сам, своим собственным трудом добывает свой хлеб. Понимаете? Изображен рабочий, вращающий колесо машины, и сделана эта надпись. Я думаю, не случайно, что именно напротив «Нового мира», а? Как вы считаете?

— Неужели?! Так там написано? — оживился Кочетов.— Ну, что же, я с вами согласен: не случайно, не случайно именно там это,— и далее неожиданно и совсем по-детски признался: — А я, знаете, на той улице не бываю... я ее стороной обхожу.

Все засмеялись. А чему, собственно?

Я не выбирал в то время, где мне печататься, а предложил по рукописи и в тот журнал, и в этот: в «Октябрь» повесть «Хозяин», где ее опубликовали еще до того совещания молодых; а повесть «Пастух» — в «Новый мир», там пообещали напечатать, но... наступило смутное время: Твардовского сместили, команда сменилась, в новомирские паруса подули новые ветра.

После моей задорной речи в стенах «Октября» от меня этак слегка отшатнулись сотрудники журнала. Ну, «отшатнулись», пожалуй, слишком сильно сказано — просто посматривали на меня испытующе, настороженно: чего, мол, еще от него ждать? Вроде, большого проступка не совершил, но... есть сомнения и подозрения.

Далее было так: повесть комбайнера появилась вскоре на страницах «Октября», а мне с тех пор рукописи оттуда неизменно заворачивали с объяснением, что они «не заинтересовали редакцию». Так было и после смерти Кочетова.

В день отъезда из Новгорода Абрамова и Чистякова мы пошли, помню, прогуляться в кремль. И говорили опять, говорили... не о древностях новгородских, а о живом и мертвом — в пашне ли, в слове ли, в человеке ли. Собственно, говорил-то в основном Федор Александрович, а мы слушали. Шли, помнится, по площади, что перед Домом Советов; Абрамов, рассуждая, то и дело останавливался, разводил руками, на любопытствующих прохожих взглядывал грозно: мол, не мешайте.

Чистяков — тот, по-видимому, уже попривык к «думанию вслух»; он слушал, не переча, оглядывался с обычным своим унылым видом, иногда поддакивал. Именно это, по-видимому, и нужно было Абрамову. А я еще не приноровился, меня будто за язык тянули: хотелось врубиться в разговор, как в сечу, но... прервешь такой речевой поток! Когда еще выпадет послушать, как рассуждает вслух человек уровня Федора Абрамова?

Толковали мы в этот раз, между прочим, о «политике». О чем еще могут говорить три взрослых человека в любой точке нашего государства, желая построить умную беседу? В то время большую озабоченность повсеместно вызывало то, что на самом высоком уровне руководства нашей страны сплотились люди преклонного возраста. Череда похоронных церемоний еще не началась, она последовала потом, а тогда ее только ждали. А ожидаючи, гадали: кто придет на смену? На какие перемены можно рассчитывать? И какие, собственно говоря, желательны?

Хорошо помню, выражались мы хоть и достаточно откровенно, однако осторожничая друг перед другом.

— Вот идем мы и беседуем, три мужика,— не выдержал Абрамов,— и ведь боимся говорить открыто? Разве не так? Даже друг друга опасаемся... Что за страна у нас! Где еще так?..

Мы с Чистяковым переглянулись, пожали плечами: что ж, мол, дело привычное, с этим живем.

— И будет ли нашему безгласию конец, а? — продолжал вопрошать Федор Александрович и при этом посматривал на здание обкома партии, что было перед нами.— Будут ли перемены когда-нибудь? Как по-твоему, Юра, есть какие-то признаки, вот хоть бы у вас в Новгороде? Ведь перемены должны вызревать не только где-то в столице, но и здесь, в глубокой провинции.

Я предположил, что на партийные посты, по-видимому, уже приходят новые люди, и довольно, кстати сказать, молодые. Вот, к примеру, у нас в Новгородском обкоме партии секретарем по идеологии стал Скворцов, мой ровесник, то есть ему нет и сорока.

Конечно, судить о нем трудно, я его мало знаю, но... Вскоре после утверждения в должности пригласил меня к себе, мы довольно долго беседовали, и он в самом доверительном тоне попросил меня помогать ему советом в близкой мне литературной сфере, поскольку он хозяйственник, идеологией не занимался, и у него могут возникнуть кое-какие вопросы. Разумеется, я обещал, что в меру сил... Не свидетельствует ли такой разговор о желании разобраться, услышать, понять? А ведь это же половина дела!

— Надо, надо, чтоб приходили к власти новые люди,— убежденно сказал Абрамов, выслушав меня несколько рассеянно: его собственный мыслительный процесс владел им всецело и не зависел от посторонних суждений.— А то что же это творится: земледелец отчужден от земли, хлебороб лишен возможности купить хлеба к обеденному столу... Мы зашли в сельский магазин — что там можно приобрести? Селедку-иваси в томате... Люди давятся в очереди за хлебом, как в голодные годы... Если у вас в Новгороде вот хоть бы этот... как его фамилия? Скворцов. Тридцать восемь лет — совсем молодой человек. Да если б повсюду в областях вытеснили молодые стариков — тогда наверняка можно бы ждать перемен, и в сельском магазине, и в нашем писательском деле, а?

Раньше мне тоже казалось: стоит заменить стариков молодыми, и жизнь повернется в лучшую сторону. Логика моя была проста: раз мы докатились до жизни такой при главенстве стариков, при молодых хуже не будет, а вот лучше — почти наверняка.

Наивность свойственна не только мне, грешному, но и людям высокого ума, то есть они от нее несвободны. Кажется мне, и Федор Александрович разделял мою точку зрения. Но тогда в наивности я его не заподозрил. Молодость секретаря обкома казалась нам обоим залогом его добрых намерений, а следовательно, перемен, которых все ждали.

Мы так охотно верим тому, во что хочется верить!

Правда, кое-какие мелочи смущали меня в новом секретаре обкома, моем ровеснике. Одним из первых его деяний на этом посту было: он приказал немедленно снять со здания телеграфа (а телеграф напротив обкома партии) только что вывешенный там художником-оформителем лозунг «Советская Конституция обеспечивает права советского человека». Плакат был снят не из-за эстетической неполноценности, а по причине его политической остроты: Скворцов усмотрел в нем некий коварный намек.

И другой случай насторожил меня, правда, несколько позднее: ехала в Новгород писательская делегация из Москвы, и вздумали поэты в поезде ночь напролет читать стихи. Проводница потребовала прекратить «это безобразие». Ее не послушались. Тогда их с помощью милиции высадили на станции Бологое под тем предлогом, что-де литераторы пьяны. В нашем обкоме разгневались на железнодорожную милицию, но тут выяснилось случайно, что один из московских поэтов обронил в Бологое фразу: «А еще кричим о правах человека!» И отношение к литераторам мгновенно переменилось. «Ах, они о правах человека! — воскликнул Скворцов.— Наслушались, понимаешь, клеветнических измышлений с Запада». И поэтов вернули в Москву с неприятной для них аттестацией.

Или вот после нашего с ним доверительного разговора он сказал Кулепетову: «Передайте Красавину в тактичной форме, что к секретарю обкома с перстнем на пальце не ходят». Это меня, помнится, обескуражило: если Скворцову не нравится сочетание слов «права человека», то чем мой трехрублевый перстень-то не угодил?

Человек познается в мелочах, и те мелочи немало озадачивали меня.

— А что, Юра, я должен нанести прощальный визит в обком партии? — спросил Абрамов после прогулки в кремль.— Как тут у вас принято?

— Надо посоветоваться с ними, Федор Александрович,— отвечал я.

— Ну, ты звякни туда.

Я «звякнул»: Абрамов уезжает, будут ли к нему какие-либо вопросы?

— Думаю, что да,— бодро сказал Тэммо.— Сейчас решим, на каком уровне его примут.

И через несколько минут сообщил:

— Абрамов будет принят на уровне Скворцова. Приходите и вы с Чистяковым тоже.

Мы поднялись на третий этаж, где милиционер дежурил, и тут в коридоре Федор Александрович вдруг замедлил шаги и приостановился:

— А зачем, собственно, мы идем туда, Юра? Какой в этом смысл? Что-то мне не нравится наш визит. Давайте поразмыслим, не пора ли повернуть назад.

Признаться, и я усомнился: зачем отрывать драгоценное время у занятых людей и явно не ради дела, а ради соблюдения некоей формальности: приехал писатель Абрамов и был принят на уровне секретаря по идеологии. Будто для отчета.

— Вот что: не пойду я к ним,— решил Федор Александрович.— С машиной они мне не помогли, с гостиницей тоже, следовательно, я им ничего не должен.

— Расскажете, как спалось в комнате общежития, как возили вас по области.— подсказал я.— Познакомитесь с молодым партийным работником, поблагодарите его за радушный прием, оказанный вам в Новгороде.

Вот зачем я подталкивал Абрамова? Себе на беду, между прочим. А все от досады, от обиды. Словно не понимал, что гости уедут в этот же день, а я-то останусь, мне-то потом ответ держать.

— Ладно,— уступил моим уговорам Абрамов.— Пойдем.

Скворцов был человеком невысокого роста, худощавый, смуглый, черноволосый, всегда внутренне собранный и словно бы напряженный. Он как будто контролировал каждое свое слово, каждый жест, все время помнил, что надо вести себя именно так, сдержанно и сухо, и никак иначе. Я никогда не видел его улыбающимся, никогда не слышал его шутки.

Он встретил нас, выйдя из-за письменного стола. По-видимому, все было выверено: когда встать, когда выйти, как подать руку. Любезно и заученно он усадил нас за другой, более длинный стол, со множеством стульев, сел с нами и сам, сложив руки, как ученик-отличник на парту. В эти несколько минут двигался он неторопливо, я бы даже сказал рационально: ни одного лишнего слова, ни одного пустого жеста — таким образом достигалось впечатление некоторой сановности, приличествующей его посту.

Пожалуй, они с Абрамовым были, грубо говоря, одной весовой категории: и ростом одинаковы, и фигурами недородны. Что же касается других характеристик... насколько секретарь обкома был подтянут и собран, настолько автор трилогии о Пряслиных расслаблен и подчеркнуто свободен; насколько устремлен один четко соблюсти церемониал приема, настолько другой небрежен к внешнему этикету.

Абрамов не считал нужным скрывать свое недовольство; он уселся этак вполоборота к секретарю обкома, несколько развалясь, то есть как у меня в квартире сиживал, так и в обкомовском кабинете расположился. Думаю, это задело щепетильного Скворцова, но он не подал вида. И я, признаться, испытал некоторую неловкость за поведение Федора Александровича, потому как обстановка располагала к большей строгости.

— Ну, как поездка? — вежливо спросил секретарь обкома.— Что удалось посмотреть?

То есть начиналась привычная для него церемония.

Я знал отрицательное отношение Скворцова к очерку о пашне, живой и мертвой. Он считал, что авторы «сгустили краски», «не видят перспективы», «проявили близорукость». А вот роман «Братья и сестры» секретарь обкома хвалил.

Руководящие товарищи редко бывают знатоками или хотя бы просто любителями художественной литературы. Я знал одного новгородского председателя колхоза, Героя Социалистического Труда, который однажды честно признался перед писателями (а один из них как раз подарил ему свою книгу): «А я ведь литературу не читаю. Я за всю жизнь только одну книгу прочитал, называется „Гулящая“, автора не помню...»

Вот, пожалуй, если сравнить Скворцова с тем Героем, то следует признать секретаря обкома гораздо более просвещенным человеком. Ну, естественно, тут я имею в виду только художественную литературу, о всем прочем судить не берусь.

Федор Александрович в обычной своей манере, неторопливо, растягивая слова, произнося их этак через оттопыренную нижнюю губу, заговорил:

— Как вам сказать... Я вот, без преувеличения, объездил всю страну, от Северного Ледовитого океана и до Средней Азии, от Охотского моря и до Балтики. И, знаете, нигде меня так плохо не встречали, как здесь, в Новгородской губернии. Речь идет, разумеется, не о каких-то почестях, а о самом скромном, самом необходимом: чтоб крыша над головой была, то есть временное пристанище, ну и возможность куда-то съездить, посмотреть. Только и всего.

Я видел, как тень легла на лицо Скворцова. «Прием» вдруг сошел с привычных рельс и покатил этак неординарно, нервно. Скворцов недоумевал и, кажется, надеялся еще, что вышло какое-то недоразумение, и оно сейчас разъяснится. А Абрамов продолжал:

— Вот я только что вернулся из поездки по Франции, где был, по сути дела, по приглашению французского правительства... это по межправительственному соглашению о культурных связях... объехал всю Францию—везде меня встречали вежливо, приветливо, радушно, показывали все, что бы я ни захотел, нигде я не испытывал нужды в чем-то: то есть куда ни приеду—пожалуйста, гостиница; в дорогу собрался—машина к подъезду. На такой же прием в Новгороде я, естественно, не рассчитывал, но хотя бы необходимый минимум...

Лицо секретаря обкома было каменным.

— И вот у меня к вам вопрос в связи с этим,— продолжал Абрамов.— Если я, секретарь правления Союза писателей, лауреат Государственной премии... вы извините, что я перечисляю тут свои регалии, не похвальбы ради, поверьте мне... если вот я,

человек, так сказать, с положением, встретил такой прием у вас в области, то как же вы относитесь к рядовому-то писателю, который не лауреат и поста не занимает? Совсем пренебрегаете?

Тут Абрамов сделал паузу, а паузы он делать любил, и при этом прямо и твердо смотрел на Скворцова.

— Ведь, что же, я тут не смог даже места в гостинице добыть...— Абрамов широко развел руками,— пришлось жить в общежитии. А уж я немолодой человек, мне роскоши не надо — хотя бы элементарные удобства, чтоб поспать спокойно, чтоб от сквозняка не простудиться...

Опять последовала пауза, которую никто не прервал, потому что всем своим видом и жестом рук Федор Александрович давал понять, что нет, он еще не кончил.

— А что касается транспорта... На стареньком «Запорожце» пришлось по области ездить. И тому был рад. Безногий инвалид нас возил! Благо добрым человеком оказался... Вы считаете это все нормальным?

Тут Скворцов обратил ко мне свое потемневшее лицо и жестко спросил:

— Юрий Васильевич, как такое могло получиться? В чем дело?

А я со своей стороны в тон Абрамову:

— У меня, Рудольф Александрович, создалось впечатление, что в нашей области совсем нет порядка. Вы представьте себе: первый секретарь в отпуске, вместо него второй — по сути он главное лицо в области! И вот это главное лицо дает распоряжение своему подчиненному Осипову выделить для писателя Федора Абрамова автомашину, с тем, чтоб он смог поездить по колхозам, познакомиться с состоянием дел, которые его интересуют,— такова его профессия! А Осипов машины не дает, то есть отказывается выполнить распоряжение ему только что отданное. Это порядок?

— Такого не может быть,— жестко сказал Скворцов.

— Осипов потребовал, чтоб я, Красавин, платил за машину из собственного кармана. У меня такой возможности нет! А гости не на рыбалку приехали...

Моя речь, как я потом догадался, поразила Скворцова. Не тем, что я сообщил, нет: просто он считал меня «своим» человеком, стоящим на страже наших, областных интересов, а раз так, то он имел право рассчитывать на мою поддержку. Ведь и то принять во внимание: мы с ним так хорошо, доверительно побеседовали в прошлый раз. И вот я... Как это понимать? Я его предал! Именно так следовало квалифицировать мое поведение: предательство по отношению к нему, Скворцову. Я не только не помог ему, секретарю обкома, но еще более усугубил то щекотливое положение, в которое он попал.

— Может быть, вы слышали,— продолжал Абрамов,— что скоро состоится съезд Союза писателей, где будут решаться важные, на мой взгляд, государственные вопросы... Ведь вы же, руководители области, заинтересованы в том, чтоб Новгородчина освещалась прессой достаточно широко и объективно... Объясните мне, в чем тут секрет: почему так неприветливы к писателям в области?

— У нас более, чем достаточно, всякого транспорта! — сказал Скворцов с негодованием.— И номер в гостинице нашелся бы. Мне странно слышать... Я обещаю вам разобраться.

Тут меня за язык опять потянуло:

— Я ведь тоже при регалиях, Рудольф Александрович, только на другом уровне, малость пониже, но все-таки: депутат областного Совета, руководитель областной писательской организации, в президиумах то и дело сижу... А вот поехал на прошлой неделе в Валдай, целый день болтался там в горкоме партии, в райисполкоме, в райсельхозуправлении — машину клянчил. И что? А ничего. Так и не дали. Происшедшее с нашими гостями — это не частный случай, а общий стиль, принятый у нас в области.

— Глубокая духовная провинция...— приступил Абрамов к следующей своей гневной филиппике.

Вот так мы и продолжали, будто заранее спевшись: он вел главную партию, я подхватывал.

Вступительная часть беседы закончилась, заговорили о более важном: о причинах и следствиях происходящего в культуре ли, в сельском ли производстве... о нравственных (а точнее, безнравственных) корнях того, что творится сегодня... о завтрашних общественных болезнях, основу которых мы закладываем ныне... Короче говоря, это было то, что прозвучало потом столь явственно и страстно в абрамовском романе «Дом».

— Тяжелый был разговор,— глухо сказал мне Скворцов, провожая нас из кабинета, сказал так, чтоб другие не услышали, и тон его голоса насторожил меня.

— Вроде, парень неплохой,— размышлял вслух Абрамов, когда мы вышли из здания обкома.— По крайней мере, внимательно слушал. А ведь мог бы и не вытерпеть. Но — выслушал: значит, небезнадежен. А? Как ты думаешь, Юра?

Я пожал плечами: посмотрим, мол.

Абрамов и Чистяков уехали.

А на другой день в писательской организации произошло чрезвычайное событие: в нашем офисе появился Скворцов. Он не подъехал на черной «Волге», а просто пришел, ведь обком партии рядом.

В нашем подвале, как на грех, в очередной раз прорвало трубу канализации; атмосфера отчаянно сгустилась, и я испытывал крайнюю неловкость из-за того перед гостем; но он то ли не заметил, то ли, вежливый человек, воздержался от замечания. А может, просто считал это несущественным.

Тотчас вслед за ним явилась вся моя оппозиция в полном составе, то есть Прозаик, Поэт и Драматург; и надо сказать, поглядывали они на меня торжествующе. Оказывается — неслыханное дело! — им предложили срочно собраться по поручению именно Скворцова, и даже кое-какая информация к ним просочилась: они поняли, что пробил мой судный час, наступил крах моей карьеры. Они жаждали репрессивных мер и, разумеется, немедленно.

— Я слышал, у товарищей есть претензии к ответственному секретарю,— проговорил Скворцов, не глядя на меня.— Я хотел бы выслушать всех.

И у нас началось то, что мы сами именовали отнюдь не «вече», а «базаром»: высказывались все наперебой, в повышенных тонах, с употреблением сильных слов и крепких выражений. Я молчал, ожидая, когда Скворцов, выслушав моих оппонентов, обратится ко мне за разъяснениями. Я ждал своей очереди, и ожидание это было томительным. Что сказать? Ведь мне придется говорить то, о чем не хотелось бы: о нашем, так сказать, внутрисемейном, что полагается держать при себе; предстояло выносить сор из писательской избы, показывать его человеку постороннему. Что хорошего?

Вот, скажем, о Прозаике... Обороняясь, я должен буду сказать, что, вступив в очередной запойный период (а об его болезни Скворцов прекрасно осведомлен), он имеет обыкновение обзванивать своих знакомых по городам России со своего квартирного телефона; потом приносит мне фантастический счет: оплати, мол, из средств организации. Я на то не имел ни права, ни желания, ни возможности. Как умолчать об этом, если подобные счета — корень моих разногласий с Прозаиком!

Поэт то и дело приносил мне для оплаты сочиненные им рецензии, каждая из которых оценивала три-четыре стишка кого-нибудь из начинающих; рецензии эти были написаны каракулями без точек и запятых, без заглавных букв, в одном неповторимом экземпляре. Плату же Поэт требовал за сей безграмотный труд «аккордную»: то есть не три рубля, как полагалось бы законным порядком, а несусветную сумму в пятьдесят—шестьдесят рублей. Почему так много? А потому, видите ли, что деньги на счету писательской организации имеются и их-де надо тратить, иначе пропадут. Я платил Поэту вдвое меньше, чем он требовал: не полсотни, а двадцать—тридцать рублей — тоже безбожно большая сумма, имея в виду объем и качество выполненной работы, и из-за этого ведь загорался сыр-бор! Сколько ярости выплескивал на меня мой коллега, обвиняя, что я его таким образом «граблю», что я «совсем обнаглел», «распоясался» и что меня «гнать надо».

И что, я это тоже должен объяснять секретарю обкома?

Драматург был выдержаннее, грамотнее, умнее. Он занимал пост ответственного секретаря до меня и ушел с него неохотно, сопротивляясь этому изо всех сил. Теперь выжидал, когда меня доедят коллеги, чтобы снова занять секретарское место, поскольку ясно же, что две другие кандидатуры не годятся: один безграмотен, другой привержен к алкогольному зелию. Драматург ждал, заботливо подогревая страсти.

Итак, мои коллеги дружно, как накануне сам я с Абрамовым на Скворцова, нападали на меня. Сменяя один другого, они говорили о том, что я начисляю деньги за работу «как левая нога хочет», что не отсиживаю в своей конторе положенное, что «КРУ еще разберется в финансовых нарушениях», что... В общем, много у меня обнаружилось грехов. Выслушав все это, Скворцов резко поднялся:

— Благодарю вас, товарищи, за информацию. Ответственного секретаря я вызову и выслушаю позднее... Думаю, мы примем меры.

И ушел, стремительный, весь налитый гневной силой.

Базар еще маленько пошумел, но скоро все разошлись: от вони в «офисе» просто нечем было дышать.

В тот же день, как мне стало известно, Скворцов устроил разнос своим подчиненным: как они могли упустить из-под контроля писательскую организацию, где работа совершенно развалена! Как они могли допустить, что человек, которому «партия поручила ответственный пост», позволяет себе «развалить», «зажимать», «распоясываться»? Как это могло случиться? Кто за это ответит?

Инструктор сектора печати срочно отправился в больницу к Кулепетову за разъяснениями; встревоженный больной стал звонить Таммо, а тот в свою очередь оправдывался перед Скворцовым так: «Вы пригласите Красавина и побеседуйте. Он вам все объяснит, и вы перемените свое мнение на противоположное». Но в том-то и дело, что

Скворцов приглашать меня не хотел, и продолжал гневаться. Литературная общественность города взволновалась, слухи и предположения обсуждались живо и заинтересованно.

Что касается меня, то состояние было такое, будто после воодушевленного парения в облаках в течение нескольких предшествующих дней, меня вдруг властно и грубо потянули за ноги вниз, да и погрузили на дно омута. Грустно было. Досадно. Досадно, между прочим, не столько за себя, сколько за своего ровесника: судьба, вроде бы, благоволила к нему (в неполные сорок лет уже секретарь обкома!), того и гляди вознесет на самые верха, а он... Как понимать эту мелкую мстительность? Сказано же: учитесь властвовать собой. И что же, этот будущий государственный деятель, всегда так напряженно державший себя в узде, не может владеть своими чувствами и слушать голос разума?

Грустно это.

В обком не вызывали и на другой день, и на третий... За это время я вполне «разогрелся» и, когда меня пригласили-таки на беседу, начал с того, что заявил Скворцову о своей отставке: я не считал для себя возможным занимать этот пост после его угрозы «принять меры».

Мне были заданы самым суровым тоном вопросы, и объяснения мои выслушаны столь же сурово. Уходя, я опять напомнил о необходимости отстранить меня от должности. Но закончилось все так, как уже бывало не раз: мне потом позвонили из обкома, напомнили, что я член партии, поставлен на ответственный пост и обязан продолжать порученное мне дело. То есть моя отставка не была принята...

Сейчас вот вспомнился мне тот прием «на уровне Скворцова» со странным чувством: боже мой, ведь тех, что сидели на этом приеме, уже нет в живых!

Федор Александрович умер в свои шестьдесят три года, рано умер, но, должно быть, исчерпал свой жизненный ресурс. Однако же вот они, его книги... следовательно, он вроде бы и жив, с ним можно побеседовать: таково чудо печатного слова, такова писательская судьба.

И нет Антонина Чистякова: утонул в озере, что возле его родной деревни. При каких обстоятельствах он погиб — бог ведает, ибо дело до крайности неясное.

И уж чего никак нельзя было предположить, учитывая возраст Скворцова: его тоже нет в живых. Поработав секретарем Новгородского обкома, он уехал учиться, окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС и был послан консулом в Польшу... а что там с ним произошло? Официальной информации никакой не было, известно только то, что привезли и похоронили его в Новгороде, а похороны были без особых почестей — в чем-то он провинился. Может быть, слишком однозначно понимал права человека в тамошней смутной обстановке. В городе поговаривали: то ли застрелили его там, то ли сам застрелился — ну, при недостатке информации слухи подчас весьма причудливы.

Я ловлю себя на мысли, что не могу ныне представить Скворцова в сегодняшнем дне. Как бы он поступал? Что говорил? Нет, не представляю... Для него перестройка была бы нелегким делом. По силам ли?

А вот Федору Абрамову перестраиваться не пришлось бы: он был рожден для сегодняшнего дня. Может быть, и для завтрашнего?

Я не оракул. Не мое дело предсказывать будущее.

«Каждый должен исполнять свой долг,— сказал тогда Абрамов,— в меру совестливости и сил своих. А уж потом рассудят, кто есть кто».

Наверное, под этим суждением мог бы в знак солидарности подписаться и Скворцов на уровне секретаря обкома партии, и Кочетов на уровне главного редактора столичного журнала, и я на уровне провинциального автора. Только у каждого из нас свое понятие о долге. А некий высший судия (народ, как нас учили в школе) подводит черту под каждой жизнью, состоявшейся и несостоявшейся, на любом уровне, и под нею итожит, кто есть кто.

1988 г.

Алексей АХМАТОВ

◆◆◆

Прислушайся к себе — какое слово
«жить»,
Как звукам удается в нем сложить
Макет перипетий и перепутий,
Сюжет, где в узелок связалась нить,
Кроссворд, что нам вовеки не решить,
Не прибегая к помощи созвучий.

Стиху дано понять — как жить, за
суетой.
Слова скрывают смысл под полой,
В знак, что решенье сходится с ответом,
Кивает рифма парной головой,
Поэт за то ответит головой,
Хотя ему не надо знать об этом.

◆◆◆

Шопен, разгул январской вьюги,
Столбов припорошенных трель.
От Гатчины до самой Луги
Метет вдоль посиневших рельс.

Какой буран — ресницы Вия,
Какой чудной мороз на вкус.
Какая иглотерапия
И снега учащенный пульс.

Так осторожно по мембране
Постукивают пальцы в такт,
Лишь ложки звякают в стакане,
Когда проходит товарняк.

В сторожке стрелочника глухо
Хрипит приемник. Люди спят.
А в самой горловине звука
Воронки снежные свистят.

Приемника разбито темя,
Но слышно в нем сквозь гам стрельбы
Импровизацию на темы
Шопена, вьюги и судьбы.

Но эти трое не опасны,
Пока мы не вошли в их круг,
Покуда сами не причастны
Горенью музыки и мук.

◆◆◆

В сыне моем прорастают слова,
Весь арсенал человеческих звуков.
Тянутся, как молодая трава,
Связанные круговою порукой.

Так неизбежно за «эм» будет «ы»,
Все звуки «эль» плавно в «эр»
воплотятся.
Как водомерки на глади воды,
Буквы бегут, замирают, кружатся.

В сыне моем прорастают слова.
Режутся трудно, как первые зубы.
Это пока еще только канва,
Речи основа сквозь детские губы.

Чисто физически, кажется мне,
Нервно, толчками, снова и снова
В сыне моем просыпается слово,
Чутко корнями поводит во тьме.

◆◆◆

Как сладко сумраком дышать,
Точнее сумерками, право,
Что выше есть, чем это право
Смотреть, и видеть, и молчать.

Качнется тихо крупный снег
И пустит небосвод по кругу,
Подмяв промерзшую округу
Под свой чуть видный лунный свет.

И чем темнее, тем ясней
Среди предметов и явлений

Причинных связей появленье,
Исчезновение теней.

Душа, как якорь, вниз пойдет
Измерить сумерек глубины,
Их цвет неясный, голубиный
И мягкий снег, и чистый лед.

И судорога цепь встряхнет,
Когда душа до дна дойдет...

Генриетта
ЛЯХОВИЦКАЯ



Память наших душ простая —
все поймет, и все простит,
а у кожи память злая —
шрамы старые хранит
от ожогов и порезов,
от сомнений и обид.
Не пойму я, отчего же
не тревожит, не горит
тот рубец на старой коже,
а душа моя болит
от ожогов и порезов,
от сомнений и обид?

Подмена

Попросила я у лета:
«Погадай мне на валета,
на желанного валета
с фотографии одной».

Вместе карты мы мешали
с той цыганкой в яркой шали,
в той цветастой яркой шали,
в день июньский выходной.

Скрылось лето за туманом,
обернулось все обманом,
ловким карточным обманом...
Золотила руку зря.

Осень, осень вместо лета
подменила мне валета,
чернобрового валета
на чужого короля.

◆◆◆

На Расстанной улице
оказались мы...
Что так небо хмурится,
как в кануи зимы?

Вспоминаю с грустью я
Поцелуев мост —
весело похрустывал
солнечный мороз.

Как нам было молодо
в прошлые года!
Не боялись холода
мы с тобой тогда.

Нынче небо хмурится,
как в кануи зимы.
На Расстанной улице
расстаемся мы.

Елена
БОННЭР

ПОСТСКРИПТУМ

Книга о горьковской ссылке

4

И вот мы переходим к заключительному этапу Андрюшиной борьбы за мою поездку. Он долгий, он такой же мучительный, как предыдущий, или по-другому мучительный. Начался он, надо считать, с осени 84-го, когда Андрей писал надзорную жалобу и письмо Александрову. Первый вариант надзорной жалобы он показывал Резниковой в начале ноября и закончил ее в конце месяца. Тогда же написал вариант очередного обращения и письма Александрову и сделал попытку переслать их на Запад. Это было в конце 84-го года. Вторую попытку он сделал в начале весны 1985-го. Я написала прошение о помиловании. Вначале я вообще не хотела его писать. У меня силен диссидентский рефлекс или трафарет, по которому прошение о помиловании — все равно что раскаяние. Андрей же так не думал никогда и сумел убедить меня. К приезду Резниковой в марте прошение было у меня готово. Я хотела, чтобы она сдала его в Москве в отдел писем Верховного Совета. Нам казалось, что это лучший путь. Но она отказалась. О самом прошении Резникова сказала, что так помилования не просят, что я должна осудить свою деятельность. Я сказала, что я знаю, как пишут прошения о помиловании, но свое переделывать не буду. Я послала свое прошение о помиловании по почте в конце марта или в начале апреля.

В Президиум Верховного Совета СССР
От Боннэр Елены Георгиевны, проживающей:
603137, Горький, проспект Гагарина, 214, кв. 3,

ПРОШЕНИЕ О ПОМИЛОВАНИИ

10 августа 1984 г. Горьковским Областным судом я осуждена на 5 лет ссылки по ст. 190-1 УК РСФСР.

В приговоре мне инкриминированы восемь эпизодов: четыре относятся к 1975 г., когда моему мужу, академику Сахарову Андрею Дмитриевичу, была присуждена Нобелевская премия мира и я по его поручению и доверенности в соответствии со своими убеждениями принимала за него премию и участвовала в нобелевской церемонии; два следующих эпизода — это (согласно приговору) изготовление, подписание и распространение двух документов Московской Хельсинкской группы (1977 и 1981 г.); седьмой — устный рассказ о жизни Сахарова в Горьком; восьмой — интервью французскому корреспонденту на третий день после того, как у меня был диагностирован крупноочаговый инфаркт. Все вышеперечисленное было сочтено судом уголовным преступлением, за которое я и была осуждена.

Я родилась в 1922 г. Мой отец арестован в 1937 г. как изменник Родины. Вскоре как член семьи изменника родины была арестована мать. С 15 лет я работала и училась. Жила с бабушкой, младшим братом и сестрой. Я никогда не верила в виновность родителей. В 1941 г. я добровольно пошла в армию, оставив семью в Ленинграде, вскоре ставшем блокадным. Дети выжили, бабушка умерла. В октябре 1941 г. я была тяжело ранена и контужена. В конце декабря после госпиталя направлена на санпоезд в должности медсестры, а затем ст. медсестры. В 1943 г. вторично ранена, с поезда не уходила. В 1945 г. назначена зам. нач. медчасти отд. саперного батальона. Демобилизована в августе 1945 г. в звании лейтенанта медслужбы и инвалидом Великой Отечественной войны второй группы. Два года лечилась в различных госпиталях. В 1947 г. поступила в Медицинский институт, во время учебы работала медсестрой в детской больнице. По окончании института работала как врач-лечебник и преподаватель. Имею более 32 лет безупречного трудового стажа, несмотря на то, что всю жизнь

Окончание. Начало см.: «Нева», 1990, № 5, 6.

с 22-х лет являюсь инвалидом Великой Отечественной войны. В настоящее время — пенсионер.

В 1977 г. мои дети — сын и дочь с семьями — были вынуждены эмигрировать и живут в США. Я хочу увидеть своих детей, четырех внуков, младшую из которых я никогда не видела, и мать, которая в настоящее время находится у них. Она советская гражданка и может вернуться в СССР, но ей придется жить совсем одной в Москве в ее 84 года (мой брат, штурман дальнего плавания Морфлота СССР, погиб в плавании в Бомбее в 1976 г.) или жить вместе со мной в ссылке, в полной изоляции. Реально для нее это будет означать, что я предложу ей вновь пройти ссыльно-лагерный срок, 17 лет которого окончились для нее после XX съезда КПСС посмертной — за отсутствием состава преступления — реабилитацией мужа, собственной реабилитацией и восстановлением в партии, стаж ее в которой более 60 лет.

В сентябре 1982 г. я подала заявление на поездку для лечения глаз (в прошлом я трижды лечила и оперировала глаза в Италии) и для встречи с детьми, внуками и матерью. Ответа я не получила до сих пор.

Я прошу о помиловании и разрешении мне на поездку к детям и матери. Полтора года назад я перенесла крупноочаговый инфаркт, и эта моя просьба — просьба человека, который не может надеяться на долгую жизнь. Если Вы не сочтете возможным применить ко мне акт помилования, то разрешите мне в порядке приостановления действия приговора съездить увидеть в последний раз мать, детей и внуков; и если мне будет разрешено, то получить необходимое для сохранения жизни лечение.

Я пишу свое прошение о помиловании или о приостановке действия приговора в год, когда СССР и весь мир по решению Организации Объединенных Наций будут отмечать 40-летие победы над фашизмом — победы, в которую вложены и крупицы моих сил и здоровья. Я заверяю Вас, что моя поездка не будет иметь никаких других целей, кроме встречи с близкими; наша разлука продолжается гораздо дольше, чем шла вторая мировая война. Я заверяю Вас, что вернусь в СССР, чтобы, сколько хватит сил, отбыть срок, назначенный мне судом.

Глубокоуважаемый Председатель Президиума Верховного Совета! Глубокоуважаемые члены Президиума Верховного Совета! Я обращаюсь к вам как к высшей государственной власти и как к людям, в надежде на вашу доброту и гуманность! Сочтите возможным проявить милосердие к тяжело больной женщине; дочери, матери и бабушке; ветерану второй мировой войны и инвалиду Великой Отечественной войны второй группы. Ваш отказ обречет меня на смерть, так и не увидев мать, детей и внуков.

Елена Боннэр

12 февраля 1985 г.

...16-го числа Андрей начал голодовку. Меня часто спрашивают, каким образом была выбрана дата голодовки. А никаким серьезным. То Андрей думал, что 40 лет победы, и меня обязательно помилуют, и голодать он будет недолго; то, что весной голодовка легче переносится, чем в холод; то я все время уговаривала подождать. Он вначале хотел в марте, но я ему говорила: «Представляешь, каково им там будет в Бостоне? День рождения Тани, а ты будешь голодать». Потом я просила подождать до Пасхи: мне хотелось испечь куличи — не так есть, как именно испечь. Вот и сошлись, что на Пасху он ест куличи и пасху, а потом начинает голодовку.

...Сам, один. Я чувствовала себя препаршиво, оттого что он снова делает это один. Мне казалось всё совсем безнадежным, а физически я не находила в себе сил делать то же, что Андрей. Поэтому, уже перестав сопротивляться его плану голодать, вяло соглашалась с ним, что мне не надо это делать, что я все только осложню. Трусила я, наверно, но не голодовки, а всего, с ней связанного. Я очень поняла в эти дни, как болезнь меняет человека.

21 апреля около часа дня к нам в дверь позвонили, и пришел Обухов, а с ним человек шесть мужчин и две женщины. Обухов сказал, что он пришел, чтобы отвезти Андрея Дмитриевича в больницу. Андрей стал отказываться. Женщины стояли в коридоре. Одна из них сделала мне знак рукой — я так поняла, что она просит меня выйти в коридор. Я не поняла, зачем, и вышла по ее знаку. Потом, я не поняла — как, но они меня оттеснили из коридора в маленькую комнату. Обе эти женщины сели по правую и по левую сторону от меня, и, хотя они меня не держали, я уже знала, что ни пошевелиться, ни вырваться не смогу. Дверь в коридор они закрыли.

В это время из большой комнаты я услышала крик: «Люсенька! Мне делают укол!». Потом Андрей закричал: «Мерзавцы! Убийцы! Береги себя!». И снова: «Люся, мне делают укол!».

Я пыталась ему что-то кричать, но не знала, слышит он меня или нет. Когда он уже вернулся домой, выяснилось, что он меня слышал. Потом шум какой-то в комнате за

стеной, потом все смолкло. Я услышала, как стукнула дверь на лестницу, и шаги. Открылась дверь ко мне в комнату, и эти женщины мгновенно исчезли. И какой-то мужчина, который, видимо, командовал всем этим, стоял в коридоре один. Я бросилась к нему и говорю: «Где и что я могу узнать о своем муже?». Он мне сказал: «Вам сообщат». Потом сказал: «Всех благ»,— и закрыл за собой дверь.

Я вошла в большую комнату. Стол был отодвинут к окну. Один из стульев валялся на полу, и на диване, там, где лежат разные подушки, были видны следы борьбы — все было разбросано и смято.

На следующий день, когда я вышла к машине, одна из пожилых женщин, живущих в нашем доме, проходя мимо меня (я вытирала стекла), шепотом сказала мне: «Деда вчера вынесли на носилках».

...В день рождения Андрея я получила на удивленье много поздравительных телеграмм. Одновременно я получила разные подарки для Андрея: конфеты от Флоры [1], чай от Лидии Корнеевны, от кого-то торт, шоколад, еще что-то такое. Книги от Иры и какие-то там письма или телеграммы от Иры же, что она уезжает, что она целует, поздравляет и прочее Андрея.

Я собрала все подарки и, указав, кому что принадлежит, отправила их в Москву на адрес Лены [2] с просьбой раздать. Когда я была на почте, посылала посылку, пришла телеграмма от Маши, и мне ее сразу вручили — телеграмма, что Ира улетела, была отправлена с аэродрома. И в этот же день вечером в моем доме звучало по радио «Свобода» без глушения выступление Иры Кристи прямо у трапа самолета, где она сказала, что может уверенно заявить, что если Сахаров и голодал, то в настоящее время он не голодает. Звучало так чисто, будто ГБ говорило мне: «На, слушай, и можешь делать что угодно: хоть головой бейся — никто ничего не узнает, хоть вешайся — пожалуйста».

Зла я была на Иру неимоверно. Эта злость продолжалась дня два или три. За эти дни, путешествуя на кладбище, я услышала, что дети, оказывается, уже получили поддельную открытку и понимают, что и телеграммы поддельные. Я поняла, что что-то начало раскручиваться, и перестала злиться на Ирку — даже испугалась, как бы ее не приняли за рупор КГБ. Там, на Западе, это любят, но я-то знаю, что она скорей умрет, чем сознательно сделает что-то нужное КГБ.

Это было 24 мая. А спустя семь месяцев в Ньютоне я смотрела поддельные открытки моим детям, поддельные телеграммы. Ни одной полностью с моим текстом. Нигде не было, что я прошу повидаться с адвокатом. Везде подписи такие, что действительно похоже, что мы вдвоем. Интересная деталь. Я увидела тут извещение о вручении почтового отправления — Ира нам что-то послала и получила извещение. Там есть моя подпись и мои слова: «Только желаю счастливого пути»,— я полагала, что слово «только» как-то всех насторожит, ну, и единственное число «желаю». Извещение пришло со словом «желаем». Исправление видно отчетливо, но его увидели только здесь.[3] Те, кто занимаются этой работой, сочли это исправление недостаточным и добавили еще подпись Сахарова. Две подделки — не так уж много, чтобы множество людей во всем мире думали, что с Сахаровым все хорошо.

Я стала часто вспоминать, глядя на поддельные подписи — то мою, то Андрея,— что когда-то приятельствовала с одним милым человеком, у которого было хобби — подписи знаменитых и великих людей. Он так лихо на чистом листе бумаги сверху вниз писал «А. Пушкин», «Федор Достоевский», «Лев Толстой», «Максим Горький», «В. Ульянов-Ленин» и заканчивал «И. Сталин», что многие просили такой листок на память. У меня на Чкалова тоже где-то в захоронках валяется такой лист.

Другую историю я узнала в Москве. В августе пришло письмо от Марины — внучки Андрея. Она писала деду, что поступила в университет. Я хотела ее поздравить и послала в подарок магнитофон. На бланке посылки я написала: «Дорогая Марина, поздравляю и рада за тебя. Уверена, что, когда дедушка сможет узнать, он тоже будет очень счастлив». Казалось бы, ясно: Андрея дома нет. Но, когда приехала сюда, я узнала: вся Москва говорила, что дед прислал подарок и, кроме того, телеграмму,— значит, он дома. Все это я пишу подробно не только для летописи, но и как предупреждение на будущее — не верьте, друзья, ничему, кроме непосредственного контакта. Да вот, кажется, современная техника не дошла еще до подделки телефонных разговоров. А может, я не знаю последних достижений в этой области?

...30 мая мне принесли повестку — 31 мая в 11 часов утра явиться в райисполком Приокского района к заместителю председателя райисполкома. Я думала, что меня вызывают в связи с нарушением режима: что я к восьми не бываю дома. А стала я возвращаться то в 9, то в 10: когда стемнеет или комары начнут кусать, тогда и еду домой.

---

[1] Флора Павловна Литвинова.

[2] Елена Львовна Копелева-Грабарь.

[3] 27 мая семья в Ньютоне сообщила прессе об открытке от Е. Г. Боннэр, полученной 25 мая, и о подделках, обнаруженных в ее тексте и подтвержденных графоаналитической экспертизой. В частности, дата написания — 1 апреля — была исправлена на 21 апреля, не рукой автора.

Мне было совершенно нестерпимо быть дома, я с утра уезжала, где-нибудь куплю себе какую-нибудь булку, иногда термос с кофе брала с собой, иногда баночку сока. Весь день на стороне была.

Но оказалось, что это ответ на мое прошение о помиловании, которое я послала в конце марта или в начале апреля и, честно говоря, после 9 мая о нем забыла. До 9 мая еще казалось: «А вдруг? Все ж таки 40 лет победы».

Зампредрайисполкома, фамилию я его забыла, сообщил мне, что мое прошение о помиловании рассмотрено Верховным Советом РСФСР — я посылала в Верховный Совет СССР — и отклонено. Когда я его спросила о дате этого решения, кем это подписано и номер документа, он сказал, что ему этого не сообщили. Я ему сказала: «А что, если я соберусь снова подавать заявление, мне ж надо на что-то ссылаться, на документ, который будет иметь номер и то, другое, третье».— «Мне этого ничего не сообщали. Меня уполномочили вам только сообщить, что ваше прошение отклонено». Я говорю: «Слушайте, вы работаете в учреждении, да еще в государственном, советском. А я достаточно грамотна, чтобы знать, что на каждый ответ или на каждую бумагу имеется номер, входящий или исходящий, имеется чья-то подпись и уж, конечно, имеется дата. Если вам это неизвестно и вы мне этого не сообщаете, то считайте, что вы мне ничего не сообщили, я вас в глаза не видела и знать не знаю. Да и вы меня не видели». Повернулась и ушла. И действительно, я настолько не восприняла этот ответ всерьез, что позже, когда увидела Андрея, забыла ему об этом рассказать.

На следующий или в тот же день со мной был такой случай. Пожалуй, это было 1 июня, 31 мая мне объявили об отклонении прошения о помиловании. Я на дороге подобрала чурбачок, чтобы сидеть на нем вместо табуреточки, и положила его в машину. Когда я положила его в машину, ко мне подбежали гебешники из сопровождающих машин и потребовали показать этот чурбачок. Я очень удивленно достала и показала им. Я даже и не поняла, когда они сказали: «Покажите»,— что́ показать. Они его осмотрели со всех сторон, обстукали, я поняла, что они ищут тайник. По этому чурбачку я поняла, что что-то сработало, уж очень они стали внимательны ко всему, даже к чурбачку. Раньше я доски часто подбирала, и никогда они их не осматривали.

1 июня вечером меня вызвали в КГБ. Пришел молодой, красивый, элегантно одетый гебешный порученец и сказал, чтобы в полдесятого утра я была готова и что меня повезут в КГБ. И он очень вежливо говорит: «Вы не возражаете?» На что я ему ответила: «Какой мне смысл возражать? Если я буду возражать, вы меня не повезете? Все равно повезете, раз вам надо». С этим он ушел.

И вдруг ни с того ни с сего через полчаса или через час после его ухода я подумала, что меня вызывают в КГБ, потому что Андрей умер. Это было ни на чем не основано, просто так. Вот я подумала, и всё. И думала так уже до самого приезда в КГБ. Я не плакала, я просто была в некоем ступоре.

Привезли меня в КГБ. Надо было подняться на третий этаж, довольно трудно мне было, я задыхалась и с нитроглицерином шла. Вошла в большой и явно начальственный кабинет, где меня, улыбаясь, чуть не с распростертыми объятиями встретил некто со знакомым лицом, в элегантном сером костюме, приблизительно моего возраста, ухоженный, плотный мужчина, который сказал: «Елена Георгиевна, мы с вами уже встречались, помните, во время следствия по дневникам Кузнецова? Моя фамилия Соколов».

Я совершенно его не помнила в лицо, не узнала бы, но фамилию помнила, помнила о беседе, которая была до того, как я стала общаться со следователем. В первый вызов в Лефортово со мной довольно долго беседовал Соколов. В этот раз Соколов тоже долго беседовал, часа два. Но прежде, чем он начал беседу, я начала реветь, по выражению его лица я поняла, что Андрей Дмитриевич жив, что с ним ничего не случилось такого, о чем я думала целую ночь. Я стала плакать. Я плакала и плакала, а он меня спрашивал: «Что с вами?». И, в общем, не очень понимал. Я ему сказала, что я думала, что Андрей умер. Он, этак радушно улыбаясь, сказал:

— Да что вы! С Андреем Дмитриевичем все в порядке, все в порядке. Все очень хорошо.

Я говорю: «Чего ж хорошего,— сквозь слезы,— он голодает».

— Какая голодовка? Никакой голодовки нет.— Я продолжаю плакать, но уже понимаю, что...— И вообще никаких голодовок не было. И в прошлом году, вы напрасно думали, никакой голодовки тоже не было. Так, три дня каких-то.

Я начала понимать, что они, он в частности, считают, что если есть насильственное кормление, то никакой голодовки нет. И так им удобно представлять и всему миру, и начальству своему, Горбачеву или еще кому-нибудь. Никакой голодовки нет, все это выдумки западной пропаганды — есть насильственное кормление, но об этом можно и не говорить.

Я постепенно пришла в себя; «успокоилась» — этого я не могу сказать. Разговор пошел таким образом: он, с одной стороны, пугал меня, что со мной будет хуже, что он знает, будто я предпринимаю попытки передать информацию, и за это мне попадет — я даже не могу представить себе, как сильно они меня накажут. А с другой стороны, он мне говорил, что я никогда никуда не поеду и никогда не увижу детей. А мама, что́ мама, она может приехать в любой момент, хоть сегодня, с мамой все в порядке. Никто вашу маму задерживать не будет. А вот дети, ваши дети, очень плохие. И очень ругал детей. И так повторял несколько раз, что, во-первых, мне попадет за то, что я пытаюсь передать информацию, во-вторых, что мои дети очень плохие, в-третьих, что моя мама может в любой момент приехать и, в-четвертых, что никакой голодовки нет и никогда не было, и в прошлом году тоже. На этом мы с ним расстались. Причем в какие-то моменты в беседе звучало такое, что я, конечно, никогда не увижу детей, но, с другой стороны, если бы я была получше, то, может быть, и увижу. А потом снова пугание. Я стала огрызаться, и тогда он, мило улыбаясь, сказал: «Елена Георгиевна, ну, сколько вам инфарктов надо?» — «Для чего? Чтобы измениться, нисколько не помогут». Когда мы уже прощались, он мне сказал, что сегодня же увидит Андрея Дмитриевича. Тогда я его попросила, можно ли я с ним встречусь снова после того, как он увидит Андрея Дмитриевича, хоть на несколько минут. На что он мне сказал: «Нет, этого я вам не обещаю. Но если вам что-то понадобится, пожалуйста, обращайтесь ко мне».

Такова была встреча с Соколовым 2 июня. Теперь я думаю, что, когда приезжал Соколов, и встречался со мной, и пугал меня, и встречался с Андреем, Горбачев уже дал указание КГБ разобраться с нашим делом. Но ГБ говорило: «Никакой голодовки нет, и ничего нет»,— и вело свою политику. Так что у них шла своя борьба, в которой было неясно, кто сильней — Горбачев или КГБ.

...Как же я вообще жила это время? Это трудно рассказывать, потому что, с одной стороны, время как будто остановилось, а с другой — шло, в общем, быстро. Постараюсь восстановить свой «распорядок дня». Вставала я довольно поздно. Заставляла себя завтракать, как обычно: две чашки кофе и творог. Творог покупала регулярно, тем паче, что есть не хотелось, а его я ем всегда, и есть себя надо было заставлять. Завтрак мой обычно кончался часов в 11. Потом какие-то повседневные, не много берущие времени дела по дому, и, если погода хорошая, я уезжала, чаще всего на кладбище, на дорогу к кладбищу. Брала с собой термос с кофе, когда пошли ягоды — ягоды или яблоки, какой-нибудь бутерброд. Проводила вне дома практически весь день, возвращалась после 9-ти, а иногда и к 10 часам вечера.

Надо сказать, что за все это время мне не было ни разу сделано официального замечания, что я нарушаю установленный мне режим, по которому в 8 вечера как ссыльная должна быть дома. Это мне было объявлено в Приокском ОВД еще в сентябре 84-го года. В ноябре я получила замечание — ходили в кино, смотрели «Чучело». Всю зиму у меня не было поводов нарушать это, так как мы вообще мало куда выходили: я очень плохо себя чувствовала, а уж вечером тем паче. Но с тех пор, как Андрея силой вывезли из дома, а я осталась с радиоприемником, я уходила из дома слушать радио. Во время этих своих отлучек из дома в районе кладбища мне удавалось слушать «Голос Америки», Би-Би-Си, «Немецкую волну», иногда «Свободу», почти всегда Канаду и Швецию.

Мой радиодень обычно начинался в три часа передачей «Голоса Америки», слышимой редко, а в 4 часа — Би-Би-Си, получасовая программа слышна была в районе кладбища почти всегда. В полпятого — Швеция, слышно всегда, но, к сожалению, в субботу и в воскресенье они не дают даже последних известий. В полшестого по летнему московскому времени — Канада, слышна практически всегда. В 6 часов вечера начинается беспрерывная восьмичасовая передача «Голоса Америки» на русском языке. В 6 часов вечера в районе кладбища мне удавалось ее слушать регулярно. В 7 часов Би-Би-Си слышно редко, «Голос Америки», «Свободу» в более поздние часы тоже слышно редко.

В общем, слушая различные радиостанции, я получала какое-то ощущение причастности к миру, понимала, что наше положение вызывает большое беспокойство, знала, что ребята ездят, много выступают. Я слышала передачу из Оттавы, когда там проходило совещание по правам человека в рамках Хельсинкского соглашения. Я знала, что над Оттавой летал самолет с плакатом: «Путь к миру лежит через Горький». Слышала, правда, очень забиваемые глушилкой голоса Алешки и Таньки. Слышала выступление Ремы в Лондоне. Сделала совершенно четкий вывод для себя, что когда идут передачи о Сахарове, то в Горьком и Горьковской области глушение усиливается, не знаю, как в других местах.

Однако, во всяком случае, то, что я летом 85-го года имела возможность слушать радио, создавало некий фон моего существования, не совсем безнадежный. В 84-м году думалось, что память, может, о нас и жива, а больше, наверно, ничего нет. Я понимала, что дети беспокоятся и что-то делают, но конкретного ничего, в отличие от 85-го, у меня тогда не было.

В плохие дождливые дни — а лето в том году было не очень ясное, и много дождей было — я старалась находить себе работу по дому. Я сделала стеллажи в кладовке, при кухне, разобрала все наши хозяйственные принадлежности, там размещенные, всякую

химию, стиральные порошки, мыло и т. п. На производство этих стеллажей и разного прочего хозяйства у меня ушло около двух недель. Потом я сделала большую, во всю длину комнатки, полку под потолком в самой маленькой, шестиметровой комнате. Полка для журналов с подпорками, упирающимися в шкаф, занимает в длину почти два с половиной метра. Там разместила все «Успехи физнаук», «Сайентифик американ», «Физикс леттерс» — таким образом, я отчасти разгрузила Андрееву рабочую комнату. Раньше там эти журналы лежали стопками на полу и на шкафу.

Пилила и строгала доски я обычно на балконе. Отношение горьковских жителей к этой моей работе было весьма отрицательным — во всяком случае, однажды бабы, проходящие мимо, довольно громко, специально, чтобы я услышала, сказали: «Жена Сахарова гроб себе мастерит».

Доски для этих работ я собирала вдоль дорог, благо у нас разбрасывают деревянные отходы, пиломатериалы в таком количестве, что, мне кажется, можно собрать на дом. Сбор этих материалов почему-то вызывал озлобление у сопровождавших меня гебешников. Я потом эти доски отмывала в ванной, сушила на балконе, и дальше они поступали у меня в работу.

Много занималась цветами. Перед балконом цветы, которые я сажала, и сеянцы растут у меня плохо. Частично потому, что их вытаптывают, частично потому, что я не могу как следует вскопать и обработать землю, да и земля там — не земля, а нечто несусветное; на самом деле, чтобы там сажать, надо землю привезти. Но на балконе цветы растут очень хорошо. Было очень много табака, левкоев, росли всех цветов и оттенков петуньи, много календулы, незабудки. Была маттиола, по вечерам очень пахла. Табак, левкои, маттиола пахли так, что уже на подходе к дому слышен был аромат цветов. Через открытое окно запах цветов проникал во все комнаты квартиры, вечером — просто как будто в саду.

...Кроме того, я купила книжный шкаф, круглый стол, сделала перестановку мебели, потихоньку, сама. И, купив книжный шкаф, сделала попытку (до конца это никогда не удается) разобраться с книгами, которыми мы опять обросли неимоверно за шесть горьковских лет. Потихоньку мыла стены и потолок в кухне, стены в коридоре, в ванной. Потихоньку, потому что долго и в темпе физически работать я в это лето не могла. К врачам же обращаться, когда возникали приступы стенокардии, не хотела. Летом 84-го года обращение к врачам не казалось опасным — я чувствовала, что меня хотят, во что бы то ни стало хотят довести до суда и кассации если не здоровой, то, во всяком случае, ходячей. Но в этом году мне казалось, что у них могут быть другие намерения и лучше к ним не обращаться. Несколько раз у меня были довольно тяжелые приступы стенокардии, трижды такие, что предписывала себе по нескольку дней лежать, не выходить. Да и заставлять себя особенно не приходилось — была такая слабость, что выходить не могла, даже читать не хотелось или сил не было.

Еще я хочу про это лето сказать. Я не держала голодовку, но у меня, видимо, произошел какой-то стресс, какое-то нервное потрясение. С момента насильственной госпитализации Андрея появилось отвращение к еде, мне приходилось заставлять себя есть, и я регулярно, три раза в день, ела. Утром обычно творог и кофе, днем я что-нибудь делала: яичницу с жареной картошкой, овощи какие-то вроде салата и еще что-нибудь, вечером — чаще всего бутерброды. В общем, я немало ела и ягоды себе покупала, покупала сметану, я люблю ягоды со сметаной, но при этом я все время худела, за период от 27 апреля до конца июня я похудела с 67 килограмм до 49-ти.

...11 июля я была днем дома. С утра была не очень хорошая погода, и я не очень хорошо себя чувствовала. Около трех погода разъяснилась, но мне не хотелось никуда ехать, и я сидела и что-то шила. Раздался звонок в дверь, и появились доктор Толченов и какая-то женщина, которая представилась врачом районной поликлиники. А доктор Толченов — это заместитель Обухова, главного врача больницы, того самого, который увозил Андрея из дома, в присутствии которого Андрею делали укол и волокли тогда, 21 апреля, на носилках. Они мне сказали, что Андрей через два часа будет дома, что его выписывают. Представил мне Толченов эту женщину, сказал, что она врач районной поликлиники, что при нужде Андрей может к ней обращаться и получит всяческую помощь. Еще Толченов сказал, что Андрей плохо себя чувствует, что у него есть экстрасистолия, но врачи решили, что его надо выписать, что ему дома будет лучше. Они приехали меня об этом предупредить. Ни слова о голодовке — как будто ее не было.

Мне было очень странно, что приехали с таким разговором. Это была какая-то новая позиция — раньше они говорили, что дома ему вредно. Я как-то очень резко, как всегда с этими врачами, сказала: «Зачем же вы приехали? Андрей приедет, он сам мне все объяснит».— «Нет, мы хотели, чтобы вы знали, чтобы вы могли его встретить». И я не поняла, что мне надо поступить как раз наоборот. Они ушли, сказав, что через час Андрей будет дома. И это их «встретить» так запало мне, что я вышла на улицу и почти целый час простояла на улице, ожидая Андрея.

Приехала черная «Волга». Мне помнится, что черная «Волга», но, может быть, это была санитарная машина. Вышел Андрей (нет, из «Волги»), за ним Валя, которая несла что-то из вещей, или Вали не было в этот раз, Валя была в другой раз,— и мы поцеловались и вошли в дом. И только потом, уже здесь, на Западе, я поняла, зачем им было нужно, чтобы я вышла Андрея встречать, и что я сделала глупость, выйдя на улицу. Эту встречу сняли на пленку и показывали всему миру, как Андрея привозят из больницы как обычного больного человека, а жена спокойно его встречает дома. Надо сказать, что для советского человека и в этом была бы некоторая ложь. Ни одного родственника у нас никогда не предупреждают, что члена его семьи сегодня выпишут из больницы и привезут домой. В крайнем случае, этот человек сам звонит из больницы, а родственники приезжают за ним в больницу. В общем, это нужно было для очередного киноврачья.

Придя домой, Андрей рассказал мне многое, что было с ним за это время. Он мне сказал, что регулярно предпринимал попытки передать какую-то информацию о себе через различных людей, с которыми сталкивался, несмотря на постоянную охрану КГБ. Первое, что он мне сказал,— это почему он выписан: он прекратил голодовку утром 11 июля. Он прекратил голодовку, потому что после визита Соколова написал письмо Горбачеву. Он написал это письмо 10 июля, а 11-го утром ему пришло в голову, что письмо будет более положительно рассматриваться, если он прекратит голодовку. Но уже по тому, как быстро и срочно его решили выписывать, ему показалось, что он делает глупость, выписываясь. И в день выписки, то есть вот сейчас же, 11-го, через несколько часов после того, как он подал заявление о прекращении голодовки, он подал Обухову второе заявление, что хотя он прекращает голодовку, но если не получит ответа на свое письмо Горбачеву в разумный срок, которым он считает две недели, то оставляет за собой право возобновить ее. Домой он пришел, уже убежденный, что через две недели вновь начнет голодовку.

Он был очень истощен. Но он был спокойней и как-то внутренне сильнее, чем в сентябре 84-го года, когда его выпустили из больницы. Он говорил, что ему кажется, что во время насильственных кормлений ему дают какие-то психотропные вещества и что под их влиянием у него вдруг возникло желание написать заявление о прекращении голодовки. Но главным, конечно, было бесконечное беспокойство за меня и неведение, что со мной происходит.

Он рассказал, что у него тоже был Соколов — 31 мая. Соколов провел с ним длительную беседу, в которой, с одной стороны, говорил, что никогда просьба Андрея Дмитриевича не будет удовлетворена, а с другой — что Андрею Дмитриевичу необходимо отмежеваться от своих прежних общественных выступлений и особенно от письма Дреллу «Опасность термоядерной войны»; говорил о том, как я плохо влияю на него. И абсолютно никаких обещаний о положительном решении Андрюшиного вопроса не давал.

Кроме того, Андрей сказал, что насильственное кормление в этот раз для него проходило легче, чем в 84-м году, потому что он научился не так резко сопротивляться, в общем, стал более опытным — настоящим зэком. По-прежнему, как и в тот год, в палате с ним находился еще один человек, якобы больной, но, видимо, из КГБ. В соседней палате — два кагебешника, постоянно в коридоре дежурят два кагебешника, на лестнице дежурит кагебешник и у выхода из отделения. В отличие от 84-го года, его за все три месяца ни разу не выпустили гулять в сад и даже на балкон. Забили дверь на балкон, заявив, что балкон находится в аварийном состоянии. Это означало, что он три месяца был без воздуха и только каждый день ходил по коридору. В советском исправительно-трудовом законодательстве сказано, что даже в тюрьме заключенного должны ежедневно выводить на часовую прогулку. Вначале его выпускали в коридор смотреть телевизор. Но в последнее время телевизор из коридора убрали, и телевизора были лишены все больные в отделении — им сказали, что телевизор сломался.

11-го вечером Андрюша был какой-то неспокойный. Мы легли спать не поздно, может, часов в 12, но оба были возбуждены и продолжали разговаривать. Говорил больше Андрюша — он убеждал меня в том, что ему обязательно надо снова начать голодовку через две недели. Потом вдруг начинал говорить, что на что-то надеется, что, может, все обойдется без возобновления голодовки. Мне кажется, ему было страшно и так хотелось избежать повторения. Потом он как-то сразу уснул. Я лежала не шевелясь и рукой ощущала все его экстрасистолы, сосчитать я не могла — не было часов и темно, но по характеру это было нечто невообразимое. То подряд несколько ударов были разновеликие, то выпадало два-три удара, и была такая долгая пауза, что казалось... Господи, чего только не казалось. И чего только не вспоминалось. Как я, так же ладошкой впервые наткнулась на его экстрасистолы — подумаешь, дело, одна-две в минуту — совсем как у подростка, и я засмеялась этому, а Андрей спросил, что я. И потом я впервые послушала ухом. Меня никогда, пока в Горьком не сделали из этих экстрасистол Бог знает что, они не волновали. Но теперь это были другие нарушения, и я в них уже ничего не понимала — какой уж там подросток. Андрей плохо спал в первую ночь дома, он плакал во сне, и я его дважды будила. Во сне ему казалось, что он все еще (или снова) в больнице.

12-го был плохой день — серый, дождливый, ветреный. Мы были дома. 13-го мы ездили только на кладбище слушать радио, было много об Андрее, и он был взбодрен тем, что слышит свое имя, почувствовал, что на свете существует забота о нем.

14-го был хороший день. Мы решили поехать в город, на рынок за продуктами. Андрей за два дня со мной уже отошел, у него выражение лица стало другим, мягче, и вообще он весь был такой хороший, добрый. После первой его ночи дома мы как-то перестали думать, что через две недели он снова собирается начать голодовку,— мы жили. Андрей так и назвал это время — «время жить».

Мы поехали в город на рынок, покупали там фрукты. Помню, купили первые персики, которые ему не понравились. Купили очень хорошие абрикосы, еще что-то. На обратном пути с рынка к стоянке, а она там довольно далеко, мы купили какие-то пирожки или булочки и ели их на улице, а проходя мимо входа в кино, увидели афишу о французском фильме, который называется «Мужские дела»; там что-то о велосипедных гонках, о гонщиках и об убийстве, такой типичный и не очень хороший детектив, содержание которого я практически забыла. И мы решили пойти в кино, купили билеты и пошли. Это было 14 июля. У нас еще было время до кино. Мы съездили на набережную Волги, слегка позавтракали там фруктами и булочками, которые купили, и вернулись смотреть фильм.

Этот-то день и был снят в фильме, показывавшем якобы нормальную жизнь Сахарова. Надо сказать, что фильмы, которые показывали «нормальную» жизнь Сахарова в 84-м и 85-м году (это я увидела уже на Западе), содержат кадры, снятые в 80-м, 81-м году и в разное другое время, и все это смонтировано под одно, чтобы создать впечатление нормальной жизни, нормального состояния здоровья. На самом деле это один большой обман. Одна большая ложь, очень опасная. Эта документированная ложь может создать впечатление правды, ее труднее опровергнуть, чем прямую ложь. Вообще это чистая случайность, что, начав с поддельной открытки, ребята сумели распутать весь сложный узел дезинформации, который был вокруг нас. В другой раз может не удаться, и весь мир будет смотреть фильмы о нашем благополучии, когда нас уже не станет.

Так мы жили до 25-го. Это было очень светлое время. Каждый день мы ездили слушать радио. Мы много услышали за это время. Мы купили маленький приемник «Россия» и решили, что Андрей попытается взять его с собой, когда его будут вновь госпитализировать.

У нас были длинные-длинные утренние часы. Мы завтракали буквально часами, потому что это было время, когда мы больше всего рассказывали друг другу, как жили один без другого. Андрей рассказал мне о своих попытках передать какую-то информацию. Я ему — о своих, о выезде Лесика.

Днем мы много были на улице. Уезжали на машине в какие-нибудь перелесочки, где была тень и какой-нибудь намек на природу, и даже собирали грибы в одной из узких полосок лесопосадок. Кстати, кинокадры, где Андрей стоит спиной, и те, где мы собираем грибы или грибы на капоте лежат,— сделаны именно в эти дни.

Погода была в общем хорошая — даже если не чересчур теплая, то почти все дни были ясные. Гебешники ездили за нами вплотную, на двух машинах, ходили между деревьями. На самом деле, наедине мы не были ни минуты, и это тоже доказывают те кадры, которые вошли в фильмы, показанные на Западе.

25-го прошло две недели с тех пор, как Андрей вышел из больницы. Вечером он снова начал голодовку...

...Утро 27-го началось, как всегда: Андрей вышел на балкон, я, плотно закрыв дверь в кухню, чтобы ему не было слышно запаха, выпила кофе. Потом мы стали собираться поехать куда-нибудь на машине. Но собирались не очень быстро, а у меня оставалась небольшая стирка и еще какие-то дела. Пока я все это сделала, было уже полпервого. Кстати, уже с 25-го числа у меня была в коридоре собранная целлофановая сумка, где лежало Андреево белье, принадлежности для бритья и умывания, новый маленький приемник, который мы купили, бумага, очки и другие нужные мелочи. Мы понимали, что за ним могут прийти в любой день и час. Но, когда приходят, это все-таки всегда оказывается неожиданным. Чувствовал себя Андрей хорошо, шел третий день голодовки. Был он вполне бодрый, даже делал утром зарядку.

Около часу дня мы собирались выходить из дома, в это время раздался звонок в дверь, и вновь появился доктор Обухов со всей своей мужской и женской командой, опять вместе с ним было человек восемь. И был этакий полуигривый тон, когда Обухов сказал: «Ну, что ж, Андрей Дмитриевич, мы за вами». И тут я не выдержала — когда я представила, что они снова будут валить Андрея на диван, делать ему силой укол и тащить, я подошла к Андрею и сказала: «Андрюшенька, иди так, не надо». Они его взяли под руки и полуволоком повели. Он не очень сопротивлялся. Я кому-то из них всунула этот целлофановый пакет, который у меня был собран Андрею, и так они ушли.

Опять я осталась одна, опять неизвестно, на сколько времени. Опять с чувством, что он полностью в их руках и они могут сделать всё что угодно: бить, колоть, убивать, миловать — всё!

Я собралась и поехала слушать радио, хотя Андрей, даже уходя, сказал: «День рождения Алешки, ты помнишь?». Я сказала: «Помню». Но ехать давать телеграмму не захотела, считая, что она только собьет всех с толку, поехала слушать радио. Вот тут — я не помню, в этот день или на следующий — и услышала о фильме: как мы ходили в кино, как мы благополучно и хорошо существуем. Боже мой! Какой ужас вызвала у меня эта передача! Ужас, оттого что этой лжи совершенно невозможно противостоять. Совершенно невозможно знать, где, когда еще они будут фальсифицировать нашу жизнь.

...А дни шли, шел август. День рождения мамы. Телеграмма от Лени Литинского с просьбой сообщить, когда ее день рождения. Я ему не ответила. Маме телеграмму я не послала. По радио все больше и больше слышала о нас и понимала, что моя тактика не посылать телеграмм даже в такие дни, как день рождения мамы, правильная. Раз все подделывается, значит, мы должны молчать.

Очень медленно шло время. Очень медленные были дни, и очень быстро пришла осень. В августе уже стало холодно.

5 сентября днем я была дома, по радио я уже слышала о голодовке Алеши. О ней говорили каждый день, и передач этих становилось все больше; о нас говорили много. Я сидела дома, это было около 3-х часов, я хотела выехать слушать радио к четырем часам, вдруг вошел Андрей. Я бросилась к нему, а он как-то сразу очень настороженно сказал мне: «Не радуйся, я только на три часа».

...Он сказал: «От тебя просят написать, что если тебе будет разрешена поездка для встречи с матерью и детьми и для лечения, то ты не будешь устраивать пресс-конференций, общаться с корреспондентами, то, другое, третье». Когда я поняла, что от меня только требуется закрыть рот от прессы, я сказала: «Да ради Бога!». Спросила: «А что от тебя?» — «А от меня — тоже». И я как-то отвлеклась от содержания того, что́ от меня требуется,— мы стали друг другу рассказывать, что с нами происходило. И я опять забыла сказать Андрею, что мое прошение о помиловании отклонено.

Андрей сказал, что к нему сегодня утром приехал Соколов. Он-то и потребовал такую бумажку, сказал, что Горбачев дал указание разобраться в ситуации с Сахаровым. Когда я села за машинку, я спросила, кому должна быть адресована моя бумажка. А потом сказала: «Нет, я никому не буду адресовать». И в том углу, где полагается писать, кому и от кого, я ничего не написала, никак не озаглавила эту бумажку. Оставив несколько строчек пустого места наверху, я с красной строки написала: «В случае, если мне будет разрешена поездка за рубеж для встречи с матерью, детьми и внуками, а также для лечения, я не буду устраивать пресс-конференций, давать интервью. Елена Боннэр. 5 сентября 1985 года»,— и отдала эту бумажку Андрею. И снова вернулась к вопросу, а что же требуется от него.

Тут он мне показал проект своей бумаги, в которой было написано: «Я признаю обоснованным отказ мне в выезде за границу, так как считаю, что обладаю знанием военных тайн (не помню, как у него дословно). Однако это не значит, что я признаю законной мою высылку и изоляцию в Горьком. В дальнейшем, если моей жене будет разрешена поездка за границу для лечения и встречи с близкими, я собираюсь сосредоточиться на научной работе и частной жизни, однако оставляю за собой право выступать по общественным проблемам в экстремальных ситуациях».

Вот приблизительно то, что написал Андрей. Более точно я не помню. Он как-то очень торопился назад. После того, как мы написали с ним бумажки, мы вышли на балкон. Я похвасталась цветущими моими уже остатками балконного сада. Постояли там обнявшись. Андрюша сказал, что я вроде как немножко прибавила в весе — наверно, так и было. И заторопился, как бы ему не опоздать к 6 часам выйти на улицу, потому что за ним приедет машина. Он боялся, что они его обманут, не приедут за ним и таким образом посчитают, что он прекратил голодовку.

Пожалуй, он верил, что эти бумаги помогут мне выехать, что проблема почти решена. Пожалуй, несмотря на то, что... я думаю, что его бумага была написана и согласие на нее было получено под давлением. Да и сама разлука со мной, к тому времени $4^1/_2$-месячная, за исключением двух недель, и изоляция тоже есть давление, и насильственное кормление, и всё — всё это есть давление. Когда я пыталась об атом говорить, он отвечал, что ничего не видит худого в своей бумаге; он действительно думает, что обладает секретами, он действительно не хочет больше заниматься общественными делами, у него на них нет сил. Он чувствует себя больным, усталым, ему хочется заниматься наукой и быть со мной.

В дневнике, который я читала потом, он написал: «Мне так хочется быть с Люсей. Мне никогда в жизни ничего так не хотелось».

Сентябрь — это у нас уже осень. Мне кажется, что я впервые увидела и физически ощутила ее приход, стоя с Андреем на балконе, чувствуя ладонью даже через курточку, которая была на нем, его ребра. Милый, бедный, худой ты мой! Увезли. Сам спешил

назад в мучения свои, голодовки и разлуки. И у меня осень, листья настурций стали светло- и густо-желтыми, астры уже отцветают, и пора собирать семена. Я собирала семена на кладбище и там же слушала радио. Алешка голодал в Вашингтоне у советского посольства, диктор-женщина говорила, что там жарко. А у нас быстро холодало и стремительно убывал день. Андрюша, пока был три часа дома, говорил об Алешиной голодовке приподнято и даже радостно. Он о ней знал так же, как и о многом другом, что делалось в мире. Тот маленький приемник, что я вместе с другими вещами сунула кому-то из увозивших Андрея 27 июля, работал, и Андрей все знал. Про Алешину голодовку Андрей сказал, что это нужное дело, в нужное время и в нужном месте. Потом, когда я уже буду в Москве, мне расскажут, что один физик, не одобряющий голодовки Андрея и наш образ жизни, сказал: «Вот до чего она (это я) жестокая, теперь заставила голодать еще и сына»,— и на встречную реплику: «Ну, как она сына может заставить, у них же связи нет».— «На это она найдет». А вообще про ребят Андрюша сказал: «Похоже, твои дети вытащат нас из черной дыры». И, как подтверждение его слов, я услышала резолюцию Сената и Конгресса США, после которой Алешка кончил голодовку [1].

А у меня шла осень. Я вдруг ощутила такую усталость, что уже, казалось, больше не выдержу. Но каждый день я говорила себе: «Ну, еще день-два, и все решится»,— и с этим жила. Я все дни разлуки и 1984 года, и 1985-го отмечала в календаре и на перекидных его листиках записывала, что было: ведь хоть казалось, что время стоит,— оно шло, и случались события — в мире и в моей одиночке. Перекидной календарь — «умираю от воспоминаний над перекидным календарем» (А. Межиров),— кому-нибудь из моих читателей эти строчки что-то, может, скажут. Уезжая сюда, в Штаты, я купила Андрею календарь — перекидной. Когда он пришел из больницы, он читал мои записи. Возвратясь с моих американских каникул, я буду читать его.

В первые дни после этого трехчасового нашего общения, после того, как ему Соколов сказал, что Горбачев велел разобраться, мне казалось, что Андрей скоро будет дома, что скоро все решится и все будет хорошо, но дни шли.

Предоктябрьские дни были отмечены интервью Горбачева «Тайму», поездкой во Францию и его и Миттерана пресс-конференцией в Париже. Это все на советском телеэкране. Интересно, хотя бы потому, что нас много лет не баловали даже таким общением с руководством страны. Страшно — мне, потому что везде про Сахарова и везде так бесперспективно плохо, что прямо мороз по коже. По западным радиостанциям тоже интересно и тоже про Сахарова — много про него, и беспокойство, и забота о нем, и всеобщее недоумение вследствие дезинформации и отсутствия реальной информации. Октябрь. Осло. Присуждение Нобелевской премии врачам. Десятилетие Нобелевской премии Сахарова.

Я слушала эту передачу (см. приложение № 14 — речь Татьяны Янкелевич в Осло) дважды. Первый раз ночью почти ничего нельзя было разобрать. Второй раз днем — вернее, октябрьскими сумерками, в машине. Танин голос был слышен очень ясно, чисто. У меня на ветровое стекло падали первые в этом году снежинки, потом снег пошел хлопьями. Когда первый снег, надо загадать желание. Господи, сколько на свете примет! Как хочется хоть чем-то облегчить душу. Я вышла из машины, собрала горсть снега с капота, положила в рот. Холодно. Почему это в детстве снег был сладкий? Мне кажется, никогда в предыдущие наши разлуки я не считала так дни.

Кончилась осень. Снова пошел снег. Стаял. В доме было очень холодно. Еще не топили, а ветер выдувал тепло. В большой комнате было 12° по Цельсию, а там, где я спала, бывало и меньше. Я уже не шила, не штопала, не мыла окна и двери. Сидела, накрутив на себя все теплое, иногда даже и одеяло, и ждала. Чего? Сердце болело то ли от спазмов, то ли от тоски, то ли от холода. Утро 21 октября такое темное, что не поймешь, рассвело уже или нет,— опять идет мокрый снег. Вставать в такую холодину очень не хотелось. Вдруг звонок. Натянула халат, открыла. Один из самых хамских наших охранников. Они, между прочим, различаются между собой по степени хамства. «Вам велено в управление МВД явиться к 11 часам дня».— «Я к 11-ти не успею, сейчас уже 10».— «Ничего не знаю, этаж 2, комната 212 (или другая, сейчас забыла), к Гусевой Евгении Павловне, и чтоб обязательно к 11-ти».— «Сказала, не успею»,— и я закрыла дверь. Так у меня получилось, что я не могла быстро собраться и хоть специально не волынила, но только в одиннадцать смогла выйти из дома. На машине лежит мокрый снег — надо счистить. Не работает обогреватель заднего стекла, вообще я еще к зимнему времени не приспособилась. Наконец, выехала и около 12-ти приехала. Там

---

[1] Алексей Семенов начал голодовку 29 августа 1985 года вблизи советского посольства в Вашингтоне, требуя разрешения посетить Сахаровых, и закончил ее 12 сентября. Совместная резолюция Сената и Палаты представителей № 186 от 10 сентября выражала «солидарность с семьей Сахаровых в их усилиях осуществить свои права» и призывала президента «протестовать сильнейшим образом и на самом высоком уровне против вопиющих и систематических нарушений прав Сахаровых советскими властями».

везде стоянки запрещены, разрешено только для служебных машин, но я поставила свою. Я была зла и на свои ноги, и на свое сердце за то, что они болят; и на мокрый снег, и на этот пронзительный ветер; и на этот город, про который мне так и хотелось крикнуть: «В гробу я тебя видала, в белых тапочках». И на этот вызов.

Я думала, что вызывают меня или на беседу, или для какого-нибудь наказания за то, что я нарушаю режим и не нахожусь дома после восьми вечера, как мне было предписано. Собственно, в октябре я уже находилась. Это летом и в сентябре, пока не стало холодно, я подолгу слушала радио. И то, что меня вызывали к женщине, только подтверждало мои предположения. Я уже нагляделась на то, что в Горьком (а может, и в других городах) в управлениях внутренних дел именно женщины ведают осужденными. Это те осужденные, которые отбывают наказание без лишения свободы и на своем обычном месте жительства: так называемые «химики» — в Горьком их много, алиментщики и те, кто осужден к принудительным вычетам из заработной платы. Ну, и на моем примере — ссыльные, но кажется, что ссыльных на весь город Горький — я одна на 1,5 млн. жителей (в статистических сборниках показывают меньше — 1,3). Я думала, что теперь меня вызывают к женщине-инспектору по этим делам, но только выше рангом.

Наконец я нашла нужный подъезд и на таблице в вестибюле увидела, что это ОВИР. Я очень удивилась, но мысли о том, что меня собираются пустить в поездку, не появилось. Прошла в бюро пропусков и вдруг вижу объявление: «Сегодня в связи с собранием (не помню, каким) приема в ОВИРе не будет».— «А, значит, меня ждут». Я привыкла, что власти так не хотят моих контактов с кем-либо даже в случайной очереди, что в учреждениях могут отменить прием, как это было в райисполкоме или в том коридорном отсеке прокуратуры, где находится кабинет моего следователя. Я обратилась к девице в окошке бюро пропусков, сказала, что меня вызвали в ОВИР. «Вы что, слепая, что ли, или неграмотная? — привычно рявкнула она на меня.— Вот объявление висит — приема нет».— «Но меня вызывали»,— повысила голос и я и уже собиралась начать привычно и громко, чтобы все, кто есть в помещении бюро пропусков, слышали: «Я жена академика Сахарова...». Но тут подбежал какой-то тип и вежливенько просюсюкал: «Елена Георгиевна, пройдемте, к вам сейчас спустятся»,— и вытолкнул меня из многолюдия бюро пропусков к лестнице, около которой стоял только один часовой, а людей не было.

Буквально через несколько минут по лестнице спустилась женщина в форме офицера МВД (на погонах просвет широкий и одна звездочка — майор) и тоже вежливенько сюсюкает: «Елена Георгиевна, пройдемте». Мы поднялись на второй этаж. Она принимала меня в кабинете, посередине которого стоял стол, у стола по обе стороны стулья. Вдоль всех стен тоже стулья — это помещение скорее походило на комнату типа холла. Ее как будто нарочно переоборудовали в нечто вроде кабинета. И этот стол казался только что принесенным.

Когда потом я увижу себя и ее около этого стола в фильме — я пойму, что это так и было. Справа и слева в комнате были двери в соседние помещения. Я описываю это так подробно, потому что теперь, после просмотра фильма, где заснята я в этой комнате, беседующая с этой самой Евгенией Павловной Гусевой, я все время думаю, где же находилась камера и почему я не слышала звука съемки. Или, возможно, теперь есть беззвучные камеры.

Гусева сказала: «Вы подавали заявление на выезд, вас просят снова заполнить анкеты».— «Я никогда не подавала заявлений на выезд. Только на поездку»,— сразу сказала я. «Нет, нет, что вы, это я просто так выразилась. Садитесь удобно и заполняйте анкеты».— «Как, прямо здесь и от руки? Всегда же вы требуете, чтобы было напечатано и в двух экземплярах».— «Ничего, можно один и от руки».

Я заполнила графы — имя, фамилия, место жительства. Далее идет графа, куда. Она мне диктует: «В Италию». Я стала доказывать, что это я раньше просилась в Италию, а теперь я прошусь в США и Италию, в частности, я хочу привезти маму. Она сейчас у детей, но она хочет вернуться, она не эмигрантка, а в гостях,— именно это место заснято в фильме. Я написала «в США и Италию». Дальше я все заполняла, почти не думая. Иногда она мне что-то диктовала, и я так и писала, не думая. Так, на вопрос: «Когда собираетесь выехать?» она продиктовала: «Сразу по получении визы»,— и я так и написала. И на вопрос: «Через какой пограничный пункт?» — она сказала: «Через Шереметьево», я тоже написала.

Кончила анкету, отдала ей и заспешила домой. Конечно, я понимала, что, видимо, принято решение в отношении нас и, возможно, положительное, но уверенности у меня в этом не было. И вообще уже с середины анкеты (вся эта писанина заняла больше часа) я стремилась домой — я полагала, что Андрюша уже дома. Именно его возвращение было той единственной реальностью, к которой я стремилась. А поездка все еще была из категории нереальных. Но Гусева меня задержала: «Вы сейчас поедете, сделаете фотографии и завтра в 10 утра привезете мне».— «Кто же это сделает мне так

быстро фотографии?» — «С вами поедут и вам сделают, это близко, на Звездинке» (улица в центре Горького).

Я вышла и поехала на Звездинку. Меня сфотографировали без очереди, сказали: «Завтра в полдесятого можно получить готовые»,— и я помчалась домой. Мне повезло, что на пути не было ни одного гаишника, а то прокол был бы обеспечен.

Андрея дома не было. Я так ждала его, что боялась выйти на балкон, хотя мне совсем не надо слушать дверной звонок. Уже давно — может, года два — мы не вынимаем ключ из замочной скважины, он так и торчит. Вначале милиционеры требовали, чтобы я его вынула, но я отказывалась, а самим им вроде не положено. Сделали мы это потому, что без нас постоянно ходят в квартиру, видимо, у них плохие ключи, и замок без конца ломался, мне просто надоела эта история.

Андрей не пришел, и всю ночь вместо того, чтобы спать, я думала и процеживала сквозь себя снова и снова свой визит в ОВИР. И я поняла, что, во-первых, они хотят, чтобы я уехала скоро, а во-вторых — не увидев Андрея. Я уже поняла, что решение, конечно, принято и что фактически я имею разрешение на поездку, а все остальное, что сейчас происходит,— это уже вне тех инстанций, которые приняли разрешение отпустить меня, а зависит только от КГБ. Утром я еще надеялась, что Андрей придет, но до 9-ти не было никаких известий, и я поехала за фотографиями и в ОВИР. Получив фотографии, почему-то решила в ОВИР не спешить и зашла в парикмахерскую. Мои сопровождающие на двух машинах были этим озабочены больше, чем при обычных моих поездках. Видимо, они ожидали, что я должна стремглав лететь в ОВИР, а парикмахерская может оказаться местом тайного свидания.

Вообще поведение нашей наружной охраны во все последующее, до моего отъезда из Горького, время было, на мой взгляд, странным. Ведь я получила право на выезд, тем самым право на общение и на контакты. А они усилили свою бдительность и шныряли вокруг меня — а потом, когда Андрея выпустили, вокруг нас — кажется, даже больше, чем всегда. Придя в ОВИР с фотографиями 22 октября (дама-майор меня встречала внизу, гебешники оставались на улице, потом она меня к ним выводила), я сразу сказала, что прошу отдать мне анкеты, я должна сделать добавления: во-первых, я не поеду сразу по получении визы, я поеду только после того, как увижу мужа, которого не видела шесть месяцев, исключая небольшой перерыв. Во-вторых, я не обязательно поеду через Шереметьево. Тут я вспомнила, что, когда я получила разрешение в 1975 году, я ехала поездом, так как окулист считал, что при таком давлении лететь опасно — у меня было давление за 60. Она сначала возражала, говорила, что мне еще не дано разрешение, а я уже скандалю. И что она вообще не может решать, давать ли мне анкеты.

Потом она ушла звонить. Я одна, ни души в этом горьковском ОВИРе — а может, так у них всегда? Нет, не может быть, ведь я точно знаю, что в городе есть и подаванты, и отказники. Теперь-то мне ясно, что всех сотрудников отпускали, так как из соседних комнат шла съемка, а люди не должны знать про это. Этому майору КГБ доверяет, а уж другим сотрудникам нет. Я вспомнила сейчас, что всегда, когда я хожу на отметку в районный ОВД, мой кагебешник входит в комнату вместе со мной. Видимо, КГБ не доверяет той женщине-лейтенанту (ее фамилия Рыжова), у которой я отмечаюсь.

Гусевой не было больше часа. Вернувшись, она дала мне анкеты. В графе «что еще хотите сообщить о себе» я написала, что поеду в США и Италию для встречи с родными и лечения, выеду в срок обычный, то есть в течение трех месяцев после получения разрешения, и там, где было написано «Шереметьево», кажется, написала «любой пограничный пункт», но сейчас точно не помню. Она взяла мои анкеты и сказала: «Вас вызовут».

И я опять помчалась домой. Андрея не было. Я опять почти не спала ночь. Утром еле встала и ходила в халате (а больше лежала), не собираясь ни одеваться, ни куда-либо выходить. Около трех часов звонок в дверь. Медсестра Валя. Просит одежду для Андрея Дмитриевича. Он ведь как был в тренировочном костюме, так в нем и есть, а на дворе зима уже. Я собрала куртку, ушанку, ботинки, брюки, свитер, все отдала, спросила: «А когда они думают его выписать?» — «Я его сейчас привезу, вот только вещи отвезу, он оденется, и привезу». Она ушла. И тут я поверила, что, может, мужа мне отдадут и что детей и маму я, может, увижу. Ну, а что еще и сердце снова станет работать, про это я не думала. Мне кажется, я одновременно делала не два, а все сто дел: хватала нитроглицерин, накрывала на стол, пекла яблочный пирог и варила курицу, мылась и натягивала розовое платье. Все сделала и даже свечи на столе зажгла.

Еще не было пяти часов, когда в дверях появился Андрей. В меховой шапке и куртке — все это казалось большим, ему не по росту. Очень похудевшее маленькое лицо, какого-то серого цвета. Он даже не поцеловал меня, а... «Что происходит?» — «Ты ничего не знаешь? Меня вызывали в ОВИР»,— и вдруг его лицо преобразилось, собственно, лица не стало, одни глаза, живые и сияющие (я и сейчас, спустя пять месяцев, когда пишу это, не могу удержаться от улыбки, вспоминая это лицо и эту сцену

целиком). ...«Ну что, мы опять победили?» — «Победили!» И в нарушение всех норм — сразу из больницы за стол. И начались наши разговоры.

5

Андрей ничего не знал, ему просто сказали час назад, что он может ехать домой. О голодовке никто с ним не говорил. Он не видел никого, кроме медсестры, принесшей одежду,— ни лечащего врача, ни Обухова. И что ждет его дома, он, пока ехал, не знал. Он рассказал о своем последнем пребывании немного. Сказал, что среди каждую неделю меняющихся его соседей был один, знавший английский,— кажется, он даже представился переводчиком каких-то специальных технических текстов. Этот человек предложил Андрею почитать английские журналы. Андрей взял. И эти кадры, когда Сахаров в больнице читает западную прессу (даже те журналы, которые в СССР не продаются) — а у нас все иностранные журналы забрали на обыске,— потом были в фильмах показаны всему миру. Кроме того, Андрей был удивлен, что ему в больнице вдруг принесли препринты — несколько пакетов с научными препринтами из США — и дали расписаться на бланках уведомления о вручении. Никогда этого раньше не было: если пакеты приходили, то домой. И далеко не всегда нам давали расписываться. Андрей ничего не подозревал и расписался. И эти кадры, как доказательство того, что почта с Запада идет нормально и что подписи не поддельны, тоже фигурируют в фильме.

Еще Андрюша рассказал мне, что один из меняющихся его соседей по палате все время вел с ним разговоры обо мне. Сколько Андрей ни пытался прекратить это, тот все равно продолжал. Это были долгие монологи совсем в стиле Яковлева. Андрей думает, что человека этого специально готовили, так как в его речах проскальзывало то, чего не было в советской прессе, а было только в газете «Русский голос» (издается в США) и в «Сетте джорне» (Италия, Сицилия). Наконец Андрей решил это раз и навсегда пресечь. Он потребовал, чтобы этого человека убрали. Этого не сделали. Тогда он взорвался. Он мне сказал, что способ доводить себя нарочито до истерики иногда помогает. Он стал кричать, схватил подушку и одеяло, силой вырвался в коридор и лег там, сдвинув три кресла. Был вечер, почти ночь — то ли боялись криков, то ли не было высшего начальства, во всяком случае, Андрея оставили в коридоре. Спустя три дня и три ночи, которые Андрей провел в коридоре, этого «яковлеведа» убрали прочь.

Перед последним приездом Соколова 5 сентября (он забыл мне рассказать об этом в тот короткий трехчасовой приезд) у него три дня не было насильственных кормлений. Ему сказали, что женщина-врач, возглавлявшая женскую бригаду его мучителей, заболела (или у нее в семье кто-то заболел). Таким образом, он вновь проходил три первых, самых мучительных дня полной голодовки. Так его готовили к встрече с начальством и КГБ. То же самое было и перед приездом Соколова в мае.

О женской бригаде я должна рассказать подробней — все, что Андрей мне говорил о них. Это несколько крупных, больших женщин, очень здоровых и сильных. Они приходили насильственно кормить его и в прошлом году. Ими всегда командует такая же крупная женщина-врач. Они валили его, связывали и привязывали к кровати. Все неприятные и неэстетичные моменты, которые могли быть при этом насилии, становились еще труднее переносимыми психологически, когда это происходило при женщинах. Андрей считал, что это нарочно были женщины — чтобы было мучительней. Об этом, в общем, не стесняясь, говорил и Обухов, когда летом 1984 года стращал Андрея, уже снявшего голодовку, но требующего, чтобы его вызвали в суд как свидетеля и наконец выпустили из больницы, которую для него специально превратили в тюрьму. Чуть что — Обухов говорил: «Смотрите, Андрей Дмитриевич, опять женскую бригаду пришлю».

Точно так же в 1984 году Обухов, совсем забыв, что хотя бы по образованию он врач, пугал Андрея болезнью Паркинсона, специально давал книги, где описаны самые тяжелые исходы этой болезни, и говорил: «Умереть мы вам не дадим, а инвалидом сделаем. Вы будете в таком состоянии, что сами штанов расстегнуть не сможете». Все это я сейчас цитирую по письмам Андрея.

Кроме того, Андрей думает, хотя подтвердить этого не может, что были периоды — не все время его пребывания в руках этих лжеврачей,— когда к нему применяли какие-то психотропные препараты, вызывающие сонливость, некую душевную опустошенность, явное снижение волевых возможностей, желание умереть. Рассказ о своих врачах Андрей закончил фразой: «Мои врачи — это Менгеле нашего времени».

Я не могу отделаться от постоянно преследующей меня мысли: а нет ли среди тех, кто мучил моего мужа, активистов движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны»?...

...Теперь три слова о хорошем. Если откинуть (на самом деле — никогда!) главное в нашей с Андреем жизни: «Ты — это я», то его, «хорошего», так мало в этой книге.

23 октября вечером, а может, это уже была ночь с 23 на 24-е, я вышла во двор вынести мусор. Было ясно и морозно. Снег, который шел в этот день с утра, кончил валить. Эта первая белизна засыпала все вокруг и даже прекрасно прикрыла лужу — совершенно гоголевскую, которая царствует над всем нашим пейзажем этого конца проспекта Гагарина. Засыпало и стоящие у дома машины. И на ветровом стекле нашей крупно по снегу было написано: «БиС! Поздравляем!». Еще ничего не говорилось по радио, еще, кроме нас, милиционеров и кагебешников, никто не знал, что меня вызывали в ОВИР. Никто, кроме одного из них, не мог подойти к машине и написать это. Я теперь всегда буду глядеть в их лица и думать: «Этот? Нет, этот».

25 октября меня вызывали в ОВИР к часу дня. Мы поехали вместе. Дамы-майора внизу не было. От постового у лестницы, спросив его разрешения, я стала звонить ей по внутреннему телефону. Один из сопровождающих — видимо, он последние дни был не в наряде и чего-то не знал,— как дикая кошка, бросился к аппарату и нажал рычаг. Он сделал это так быстро и резко, что, видимо, нечаянно толкнул меня. У меня сразу схватило сердце. Я схватилась за нитроглицерин. А другой гебешник вежливо сказал: «Звоните, Елена Георгиевна,— он не знал»,— и начал что-то тихо выговаривать тому, кто бросался на телефон. Я позвонила, дама спустилась за нами, мы вместе с ней вошли. В ее кабинете сидел рядом с ее креслом мужчина в форме МВД с погонами полковника или подполковника (я забыла). Он сразу, не представляясь, стал говорить. Его речь приблизительно сводилась к следующему. Разрешение получено, с мужем вы повидались, сейчас вам надо заплатить 200 рублей и принести сюда квитанцию, завтра вы едете в Москву, вам будет принесен билет, и завтра вечером вы летите, билет на самолет вам заказан. В Москве вам надо иметь деньги на обмен и на билет (мне кажется, что он назвал 400 с чем-то рублей и 300 с чем-то, но, может, я путаю). Итак, завтра вечером вы едете.

И тут я взвилась: «Я никуда не поеду, пока я не поживу с мужем, и столько, сколько мне надо. Он голодал, он истощен, я должна привести его в такое состояние, чтобы мне не было страшно его одного оставить... Если вы меня выпихиваете или высылаете, так вы мне и скажите. Я никуда не поеду». Я очень сильно кричала и про многое, про больницу, про изоляцию Андрея... Андрей сидел, молчал, поглядывая на меня, и даже иногда улыбался, как будто его мой крик не касался. Вот так мы и сидим: с одной стороны — мы с Андрюшей на двух стульях, с другой, на двух креслах,— один начальник и одна начальница. И он стал на меня кричать, этот начальник, что он этого решить не может, что мое поведение возмутительно, что мне пошли навстречу и что я вообще рискую никуда не поехать. А я ему: «Ну и рискую, я вообще только и делаю, что рискую,— значит, не поеду...». И вдруг мы оба устали кричать. Я только напоследок сказала, что хочу ехать после встречи Горбачева с Рейганом и после нобелевского вручения доблестным врачам [1] — я не хочу, чтобы корреспонденты меня об этом спрашивали. И он сказал: «Хорошо, подождите»,— и ушел.

Мы ждали очень долго, может, час с лишним. Он вернулся злой. Ему явно попало от (как у них говорят) руководства, что не смог заставить меня уехать сразу. Он вошел и, не глядя ни на нас, ни на начальницу, которая нас стерегла все это время, сказал: «Пишите заявление. Сколько времени вам надо?». Я сказала: «Два месяца». И тут Андрюша улыбнулся снова и так спокойно промолвил: «Хватит с тебя и одного». Ну, не спорить же мне еще и с ним, и я написала «один месяц».

Мы вышли от начальников и поехали в фотографию. Эти фотографии от 25.10.85 я привезла с собой в Штаты. Этой или следующей ночью мы слышали по радио, что, по словам Виктора Луи, завтра я прибываю в Вену и могу далее ехать, куда захочу [2]. Потом было сообщение, что возможность моего приезда в Вену подтвердили послы СССР в Вене и в Бонне. Нас вызвали в ОВИР. Начальника не было, была одна дама, она сказала, что моя просьба удовлетворена, что мы должны принести ей квитанцию об уплате 200 рублей за паспорт. Что я могу купить себе билет сама как свободный гражданин (нет, это потом она сказала Андрею по телефону).

Главным же в этот день было наше требование телефонного разговора с детьми. Мы доказывали, что они никогда не поверят сообщениям Виктора Луи и что будет только лишний шум. Она сказала, что не может решить этот вопрос и что мы должны ей позвонить. Больше я с ней не общалась. Андрей еще раз ходил к ней, отвез квитанцию. Потом несколько раз звонил в связи с разрешением телефонного разговора и билетом до Москвы. Потом еще возник вопрос — с каким же документом я поеду. И Андрей

[1] Двухдневная встреча Рейгана и Горбачева в Женеве закончилась 21 ноября. Нобелевская премия мира за 1985 год была вручена организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» 10 декабря.

[2] Первое сообщение о том, что Е. Г. Боннэр дано разрешение на заграничную поездку, было передано немецкой газетой «Бильд» (так во всем мире называют газету «Бильдцайтунг») со ссылкой на «надежные источники» в Москве. Очевидно, под «надежными источниками» подразумевался Виктор Луи: на другой день он сам подтвердил это сообщение.

вновь ей звонил, что ссыльным полагается маршрутный лист, ведь могут и задержать. «Никто не задержит»,— сказала она ему таким тоном, как если б говорила: «А пошли вы...».

...Ну, вот и кончилась борьба. Начались сборы. И откармливание. Мы ели пять раз в день. Это санаторное питание нужно было обоим. И у меня ни на что не стало хватать времени, потому что пять кормлений — это трудоемко. А потом наши долгие-долгие разговоры, лежание по утрам, сидение по вечерам. И все время вместе, вместе. Мы были очень счастливы. Но через две недели я стала чувствовать, как убывает время, дней стало впереди меньше, чем уже прошедших. Скоро расставаться. Точно так же я чувствую сейчас, как календарь сужается. Укорачивается шагреневая кожа моей свободы, возможность видеть детей, внуков, маму. Мама... Нет, этот разговор еще потом.

Мне надо было что-то срочно сделать с зубами. Без Андрея у меня сломалась коронка, и я ее острый край подпилила пилкой для ногтей прямо во рту. Это была мучительная операция. Кроме того, все зубы под коронками шатались — их, видимо, надо было срочно удалить. Я не могла без этого ни толком есть, ни говорить: было больно, и, помимо всего, во рту была папилома — кто знает, каков был ее характер, мне она не очень нравилась. Что делать? Мы пошли к Обухову. Ведь больше некуда — нам нельзя.

А нас снимали, снимали без счета. Видимо, КГБ уже раз и навсегда понравилось манипулировать камерой. Нас снимали в ОВИРе, есть сцена, где я говорю, что не хочу сразу ехать, но снято это как-то так, что большого начальника не видно. Снят мой паспорт, но я его получала не у этой дамы, а в Москве. Когда мы пришли к Обухову, мне было организовано спешное и по высшему классу лечение зубов и изготовление временного протеза. Я об этом говорю Андрею и Обухову — просто потому, что Андрей у него в кабинете. И это снято в кино, так же как я в кресле дантиста. Опять я не слышала никакого жужжания камеры. Нас снимают на рынке и в магазине. Андрея, говорящего из кабинета Обухова по телефону о билете для меня, Андрея, пьющего с Обуховым чай и говорящего о разоружении. А мы удивлялись, почему Обухов не работает, а по два-три часа держит Андрея и в частных беседах подымает такие нечастные вопросы, как разоружение. Где уж тут больничная работа, когда Обухов стал киногероем. 20 или 21 ноября, когда мы были, кажется, на последнем сеансе объединенной работы советских киношников с зубопротезистом, появилось сообщение, что Обухову присвоено звание «народного врача СССР». Мы увидели объявление об этом в вестибюле гостиницы. Интересно — все мучения, которые перенес Сахаров в стенах Горьковской областной больницы имени Семашко, были в перечне заслуг этого человека, когда ему присваивали высшее для врача СССР звание?

И вот последний вечер с Андреем — и он тоже прошел. В этот вечер было очень скользко, и мне не хотелось, чтобы Андрей ехал один ночью домой на своей машине. Мы поехали на такси. Когда подъехали к вокзалу — мы не были там два года,— вся площадь вдруг оказалась перерытой: в Горьком заканчивают строительство первой очереди метро. Такси остановилось очень далеко. Вещи довольно тяжелые. Андрей тащил их, часто останавливаясь, мне он тащить не давал, но я и без вещей еле двигалась — чувствовала себя плохо. За нами шло пять или шесть гебешников. Когда мы остановились передохнуть, я сказала одному: «Хоть бы помогли».— «Нет, что вы, нам не положено, да вы справитесь, вы люди здоровые!» — с издевкой сказал один из них. Мы дошли до вагона, Андрей внес вещи, в моем купе сидела мелкая женщина с противно знакомым лицом, в заднем тамбуре виднелось столь же противное лицо знакомого гебешника. Потом я их увидела в очередном фильме. Нас опять снимали. И Андрей один на снежном перроне — и в моей памяти, и в фильме.

Мне кажется, нам обоим страшно опять. «Кто может знать при слове расставанье — какая нам разлука предстоит?». Опять надо выдержать — обоим разлуку, ему одиночество, мне мои болячки и их лечение. Но это все под знаком победы, в ауре победы. Два дня назад в телефонном разговоре Горький — Ньютон на мой вопрос: «Как ты?» — Андрей ответил: «Живу настроением победы». И я вспоминала осень 1984 года. Тогда я говорила: «Андрей, надо учиться проигрывать». А он мне на это: «Я не хочу этому учиться, лучше я буду учиться достойно умирать».

Утром (в ноябре семь утра — это еще ночь) я приехала в Москву. Я не была здесь почти двадцать месяцев. Много? Мало? Встретили меня Боря Альтшулер [1] и Эмиль. Дома ждала Маша с горячими капустными пирогами. И милиция. Три человека у двери в квартиру на седьмом этаже и целая машина внизу у подъезда. Ну, ладно — они меня ждали, и это понятно, хотя зачем на одну меня так много? Но оказалось, что они были здесь, на этаже, все 20 месяцев — и днем и ночью,— у них тут даже раскладушка стояла, чтобы по очереди отдыхать.

[1] Борис Львович Альтшулер — физик, в 1982—1987 гг. работал дворником. В 1969 г. А. Д. Сахаров был оппонентом на защите его диссертации.

А что было в квартире! В первую осень ветром там распахнуло окно. Квартира так и стояла открытая всем ветрам (и пыли, и грязи, и дождю, и снегу) все это время. Друзей пустили туда убраться (хоть поверхностную грязь смахнуть) за два дня до моего приезда. Сколько они вытащили оттуда сгнившего и погибшего, не описать. Там ведь даже в холодильнике оставалась еда. Он сломался, и все это сгнило. Страшно представить. И, по описанию, очень похоже на войну, на то, что заставали выжившие — вернувшиеся из эвакуации или из армии. Мне этот рассказ напомнил, что я застала в нашей квартире и комнате в послеблокадном Ленинграде, когда вошла туда в августе 1946 года. Интересно — друзья хотели пригласить для уборки кого-нибудь из фирмы «Заря» (там есть такой вид обслуживания), но им не разрешили, и из друзей поработать в этой «клоаке» пустили только Машу, Галю и Лену. Они очень просили, чтобы пустили хоть одного мужчину: надо было что-то двигать и, главное, много выбрасывать — выносить во двор, на помойку, но... «мужчинам нельзя». И вот я в доме.

Мама получила эту квартиру в самом начале реабилитационных выдач квартир в конце 1954 года. Она вошла туда с зонтиком. Потом Циля[1] принесла на новоселье, хотя не было стола, скатерть, чудесно вышитую. Кто-то принес раскладушку. У мамы появился дом — его не было с 1937-го.

Прошло время, и мы потихоньку стали ее теснить в этом доме — брат, его жена и маленькая дочь. Потом они ушли в свое жилье. Приехала я со своей семьей. Потом мы много лет жили вчетвером: мама, я, Таня и Алешка. Дети оба кончили школу. Пошли учиться. Таня привела сюда моего зятя. Я привела академика Сахарова. Мы отпраздновали в этом доме три свадьбы — Танину, мою с Андреем, Алешину. Сюда из роддома принесли моего первого внука Мотеньку. Как много счастья видели эти стены. Наша работа, наша теснота, у всех нет места, наши друзья. Дом! Мамин дом! Улица Чкалова, 48-б, квартира 68. Таня с Ремой и маленькими детьми уехали отсюда 5 сентября 1977 года. До этого были исключение Тани из университета, приход палестинцев, угрозы Мотеньке, его странная болезнь, угрозы Ремке, следственное дело против Тани.

Почти сразу после их отъезда нашего отличника Алешку якобы за неуспеваемость выгнали из института. Хмурым утром 1 марта мы ехали на аэродром в Шереметьево. Лиза была черная, как ее волосы. У Алешки в руках были три гвоздики. Я думала, это ей. Он попросил водителя остановить машину против памятника Пушкину. Смежив веки, я и сейчас вижу алость этих гвоздик на мокром граните пьедестала.

Утром 22 января 1980 года Андрюша, как всегда, долго смотрел в окно. У нас там далеко просторно, все небо видно и еще пол-Москвы. Потом он уехал на семинар. Потом позвонил, и вечером этого дня самолет, в котором были мы и человек восемь охраны, доставил нас в Горький. В самолете нестандартно хорошо кормили и сюсюкали по поводу нашего самочувствия какие-то люди, выдававшие себя за врачей. В мае 1980 года из этого дома снова ехали в Шереметьево — мама летела в гости к внукам в США. Когда я с ней стояла около паспортного контроля (до чего все предупредительны — ведь я вместо нее разбиралась с вещами на таможне и смогла довести ее до этой будки), обняв и прижав ее к себе, я слышала, как по-воробьиному колотится ее сердце. Алешка оставил нам Лизу, а хоть один человек — это еще не семья, но дом как-то держался. Мы голодали за Лизу в ноябре и декабре 1981-го. 19 декабря на аэродроме, улетая в США, она мне сказала: «Елена Георгиевна, я хочу домой, я боюсь». И вот я вхожу в дом и даже пять дней живу. Странно, это не дом — это стены. В них друзья устроили мне проводы. Было много людей, но что я их увижу, что они придут и что в этот вечер стены снова станут домом — на это я не рассчитывала.

Я сижу на веранде. Со всех сторон небо, а я в центре чаши (тарелка). Края ее полого поднимаются. Они курчаво-зеленые. Это заросли низких раскидистых сосен. Совсем какие-то другие сосны. Воздух как наш карельский, а вот сосны вверх не идут, живут широко. Может, это соседство океана так их воспитало. А что воспитало меня, если, глядя на это плывущее надо мной в облаках небо, я ловлю себя на том, что во мне все время свербят строчки: «Облака плывут, облака, в милый край плывут в Колыму и не нужен им...» — подумайте, забыла и именно от этого не могу стряхнуть с себя эти строчки... Только вот дальше помню: «им амнистия ни к чему» (А. Галич). Почему в таком месте, за тридевять земель (и географически, и по-другому) от тех мест, о которых эта песня, свербит без конца «им амнистия ни к чему». Я жду, чтобы вернулась из лесу Таня с ребятишками и сказала мне, наконец: «И не нужен им... им амнистия ни к чему». Ну, вот вернулись из лесу ребята. Таня сразу на мой вопрос: «И не нужен им адвокат, им амнистия ни к чему».

[1] Цецилия Ефимовна Дмитриева (1899—1988) — близкий друг семьи Боннэр.

Сегодня утром (22 апреля 1986 года) я разговаривала по телефону с Андреем. Это только так говорится: разговаривала, а на самом деле или кричала, или ничего не слышала, нас только разъединяли. Получается, деньги мы платим за разъединения. Но все же в дополнение к рассказу о нашей машине Андрей сказал, что попытался подсадить в какой-то своей поездке по городу проголосовавших по дороге цыганок. И ему было сделано официальное предупреждение, что у него будут отобраны права за использование частного автотранспорта в целях обогащения. Наконец-то официально, а не тем эзоповым языком, о котором я писала,— не тараканами, сыплющимися на стол, и не проколами сразу двух, а то и четырех шин. И еще Андрей меня спрашивал, что ему делать с посадкой цветов на балконе, а я пыталась прокричать ему (видимо, эта тема разговора тоже под запретом), что пусть ждет июня и моего приезда, я в этом году буду сажать рассаду, а не сеять семена, а для рассады июнь не поздно. Но не знаю, понял ли он меня, услышал ли? Они, видимо, почему-то не хотят, чтобы Андрей знал, когда я приезжаю. Какую еще липу они планируют?

Но возвращаюсь в декабрь 1985 года. Я так боялась дороги — этого долгого пути от Горького до Ньютона и до врачей. Физически боялась. Ни на секунду не расставаясь с нитроглицерином, под светом юпитеров и под взглядами друзей и недругов, я прошла таможню. Я очень жалела, что забрала с собой мало книг — все пропустили. Прошла паспортный контроль и оказалась здесь, во всяком случае по эту сторону границы. Меня стали узнавать в зале, где накапливались те, кто полетит тем же рейсом. Были там и знакомые журналисты, и, странно, здесь меня никто не боялся — к этому надо было заново привыкать, и я привыкла очень быстро. Ничего не помню про то, как я летела, и как-то вообще не очень понимала — куда, пока самолет не приземлился. Мотор стих, подъехала маленькая машина аэродромной службы — я на все это смотрела чуть отстраненно, через иллюминатор, у которого притулилась с момента взлета. Но, может, в самолете окно зовут по-другому? Я все еще была внутренне в Горьком, по крайности — в Москве. И тут я увидела, что из машинки этой вылезает Алешка, а за ним Ремка. Похоже, это и был тот момент, когда я поняла, что моя поездка действительно свершилась.

...Я накачивала примус под автоклавом — кто теперь знает, что так стерилизовали перевязочный материал? В узкий просвет двери я видела низкое октябрьское небо. Я услышала, как они летят. Это было странно, что в такую плохую погоду. Их было два. Они летели низко и скрылись из поля зрения. А я увидела ее, она падала, и я видела, что ее чуть снесло ко мне, она была большая. Я уже ничего не слышала — ни ее, ни самолетов, но ощутила влагу на своем лице: шел мокрый снег, его бросило в меня. Больше ничего не было. Долго? Я не знаю.

...Потом прямо надо мной появились звезды и небо. Оно было морозным, цвета синего мороза, и я не знала, жива или уже нет. Потом я почувствовала свои руки, особенно левую, в ней была боль. А вот ног не чувствовала и подумала: «Как же я буду танцевать?» — и услышала голос: «Пожалуйста, не умирай». Кто это говорил? Я? Разве это был мой голос? Дальше я все знаю по рассказам. Меня услышали, нашли, раскопали. Значит, меня уже когда-то не было. Почти сутки. На полустанке Валя, недалеко от станции Ефимовская. С утра 26-го до рассвета 27 октября 1941 года.

Возвращаться в жизнь было очень трудно. Мне кажется, что я слышала смутно голос Тани, потом Ремы и Лизы. Может, этого не было? Может, это их рассказы наслоились? Нет, все-таки было. Но ощущение, что я нахожусь в жизни, а не Там,— пришло позже: Алешкин голос, Алешкино «Мама». Потом опять был провал. Потом снова: «Мама, ты слышишь меня? Мама, пожми мне руку». Я слышала, и мне кажется, что я жала, только у меня не было ощущения его руки. Потом я снова услышала его голос и даже ощутила запах, как будто он только что покурил. Потом опять пустота и чужой женский голос — английский язык. Я понимаю, что операция прошла, что шесть шунтов (почему шесть — говорили про три, самое большее четыре). Я слышу свое дыхание — или это не мое? — машина гонит в меня воздух, дышит за меня. Другая стучит за мое сердце.

Я ощущаю тепло Алешкиной руки и разницу между его и моей температурой. А у меня страх — это он болен, он маленький и больной, и у него горячая ручка, но почему запах табака? — я тогда не курила. Путаница какая. Может, это все сон или небыль. И снова: «Мама, пожми мне руку». Я жму. Алеша говорит по-английски: «Она меня слышит».

— Слышу, слышу.— Я хочу сказать, хочу крикнуть и — не могу. Так я вернулась в жизнь. Опять ранним утром, опять на рассвете — 14 января 1986 года. Странный повтор. Как будто тот возврат в жизнь в 1941 году был только репетицией.

Потом меня отключили от машины, и я произнесла первые слова. Потом отключили

от монитора, потом отвозили в палату — это все уже была медицина, хорошая, но медицина, а до этого было нечто другое. Я знаю, что оно было запредельным, это «Существование» или «Несуществование», это между «Здесь» и «Там». Я ушла из него, и пошла послеоперационная рутина, мучительные ночи, мучительные дни, когда после первого улучшения начался перикардит и плеврит, постоянные боли — Господи, ну все кости перерезаны, переломаны — ни лежать, ни сидеть, ни ходить, и нога болит, и рука левая — плечо так, что хоть криком кричи,— и то, и это, и пятое, и десятое. Мне кажется, такой больной, такой бессильной справиться со всем этим я не была никогда.

И не знаешь, надо ли было идти на все это — может, лучше бы остаться без такого крутого лечения. Я ведь до сих пор думаю: а имеем ли мы право так вторгаться в собственную жизнь? И вообще после всего перенесенного возникает мысль-вопрос: «А может, это и не я» (А. Ахматова). Наверно, я так и не разрешила бы свои сомнения — о праве на такую операцию, на такое лечение, несмотря на то, что уже смогла сесть за работу, смогла настучать на машинке эти страницы,— но меня пустили в операционный блок Масс — Дженерал.

Не видать бы мне этого как своих ушей, не будь я врач, не имей расположения главного анестезиолога, да того, что доктор Хаттер сам меня туда повел. Вход совсем не свободен — прямо как в крепость или в Пентагон,— в книгу записали, спросили, откуда я (написали: Россия), расписаться заставили. Пропустили. Еще пока только в раздевалку. Там переоделась и пошла. Ото всех моих сомнений многонедельных: «Имеет ли человек право на такую операцию?» — я стала волноваться еще раньше, с утра, а к этому времени меня стала пробирать легонькая дрожь. Я вспомнила, что несколько дней назад, когда я договаривалась об этом посещении, доктор Хаттер спросил: «А в обморок не упадете?». Я тогда даже оскорбилась: «Это я-то?» — до того, как стала врачом, столько лет медсестра, и вдруг такой вопрос. Но сейчас я сама задала себе тот же. И ответила на него тоже самв: «Ну, держись». Чего я ожидала?

Я ожидала чего-то вроде воплощенного в реальной картине своего сомнения, своего вопроса, а пришла в нормальную работу — люди трудились. Конечно, эта работа была, что называется, высшего класса — высший пилотаж, но работа, а не Вопрос, да еще с большой буквы. Мне было очень интересно, и не было никаких волнующих ощущений, кроме: здорово работают. Конечно, здорово! Стоит только поглядеть расписание: 60 операций в один день — четверг 6 мая 1986 года. Работа идет в сорока комнатах. У некоторых врачей две, а то и три операции в день. Доктор Эйкинс — три операции. Сейчас он стоял над раскрытой грудной клеткой: разрез посередине, края раздвинуты и закреплены, сердце, открытое всему — глазу, рукам, ветру. Но до чего же точное название операции — «открытое сердце»,— так точно, что ни прибавить, ни отнять. Оно билось ровно — то сердце, на которое я смотрела и на котором вершил свою чудесную и чудовищную работу хирург. От каждого толчка уровень крови в сердечной сумке то поднимался, то падал. Потом к большим сосудам присоединили прозрачные пластиковые трубки: они заполнились кровью, даже по виду стали тяжелей, и через полкомнаты машина стала гнать по этим трубам кровь. Большой круг кровообращения и малый круг вышли из оболочки тела, но функционировали, как им и положено, а сердце посветлело и остановилось.

Я вспомнила, как страшно становилось в операционной, когда пропадал пульс у оперируемого или не выслушивалось сердцебиение плода. Здесь — ничего подобного. Сердце отключали, чтобы было удобней, легче на нем оперировать. И продолжалась работа, тонкая, как у кружевницы: доктор шил шунты, один, два. Тихо все, спокойно, привычно — им привычно. Один раз спросил, какая температура; «23,9 °»,— ответил один из тех, кто смотрел за приборами и время от времени что-то вводил в вытянутую, белую, как мрамор, руку. Два шунта — 30 минут. Потом вновь большие сосуды замкнули в те круги, которые им положены. Сердце вздрогнуло, раз, другой, порозовело, и вместе с розовостью стала возвращаться в него жизнь. Пока еще только в сердце — не к пациенту. Еще пройдут часы, еще от температуры 24 ° надо подняться хотя бы к 32—33 °, чтобы начать возвращаться в наш мир. А у доктора сегодня еще две операции.

В другой операционной маленькое тельце под голубыми простынями — ребенок, два года. Тоже раскрытая грудка, и тоже «открытое сердце». Все, как у взрослого, но меньше, и на сердце нет еще ни жириночки. Но, чтобы жить, надо пройти через это — тоже раскрытая грудка и тоже открытое сердце. Мало того: и само сердце раскрыто. Доктор, пока кровь идет по пластиковому малому и большому кругу, а остановленное сердце ждет, просто вырезает из белого дакрона овальную заплатку размером немного больше ногтя нв большом пальце, примеривает ее к тому месту, которое надо закрыть — у малыша незаращение межжелудочной перегородки,— и пришивает — аккуратно, медленно, спокойно. Тоже спросил про температуру — 21,9 °. Сосредоточенно продолжает свою работу — творит чудо. А в комнате для родственников мама этого мальчонки мучается, ждет, надеется, сомневается. Сомнение необходимо, оно делает нас ответственней. Но как это хорошо, что у доктора, который шьет сейчас заплатку, такие золотые руки — и сомнение, и ответственность.

После «открытого сердца» любая операция — уже не событие. Так что вторичную ангиографию и ангиопластику на правой ноге я уже воспринимала без лишних эмоций. Правда, я снова в кипятке варилась, и боли в ноге были сильные и стойкие — а я почему-то ожидала, что в этот раз обойдусь без болей. Если честно, я от них устала и все еще не отошла от большой своей операции: грудь еще болит, глубоко вздохнуть все трудно. А не дай Бог к чему-нибудь грудью прикоснуться или кто-то из друзей обнимет — боль пронзает насквозь, хоть кричи. И за машинкой сижу, а грудь болит.

И вот я свободна от ожидания следующих оперативных вмешательств в меня. Это, оказывается, приятно — знать, что тебе не грозит или не предстоит (так мягче) нож. Мне полагается отдых, и надо спокойно посмотреть на своих детей. Но черт меня понес, я села за машинку. Добро бы я могла вместо халатов, нового костюма, кучи кофточек, маек и подарков моим и детским друзьям сложить эти листы в чемодан и отвезти их Андрею. Ему это был подарок. Он сидел бы, читал. А я бы яблочный или малиновый пирог пекла. Но — пирог, надеюсь, будет, а вот листки эти ему не прочесть. Жаль мне очень, прямо нестерпимо. А ведь я из-за них ему писала реже, а в последние дни попала в цейтнот и совсем не пишу, тороплюсь закончить, завершить во времени уже не Горький, а свои американские каникулы.

Прием, обед, ланч и серьезный разговор об Андрее и его судьбе, вопросы разные, иногда такие, что ясно: ничего ты про него не знаешь. И даже зачем сюда пришел, не знаешь, все идут — и ты пришел. Совсем как у нас дома бывает! на улице очередь — значит, дают что-то. Увидел — стал. «Дают» — у нас синоним «продают»; и совсем не всегда дешево, вот теперь бывает: шапки меховые модные по цене 350 рублей за штуку, берут, между прочим, иногда и по две. Что дают, не знаю. И передние не знают. Ничего, потом разберемся.

Но есть и такие, что знают про Андрея много, и даже близкие знакомые, а все-таки вопрос: «А кто сейчас за Андреем Дмитриевичем ухаживает, ведет хозяйство, пока вы здесь?».

Никто. Он один. О д и н! Сам убирает, моет пол в кухне, сам моет посуду.

«А он сам умеет?» Да, умеет, и это умение, и эти дела не раздражают его, он не думает, что они отнимают его время у «вечных» и «бессмертных» дел, он уважает эти дела и готов их делать, не только когда он один, но даже и тогда, когда я с ним, иногда прямо рвет у меня из рук.

Его отношение к этим делам на самом деле очень важно понять. Оно очень похоже на его отношение к людям — нет маленьких людей и маленьких судеб, нет маленьких дел.

Когда говорят: «Андрей Дмитриевич, вы такой большой человек, вы нужны миру и т. д., зачем вам рисковать здоровьем, голодая за Лизу, Люсю, Буковского, Огурцова, Мороза?» — он раздражается, замыкается, не может говорить, потому что те, кто задает подобный вопрос, не понимают самую глубинную сущность стимулов его поступков.

А ему, бывало, говорили: «Зачем вы пишете про какого-то еврея, который захотел уехать?». Эти вопросы его глубоко оскорбляли, но и озадачивали: как люди, знающие его, могут так не понимать? Его отношение к житейским делам, к повседневной жизни такое же простое и такое же уважительное, как к людям. Но ему трудно одному, ему не хватает времени на все эти дела. У нас они все несравнимо более трудоемки, чем здесь, и иногда не хватает на них физических сил.

Вопрос: «А когда вы были без него, то у вас было так же?» Да, так же. «Как же вы всё это делали, если у вас такое сердце, что было необходимо сделать шесть шунтов?» Делала. А чего не могла, того не делала. Я не смогла вымыть окна осенью перед тем, как закрыть на зиму. Летом мыла, а вот осенью стало хуже с сердцем, и не смогла. Они так и остались грязными, потому что пригласить кого-то я не могу: деньги у меня есть, но общение с людьми мне запрещено абсолютно.

Был такой случай — сломался телевизор. Я нашла номер телефона ателье в телефонной книжке и пошла звонить. Я недолго искала работающий автомат — только первые два не работали, третий был в порядке. Но не успела я набрать номер, как сопровождающий охранник (или гебешник — не знаю, как их называть, чтобы не было клеветы) рванул дверь и нажал на рычаг. Было долгое объяснение с ним, он внушал мне довольно по-хамски, что я прекрасно знаю, что мне нельзя пользоваться телефоном, потом согласился доложить начальству, что мне нужен телевизионный мастер. Прошло два дня, и вдруг милиционер, который дежурит у нашей двери, вполне вежливо сказал: «Завтра к вам придет мастер». Так прекрасно кончилась эта теленстория.

Вопрос: «А почему надо ходить к телефону-автомату, разве нельзя позвонить из дома?». Из дома нельзя, дома нет телефона, все шесть лет в Горьком академик Сахаров живет без телефона. Бывали случаи, когда нужен был не мастер для телевизора, а неотложная медицинская помощь для меня, и Андрей Дмитриевич бегал по морозу, искал работающий автомат — зимой они имеют свойство работать еще реже и хуже, чем

летом. А сейчас он один, и если ему понадобится скорая медицинская помощь, я не знаю, что будет.

В фильмах, демонстрируемых на Западе, Андрей Дмитриевич много говорит по телефону, и это нарочитая демонстрация, будто телефон есть. Сейчас, когда я здесь, нам разрешают такую роскошь, как поговорить, и для этого его вызывают на переговорный пункт, но не на главный, где обычно идут международные разговоры, а в почтовое отделение № 107. Его специально оборудовали, чтобы вести съемку скрытой камерой, демонстрируя всему миру, как просто, совсем не думая о законе, подслушивается и записывается разговор между мужем и женой. Не знаю, кто делал эти фильмы, но кадры с записанными и демонстрируемыми всему миру нашими семейными разговорами — на мой взгляд, явно антисоветские, и в любой демократической стране, где закон и право защищают людей, а не только государство, мы с мужем выиграли бы судебный процесс против неназванных авторов этих фильмов и государственных служащих, которые устраивают эти подслушивания. Вспомните Уотергейт. Президент тогда был вынужден уйти со своего поста за прослушивание телефонных разговоров. Другие кадры с телефонными разговорами Андрея Дмитриевича — это разрешенный КГБ разговор из кабинета главного врача, когда он заказывал мне билет выезжать из Горького, ехать на Запад, и разговор с сотрудником МВД по поводу моего заграничного паспорта тоже в эти дни.

«Слушаете ли вы радио?» О да! Для этого мы выезжаем на самый край города, на ипподром или кладбище, и там можно услышать некоторые западные радиостанции. Эти поездки нетрудно делать весной и летом, но зимой холодно, очень ветрено, день короткий, а мы зимой, когда город плохо чистят — это видно в одном из фильмов — и очень скользко, предпочитаем не ездить вечерами. Так что зимой мы почти ничего не слушаем.

«Почему вы не слушаете радио дома?» Потому что глушат. В нашем доме — во всяком случае, в нашей квартире (про весь 10-этажный дом я не знаю) — работает какая-то установка, не дающая слушать радио, создающая помехи на телевизоре, мешающая слушать даже музыку с пластинок. Эта установка работает круглые сутки — мы пробовали утром, днем, вечером, ночью. «Не вредно ли это для здоровья?» Андрей думал об этом. Он не знает. Ну, я, тем паче, ничего не знаю про это.

«Можете ли вы читать газеты и журналы?» Советские — сколько угодно. Западные, которые у нас накопились за четыре года до обыска 8 мая 1984 года — среди них «Ньюсуик», «Тайм», «Экспресс», «Пари-матч», «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт» и другие,— были все забраны на обыске, и их не вернули так же, как и вырезки из западных газет. Даже подборку вырезок из советских газет забрали и не вернули.

«А что вы еще читаете?» Андрей Дмитриевич вообще читает не очень много (я говорю о художественной литературе) — обычно то, что я ему подсовываю. Он больше занят научными журналами или препринтами. Я читаю много. В основном, это советские толстые журналы — в них бывает много интересного: и прозы, и публицистики. Читаю книги; раньше, пока была связь с Москвой, еще развлекалась английскими детективами — моего английского не хватает на серьезное чтение, но вполне как раз, чтобы понять моих любимых героев — толстого Ниро Вульфа и его обаятельного для женщин всех возрастов помощника Арчи, Агату Кристи, Ле Карре (трудно, но читала) и других. Иногда Андрей тоже читает английские детективы.

«Где вы берете советские книги и журналы — просто покупаете?» Некоторые газеты мы просто покупаем. Большинство толстых журналов и газет мы выписываем на год. Это у нас довольно сложно, так как многие газеты и журналы у нас «лимитные». Это означает, что подписка на них ограничена, а в свободной продаже их бывает очень мало. Для западного человека такая постановка вопроса может быть удивительна: хотят купить, а им не дают,— но у нас так. Объясняется ли лимит чем-либо, кроме нехватки бумаги, я не знаю, но часто лимит бывает как раз на самые читаемые издания. Точно так же не хватает книг, которые люди хотели бы купить. У нас с Андреем Дмитриевичем нет проблем с подпиской, и мы можем выписывать практически всё, что хотим, кроме журналов «Америка» и «Англия». Это потому, что я инвалид войны, а инвалидам войны предоставлена льгота выписывать, что они хотят, без лимитных ограничений. Я должна только предъявить свой документ и заплатить вперед за год. На 1986 год при выписке я заплатила что-то около 500 рублей — по советским масштабам, учитывая, что у нас эти издания относительно дешевы, это очень много. Как говорится, читай — не хочу. С книгами у нас тоже нет проблем. Пока Андрей Дмитриевич — академик, он может выписывать многие из издающихся в СССР книг из магазина «Академическая книга» в Москве. Раньше мы ездили туда каждый месяц, и это было прекрасное занятие — порыться в книгах. Прямо оба были как один Карл Маркс: «Ваше любимое занятие? — Рыться в книгах». Сейчас мы заказываем книги по издающемуся «Академкнигой» бюллетеню и получаем заказ по почте. Это скучней. Кроме того, лучшие книги почему-то не доходят. В среднем мы делаем заказы на 25—30 рублей ежемесячно.

Книги и журналы — главная материальная «роскошь» нашей жизни, так было в моей жизни и до встречи с Сахаровым. Так было и до Горького. Других приобретений, кроме того, чем живешь постоянно, мы практически за годы совместной жизни не делали; мебели, кроме кое-чего на кухню и тахты, на которой мы спали, мы в Москве не покупали. В Горьком я купила письменный стол, книжный шкаф, стол и несколько настольных ламп. За годы нашей семейной жизни мы не купили ни одного ковра или хрустальной вещи (и то, и другое — показатели, хотя бы внешние, уровня жизни в нашем обществе), да и насчет туалетов тоже как-то не очень мы роскошествовали. Вот как далеко меня увел вопрос о книгах и журналах. Но, думаю, читатель, которому многое или все интересно про Андрея Дмитриевича, меня простит...

6

Сколько я уже фильмов, проданных через «Бильд», посмотрела — пять, кажется; можно разбирать каждый по отдельности, можно скопом — все равно ложь, скомпонованная в полуправду, выдаваемая за правду. Это так трудно даже самой себе объяснить и разъяснить по эпизодам, а как сделать это для других, не представляю, но надо. Ведь никто, кроме меня, ничего разъяснить не может. Вот если б Андрей... Он умеет без эмоций и как-то очень точно, без моих лишних слов и моего засоренного языка. Вообще-то было бы легче, если б я могла, кроме общей линии — дезинформация с целью создать впечатление полного благополучия,— понять поводы выпуска каждого из фильмов, почему именно в то время и зачем.

Общее представление. Нас снимают всегда и уже давно — до Горького. А с момента поселения в Горьком нас снимают просто всегда, постоянно — мне теперь кажется, что нет ни одного нашего выхода за пределы квартиры, не отснятого ими про запас. Во всяком случае, я видела кадры всех этих лет. Все фильмы озвучивает один и тот же голос — он кажется мне знакомым. Кто это? Актер? Профессиональный чтец-декламатор из КГБ?

Все фильмы начинаются с показа «парадного» Горького — зима ли, лето, весна, осень: город туристский — то Ока, то Кремль, два-три собора (больше не осталось), фонтан, всегда показывают главную улицу — Свердлова,— но никогда наш конец проспекта Гагарина, где как раз у нашего дома осенью и весной лужа по здешним меркам квартала на три. Там летом — засохшая грязь, с поверхности которой ветер (в он у нас как в песне Новеллы Матвеевой: «Какой большой ветер напал на наш остров...») поднимает смерч пыли. Зимой там снежные завалы или ледяные надолбы. Кстати, не там ли в последнем фильме показано, как Андрей толкает машину? И снова: парк с могилой Неизвестного солдата, пляжи, набережные, гуляют люди, играют дети, Волга, Ока, идет пароход, летит на подводных крыльях прогулочная «ракета». Непредвзятому зрителю кажется, что все это имеет отношение и к нашей жизни. И нет нужды, что мы за шесть лет ни разу не подошли близко к пристани,— я один раз попыталась летом 1984 года в день рождения мамы, но мои охранники не допустили такого самовластия, попросили к пристани не подходить. Где уж тут пароходы и прогулки на воде! А вдруг уплывем?..

Первый фильм, доставленный через газету «Бильд», появился в августе 1984 года. Сначала — тот самый парадный город, о котором я говорила. Звучит голос диктора, он говорит о городе автостроителей, соборах и церквах, Кремле, настоящих памятниках русской старины, фонтане, которому сто лет; в городе свыше 1 млн. 300 тыс. жителей; «здесь с 1980 года по решению властей проживает академик Сахаров». В дикторском тексте нет и намека на законность: «решение властей», а по существу — «что моя левая нога захотела». Потом показывается дом, где Сахаров поселен, и квартира внутри — в наше отсутствие: таким образом, снимавшие фильм всему миру показали «неприкосновенность жилища в действии». Далее идут кадры лета 1981 года; весны 1980-го — сажание деревьев. Фраза: «Живут замкнуто, но охотно принимают гостей»,— что она означает? По логике надо бы: «живут замкнуто и не принимают гостей». Или она означает «замкнули»? Зимняя прогулка с Димой — осень 1980-го. Таня и Марина — 21 мая 1981-го. Фраза: «Академик из Горького не выезжает, таким образом до последнего времени пользовалась Боннэр»,— так построена, что можно подумать, будто право передвигаться по стране — это нечто исключительное,— а может, так оно и есть? И за этой фразой следует известная фотография 1975 года, когда я еду в Италию,— это не Горький, это Москва, Белорусский вокзал. А ведь фильм должен был, как сказано в заявке, доказать, что летом 1984 года Андрей Дмитриевич Сахаров жив, здоров и на свободе. При чем здесь снимок 1975 года? Что это 1975 год, можно убедиться, взяв прессу за август 1975-го. Если мне не изменяет память, я выехала из Москвы 16 августа и прибыла в Париж 18 августа — именно в эти дни появилась эта фотография во многих западных газетах. Дальше кадры действительно лета 1984 года. Я иду в прокуратуру на очередной допрос. С журналом «Огонек», призван-

ным дать зрителю представление о дате, манипулирует один из наших наружных охранников. Кадры, где я свободно гуляю по Горькому в обществе якобы приятельницы,— сняты 25, 26, 27 июля 1984-го. Это дни, когда я с адвокатом Резниковой читала свое дело и в перерывах мы ходили обедать. Я действительно немного показала ей город.

Дальше начинаются кадры с Сахаровым и текст: «Академик прибавил в весе на два с половиной килограмма, он следит за своим здоровьем, он пунктуален в этом отношении, предпочитает обедать в одиночестве»,— все враньё и про характер, и про причины. Может, и правда, Андрей прибавил тогда в весе на два с половиной килограмма — ведь это время после голодовки, он снял ее 27 мая 1984 года. Но он никогда не предпочитал обедать в одиночестве. Из открытки в Ньютон от 4 марта: «Я успокоюсь (или не успокоюсь) только когда увижу тебя напротив себя за кухонным столом (так же было и в больнице)». А в фильме вообще нет слова «больница» — все действующие лица специально без халатов. И дикторский текст: «Академик отдыхает»; «Что может быть приятней прогулки на свежем воздухе?»; «Что может быть приятней хорошей беседы?». «Беседует» во всех фильмах или главный врач Обухов, или некто (из КГБ?) за кадром. Обухов при «беседе» манипулирует журналами. Это он показывает таким способом время действия. Журнал «Огонек» в руках охранника — это для советских зрителей. Для западных — «Пари-матч» в руках человека выше рангом, чем простой охранник,— главного врача областной больницы. Но, может, я и не права. Может, охранник выше рангом — все ж таки из КГБ прямо, а Обухов только косвенно, так сказать, «от имени и по поручению».

Этот фильм был призван показать миру, что Сахаров жив. Он это сделал, тут нет неправды — Сахаров был жив летом 1984 года,— но монтаж и текст мне доказали другое: такой же фильм можно сделать и спокойно показывать миру, когда нас обоих или одного не будет в живых. Все у них готово для этого, и кадров набрано предостаточно. Мне остается только предупредить друзей: фильмы могут так же подделываться, как и письма, и телеграммы, и многое другое, что подделывали до сих пор.

Второй (по срокам демонстрации) фильм, проданный «Бильдом» 29 июня 1985 года. Это фильм, так сказать, врачебный. Его основная часть ведется от лица врача, и больше говорит врач, чем диктор. Он начинается дикторским текстом о том, что Янкелевич, которого на Западе выдают за официального представителя Сахарова, и Лига прав человека говорят, что Сахаров пропал. Далее опять парадный Горький, город «с населением свыше миллиона человек». Интересно, почему население в городе у одного и того же диктора так варьируется: в прошлом фильме было «свыше миллиона 300 тысяч», теперь только «свыше миллиона»? Далее текст, в котором уже не «по решению властей», а просто «с 1980 года в Горьком проживает академик Сахаров вместе с женой», то есть, оказывается, я не ссыльная, а «проживаю». Далее уже все говорит врач:

«Сахаров наблюдается в областной больнице с 1981 года, дисциплинированный пациент, регулярно приезжает на осмотры, аккуратно принимает лекарства... диагноз: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов головного мозга».

В этом же фильме, в его второй части, тот же врач говорит:

«Наблюдается с 1980 года... диагноз: атеросклероз сосудов головного мозга с циркуляторной энцефалопатией и явлениями паркинсонизма; атеросклероз аорты, постинфарктный кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца с нарушениями ритма...».

Обе даты начала наблюдения (1980 и 1981) в одном фильме — какая верная? Я от себя могу сказать, что впервые Андрей был госпитализирован в эту больницу насильственно 4 декабря 1981 года, один раз дал согласие на госпитализацию (апрель 1984), когда был нарыв на ноге; в 1984 году — 7 мая, а 1985-м — 21 апреля и 27 июля был госпитализирован насильственно. Всего провел в этой больнице при насильственных госпитализациях: в 1981 году с 4 декабря по 25 декабря — 21 день, в 1984 году с 7 мая по 8 сентября — 124 дня, в 1985 году с 21 апреля по 11 июля и с 27 июля по 23 октября — 169 дней. Таким образом, эта больница была местом изоляции Сахарова от всего мира и даже от жены в общей сложности 294 дня. Я не учитываю дней 1981 года — часть из них мы провели вместе. Единственная добровольная госпитализация (это я пишу для сравнения) продолжалась с 12 по 21 апреля 1984 года — всего 9 дней: тоже многовато для госпитализации по поводу вскрытия карбункула, ну, можно было бы это отнести за счет большого беспокойства об «академике» — диктор в фильмах все время говорит «академик любит», «академик отдыхает», «академик предпочитает»,— но, к сожалению, именно в эти дни неправильное лечение доктора Евдокимовой (кстати, она нам говорила, что она гематолог,— почему же она лечащий врач Сахарова?) привело к тяжелым расстройствам сердечного ритма. У Сахарова, видимо, всю жизнь были экстрасистолы, одна-две в минуту. Я лично наблюдала их с осени 1971 года. Они все годы с 1971-го стойко появлялись на всех ЭКГ (наверно, и раньше, просто я не знаю более ранних ЭКГ). Андрею Дмитриевичу никакого беспокойства они не причиняли, он их вообще не ощущал. Можно предположить, что они были у него всю жизнь и именно их наличие явилось причиной того, что в 1941 году медицинская комиссия не пропустила его в военную академию. Такие экстрасистолы не подлежат лечению, тем более препаратами дигиталиса и препаратами, нормализующими ритм при различных патологиях сердца. В апреле 1984 года доктор Евдокимова назначила Андрею дигиталис и изоптин, и тогда у него число экстрасистол резко увеличилось — в некоторые периоды до бигеминии и тригеминии. Был период, когда Андрея именно это из «практически здорового» (так писала о нем советская пресса) сделало практически больным.

Но, конечно, самым страшным результатом пребывания Сахарова в больнице были последствия спазма или микроинсульта, перенесенного им во время первого насильственного кормления в 1984 году. Как теперь ясно, разрешение на него дали Соколов и неизвестный врач, посетившие Сахарова в больнице вечером (приблизительно после 10 часов вечера) 10 мая 1984 года. Привел их в палату к Андрею и представил как врачей доктор Обухов. Они провели около постели Андрея несколько минут, не осматривали его, задали несколько незначительных вопросов и ушли. По Москве циркулировали слухи, что к Андрею ездил психиатр Рожнов,— может, это был он? Я этого не знаю и этот эпизод рассказываю со слов Андрея. На следующий день после их посещения было первое насильственное кормление. Что при этом произошло, Андрей рассказывает сам в письме Александрову: его повалили, привязали, он потерял сознание, было самопроизвольное мочеиспускание; когда пришел в себя, были изменения зрения, почерка, затруднение речи. Домой Андрей пришел почти через четыре месяца, и я лично могла наблюдать только некоторое снижение работоспособности, небольшой тремор рук и стойкие, оставшиеся по сей день, но уменьшившиеся непроизвольные движения нижней челюсти. Косвенное указание на все это есть в фильме. В разговоре с доктором Трошиным (невропатологом) на вопрос о треморе Андрей говорит, что тремор был сильный в июне и в июле, но больше всего в мае 1984 года, после 11 мая. И видно, как Трошин сразу же переводит разговор на другое.

Почти половину фильма Сахаров ест. Эти кадры призваны показать, что голодовки не было. Но даже то, как человек ест в кадре, показывает, что это выход из голодовки. Из письма Сахарова мы знаем, что он снял голодовку 27 мая 1984 года, и с этого времени его держали в больнице не потому, что у него были явные последствия тяжелого спазма сосудов головного мозга или даже инсульта, перенесенного во время первого принудительного кормления, а чтобы лишить возможности быть свидетелем на моем суде и присутствовать на нем в качестве ближайшего родственника. Кадры 1984 года выдаются за кадры 1985 года. Я знаю со слов Андрея, что в 1985 году он не принимал в больнице никаких лекарств, категорически от них отказывался, но у него было подозрение, что ему что-то подмешивают в ту еду, которую вводят насильственно. В фильме есть кадры, где Андрей принимает из рук сестры какие-то таблетки,— это тоже подтверждает, что кадры эти 1984 года. Врач Евдокимова говорит о консультации горьковских кардиологов Вагралика и Сальцевой. Но со слов Андрея я знаю, что он категорически отказался от их помощи и даже в апреле 1984 года не желал с ними иметь дело и никогда после их не видел. Ничего также Андрей не говорил о консультации кардиолога из московского кардиологического института. Он таких врачей не видел (а жаль — может, среди них оказался бы и Чазов?).

Уже из сегодняшнего дня: в фильме марта 1986 года доктор Обухова (жена Обухова) удовлетворена и довольна улучшением ЭКГ Сахарова — она полагает, что это результат ее лечения. Но из телефонного разговора от 3 апреля известно, что за все время, как Андрей вышел из больницы 23 октября, он не принял ни одной таблетки по ее назначению. И именно отсутствие лечения привело к тому, что его экстрасистолия вернулась к прежнему своему качеству (одна-две в минуту). Для меня это является прямым доказательством того, что все время пребывания Андрея в больнице какие-то медикаменты ему в пищу подмешивали (я в данном случае говорю не о психотропных, а о сердечных), иначе экстрасистолия нормализовалась бы гораздо раньше.

Вторая часть фильма — это почти полностью врачебный осмотр апреля или конца марта 1985 года, до того, как Андрей начнет голодовку 16 апреля. Тут, в общем, мне нечего пояснять. И поясняет, и показывает доктор Евдокимова. Она говорит, что вот-де на Западе говорят, будто Сахаров не получает нужного лечения и даже голодает,— нам (советским врачам, видимо.— *Е. Б.*) такое слышать обидно, и мы показываем фильм, который снят во время осмотра. Таким образом, эта врач все сама всему миру пояснила: и что советские врачи не знают, что снимать фильмы во время осмотра без согласия пациента врач не имеет права, и что они это делают. А пациент расстегивает штаны, стоит полуголый и подтягивает одной рукой брюки, которые сползают, так как ремень во время осмотра был расстегнут, а подтяжки спущены. Ему щупают железы под мышкой и спрашивают про сон и про стул. Он отвечает: он ведь полагает, что говорит с врачом. Он поправляет носки и ложится на кушетку, и врач становится специально боком, зрителю видно, что это сделано нарочно, чтобы лучше был виден пациент.

Не успела я отдышаться здесь в Ньютоне, как из Москвы вдогонку мне прибыл фильм, в котором говорилось вроде: «ну, вот захотела поехать?» и — «пожалуйста», «захотела увидеть детей?» — «это очень просто», «лечиться» — «а почему нет?».

И ведь вроде все правда: приехала, увидела, лечусь. Но чтобы это «вроде» стало правдой, надо добавить совсем немного: выехала я 2 декабря 1985-го, а заявление подала 25 сентября 1982-го, это было заявление о поездке на лечение — за три года можно и умереть, к болезни глаз прибавилось много другого, и прежде, чем дать ответ, меня сделали уголовной преступницей, моему мужу пришлось держать три голодовки — в общей сложности 201 день голодовки и мучений насильственного кормления, десять месяцев заключения в стенах приспособленной для этого больницы. Без этого добавления все, что сказано в фильме, даже близко не соседствовало с правдой. Так как фильм оказался жанром, полюбившимся тем, кто демонстрирует всему миру наше благополучие, я могу прибегнуть к фотодокументу. В фильме много раз показывают мой заграничный паспорт — дескать, вот, поехала, и все как у всех. Нет, не как у всех, и поэтому, даже разрешив мне поездку в США и Италию, мне хотели выдать паспорт без такого разрешения — только на Италию. Нужна была еще одна трепка нервов и настойчивость, и паспорт стал, как у всех.

В этом же фильме и разговор Андрея с главным врачом больницы — важный, серьезный. Реальные обстоятельства были таковы: мне лечили зубы, протезировали. Меня держали в зубном кабинете долго — более двух часов. Андрей, когда мы уже ехали домой, сказал мне удивленно, что все это время Обухов не был занят ничем, поил его чаем и вел умные разговоры. «О чем?» — спросила я. «О разоружении и новых предложениях Горбачева».— «Ишь ты, какой заинтересованный». И мы видим в фильме: милая беседа. Андрей пьет чай, он еще сильно исхудавший. Он говорит: «Мы говорим, они окружили нас базами». Не знаю, как это место перевели для телевидения, но в газете «Бильд» это место сделано так: Сахаров говорит: «Они окружили нас базами».

Следующий фильм был в конце марта 1986 г. Там опять очень важный разговор — опять о разоружении. Тот, кто задает вопрос, не показан (по голосу — это тот же Обухов), вопрос уже о мартовских предложениях Горбачева, а отвечающий Сахаров тот же — истощенный, после голодовки конца октября 1985 года. Пусть эксперты поставят два телевизора и посмотрят кадры рядом. Это не Сахаров марта 1986 года. И так как это старый разговор, а новый — только вопрос, то и нет в кадре того, кто его задает.

И вот я слышу от друзей наших, от друзей Андрея, слова о том, что Андрей, оказывается, говорит нечто для них неожиданное,— я спрашиваю: «Где он это говорит?». И в ответ: «Как где — да в последнем фильме». Но ведь это фильм, представленный Западу и, значит, всем нашим друзьям и недругам Виктором Луём. (Я не хочу кощунствовать с такой несимпатичной фамилией — да и плагиат будет,— но как ее «склонить», как положено мужской,— не знаю. То ли я грамматику забыла, то ли она не мужская?)

Неужели даже наши друзья способны хоть на минуту поверить этим фильмам? Даже они забыли, что уже несколько лет назад, после писаний Яковлева, Андрей просил доверять только тем его текстам и высказываниям, которые подтверждены мной, моими детьми, Ефремом Янкелевичем. Нет, это удивительно — такое доверие. Это страшно.

В этом же фильме Сахаров с цветами входит в какой-то подъезд. Впечатление: нормальная жизнь, и человек идет, наверно, в гости. А на самом деле он входит в дом, где живет один, цветы он купил себе, подъезд снят в необычном ракурсе, и непохоже, что это дом, где живет Сахаров, только потому, что снято с крыши близкого одноэтажного здания почты. Я все это сказала, сидя в Ньютоне у телевизора, и спустя некоторое время получила подтверждения. Открытка от Андрея от 15 февраля: «А я справлял твой день рождения. Еще загодя купил ларчик и традиционные духи „Елена“. Сегодня купил гвоздики, шесть красных и три розовые». Но это все могу понять я. А посторонний? Он скажет: «Что вы мне говорите, что Сахарова никуда не пускают? Да я сам видел, как он шел в гости — с цветами». В фильме кадры: Сахаров на улице свободно говорит с каким-то мужчиной. Я знаю, что это вовсе не приятель Сахарова, это главный инженер станции техобслуживания. В телефонном разговоре Андрей удивленно сказал, что его вдруг вызвали (через милиционера) на станцию,— они якобы что-то не так сделали при ремонте машины. Сам главный инженер вышел навстречу Андрею и жал ему руку. И повторный ремонт сделали бесплатно! Но, удивленный этим, мой муж не знает, что его снимают и будут демонстрировать всему миру,— он мне рассказывает об этом по телефону.

А зритель? Он думает, что мы говорим неправду о том, что нам запрещены всякие контакты, даже случайные — в магазине, на улице. Там же кадры: Сахаров гуляет с каким-то мужчиной — я знаю, что это физик из ФИАНа Д. А. Киржниц. И тут же открытка от 28 января, цитирую: «В понед. были Киржниц и Линде (физики зачастили)». И из телефонного разговора от 3 апреля (о другом визите): «...чисто формальный, утомительно». Из открытки 17.12: «Приехала женщина от Обухова, звала к зубному». В фильме кадры: выходит из машины вместе с какой-то женщиной около парадных дверей больницы, но это я знаю, а зритель — нет.

И так вся жизнь, как под микроскопом, как будто лежишь на предметном стекле. И вот в открытке от 18 марта: «Сегодня приехала медсестра от Обухова, просила вернуть газеты, которые он так любезно дал мне неделю назад, они нужны для моей истории болезни. Немного смешно». Андрей ничего не знает ни о каких съемках скрытой камерой, но удивляется, видимо, и тому, что дают какие-то газеты и просят вернуть,— и при чем здесь история болезни. И в телефонном разговоре 14 апреля удалось выяснить, что газеты эти были «Обсервер» и что Обухов пытался навязать Сахарову обсуждение напечатанного там письма президенту Академии Александрову, стараясь доказать, что в письме неправда. Вы только вдумайтесь в ситуацию: главный врач — начальник тех, кто мучил Сахарова, доказывает Сахарову, что это неправда.

Я жду — что будет в очередном фильме? В открытке от 11 февраля вдруг, видимо, после очередного вызова к Обухову: «Обухов неожиданно предлагал санаторий, „чтобы закрепить результаты лечения“ (какого? ха, ха)». Значит, можно ждать, что в очередном фильме появится такой разговор. Неважно, что Обухов прекрасно знает, что в его больнице Сахарова не лечили. Он будет говорить эти слова! В будущем фильме!

В последнем фильме: Андрей в телефонной будке, разговор со мной, я задаю вопрос, знает ли он об интервью Горбачева газете «Юманите», где Горбачев говорит о нем. Андрей мне отвечает. В фильме нет моего вопроса, есть только ответ Сахарова, и получается для зрителя, который не знает, что́ осталось за кадром, что Сахаров сам себя считает правильно высланным в Горький и изолированным от всего мира. Такие кадры можно перечислять без конца. Я не могу, у меня нет на это сил. Я только могу просить не верить будущим фильмам, могу заранее сказать: мне страшно думать, что, вернувшись в Горький, я вместе с Андреем буду подвергнута, как и он, постоянному наблюдению камерой, что это ужасно — жить под всегдашним всевидящим оком телескрина (по Оруэллу).

В целом эти фильмы для меня — все подделка: это то, что выходит в мир из здания, названного Оруэллом «Министерство Правды». Каждый из них призван показать и доказать зрителю что-то конкретное — то, что нужно властям в данный момент: то Сахаров здоров, то он болен, то он не голодает, то он отдыхает, то он свободен, как все, то нет, то он свободно лечится, то катается куда-то, то его жена свободно едет за границу, то она здорова и так далее.

Все эти фильмы вместе — это правда кадра, призванная доказать или подкрепить зрительным образом ту неправду, которая нужна в данный момент. В этом фильмы ничем не отличаются от заявления ТАСС, агентства печати «Новости» и просто специально распускаемых слухов. Пока я нахожусь в США, ТАСС и АПН успели сообщить миру, что я здорова и поехала совсем не лечиться, а так — мир посмотреть и себя показать, и с меня совсем никто не брал никаких обещаний молчать. Прекрасно — значит, никто мне не может ничего сказать на тему о том, почему я пишу эти заметки,— ведь тогда ТАСС и АПН (или это был фильм — забыла) окажутся клеветниками. Потом — после сообщения об операции и необходимости сделать шесть шунтов — уже не писали, что здорова. Но написали, что эти операции в Москве делаются запросто и я вполне могла бы дома сделать, притом бесплатно. Понятно — ведь писать про человека, перенесшего такую операцию, все-таки рискованно: могут подумать, что в больнице Масс-Дженерал под нож кладут здоровых людей,— будет некрасиво. Московский комментатор сказал (это из рассказа Андрюши мне по телефону), что я могу поехать снова лечиться, когда мне понадобится, и что на самом деле никто меня не держал — захотела и поехала.

А в это время в печати здесь, на Западе, появилось сообщение, что 18 мая мой муж будет обменен на множество каких-то шпионов, одновременно появились слухи, что я не собираюсь возвращаться. И уже наши друзья стали говорить: «Ну, почему бы и не обменять Сахарова, обменяли же Щаранского» (могу добавить, что раньше и Буковского, и Гинзбурга, и Мороза, и Винса, и Дымшица, и Кузнецова). Действительно — «почему бы и не Сахарова?». Стали говорить и такое: «Ну, не затем же она приехала, чтобы возвращаться?» (это уже обо мне, и шести шунтов как не было). «Не затем же Сахаров голодал, чтобы она возвращалась?» Это же говорилось и в 1977 году, и в 1979-м, теперь снова. Скучно. Но интересно: среди многого, чем меня воспитывал мой следователь Г. П. Колесников, было и такое: «Ну, как вас можно пустить на Запад лечиться, ведь вы там останетесь, а Андрей Дмитриевич будет переживать — это с его-то здоровьем». Что еще будут сообщать до моего отъезда обо мне, о моем муже? А на меня посыпались вопросы, как я отношусь к сообщению о том, что Сахаров будет обменен, и как я отношусь к тому, что говорят, что я не вернусь. Отвечаю: я никак к этому не отношусь — это ко мне отношения не имеет. Ко мне имеет отношение следующее. Я приехала, чтобы увидеть маму, детей, внуков, чтобы получить необходимое мне лечение. Сахаров голодал именно за это. Я возвращаюсь в СССР в конце мая. Сообще-

ние об обмене я считаю провокационным. Думаю, оно сделано в связи с тем, что 21 мая Андрею исполнится 65 лет. Сорвать или как-то скомкать приготовления к этому дню, которые ведутся многими людьми, организациями и правительствами во многих странах,— вот цель этого «сообщения». Поэтому дата в нем выбрана очень близкая — 18 мая: дескать, пусть подождут, а уж потом за два дня никто ничего сделать не успеет.

Я снова возвращаюсь к разговору о фильмах. Я буду говорить о нравственной и этической стороне их. Вернее, об их безнравственности и нарушении этических норм — профессиональной (медицинской) врачебной и общечеловеческой. И тут-то, в первую очередь, о фильмах «медицинских».

Мы все — я говорю о людях на Западе и на Востоке — так или иначе общаемся с медициной, может, по сути своей, самой гуманной и нравственной областью человеческой деятельности. Среди зрителей, видевших фильмы, было, наверно, много врачей, и каждый из нас когда-то бывает пациентом. И я хочу задать всем один вопрос. Кто согласится стать пациентом доктора Евдокимовой и доктора Обухова, если доктор Евдокимова говорит: «Мы снимаем этот фильм во время обследования». Что означает ее «мы»? «Мы — врачи»? «Мы — КГБ»? «Мы — я и журналист Виктор Луи»? Кто согласен, чтобы без его ведома его снимали со спадающими штанами в унизительной позе; подтягивающего брюки, открывающего рот; когда ему щупают железы под мышкой или заставляют подносить палец к носу и когда с ним обсуждают: как спите, каков стул и еще что-то? Унизительность этих кадров, этих съемок такова, что хочется вобрать голову в плечи, закрыть глаза ладонями и не видеть, не слышать. Кто дал в современном мире право все это проделать с пациентом?

В течение 20 минут врач показывает своего пациента (выходящего из голодовки) жующим. Он жует завтрак, и настойчивый голос бубнит про калории. Он жует обед, и тот же голос опять говорит о калориях; жует ужин — и тот же голос, и снова калории. Меняются даты календаря, опять — завтрак, обед, ужин; снова завтрак, обед, ужин. И ужас: что же это сделали с человеком? Он — жующая машина. Ужас — кто это сделал? Это сделали люди.

Не могу не вспомнить: мой внук, ему четыре года. Он в галерее Уффици, в тех залах, где распятия. «Мама, а кто Ему гвоздики в руки и ноги забил?» — «Люди».— «Люди? Это л ю д и?» А то делают люди-врачи. Удивительно — но эти люди (по-моему, нелюди) ничего сделать не смогли, кроме монтажа кадров, кроме фильма. Андрей остался собой — да, постаревший, да, измученный, но преодолевший все эти мучения, запугивания, что «умереть вам не дадим, но инвалидом сделаем», вновь начавший голодовку, и победивший, и назвавший своих врачей «Менгеле нашего времени». Как же те, кому на Западе показывали этот фильм, не увидели всего этого, не увидели поразительной безнравственности этого фильма? Как врачи могли обсуждать, какой диагноз у пациента или на какой возраст пациент выглядит (статья в «Бильде»), и не понять главного: то, что делают эти врачи, недопустимо с точки зрения ни общечеловеческой, ни медицинской этики.

...Я уверена, что американцы за мир. Тут я совсем как американский турист, который приехал в СССР на неделю,— но только в том плане, что люблю делать выводы почти так же быстро, как он. Однако оснований, думаю, у меня чуть-чуть больше. Я здесь уже не неделю. Здесь живут мои дети и мои внуки, и уже поэтому у меня заинтересованность более глубинная, что ли. Все для такого туриста у нас по цене его долларов чрезвычайно дешево, все неплохо или, во всяком случае, не так плохо, как говорят «правые»: прекрасный городской транспорт, метро прямо как музей Метрополитен (даже начинаешь думать, что название «метро» прямым ходом от музея и произошло или наоборот — музей от подземки). Кормят хорошо, люди одеты хорошо. И у кого ни спросишь, «хотят ли русские войны»,— все говорят «нет». Исходя из этого «нет», такой американец строит свою теорию, в которой какой-нибудь российский доктор Спок найдется, чтобы сказать российским парням: «Не ходите, ребятки, на войну». Может, даже доктор Чазов это скажет: он же — «врачи за мир», и парни не пойдут. И любая война обернется для Советов Вьетнамом. Так все просто, и почти каждый непредвзятый турист, которого хорошо обслужили в гостинице, показали Москву, Ленинград, может, даже Киев, а в крайнем случае, еще Бухару и Самарканд,— вернулся и говорит: «Русские не хотят войны. Все о'кей, а ракеты и прочее нам не нужны».

Тут я не знаю, что сказать: я не специалист — в отличие от школьников младших классов, которые ездят по миру с миссией мира и все могут объяснить и про ракеты, и про «все прочее». Я, как тот турист, некомпетентна, но утверждаю, что американцы не хотят войны. Американцы хотят д о м. В зависимости от места на общественной лестнице, от заработка, капитала, наследства, выигрыша в лотерее или на бирже (для меня при моей необразованности это почти одно и то же, хотя я знаю, что на бирже чаще выигрывают — и чаще проигрывают! — чем в лотерею),

именно дом; квартира — это паллиатив в любом городе. И только, может, в Нью-Йорке — квартиру. Но Нью-Йорк — это почти другая страна (почти и не США уже). Дорогой мэр Коч, вы прекрасный и добрый человек — и веселый, что для меня признак хороший,— вы не обидитесь, что я ваш город вроде как исключила из состава страны,— но он, и правда, другая страна, сам по себе, и люди нью-йоркцы — это почти как другая нация, другая сообщность людей.

...Только вчера сын мне сказал, что, по результатам какого-то опроса, 43 % американцев среди всех развлечений и упражнений на свежем воздухе на первое место ставят разведение цветов.

Американцы не хотят войны. Они хотят дом. Первая леди говорит (и это знает вся страна), что, когда президент уйдет на покой, они продадут дом, в котором жили до президентства — дети выросли, дом для двоих стал велик,— и купят дом поменьше. Прекрасный план! И прекрасно, что вся страна его знает. Президент не хочет войны — он хочет новый дом.

Я тоже хочу дом. Сегодня я уезжаю с острова, который как венец надо всей моей прошлой жизнью: никогда не была в таком климате, рядом с такими пальмами — кокосы реально падают,— чтобы ступни ощущали такой песок, чтобы в двадцати шагах от меня плескалось такое теплое и такое тихое море. Я бы сказала «рай», но ведь человеку «рай» — это не климат, и не песок, и не море, и даже не райские яблоки (или груши — этот исторический спор до сих пор так и не решен) — это все еще не рай. «Рай» — это быть с дорогими и любимыми, быть спокойной за них. Сюда бы мне Андрюшу. Чтобы здесь, где-то в тени, около тех сладко-дремотно пахнущих олеандров, в качалке сидела мама и чтобы раз в неделю, сняв трубку телефона, услышать спокойные голоса детей. Оказывается, «рай» — это так просто, и, оказывается, «рай» для меня совсем-совсем недостижимо.

...А знаете, у меня — мне 63 года — никогда не было дома, чтó дома — просто своего угла. Вначале, как у всех: детство, потом странное сиротство — папа и мама арестованы, и никто не знает, живы или нет, мы живем в одной комнате — бабушка, брат, сестра, я. За стеной (все слышно) жил человек по имени Федоров, там его жена и четверо детей, он всегда пьян и бьет их. Когда они успевают убежать от него, то проводят ночь у нас, сидя на сундуке. Этот сундук до сих пор стоит в маминой комнате на Чкалова, и кто бывал у нас (журналисты, ученые, конгрессмены и сенаторы) тоже сиживали на нем. Федорова никогда не врывался к нам в комнату — боялся моей бабушки; ее все боялись, кажется, кроме меня. Вообще-то я тоже боялась, но с ареста родителей я на всю жизнь запретила себе бояться чего бы то ни было. Потом армия. Пожалуй, было время, когда был немножко «мой дом» — мое купе в вагоне санпоезда, в котором я была старшей медсестрой. Война кончилась, и в моей комнате вместе со мной жили многие — мои подруги, вернувшиеся в Ленинград из эвакуации. Потом в коммунальной квартире, в одной комнате, жили мы — я, муж, двое детей, мама; часто у нас ночевали еще друзья. А всего в квартире жили 48 человек, уборная была одна, часто в нее стояла очередь. И дети должны были ходить со своим горшком — я боялась заразы,— а они из-за этого ссорились со мной: я явно нарушала их «прайвеси». Потом в Москве, в двух комнатах маминой квартиры, жила мама, я и дети, потом к нам пришел мой зять, потом пришел Сахаров. Пожалуй, впервые я хозяйка — где бы вы думали? — в ссылке в Горьком. Я не хочу этого. Я хочу дом.

...Пришла пора принять самое главное, самое трудное за пять месяцев здешней жизни решение. Маме и всем нам. Маме о себе, мне о ней и всем нам вместе — тоже о ней.

Она приехала в гости к внукам. Мы надеялись, что положение моего мужа хоть как-то улучшится и она сможет вернуться. Теперь я понимаю нереальность этого — во всяком случае, в ближайшем будущем. Взять ее с собой сейчас назад в СССР означало бы, что она должна будет жить совсем одна в Москве без нашей помощи или жить вместе с нами в нашем заключении, в нашей изоляции, в нашем бесправии. Она уже однажды прошла советский лагерь и потом ссылку. Я не могу снова сама отправить ее в ссылку. Но очень трудно уже шесть лет быть в гостях, не имея собственной квартиры, собственного пенсионного обеспечения и возможности медицинской помощи. Статус постоянного жителя США дал бы ей ощущение свободы и самостоятельности.

В ее положении есть некоторая трудность. С 1924 года она была членом КПСС. Это ее членство, конечно, прерывалось, пока она была в тюрьме, лагере и ссылке, но после реабилитации в 1954 году она была вновь восстановлена в рядах партии. Если бы она отказалась от этого, то она лишилась бы возможности получать свою персональную пенсию — 80 рублей. С мая 1980 года она находится в США, и ее членство в КПСС механически прервалось, фактически же она прекратила свою связь с партией с тех пор, как приняла в свой дом академика Сахарова.

Наверно, ей дадут статус постоянного жителя. Эта страна так широко распахивает двери своего дома, и я совсем не боюсь, что маме будет плохо. Но почему так щемит

сердце, и так трудно далось это решение, и все время как-то по-детски кажется, что, может, мы еще не решили? Решили? Решили.

Я не заметила, как моя рукопись стала толстеть и все тоньше становится стопка чистой бумаги. Но я сказала еще не все, что хотела. Мне еще это предстоит — сегодня или завтра, во всяком случае скоро,— надолго откладывать я не могу, ведь все, что я хочу сказать, я должна сказать до 2 июня. Это срок моей свободы говорить. Только ли говорить? Когда я приехала — нет, когда я прилетела,— мне казалось, что «у меня в запасе вечность».

Впереди были четыре месяца. Я сама с самого начала отпустила себе столько, и в этом моем решении ОВИР не имел никакого значения. Еще в Шереметьево я сказала друзьям: «Встречайте меня первого апреля». Это оказалось почти первоапрельской шуткой. И не потому, что я стала продлевать свое пребывание в США сразу не на месяц, а на целых три — уж больно грозна была операция. Но потому, что, я думаю, друзьям просто не придется меня встречать. Меня без них встретят другие, кому это поручат по службе. Если все же встретят друзья, то я буду обрадована, удивлена, поражена и готова просить прощения у тех, кого мое предположение обидело. Я же, со своей стороны, по возвращении хочу, чтобы передо мной извинился следователь Колесников. Он предполагал, что я не вернусь. Я вполне могу просить его «к барьеру». А всем друзьям и прочим людям прощаю их предположения, что я не вернусь.

...У меня, между прочим, уникальный для диссидента опыт со свободой выбора: я столько раз была за границей и ни разу не осталась. Каждый раз было так трудно возвращаться. Ведь на самом деле все наоборот: заграница — это там, и оттуда, бывает, не дозовешься, не докричишься и никто не услышит. Все разы, что я возвращалась (это началось с 1960 года), уже при пересечении границы и сразу за ней на душу падает такой тяжкий туман, такой мрак, что невозможно объяснить. Раньше всегда я возвращалась к полной большой семье: и муж, и мама, и дети,— возвращалась в свой дом, домой, а все равно было тяжко, тяжело неописуемо. Это неизъяснимое чувство, что нет свободы «идти, куда захочешь», сковывает, связывает тебя и душевно, и физически. Только неимоверными усилиями воли заставляешь себя снова учиться дышать без воздуха, плыть без воды, ходить без земли. Заставляешь себя жить, делать свое рутинное повседневное дело. Постепенно будни возвращают тебя к жизни, они лечат. Но это трудное лечение. И пережить, перенести это очень трудно. Мне с каждым разом становилось все трудней там, за границей, за той границей. Уменьшалась семья, здесь оказалась дочь с детьми, потом сын, его старшая дочка, мама. Росла семья тут — приехала Лиза, родилась младшенькая. Все более пусто становилось там.

Теперь там нет дома — одни стены от некогда всеми нами любимого. Осталось — чужой город, чужая квартира, наполненная чужой казенной мебелью, неисчислимая свора охранников, как собаки на одной сворке. Да камеры, направленные на нас постоянно. И за всем этим Андрей — один, без меня грустящий, со мной счастливый и спокойный. Ладно. Как-нибудь переживем еще одну депрессию, как-нибудь справимся!

...Теперь нужен только счастливый конец, а я его не могу придумать. До этого места все писалось легко, просто, как домашний разговор на кухне. Я смотрю, что и американцы потихоньку из своих «ливинг-рум» и гостиных перебираются на кухню. Или еще нет? Тогда зачем же им большие кухни? Книга писалась легко, без какого-либо сопротивления, так просто, что, наверно, не стоит называть эти листки книгой. Сейчас даже жалко ставить точку, и жаль очень, что нет времени прибрать, достроить както. Надо просить за это прощения у читателя. Да еще надо просить прощения, что эта книга никак не диссидентская. Я всегда всем говорила: «Я не диссидент, я просто я». Надеюсь, теперь убедились?

Но где же взять счастливый конец? ...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Мы снова в Горьком. Свободны приехать сюда и свободны уехать. За несколько дней до отъезда из Москвы друзья из США сказали по телефону, что книга, которую я писала в Америке, отрывая время от общения с мамой, детьми, внуками в перерывах между операциями, поездками по стране, встречами, собраниями, выступлениями, за которую мне стыдно, потому что я отчетливо ощущаю ее торопливость и неприбранность, книга эта осенью будет переиздана, и меня просят написать к ней нечто вроде предисловия (или послесловия), какое-то дополнение, связующее ее, как я понимаю, с сегодняшним днем.

Но как связать несвязываемое, несовместимое? У меня сегодняшней совсем другое мировидение — не оптимистичней, не пессимистичней, но другое. Я как будто смотрю на все совсем с другой точки: то ли поднялась выше, то ли спустилась — только все сместилось, и очертания всего (и видимого, и невидимого) совсем другие.

Нет, все же не все сместилось. Кое-что и осталось. Вот, например, погода. В Горьком она всегда была и есть не по мне. А сейчас она такая, будто это не конец апреля, а глубокая осень, начало зимы. Температура то минус 3, то плюс 3, но от этих «плюс» и «минус» она не становится лучше. Главный метеоролог телевидения (человек, известный в лицо не меньше, чем генеральный секретарь, ведь люди на всех континентах почему-то больше всего интересуются погодой) вчера сказал, что такой, с позволения сказать, весны не было уже целых сто лет, и в Армении сто лет не было таких морозов, а вокруг Читы — таких лесных пожаров. Ничего хорошего на ближайшее время он не обещал. И сегодня в «цветущей Грузии» снегопад и метели. На экране дают кадры цветущих садов, потом наплыв и крупный план: видно, что каждый цветок как бы облит стеклом — все замерзло, а на земле сплошной снежный покров. Весна!

Я вижу, как прохожие вытягивают из луж ноги и на обуви у них — пудовые комья грязи. Ветер клонит верхушки деревьев. С тусклого неба падает снег с дождем, белогрязными пятнами ложащийся на поверхность, которую и землей назвать язык не поворачивается. Семь лет назад, глядя на эту грязь, я написала в письме к Регине: «Из московского окна площадь Красная видна, а из этого окошка только улица немножко, только мусор и г...о, лучше не смотреть в окно. И гуляют топтуны — представители страны». Что изменилось? Нет топтунов. Куда делись эти без малого полсотни молодых здоровых красавцев, денно и нощно семь лет державшие фронт против нас — двух старых, больных, оторванных от всего мира? Семь лет! Я, привыкшая долгое время мерить на войну, только диву даюсь: ведь это же почти две Великих Отечественных! И вдруг — буквально вдруг — после звонка Горбачева их не стало, сдуло, как пыль ветром. Где они теперь? Каким созидательным трудом заняты? Куда их занес ветер перестройки? Или, может, они все еще держат оборону против нас, но уж теперь как «бойцы невидимого фронта»? Их не видно, а вот грязь — она осталась. За эти годы ее обложили со всех сторон бетонными глыбами, напоминающими надолбы, и в одном месте проложили асфальтовую дорожку. Но суть этого пространства осталась прежней. Возможно, здесь когда-нибудь возникнет сад. Как писал когда-то Войнович, «...и на Марсе будут яблони цвести».

...Почти три недели мы складываем вещи, чтобы отправить их в Москву. Просто поразительно, до чего человек умеет обрастать барахлом — как маленький снежок из мокрого первого снега: его сомнешь в ладошках, налепишь еще, а покатишь по земле — и вырастет огромное, круглое тело снежной бабы. Когда в январе 1980 года Андрей позвонил из прокуратуры и сказал, что его отправляют в Горький, но я могу поехать с ним, мне понадобился только один час и всего две дорожные сумки, чтобы быть готовой отправиться хоть на край света. А теперь! Андрей напаковал уже 14 ящиков (28 кг каждый — взвесили!) одних только бумаг — всё препринты. Невероятный труд — каждый препринт просмотреть и решить: взять (куда — домой или в ФИАН) или выбросить?

Я разбирала письма — их больше четырех тысяч,— вроде как своеобразный итог семи лет, небольшие стопки писем от друзей, мамы, тонюсенькая от детей. И ящики ругани, море злобы и лжи, в котором нет-нет, да и всплеснется чье-то доброе слово. Спасибо тому, кто его написал. А книги — набралось за эти годы под тысячу томов, и журналы. Где только потом мы их разместим? Да я умудрилась так поверить в постоянность нашей жизни до самого конца в Горьком, что купила два шкафа, письменный стол, книжные полки и еще много разных мелочей, создающих видимость прочного уклада и какой-то свой мир, уют. И невероятная какая-то жадность, что ли,— выбросить жалко,— и кажется, что все это не надо.

...Я дописывала последние строчки книги в Ньютоне, и мне очень хотелось около даты так это фатовски, вроде как с привычной легкостью поставить: «Ньютон, Нью-Йорк, Майами, Сан-Франциско, Вирджин Горда, Кейп Код». Красиво смотрится? И я вспоминала, как в детстве, кончая читать книгу и видя какое-нибудь такое замысловато-далекое географическое название, испытывала легкие уколы зависти, и казалось: «ветер заморских странствий» шевелит мне волосы. Теперь к этому перечню прибавляю еще «Горький». Я ведь и вправду писала во всех этих местах.

1 мая 1987 года
Горький

ПРИЛОЖЕНИЯ

〈...〉

№ 3

КОГДА ТЕРЯЮТ ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ

(«Известия», 3 июля 1983)

Открыв номер американского журнала «Форин афферс» и обнаружив в нем пространную статью академика Андрея Сахарова, мы взялись за ее чтение, ожидая, по правде говоря, всякого. Что Сахаров пытается очернить все, что нам дорого, что он клевещет на собственный народ, выставляя его перед внешним миром эдакой безликой массой, даже и не приблизившейся к высотам цивилизованной жизни, мы хорошо знали.

Сахаровское творение в «Форин афферс» нас тем не менее поразило. Как бы вступив в полемику с американским профессором из Стэнфордского университета С. Дреллом, который высказывается в пользу замораживания существующих ядерных арсеналов СССР и США, Сахаров призывает США, Запад ни при каких обстоятельствах не соглашаться с какими-либо ограничениями в гонке вооружений, ядерных в первую очередь. Он прямо-таки заклинает руководителей Вашингтона продолжать их милитаристский курс на конфронтацию с Советским Союзом, на военное превосходство, доказывая, что Соединенные Штаты, НАТО не должны ослабить гонку вооружений как минимум еще 10—15 лет.

Это может показаться неправдоподобным, но нижеследующее написано черным по белому. Сахаров умоляет тех, к кому он обращается, «не полагаться на благоразумие противника». Кто же этот «противник»? Советский Союз, страна, в которой он живет. Он предупреждает хозяев Америки: не верьте миролюбию социалистических государств. Открыто, не стесняясь, Сахаров одобряет планы США и НАТО по развертыванию американских «Першингов-2» и крылатых ракет в Западной Европе — этого оружия первого удара, которое намереваются нацелить на нашу страну и другие социалистические государства. Один из его аргументов — если у Вашингтона будут ракеты МХ, а это тоже всем известное оружие первого удара,— «Соединенным Штатам будет легче вести переговоры» с СССР.

Мы несколько раз возвращались к этим местам в статье Сахарова. И у нас появилось какое-то странное ощущение: да он ли это пишет? Ведь все это мы уже много раз слышали, читали. Именно так говорит министр обороны США Уайнбергер. Так говорит президент Рейган. Это язык американских генералов и политиков-ультра. Сахарову не хватает только назвать СССР «исчадием зла» и объявить «крестовый поход» коммунизму — и его хоть сажай в Пентагон, в Белый дом.

И еще одно нам показалось невероятным. Сахаров — ученый. Ему предметнее видно и лучше известно, какими могут стать последствия тех действий, к которым он призывает правительство страны, уже однажды испробовавшей на людях оружие массового уничтожения. Тогда США обрушили атомную смерть на японские города. Их правители хотели показать миру, и прежде всего нашей стране, какой силой они обладают. Сегодня Сахаров по существу призывает использовать чудовищную мощь ядерного оружия, чтобы вновь припугнуть советский народ, заставить нашу страну капитулировать перед американским ультиматумом. Да к какой стране и к какой «цивилизации» он себя относит и чего в конечном счете добивается? И неужели он не понимает, что наращивание вооружений, к которому он призывает, несет угрозу не только нашей стране, потерявшей в последней войне 20 миллионов человек, но всем без исключения народам, самой человеческой цивилизации?

И здесь мы начинаем думать о Сахарове уже не как об ученом. Что же он за человек, чтобы дойти до такой степени нравственного падения, ненависти к собственной стране и ее народу? В его действиях мы усматриваем также нарушение общечеловеческих норм гуманности и порядочности, обязательных, казалось бы, для каждого цивилизованного человека.

Мы знаем, что Сахаров ходит в больших друзьях у тех в Америке, кто хотел бы смести с лица земли нашу страну, социализм. Эти его друзья все время поднимают шум о «трагической судьбе Сахарова». Не хотим сейчас говорить об этом беспредельном лицемерии. Нет, наше государство, наш народ более чем терпимы по отношению к этому человеку, который спокойно проживает в городе Горьком, откуда и рассылает свои человеконенавистнические творения.

Вот что вспомнилось. Ровно тридцать лет назад, а такие же летние дни, в США произошло одно из самых неправедных, постыдных событий XX века. Власти Америки казнили тогда ученых Этель и Юлиуса Розенбергов. Казнили, основываясь на нелепых, гнусных обвинениях. «Улики» сфабриковали секретные службы США. А между прочим, в отличие от Сахарова, который призывает к ядерному шантажу против собственной страны, фактически к созданию условий для применения против нас первыми ядерного оружия, Розенберги были не просто невинными людьми, ставшими жертвой безжалостного механизма американского «правосудия». Они еще и выступали за уничтожение смертоносного оружия. И вообще были честными, гуманными людьми.

Говорить о честности, когда человек по существу призывает к войне против собственной страны, трудно. Несколько столетий назад Эразм Роттердамский сказал, что лишь немногие, чье подлое благополучие зависит от народного горя, делают войны.

Дело, конечно, не в Эразме Роттердамском. А в том, что и в его времена порядочным, думающим людям ненависть не застила глаза и они не теряли чести и совести.

Академики
А. А. Дородницын,
А. М. Прохоров,
Г. К. Скрябин,
А. Н. Тихонов.

№ 4

ПИСЬМО КОЛЛЕГАМ-УЧЕНЫМ

Дорогие друзья!

Два года назад ваша поддержка сыграла большую роль в решении важной для меня проблемы выезда к мужу моей невестки Лизы Алексеевой. Сейчас я вновь обращаюсь к вам за помощью в исключительно важном для меня и трагическом деле. Я прошу вас помочь добиться разрешения на поездку за рубеж моей жены для лечения (в первую очередь, для лечения болезни сердца, непосредственно угрожающей ее жизни, а также для лечения и оперирования глаз) и для того, чтобы увидеть детей и внуков после почти пяти лет разлуки, увидеть и, возможно, привезти в СССР мать.

Лечение моей жены в СССР представляется нам опасным. Поверьте мне, это не мнительность, не аграввация. На протяжении многих лет моя жена подвергается беспрецедентной клевете и самому жестокому давлению — непосредственно и через детей и внуков. Многократно имели место угрозы убить внуков. Шесть лет назад мы вынуждены были решиться на выезд за рубеж детей и внуков. Это — трагический разрыв семьи, тяжесть которого усугубляется почти полным отсутствием связи. После отъезда детей и — два года назад — Лизы Алексеевой единственным заложником моей общественной деятельности стала моя жена Елена Боннэр. На нее перекладывается ответственность за все мои выступления в защиту мира и прав человека. Но это только часть правды, как она мне, к сожалению, рисуется... КГБ очень высоко, по моему мнению, оценивает роль Елены в моей жизни и общественной деятельности и стремится к ее устранению — безусловно моральному и, я имею основания опасаться, физическому. Создалась беспрецедентная и невыносимо тяжелая ситуация. Очень важно, чтобы, думая и говоря о положении Сахарова, вы понимали эту ее узловую особенность.

Дискредитации моей жены служит кампания клеветы. Советская пропаганда именно ее выставляет подстрекательницей всех моих выступлений и сионистским агентом ЦРУ. Только в этом году это утверждение, сдобренное самой подлой и изощренной клеветой о моральном облике и мифических прошлых преступлениях жены, повторено в трех публикациях общим тиражом более 10 миллионов экземпляров, так что прочли сенсационную ложь многие миллионы людей — это книга Н. Н. Яковлева «ЦРУ против СССР», 200 тысяч экземпляров [1], его же статьи в популярных журналах «Смена», 1 миллион 170 тысяч экземпляров, и «Человек и закон», 8 миллионов 700 тысяч экземпляров. Выход статей Яковлева совпал по времени с публикацией в газете «Известия» письма от имени академиков А. А. Дородницына, А. М. Прохорова, Г. К. Скрябина, А. Н. Тихонова, в которой умышленно-провокационно искажена моя позиция по вопросам термоядерной войны, мира и разоружения; это тоже, вопреки здравому смыслу, оказалось грузом, «повешенным» на мою жену, используется для провоцирования всеобщей ненависти и травли. В тысячах писем, при встречах на улице, в поезде — соседи по купе и вагону — яростно обвиняют мою жену в том, что она сионистка, подстрекательница, предатель Родины, убийца.

Все это ей приходится выносить вскоре после инфаркта, происшедшего 25 апреля. Инфаркт был обширным, тяжелым, в дальнейшем имели место новые приступы, сопровождавшиеся расширением пораженной зоны. Состояние жены не нормализовалось до сих пор, является угрожающим. Последний самый тяжелый приступ произошел в октябре.

---

[1] По сообщению журнала «В мире книг», к концу 1983 года ее тираж предполагалось довести до миллиона экземпляров. Книга, по-видимому, продолжает переиздаваться: так, она значилась в издательских планах Белорусского университетского издательства на 1986 год. Издана по-английски (М., «Прогресс», 1982).

Наши попытки в мае—июне добиться совместной (ее и моей) госпитализации в больницу Академии наук СССР, что частично уменьшило бы вышеизложенные опасения, оказались безрезультатными — несмотря на то, что прибывшая в Горький комиссия консультантов-медиков подтвердила, что я тоже по состоянию здоровья нуждаюсь в госпитализации. Моя жена осталась фактически вообще без медицинской помощи. У дверей квартиры в Москве (так же, как в Горьком) дежурят милиционеры; врачи, опасаясь за свое положение, боятся ее посещать; квартирный телефон отключен с 1980 года, а телефон-автомат вблизи дома отключен сразу после инфаркта; несомненно, это не случайное совпадение; при внезапном приступе она даже не может вызвать «скорую помощь».

Я опасаюсь — и мне кажется, имею на то основания,— что при госпитализации, в особенности без меня, но и при мне тоже, она может быть тем или иным способом доведена до смерти (конечно, эта опасность существует и дома). Но даже если эти опасения преувеличены, все равно ни о каком эффективном лечении в условиях массовой травли и непрерывного вмешательства КГБ не может быть и речи. В 1974 году, когда моя жена лежала в Московской глазной больнице, ей тайно передали совет немедленно выписаться ради сохранения жизни и здоровья. С тех пор ситуация обострилась многократно! Сейчас единственным приемлемым для нас решением является поездка жены за рубеж, только это может ее спасти. В сентябре 1982 года Елена Боннэр подала заявление о поездке. В 1982 настоятельно необходимой стала поездка для лечения и оперирования глаз. Эта необходимость полностью сохраняется до сих пор. Но после инфаркта на первое место вышло и стало совершенно неотложным лечение болезни сердца. Ответа на заявление нет до сих пор, вопреки существующим правилам. 10 ноября 1983 года я послал письмо главе советского государства Ю. В. Андропову с просьбой о разрешении поездки моей жены.

Я обращаюсь ко всем моим коллегам за рубежом и в СССР, к общественным и государственным деятелям всех стран, к нашим друзьям во всем мире — спасите мою жену Елену Боннэр!

Андрей Сахаров

Ноябрь 1983 года
Горький

№ 5
УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ В СТОКГОЛЬМЕ

Несомненно, участники этой представительной конференции уделят значительное внимание проблеме прав человека, глубоко связанной с международной безопасностью, в особенности судьбе узников совести.

Я вынужден сегодня обратиться к участникам конференции с просьбой по личной причине, имеющей для меня решающее значение. В сентябре 82 года моя жена Елена Боннэр подала заявление на поездку за рубеж для лечения и встречи с матерью, детьми и внуками. Она тяжело больна. К болезни глаз добавилась болезнь сердца: инфаркт в апреле 83 года с последующим расширением пораженной зоны в мае, июне и октябре. Положение ее угрожающее. Лечение моей жены в СССР в условиях тотальной травли, клеветы и непрерывного вмешательства КГБ не может быть эффективным и представляется нам опасным, фактически она оказалась лишенной какой-либо медицинской помощи. Только поездка для лечения за рубеж может спасти ее, а тем самым и меня, так как ее гибель была бы и моей.

10 ноября я послал письмо главе Советского государства Ю. В. Андропову с просьбой способствовать разрешению этого вопроса. Ни на заявление жены, ни на мое письмо нет никакого ответа. Два года назад международная поддержка помогла нашей борьбе за выезд к сыну невестки, ставшей заложником моей общественной деятельности. Сейчас я прошу вас поддержать еще более трудную, еще более трагическую, жизненно важную в личном и общественном плане борьбу за поездку жены. Тех, кто принимает участие в моей судьбе, кто желает мне помочь, я убедительно прошу сосредоточить все усилия именно на этом. Я прошу главы иностранных делегаций, прошу всех участников конференции поддержать мое обращение к Андропову в официальном, в том числе дипломатическом, порядке и в кулуарах конференции.

С глубоким уважением

Андрей Сахаров
Лауреат Нобелевской премии Мира

12 января 1984 года
Горький

№ 6
ПИСЬМО АМЕРИКАНСКОМУ ПОСЛУ АРТУРУ ХАРТМАНУ

Госдепартаменту США. Послу США в СССР

Я прошу Вас о предоставлении моей жене Е. Г. Боннэр временного убежища в посольстве США во время моей голодовки с требованием о разрешении ей поездки за рубеж для лечения и встречи с матерью, детьми и внуками. Я при этом не прошу о предоставлении моей жене политического убежища и не возлагаю на Вас ответственность за получение ею разрешения, хотя буду благодарен, если Вы сочтете возможным предпринять шаги в поддержку наших требований.

Два года назад, во время нашей совместной с женой голодовки за выезд невестки к мужу, мы были насильно госпитализированы и разлучены, помещены в разные больницы и ничего не знали друг о друге до последнего дня голодовки. Сейчас же положение гораздо более трудное и опасное. Во время моей голодовки Е. Г. Боннэр, если она не будет находиться в недоступном для КГБ месте, может стать жертвой ненависти КГБ, так сильно проявившейся в последние годы. Я опасаюсь, что она подвергнется насильственной изоляции и бесследно исчезнет, возможно — погибнет. Именно поэтому я обращаюсь к Вам с просьбой о предоставлении ей временного убежища. Выбор именно посольства США не связан с какими-либо политическими расчетами; одна из причин — наличие в посольстве врача.

Я прошу Госдепартамент США и посла США в СССР, если Вы сочтете это возможным, сделать в первые дни нахождения моей жены в посольстве попытку разрешения вопроса о поездке через МИД СССР. Не имея других возможностей, я обращаюсь в Вашем лице также к МИД и послам в СССР других западных государств. Быть может, власти СССР заинтересованы в том, чтобы не предавать это дело излишней огласке, и пойдут навстречу вашим ходатайствам. Если же благоприятного ответа не будет или не будет никакого ответа в течение 5 дней с начала голодовки, я прошу предоставить моей жене возможность через иностранных корреспондентов в Москве обратиться за поддержкой к мировой общественности. Находясь в Горьком в строжайшей изоляции, я не могу сделать этого сам.

Я пишу это письмо в трагический момент нашей жизни. Я надеюсь на Ваше содействие.

С глубоким уважением

Андрей Сахаров

6 апреля 1984 года
г. Горький

⟨...⟩

№ 9
ПРЕЗИДЕНТУ АН СССР АКАД. А. П. АЛЕКСАНДРОВУ ЧЛЕНАМ ПРЕЗИДИУМА АН СССР

Глубокоуважаемый Анатолий Петрович!

Я обращаюсь к Вам в самый трагический момент своей жизни. Я прошу Вас поддержать просьбу о поездке моей жены Елены Георгиевны Боннэр за рубеж для встречи с матерью, детьми и внуками и для лечения болезни глаз и сердца. Ниже постараюсь объяснить, почему поездка жены стала для нас абсолютно необходимой. Беспрецедентный характер нашего положения, созданная вокруг меня и вокруг моей жены обстановка изоляции, лжи и клеветы вынуждают писать подробно; письмо получилось длинным, прошу извинить меня за это.

Мои общественные выступления — защита узников совести, статьи и книги по общим вопросам сохранения мира, открытости общества и прав человека (основные из них: «Размышления о прогрессе» — 1968 год, «О стране и мире» — 1975 год, «Опасность термоядерной войны» — 1983 год) вызывают большое раздражение властей. Я не собираюсь защищать или объяснять здесь свою позицию. Подчеркну только, что должен нести единоличную ответственность за все свои действия, продиктованные сложившимися на протяжении всей жизни убеждениями. Однако с того момента, как в 1971 году Елена Боннэр стала моей женой, КГБ осуществляет коварное и жестокое решение «проблемы Сахарова» — переложить ответственность за мои действия на нее, устранить ее морально и физически, сломить тем самым и подавить меня, представить в то же время невинной жертвой происков жены (агента ЦРУ, сионистки, корыстолюбивой авантюристки и т. д.). Если раньше можно было еще сомневаться в сказанном, то массированная кампания клеветы против жены в 1983 году (в 11 млн. экз.) и в 1984 году (две статьи в «Известиях») и особенно действия КГБ против нее и меня в 1984 году, о которых я рассказываю ниже, не оставляют в этом сомнения.

Моя жена Елена Георгиевна Боннэр родилась а 1923 году. Ее родители, активные участники революции и гражданской войны, репрессированы в 1937 году. Отец (первый секретарь ЦК партии большевиков Армении, член Исполкома Коминтерна) погиб, мать многие годы провела в лагере и ссылке, как ЧСИР (член семьи изменника родины). С первых дней Великой Отечественной войны и до аагуста 1945 года жена в армии — сначала санинструктор, после ранения и контузии — старшая медсестра санпоезда. Результат контузии — тяжелая болезнь глаз. Жена — инвалид Великой Отечественной войны II группы (по зрению). Всю дальнейшую жизнь она тяжело больна — но это напряженная трудовая жизнь — ученье, работа врача и педагога, семья, деятельная помощь тем, кто в этом нуждается,— близким и далеким людям, уважение и любовь окружающих. Когда наши жизненные пути слились, судьба ее круто меняется. В 1977—78 годах вынуждены эмигрировать в США дети жены Татьяна и Алексей (я считаю их и своими детьми) и наши внуки, после пяти лет притеснений, многократных угроз убийства ставшие фактически заложниками. Произошел трагический разрыв семьи, тяжесть которого усугубляется тем, что мы лишены нормальной почтовой, телеграфной и телефонной связи. С 1980 года а США находится мать жены — сейчас ей 84 года. Увидеть саоих близких — неотъемлемое право каждого человека, в том числе и моей жены!

Еще в 1974 году на основании многих фактов нам стало ясно, что никакое эффективное лечение жены в СССР невозможно, более того — опаено, так как оно неизбежно проходит в условиях непрерывного амешательства КГБ, а теперь также — всеобщей организованной травли. Подчеркну, что эти опасения относятся к лечению именно жены, а не меня. Но они убедительно подтверждаются тем, что делали, подчиняясь КГБ, медики со мной во время 4-месячного вынужденного пребывания в больнице в Горьком, об этом ниже.

В 1975 году, при поддержке мировой общественности, моей жене были разрешены поездки в Италию для лечения глаз (как я предполагаю — по указанию Л. И. Брежнева). Жена ездила в Италию в 1975, 1977 и 1979 годах, лечилась и дважды оперировалась по поводу некомпенсированной глаукомы в Сиене у проф. Фреззотти. Естественно, она должна продолжать лечиться и оперироааться у него же. В 1982 году возникла настоятельная необходимость новой поездки. В сентябре 1982 года жена подала заявление о поездке в Италию для лечения. Обычный срок рассмотрения подобных заявлений — несколько недель, не более пяти месяцев. Жена не получила отаета до сих пор, прошло уже два года.

В апреле 1983 года у моей жены Е. Г. Боннэр произошел обширный крупноочаговый инфаркт (подтвержден справкой лечебного отделения Академии по запросу следственных органов). Состояние ее не нормализовалось до сих пор, имели место многочисленные повторные приступы, сопровождавшиеся расширением пораженной зоны (некоторые из них подтверждены обследованиями врача Академии, в том числе в марте 1984 года). Последний очень тяжелый приступ имел место в августе 1984 года.

В ноябре 1983 года я подал заявление на имя тов. Ю. В. Андропова, а в феврале 1984 — аналогичное заявление нв имя тов. К. У. Черненко. В этих заявлениях я просил дать указание о разрешении поездки жены. Я писал: «Поездка... для встречи с матерью, детьми и внуками и... лечения стала для нас вопросом жизни и смерти. Поездка не имеет никаких других целей, кроме указанных выше. Я заверяю Вас в этом».

В сентябре 1983 года я пришел к выводу, что решение вопроса о поездке невозможно без голодовки (так же, как ранее решение о выезде к сыну невестки Лизы Алексеевой). Жена понимала, что бездействие для меня тяжелее всего. Однако она долго оттягивала начало голодовки. Фактически голодовку я начал в качестве прямой реакции на действия властей.

30 марта 1984 года меня вызвали а ОВИР Горьковской области. Представитель ОВИРа заявила: «По поручению ОВИР СССР сообщаю Вам, что Ваше заявление рассматривается. Однако ответ будет сообщен Вам после Первого мая».

2 мая жена улетела в Москву. Из окна аэропорта я увидел, что ее задержали у самолета и увезли в милицейской машине. Приехав а квартиру, я аыпил слабительное, начав тем самым голодовку с требованием поездки жены. Через час приехала жена, одновременно с ней начальник обл. КГБ, произнесший устрашающую речь, в которой назвал мою жену агентом ЦРУ. Жене в аэропорту был сделан личный обыск и предъявлено обвинение по статье 190—1 УК РСФСР, взята подписка о невыезде. Это и был обещанный мне ответ на заявление о поездке! В течение последующих месяцев жену регулярно (3-4 раза в неделю) вызывали на допросы. 9—10 августа состоялся суд, приговориаший ее к 5 годам ссылки, 7 сентября выездная сессия Верховного суда РСФСР (Верховный суд — спецгруппа — специально приехал в Горький) на кассационном заседании оставила приговор а силе. Местом отбывания ссылки назначен г. Горький, т. е. вместе со мной, что создает видимость гуманности. На самом же деле это замаскированное убийстао!

Несомненно, вся затея с обвинением и осуждением жены осуществлена КГБ главным образом для того, чтобы максимально затруднить единственно правильное решение о поездке жены. Дело жены, представленное а обвинительном заключении и приговоре, является типичным для судимых по этой статье примером судебного произвола и несправедливости, при этом в особенно обнаженной форме. Статья 190—1 УК РСФСР инкриминирует распространение заведомо ложных, клеветнических измышлений, порочащих советский общестаенный и государственный строй (по смыслу статьи — утаерждений, ложность которых ясна обаиняемому; однако в известной мне судебной практике, а том числе в деле жены, речь идет об утверждениях, истинность которых несомненна для обаиняемых, т. е. об их убеждениях). В большинстве из 8 пунктов обвинения жене фактически ставится в вину цитирование моих высказываний (даваемых в обаинительном заключении и приговоре в отрыве от контекста). Все эти высказыаания касаются второстепенных вопросов, гораздо менее существенных, чем основная идея обсуждения у меня или у жены. Например, по ходу изложения а книге «О стране и мире» я объяснял, что такое сертификаты, и заметил, что а СССР существуют два рода денег (или более). Это (аполне бесспорное) аысказыаание было упомянуто женой на одной из пресс-конференций в Италии в 1975 году и инкриминировано жене как клеветническое. На самом деле аse принадлежащие мне высказывания следовало бы инкриминировать ао всяком случае не жене, а мне. Жена, действуя в соответствии со саоими убеждениями, выступала моим представителем.

Одним из пунктов обвинения использует эмоциональное аысказывание жены ао время неожиданного для жены прихода к ней французского корреспондента 18 мая 1983 года — **через три дня после того, как у жены был диагностирован крупноочаговый инфаркт миокарда.** Как Вам изаестно, в 1983 году мы безуспешно добиаались совместной госпитализации в больницу АН. Корреспондент спросил: «Что будет с аами?» Жена воскликнула: «Не знаю, по-моему, нас убиаают». Ясно, что речь не шла об убийстве пистолетом или ножом. А оснований для слов об убийстве косвенном (жены, ао всяком случае) было более чем достаточно.

Другой (важный в системе обвинения) пункт — о якобы осуществленном женой в 1977 году изготовлении и распространении одного из документов Московской Хельсинкской группы — осноаан на явном лжесаидетельстве и полностью опровергнут адвокатом на основании рассмотрения хронологии событий. Свидетель заяаил на суде, что один из членов Хельсинкской группы сказал ему **о вывозе** женой а 1977 году документа группы. Но сам свидетель был арестован 16 августа этого года до отъезда жены в Италию 5 сентября и поэтому никак не мог после отъезда жены астречаться с кем-либо «с иоли». В ходе допроса свидетель ответил, что он «узнал» о вывозе документа в июле или начале августа, т. е. заведомо до отъезда жены. Кроме того, суд и обвинительное заключение не приаели доказательста того, что документ был состаален до отъезда жены (на документе не простаалена дата, что само по себе лишает его юридического значения), и вообще не привели каких-либо подтаерждений истинности голословного утверждении свидетеля, к тому же ссылающегося на слова другого человека, а том же, 1977-м, году уехавшего из СССР. Этот эпизод вопреки логике оставлен в приговоре и определении кассационного суда. Отказавшись же от этого пункта обаинения, кассационный суд был бы вынужден отменить весь приговор, в частности, потому, что отпадает единственное свидетельское показание во асем деле, и, в частности, отменить, за давностью и отсутствием непрерыаности, эпизоды обвинения, относящиеся к 1975 году. Но важней всего, что все пункты обвинения не имеют никакого юридического отношения к содержанию статьи 190—1 (предполагающей, как я сквзал, зааедомую клевету).

Ссылка жены фактически приаела для нее к гораздо более тяжелым ограничениям, чем это предусмотрено законом,— к прекращению всех аозможностей связи с матерью и детьми, к полной изоляции от друзей, к еще большему уменьшению возможностей эффективного лечения, к фактической конфискации нашего имущества в московской каартире, ставшего для нас недоступным, к потере московской квартиры (замечу: что эта квартира была предоставлена матери жены а 1956 году, после ее реабилитации и посмертной реабилитации мужа).

В приговоре жены совершенно отсутстауют те обвинения, которые выставляются протиа нее в прессе,— ее мнимые преступления в прошлом, ее «моральный облик», ее «связи» с иностранными спецслужбами — эти обвинения не упомиииались на суде вообще. Ясно, что это просто клевета для публики, для презираемого дирижерами от КГБ «быдла». Последняя статья этого рода — в «Известиях» от 21 мая. В ней настойчиво проводится мысль, что жена все время стремится к выезду из СССР — «хоть через труп мужа», уже в 1979 году хотела остаться в США, но ей «отсоветовали» (по контексту — спецслужбы США). Вся трагическая и героическая жизнь жены со мной, принесшая ей столько потерь и страданий, опровергает эту инсинуацию. Замечу, что и до замужества со мной жена много раз бывала за рубежом — в Ираке (год работы по оспопривиаанию), в Польше, во Франции — и никогда не помышляла стать невозвращенцем. На самом деле именно КГБ больше всего хотел бы, чтобы жена бросила

меня — это было бы наилучшей демонстрацией правоты их клеветы. Но вряд ли они надеются на это, они «психологи». Статью от 21 мая от меня тщательно скрывали — я думаю, чтобы не укрепить в мысли о необходимости добиться победы до встречи с женой, чтобы на нее не пала ответственность за мою голодовку.

Четыре месяца — с 7 мая по 8 сентября — жена и я были полностью изолированы друг от друга и от всего внешнего мира. Жена находилась совершенно одна в пустой квартире, под усиленной «охраной». Кроме обычного милиционера у входной двери, круглосуточно действовало несколько постов наружного наблюдения, к лоджии пригнали специальный вагончик, в котором постоянно дежурили сотрудники КГБ. Вне дома ее сопровождали две машины с сотрудниками КГБ, пресекавшими возможность даже самого «невинного» контакта с кем-либо на улице. Ее не подпускали к зданию областной больницы, где находился я. 7 мая, когда я провожал жену на очередной допрос, в здании прокуратуры меня схватили переодетые в медицинские халаты сотрудники КГБ и с применением физической силы доставили в Горьковскую областную клиническую больницу им. Семашко. Там меня насильно держали и мучили четыре месяца. Попытки бежать из больницы неизменно пресекались сотрудниками КГБ, круглосуточно дежурившими на всех возможных путях побега.

С 11 мая по 27 мая я подвергался мучительному и унизительному принудительному кормлению. **Лицемерно все это называлось спасением моей жизни, фактически же врачи действовали по приказу КГБ, создавая возможность не выполнить мое требование разрешить поездку жены!**

Способы принудительного кормления менялись — отыскивался самый трудный для меня способ, чтобы заставить меня отступить. 11—15 мая применялось внутривенное вливание питательной смеси. Меня валили на кровать и привязывали руки и ноги. В момент введения в вену иглы санитары прижимали мои плечи. 11 мая (в первый день) кто-то из работников больницы сел мне на ноги. 11 мая до введения питательной смеси мне ввели в вену какое-то вещество малым шприцем. Я потерял сознание (с непроизвольным мочеиспусканием). Когда я пришел в себя, санитары уже отошли от кровати к стене. Их фигуры показались мне страшно искаженными, изломанными (как на экране телевизора при сильных помехах). Как я узнал потом, эта зрительная иллюзия характерна для спазма мозговых сосудов или инсульта. У меня сохранились черновики записок к жене, написанных в больнице (почти все эти записки, кроме совершенно не информативных, не были переданы жене так же, как и ее записки мне и посланные ею книги). В моей записке от 20 мая (первой после начала принудительного кормления) так же, как еще в одном черновике того же времени, бросается в глаза дрожащее, изломанное написание букв, а также двукратное повторение букв во многих словах (в основном гласных — «руука» и т. п.). Это тоже очень характерный признак спазма мозговых сосудов или инсультв, носящий объективный и документальный характер. В более поздних записках повторения букв нет, но сохраняется симптом дрожания. Записка от 10 мая (до начала принудительного кормления, 9-й день голодовки) — совершенно нормальная. Я очень смутно помню свои ощущения периода принудительного кормления (в отличие от периода 9—10 мая). В записке от 20 мая написано: «Хожу еле-еле. Учусь». Как видно из всего вышесказанного, спазм (или инсульт?) 11 мая не был случайным — это прямой результат применения ко мне медиками (по приказу КГБ) мер!

16—24 мая применялся способ принудительного кормления через зонд, вводимый в ноздрю. Этот способ кормления был отменен 25 мая якобы из-за образования язвочек и пролежней по пути введения зонда; на самом же деле, как я думаю, из-за того, что способ был для меня слишком легким, переносимым (хотя и болезненным). В лагерях же этот способ применяют месяцами, даже годами.

25—27 мая применялся наиболее мучительный и унизительный, варварский способ. Меня опять валили на спину на кровать, без подушки, привязывали руки и ноги. На нос надевали тугой зажим, так что дышать я мог только через рот. Когда же я открывал рот, чтобы вдохнуть воздух, в рот вливалась ложка питательной смеси или бульона с протертым рисом. Иногда рот открывался принудительно, рычагом, вставленным между деснами. Чтобы я не мог выплюнуть питательную смесь, рот мне зажимали, пока я ее не проглочу. Все же мне часто удвавалось выплюнуть смесь, но это только затягивало пытку. Особая тяжесть этого способа кормления заключалась в том, что я все время находился в состоянии удушья, нехватки воздуха (что усугублялось плохим положением тела и головы). Я чувствовал, как бились на лбу жилки, казалось, что они вот-вот разорвутся. 27 мая я попросил снять зажим, обещвв глотать добровольно. К сожалению, это означало конец голодовки (чего я тогда не понимал). Я предполагал потом, через некоторое время (в июле или в августе), возобновить голодовку, но все время откладывал. Мне оказалось психологически трудным вновь обречь себя на длительную — бессрочную — пытку удушья. Гораздо легче продолжать борьбу, чем возобновлять.

Очень много сил отнимали у меня в последующие месяцы утомительные и совершенно бесплодные «дискуссии» с соседями по палате. Я был помещен в двухместной палате, меня не оставляли наедине, это явно тоже была часть комплексной тактики КГБ. Соседи менялись, но все они всячески пытались внушить мне, какой я наивный и доверчивый человек и какой профан в политике (в обрамлении лести, какой я ученый). Жестоко мучила почти полная бессонница — от перевозбуждения после разговоров и еще больше от ощущения трагичности нашего положения, от тревожных мыслей о тяжело больной жене (фактически — по меркам обычной жизни — полупостельной и зачастую просто постельной больной), оставшейся в одиночестве и изоляции, от горьких упреков самому себе за допущенные ошибки и слабость. В июне и июле мучили сильнейшие головные боли после устроенного медиками спазма (инсульта?).

Я не решался возобновить голодовку, в частности, опасаясь, что не сумею довести ее до победы и только отсрочу встречу с женой (что все равно нам предстояла четырехмесячная разлука, я не мог предположить).

В июне я обратил внимание на сильное дрожание рук. Невропатолог сказал мне, что это — болезнь Паркинсона. Врачи стали настойчиво внушать мне, что возобновление голодовки неминуемо приведет к быстрому катастрофическому развитию болезни Паркинсона (клиническую картину последних стадий этой болезни я знал из книги, которую мне дал «для ознакомления» главный врач; это тоже был способ психологического давления на меня). В беседе со мной главный врач О. А. Обухов сказал: «Умереть вам мы не дадим. Я опять назначу женскую бригаду для кормления с зажимом, у нас есть и кое-что еще. Но вы станете беспомощным инвалидом» (кто-то из врачей пояснил: не сможете даже сами надеть брюки); Обухов дал понять, что такой исход вполне устраивает КГБ, который даже ни в чем нельзя будет обвинить (болезнь Паркинсона привить нельзя).

То, что происходило со мной в Горьковской областной больнице летом 1984 года, разительно напоминает сюжет знаменитой антиутопии Орвелла, по удивительному совпадению названной им «1984 год». В книге и в жизни мучители добивались предательства любимой женщины. Ту роль, которую в книге Орвелла играла угроза клетки с крысами, в жизни заняла болезнь Паркинсона.

Я решился на возобновление голодовки, к сожалению, лишь 7 сентября, а 8 сентября меня срочно выписали из больницы. Передо мной встал трудный выбор — прекратить голодовку, чтобы увидеть жену после четырех месяцев разлуки и изоляции, или продолжать голодовку, насколько хватит сил,— при этом наша разлука и полное незнание того, что делается с другим, продолжатся на неопределенное время. Я не смог принять второе решение, но сейчас жестоко мучаюсь тем, что, может быть, упустил шанс спасения жены. Только встретившись с женой, я узнал, что суд уже состоялся и его подробности, она же — что я подвергался мучительному принудительному кормлению.

Особенно меня волнует состояние здоровья жены. Я думаю, что единственная возможность спасения жены — скорая поездка за рубеж. Ее гибель была бы и моей гибелью.

Сегодня моя надежда — на Вашу помощь, на Ваше обращение в самые высокие инстанции для получения разрешения на поездку жены.

Я прошу о помощи Президиум Академии наук СССР и лично Вас как Президента Академии и как человека, лично знавшего меня многие годы.

Так как жена осуждена на ссылку, то ее поездка, вероятно, возможна только в том случае, если Президиум Верховного Совета СССР своим указом приостановит на время поездки действие приговора (подобный прецедент имел место в Польше и в самое последнее время — в СССР) или Президиум Верховного Совета или другая инстанция вообще отменит приговор, с учетом того, что жена — инвалид Великой Отечественной войны II группы, перенесла крупноочаговый инфаркт миокарда, ранее не судима, имеет 32-летний стаж безупречной трудовой деятельности. Этих аргументов должно быть достаточно для Президиума Верховного Совета; для Вас же добавлю, что жена осуждена несправедливо и беззаконно, даже с чисто формальной точки зрения, фактически за то, что она — моя жена и ее не хотят пустить за рубеж.

Я повторяю свое заверение, что поездка не имеет никаких других целей, кроме лечения и встречи с матерью, детьми и внуками, в частности, не имеет целей изменения моего положения. Жена может со своей стороны дать соответствующие обязательства. Она может также дать обязательства не разглашать подробности моего пребывания в больнице (если это условие будет нам поставлено).

Я — единственный академик в истории АН СССР и России, чья жена осуждена как уголовная преступница, подвергается массированной подлой, провокационной публичной клевете, фактически лишена медицинской помощи, лишена связи с матерью, детьми и внуками. Я единственный академик, ответственность за действия которого перелагаются на жену. Это мое положение — ложное, оно абсолютно непереносимо для меня. Я надеюсь на Вашу помощь.

Если же Вы и Президиум АН СССР не сочтете возможным поддержать мою просьбу в этом самом важном для меня трагическом деле о поездке жены или если ваши ходатайства и другие усилия не приведут к решению проблемы до 1 марта 1985 года — я прошу рассматривать это письмо как заявление о выходе из Академии наук СССР.

Я отказываюсь от звания действительного члена АН СССР, которым я при других обстоятельствах мог бы гордиться. Я отказываюсь от всех прав и возможностей, связанных с этим званием, в том числе от зарплаты академика, что существенно, ведь у меня нет никаких сбережений.

Я не могу, если жене не будет разрешена поездка, продолжать оставаться членом Академии наук СССР, не могу и не должен принимать участие в большой всемирной лжи, частью которой является мое членство в Академии.

Повторяю, я надеюсь на вашу помощь.

С уважением
А. Сахаров

15 октября 1984 г.

P. S. Если это письмо будет перехвачено КГБ, я, тем не менее, выйду из Академии наук СССР. Ответственность за это ляжет на КГБ.

Замечу, что ранее (во время голодовки) я послал Вам 4 телеграммы и письмо.

P. P. S. Письмо написано от руки, т. к. пишущие машинки (так же, как многое другое — книги, дневники, рукописи, фотоаппарат, киноаппарат, магнитофон, радиоприемник) отобраны при обыске.

P. P. P. S. Прошу подтвердить получение Вами этого письма.

№ 10

Прокурору РСФСР
От Сахарова Андрея Дмитриевича,
академика;
Горький-137, просп. Гагарина, 214, кв. 3

ЖАЛОБА В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА

по делу Боннэр Елены Георгиевны, моей жены, осужденной по ст. 190—1 УК РСФСР с применением ст. 43 УК РСФСР на 5 лет ссылки приговором Горьковского областного суда от 10 августа 1984 года, оставленным без изменения Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 7 сент.

1 августа 1984 года я направил заявление на имя следователя и председателя суда по делу моей жены Боннэр Е. Г., копия заявления прилагается. Я настаиваю на утверждениях и просьбах, содержащихся в этом заявлении. От следователя, старшего помощника прокурора Горьковской области Г. П. Колесникова, я получил ответ, согласно которому мое заявление передано в Судебную коллегию по уголовным делам Горьковского областного суда. Однако мое заявление не приобщено к судебному делу Е. Г. Боннэр, содержащиеся в нем просьбы судом не рассматривались. Все это является серьезным процессуальным нарушением. Я не был вызван в суд по делу моей жены в качестве свидетеля, а также не был предупрежден о дате суда. Таким образом, никто из родственников (а также друзей и знакомых) жены не имел возможности присутствовать на суде, что представляет собой нарушения принципа гласности. Процессуальным нарушением является также проведение суда и (по моему мнению) следствия в г. Горьком, поскольку моя жена до предъявления ей обвинения и взятия подписки о невыезде из Горького проживала в г. Москве по адресу: ул. Чкалова, д. 48б, кв. 68, и поскольку ни один из инкриминируемых ей эпизодов не имел отношения к г. Горькому.

Обвинительное заключение, приговор и определение кассационного суда по делу моей жены не являются, по моему мнению, обоснованными, содержат фактические и концептуально неправильные утверждения и оценки, пристрастны и необъективны. По одному из центральных эпизодов обвинение, как я утверждаю, основано на лжесвидетельстве.

Я начну с обсуждения этого эпизода, для которого обвинительное заключение и суд первой и второй инстанций не доказали самого факта инкриминируемых действий и уклонились от обсуждения неопровержимых, по моему мнению, доводов защитника и подсудимого.

Моей жене инкриминировано участие в составлении и распространении документа Московской Хельсинкской группы, озаглавленного «Итоговый документ к Совещанию в Белграде». Как написано в обвинительном заключении, приговоре и определении кассационного суда, участие в составлении и распространении подтверждается показаниями Ф. Сереброва; участие в составлении подтверждается также наличием подписи моей жены в опубликованном в печати (в издательстве «Хроника-Пресс» в Нью-Йорке) тексте документа. Кроме этой публикации, никаких других доказательств участия моей жены в составлении и распространении не имеется. Суду не был представлен подлинник документа, под которым была бы собственноручная подпись жены. Не доказано, что документ был составлен до отъезда Е. Г. Боннэр в Италию (в опубликованном тексте не указана дата составления документа, что само по себе лишает его юридического значения). На суде Е. Г. Боннэр заявила, что она узнала о существовании документа, уже находясь в Италии, по телефону, и по телефону же дала согласие поставить свою подпись под документом. Приговор и определение не приводят контраргументов этому показанию моей жены и даже не упоминают о нем, используя из него только то, что Боннэр подтвердила свою подпись.

Особенно существенна полная несостоятельность ссылки на показания Ф. Сереброва, поскольку это единственный аргумент, якобы доказывающий участие Е. Г. Боннэр в распространении документа, и вообще единственные свидетельские показания, на которые ссылается приговор и определение кассационного суда во всем деле моей жены. Свидетель Ф. Серебров в суде утверждал, что П. Г. Григоренко (один из членов Московской Хельсинкской группы) сказал ему, что Е. Г. Боннэр вывезла в Италию «Итоговый документ к Совещанию в Белграде», в составлении которого она принимала участие. Но это явное лжесвидетельство, во всяком случае, в вопросе распространения. Моя жена Е. Г. Боннэр выехала для лечения в Италию 5 сентября 1977 года. Ф. Серебров был арестован 16 августа[1] 1977 года, за 20 дней до отъезда жены, что подтверждается имеющимися в деле документами. Ф. Серебров после своего ареста никогда не видел П. Г. Григоренко, выехавшего из СССР в ноябре того же года. Это хронологическое несоответствие подробно обсуждалось в судебном заседании суда 1-й инстанции. На прямой вопрос адвоката Резниковой свидетелю Сереброву, как объяснить указанное несоответствие, Серебров не мог ничего ответить и просто промолчал. В кассационном выступлении адвоката и в кассационной жалобе вновь подчеркнуто, что Григоренко никак не мог до 16 августа говорить о вывозе моей женой какого-либо документа 5 сентября. Но вся эта дискуссия (устная и письменная) полностью проигнорирована в приговоре и определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР. В определении даже не упомянуто, что адвокат Резникова оспаривала показания Ф. Сереброва в части, касающейся распространения «Итогового документа к Совещанию в Белграде». Я рассматриваю вышесказанное как проявление необъективности и предвзятости судов первой и второй инстанций и как основание для опротестования приговора.

Статья 190—1 УК РСФСР инкриминирует «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй». Законодатель не уточняет, должны ли эти утверждения («измышления») быть заведомо ложными для обвиняемого в момент акта распространения или же их ложность должна быть ясна только для членов суда. Поскольку взгляды и оценки членов суда могут существенно отличаться от взглядов обвиняемого в силу различной доступной им информации и по идеологическим причинам, этот вопрос очень важен для практического применения статьи 190—1. Если исходить из того, что статья 190—1 не предусматривает уголовного преследования за убеждения, то несомненно, что правильна первая трактовка и суд должен обязательно доказать, что обвиняемый (подсудимый) сознательно распространял ложь, т. е. не просто ложные утверждения, а такие, ложность которых была бы ему очевидна. Такая точка зрения, в частности, отражена в Комментарии к Уголовному кодексу РСФСР (издательство «Юридическая литература», 1971, ред. проф. Анашкин, проф. Карпец, проф. Никифоров, стр. 403—404, пп. 2 и 9 в). Но в определении суда 2-й инстанции по делу моей жены мы, напротив, читаем: «Ознакомление с **содержанием** (выделено мной.— *А. С.*) интервью, данных осужденной, и подписанной ею документов свидетельствует о том, что они содержат заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй». Т. е. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР (так же, как суд 1-й инстанции) вообще не считает необходимым доказывать, что моя жена распространяла ложь, таким образом, фактически эти суды стоят на позиции преследования за убеждения.

Я прошу прокурора РСФСР обратить особое внимание на это обстоятельство. Я считаю, что столь неправильная трактовка статьи 190—1 является безусловным основанием для отмены приговора.

В определении по делу моей жены утверждается, что «нарушение прав человека в отношении конкретных лиц, на которые указывала Боннэр, не имело места, указанные лица осуждены за совершенные преступления в установленном законом

[1] Правильнее, 22 августа.

порядке». Но, по убеждению моей жены (и по моему убеждению), на основании известных нам сведений о процессах многих лиц, они были осуждены незаконно, а именно — за их убеждения, и являются узниками совести (не прибегавшими к насилию и не призывавшими к нему). Для моей жены, как и для меня, сам факт приговора не может являться доказательством правильности осуждения, необходимо конкретное рассмотрение, в частности, с учетом того, что суды систематически применяют вышеуказанную неправильную трактовку понятия заведомой ложности при обвинении по ст. 190—1 УК РСФСР и систематически нарушают принцип гласности в отношении обвиняемых по политическим статьям.

Как я указывал в своем заявлении от 1 августа 1984 года, большая часть инкриминируемых жене высказываний на самом деле является изложением моего мнения или буквальным цитированием (на пресс-конференции в Италии в 1975 году и на Нобелевской церемонии в Нобелевской пресс-конференции в Норвегии в том же году, а также на пресс-конференции в январе 1980 года, после моей незаконной депортации в Горький). Жена в соответствии со своими убеждениями выступала в этих случаях моим полномочным представителем. Она всегда отмечала, что это именно моя точка зрения.

Совершенно очевидно, что судить за эти высказывания, не предъявляя обвинения мне и даже не вызывая меня в качестве свидетеля, совершенно неправомерно. Я готов отвечать за эти высказывания, соответствующие моим убеждениям. Жена же должна быть освобождена от ответственности за них!

Для обвинительного заключения, приговора суда 1-й инстанции и определения суда 2-й инстанции характерно неточное и пристрастное, вырванное из контекста цитирование или изложение высказываний жены. Типичный пример. Жене инкриминируется утверждение, что «в советских газетах печатается сплошная ложь». Но при этом в качестве единственного доказательства предъявляется цитата из статьи в газете «Русская мысль», представляющей собой вольное изложение одного из интервью жены в двойном переводе. При этом все содержание пространной статьи о моем пребывании в Горьком в обвинительном заключении и судом не обсуждается. На самом деле, жена никогда не употребляет таких обобщенных выражений, как «сплошная ложь». Я обращаю внимание прокурора на неправомерность использования в качестве доказательства вины неавторизованного текста.

Особенно возмутительно с нравственной точки зрения использование в обвинительном заключении и приговоре эмоционального ответа жены во время неожиданной для нее встречи с французским корреспондентом через три дня после того, как у нее был инфаркт. В обвинительном заключении, определении суда второй инстанции и (по-видимому) в приговоре утверждается, что якобы жена говорила, что «советское правительство создало условия, чтобы убить академика и ее». Однако, ознакомившись с текстом телеинтервью, можно убедиться, что таких слов там нет. В действительности — на вопрос, «что же с вами будет?», жена ответила: «Не знаю, по-моему, нас просто убивают». Речь не шла об убийстве из пистолета. Косвенно же нас, особенно жену, действительно убивают — мы убеждены в этом,— убивают травлей и клеветой в печати (только за один 1983 год тиражом 11 млн. экземпляров), фактическим лишением эффективной медицинской помощи, обысками, изнурительными допросами и судом тяжелобольного человека, лишением нормальной связи с матерью, детьми и внуками. А меня убивают тем, что медленно убивают ее!

Важным основанием опротестования приговора является неправильное применение судом статьи 43 УК РСФСР. В приговоре не упомянуто, что моя жена является инвалидом Великой Отечественной войны II группы и что она перенесла крупноочаговый инфаркт миокарда (о чем имеются справки в деле), не упомянуто, что она больна хроническим увеитом и некомпенсированной глаукомой, перенесла три глазные операции и кардинальную операцию по поводу тиреотоксикоза, а также не упомянуто, что жена имеет стаж 32 года безупречной трудовой деятельности. Указаны только возраст жены и то, что она ранее не была судима. Согласно кодексу (статья 43 УК РСФСР), перечисление в приговоре способствующих смягчению приговора обстоятельств является обязательным. Применяя статью 43, суд был обязан назначить наказание ниже наиболее мягкого наказания, предусмотренного статьей 190—1 УК РСФСР, т. е. назначить наказание ниже, чем штраф. Ссылка таким наказанием не является.

Резюмируя. Основанием для отмены приговора суда 1-й инстанции и определения суда 2-й инстанции является отсутствие состава преступления в действиях моей жены Е. Г. Боннэр, в частности, отсутствие заведомой ложности в инкриминируемых высказываниях Е. Г. Боннэр, соответствующих ее убеждениям. Важными основаниями для отмены приговора являются также использование в обвинительном заключении, приговоре и определении явно лжесвидетельских показаний Ф. Сереброва — единственного упомянутого в приговоре свидетеля по делу, допущенное фактическое нарушение принципа гласности и неправильное применение судом статьи 43 УК РСФСР.

Исходя из вышеизложенного, прошу прокурора РСФСР истребовать настоящее

дело в порядке надзора для отмены приговора Горьковского областного суда и определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР.

А. Сахаров

29 ноября 1984 г.
г. Горький

Приложения

1. Копия определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР.

Копия приговора Горьковского областного суда не может быть приложена, т. к. выданная моей жене копия утрачена. Председатель суда по делу, зам. председателя Горьковского облсуда Воробьев В. Н. отказал в выдаче копии взамен утраченной, сославшись на то, что к жалобе в порядке надзора нет необходимости прилагать копию приговора.

2. Копия заявления А. Д. Сахарова на имя помощника прокурора Горьковской области Г. П. Колесникова и председателя суда по делу Е. Г. Боннэр (фамилия председателя суда — Воробьев).

Жалоба отослана ценным письмом 11.12.84, уведомление о вручении датировано 17.12.84.

Копия приговора, выданная моей жене, была похищена из квартиры в августе 1984 года.

6.2.85 я получил ответ из Прокуратуры РСФСР от 31.1.85 за № 13—108—84, подпис⟨анный⟩ прокурором отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности В. М. Яковлевым. В ответе нет обсуждения ни одного из моих аргументов. Жалоба оставлена без удовлетворения.

А. Д. Сахаров послал копию надзорной жалобы президенту АН СССР А. П. Александрову, сопроводив ее следующим письмом.

Глубокоуважаемый Анатолий Петрович!

Я посылаю Вам копию своей надзорной жалобы по делу жены, в которой более подробно, чем это было сделано в моем письме Вам (переданном в ноябре 1984 г.), показана беззаконность ее осуждения, и копию ответа прокуратуры РСФСР. Также посылаю копию прошения о помиловании, которое подает моя жена. Быть может, эти документы (особенно прошение о помиловании) будут Вам полезны, если Вы сочли возможным поддержать меня в деле о поездке жены. У меня есть серьезные сомнения, дойдет ли прошение жены до Президиума Верховного Совета СССР. Если Вы сочтете это целесообразным, я прошу Вас способствовать передаче прошения Председателю Президиума Верховного Совета СССР.

Я прошу Вас сообщить мне о Вашем решении по моей просьбе и о ходе дела то, что представляется Вам необходимым. Я прошу Вас прислать ко мне в Горький Вашего представителя для выяснения на месте всех неясных вопросов. Быть может, также целесообразна присылка врачей Академии (кардиолога и окулиста) для обследования состояния здоровья моей жены, ухудшившегося после последнего обследования ее в марте 1984 г. (тогда ее смотрел проф. Сыркин). Но основные данные о ее здоровье уже имеются в Медотделе Академии (крупноочаговый инфаркт миокарда, частые тяжелые и длительные приступы стенокардии, увеит — последствия контузии — и вторичная глаукома с прогрессирующим сужением поля зрения, облитерирующий эндоартериит, хронический дискогенный радикулит, три глазные и кардинальная тиреотоксикозная операции, необходимость использования глазных лекарств, губительных для сердца, и сердечных, вредных для глаз). Летом 1984 г. по запросу следственных органов Медотдел выслал справку о состоянии здоровья жены, приобщенную к ее делу.

Я надеюсь, что сообщенное мною в предыдущем письме решение выйти из Академии 1 марта 1985 года, если до этого не будет получено разрешение о поездке жены для лечения и встречи с близкими, помогает в Ваших ходатайствах. Это мое решение о выходе из АН остается в силе. Однако я предполагаю, что в связи с болезнью К. У. Черненко у Вас могли возникнуть задержки с выполнением моей просьбы. Поэтому, а также с учетом трудностей связи, я откладываю на 1,5 месяца свой выход из АН при отсутствии разрешения поездки, т. е. заменяю дату 1 марта на *15 апреля*[1].

---

[1] О намерении Сахарова выйти из Академии сообщило 24 марта агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на анонимные источники в Москве. Согласно этим источникам, Сахаров угрожал выйти из Академии к 10 мая, если Академия не поможет улучшить условия горьковской ссылки Сахаровых.

Я готов также к другим шагам, кроме упомянутых в письме, если они помогут в вопросе о поездке жены, в том числе и к такой острой мере, как возобновление голодовки. Я пойду на этот шаг в условиях крайней необходимости, ясно сознавая всю меру его опасности для меня и — в особенности — для моей жены.

Убивая мою жену — провокационной клеветой в печати, лишая ее возможности увидеть мать, детей и внуков, фактически лишив тяжелобольного человека эффективной медицинской помощи, подвергнув изнурительным допросам, суду и беззаконному осуждению, подвергнув режиму ссылки с обязательными явками на регистрацию под угрозой насильственного привода в любую погоду при любых приступах — власти убивают и меня.

Как я Вам писал, я хочу и надеюсь прекратить свои общественные выступления. Я готов к пожизненной ссылке. Но гибель моей жены (неизбежная, если ей не разрешать поездку) будет и моей гибелью.

С уважением

А. Сахаров

12 февраля 1985 года
г. Горький

№ 11

СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА [1]

на Боннэр Елену Георгиевну
1922 года рождения,
лейтенанта мед. службы,
члена ВЛКСМ с 1939 г.

т. Боннэр Е. Г. находилась на службе в ВСП № 122 с декабря 1941 г. по октябрь 1942 г. в качестве младшей мед. сестры и с октября 1942 г. по 18 июня 1945 в качестве старшей мед. сестры. Квалифицированная мед. сестра, выросшая на практической работе, себя проявила как толковый, энергичный работник, заслуженно пользуясь большим авторитетом, как среди раненых, так и руководимого ею персонала. Кроме выполнения прямых обязанностей как старшая медицинская сестра по обслуживанию 6 вагонов для легкораненых, она привлекалась к погрузочно-разгрузочным операциям. Хорошо наладила плацкартную систему.

Принимала активное участие в организации политико-воспитательной работы с личным составом поезда в качестве агитатора и групповода полит. занятий.

С февраля 1942 г. до 1945 г. работала секретарем комсомольской организации на ВСП. За образцовое выполнение своих служебных обязанностей имеет ряд благодарностей и занесена на Доску Почета ВСП 122.

Нач. ВСП 122 майор м/сл.

(подпись)

№ 12

ТАСС И «ИЗВЕСТИЯ» О САХАРОВЫХ

В мае — июне 1984 года ТАСС уделил беспрецедентное внимание Сахарову и Боннэр, выпустив о них четыре заявления в течение одного месяца.

Ниже следуют отрывки из первого заявления ТАСС, опубликованного 4 мая в газете «Известия».

Подоплека провокации

...Особое место в этих грязных махинациях наши противники отводят известному антисоветчику Сахарову, антигражданское поведение которого давно заклеймено советскими людьми.

Следует сказать и о жене Сахарова Боннэр Е. Г., которая не только постоянно подталкивает своего мужа на враждебные Советскому государству и обществу поступки, но и сама совершает такие действия, о чем неоднократно сообщалось в печати. Она же выступает и в роли посредника между реакционными кругами на Западе и Сахаровым. В течение ряда лет, причем отнюдь не бескорыстно, Боннэр промышляет тем, что снабжает западные антисоветские центры беспардонной клеветой и злобными пасквилями, чернящими нашу страну, наш строй и советских людей. (...)

Как стало недавно известно компетентным советским органам, по тщательно разработанному сценарию и при участии американских дипломатов была подготовлена

[1] Печатается с сохранением орфографии оригинала.

далеко идущая операция, в соответствии с которой имелось в виду, что Сахаров объявит очередную «голодовку», а тем временем Боннэр получит «убежище» в посольстве США в Москве. По этому плану пребывание Боннэр в посольстве должно быть использовано для встреч с иностранными корреспондентами и передачи за границу клеветнических измышлений о Советском Союзе и всякого рода фальшивых материалов о положении ее мужа Сахарова.

Эти скоординированные действия должны были послужить сигналом для развертывания на Западе, прежде всего в США, антисоветской кампании.

Одновременно намечалось попытаться под надуманным предлогом — состояние здоровья — организовать выезд Боннэр за границу, где она должна была стать одним из лидеров антисоветского отребья, находящегося на содержании западных спецслужб.

В результате своевременно принятых советскими правоохранительными органами мер эта операция была сорвана. Американской стороне было сделано официальное представление с изложениями фактов прямой причастности сотрудников посольства США в Москве к этой провокации и требованием прекратить такие недопустимые действия.

Организаторы этой провокации затем оказались застигнутыми врасплох. Тем не менее, они пытаются изворачиваться, уйти от ответственности, лицемерно разглагольствуя о том, что ими движут якобы какие-то гуманные соображения и ничто другое...

(18 мая американское посольство в Москве и государственный департамент США подтвердили, что получили письмо Сахарова с просьбой предоставить Боннэр временное убежище в посольстве. Они отрицали, что обсуждали эту просьбу с Боннэр, оставившей письмо в посольской машине. В последующих заявлениях ТАСС, тем не менее, утверждало, что сотрудники посольства «вынуждены были признать, что дирижировали всей этой антисоветской кампанией», а также признались в том, что эта кампания провалилась.)

...Те, кто проливает крокодиловы слезы по поводу «тяжелой участи» Сахарова, предпочитают умалчивать, что они пытаются поднять на щит человека, который втаптывает в грязь свой народ, открыто призывает к войне, к применению ядерного оружия против собственной страны, проповедует человеконенавистнические идеи. Предпочитают умалчивать они и о том, что Советское государство проявляет великодушие и терпение по отношению к этому человеку, дает ему возможность сойти с опасного пути, восстановить себя в глазах своих сограждан...

В заявлении не упоминалось ни о голодовке Сахарова, обвинениях, выдвинутых против Боннэр. Скорее, из заявления можно было понять, что Сахаров отказался от планов голодовки. Однако после того, как Боннэр не вернулась в Москву, как ожидалось, 2 мая, заявление в «Известиях» заставляло предположить, что она задержана в Горьком. 6 мая математик Ирина Кристи, друг Сахаровых, поехала в Горький. Проведя ночь в горьковском отделении милиции, она вернулась в Москву 8 мая и рассказала западным корреспондентам о своем кратком разговоре с Сахаровыми. Почти одновременно с пресс-конференцией Кристи и независимо от нее Татьяна и Ефрем Янкелевич в Нью-Йорке передали журналистам заявление Сахарова о голодовке, написанное им заранее в январе 1984 года.

Более полугода сообщение Кристи оставалось единственным достоверным свидетельством о положении Сахаровых, известным на Западе. После возвращения в Москву Ирина Кристи провела четыре месяца под домашним арестом.

Последующие заявления ТАСС были, несомненно, вызваны сильной реакцией Запада на сообщение о голодовке Сахарова. Советская позиция, повторяемая в этих заявлениях, сводилась вкратце к следующему.

1. Боннэр здорова и не нуждается в лечении за границей.
2. Если бы она нуждалась в специальном лечении, она могла бы получить его в Советском Союзе, лучшее в мире и бесплатно.
3. Хотя в прошлом ей разрешалось ездить за границу под предлогом лечения, она использовала заграничные поездки для проведения антисоветской деятельности. Этим она намеревалась заниматься и теперь.
4. Так называемая «голодовка», объявленная Сахаровым, является частью антисоветской кампании, задуманной и координируемой «специальными службами США»; Сахаровы принимают в этой кампании добровольное участие.

Голодовка Сахарова совпала с периодом крайнего ужесточения советской внешней политики и обострения советско-американских отношений. Май 1984 года начался решением советских властей бойкотировать Олимпийские игры в Лос-Анджелесе и закончился заявлением маршала Устинова об увеличении числа советских атомных подводных лодок у побережья США (якобы в ответ на размещение американских ракет в Европе). По-видимому, этим и объясняются настойчивые попытки ТАСС объяснить голодовку Сахарова интригами Белого дома и представить ее как проблему советско-американских отношений.

Искренность антиамериканских чувств советского правительства не вызывает

сомнений. Сомнительна искренность обвинений. Советские власти вряд ли могли всерьез подозревать американскую администрацию в причастности к голодовке Сахарова или к попытке Боннэр искать убежища в американском посольстве. По сообщению известных американских журналистов Эванса и Новака, 23 апреля представители государственного департамента предупредили советское посольство о готовящейся Сахаровым голодовке и о том, что его смерть приведет к еще большему ухудшению советско-американских отношений («Вашингтон пост», 21 мая 1984).

Первые два пункта советской позиции излагались в заявлении ТАСС от 18 мая (приводится в переводе с английского).

Больное воображение провокаторов

Состояние здоровья Елены Боннэр, жена академика Сахарова, в последнее время подробно обсуждается на Западе. Западная пропаганда подняла крик о «трагическом» положении Боннэр, которая якобы находится в «безнадежном» состоянии и поэтому должна немедленно уехать для лечения за границу.

В то же время в печати и в высоких официальных кругах, особенно в Соединенных Штатах, утверждается, что Боннэр якобы арестована и лишена необходимой медицинской помощи.

Все это — не более чем плод больного воображения организаторов этой новой антисоветской кампании. Начать с того, что до недавнего времени «тяжелобольная» Боннэр регулярно путешествовала между Горьким и Москвой и вела очень активный образ жизни, выражавшийся, в основном, в упражнениях в профессиональном антисоветизме. (...)

Боннэр так же, как и ее муж, получают (внимание, господа пропагандисты!) бесплатное лечение в лучших больницах Горького и в Центральной клинической больнице Академии наук СССР, когда это является необходимым. Эти больницы пользуются услугами крупнейших медицинских консультантов. Так, врачи, лечащие Боннэр в Горьковской областной клинике имени Н. А. Семашко, сообщили, что она прошла медицинский осмотр на третьей неделе апреля.

Точности ради, цитируя врачебное заключение, мы сохраним медицинскую терминологию: «Кардиограмма, по сравнению с предыдущей, не показывает динамических изменений. Эхокардиоскопия аорты и митрального клапана не обнаружила отклонений от нормы. Пациент находится в удовлетворительном состоянии». Боннэр, которая, кстати, сама была врачом, проверила диагноз в поликлинике № 7 Управления хозрасчетными медицинскими учреждениями Московского горсовета. Диагноз был полностью подтвержден.

По просьбе Боннэр, ее осмотрел доктор медицинских наук Г. Г. Гельштейн, заведующий отделом функциональной диагностики Института сердечно-сосудистой хирургии Академии медицинских наук СССР. Наш корреспондент взял интервью у профессора Гельштейна. Вот что он сказал: «В результате возрастных факторов, пациент страдает некоторой коронарной недостаточностью. Более года назад у нее был местный инфаркт. С тех пор ее состояние стабилизировалось, и я не заметил никакого ухудшения. Ей рекомендовано профилактическое лечение, обычное в нашей стране, с учетом всех последних достижений кардиологии».

Таким образом, Боннэр получает необходимую медицинскую помощь. Но Боннэр утверждает, что ее глазное заболевание может быть вылечено только в Италии. Действительно, Боннэр в прошлом оперировалась в частной итальянской глазной клинике. Вот что показал недавний медосмотр Боннэр. По мнению советских специалистов, операция была сделана на очень низком уровне и оставила грубый шрам на глазном яблоке пациента. Наш корреспондент узнал об этом у кандидата медицинских наук Е. Ф. Приставко, крупного специалиста в области глазных заболеваний, который консультировал Боннэр по ее просьбе. Кстати, доктор Приставко сказал нам, что операции, подобные той, сделанной в Италии, делаются здесь у нас в обычных глазных больницах, и притом на более высоком уровне. Вряд ли необходимо объяснять компетентным людям на Западе, что многие советские специалисты по глазной хирургии пользуются всемирной известностью, и, в соответствии с советскими законами, бесплатно лечат наших граждан в больницах. (...)

Не так давно советская пресса сообщила о фактах, свидетельствующих о том, что в соответствии со сценарием, подготовленным специальными службами США, Боннэр должна была укрыться в посольстве США в Москве и оставаться там до тех пор, пока советские власти не разрешат ей выехать за границу. Тем временем, действуя через американских журналистов, она подливала бы масло в огонь, который враги Советского Союза любят раздувать вокруг этой обожающей скандалы дамы, Елены Боннэр, утверждающей, что она действует от имени Сахарова. Эта часть операции провалилась. Теперь специальные службы США и их пропагандистский аппарат приступили к новой фазе этой операции...

Статья в «Известиях» «Отщепенцы и их радетели», опубликованная 21 мая, впервые намекала на следствие, ведущееся против Боннэр.

В отличие от заявлений ТАСС, чьим отрицательным героем были «специальные службы США», «Известия» отвели эту роль Е. Г. Боннэр.

По-видимому, статья должна была объяснить советскому читателю, почему «правоохранительные органы» приняли в отношении Боннэр «меры, вытекающие из закона», как и подобные статьи 1980 года, объяснявшие причину высылки Сахарова. В то же время и тон статьи в «Известиях», и время ее появления заставляют предположить, что власти, опасаясь за жизнь Сахарова, готовились возложить на Боннэр ответственность за смерть мужа. «Известия», в частности, обвиняли Боннэр в том, что она толкала мужа на голодовки.

...Нельзя не заметить тот факт, что в последнее время в организуемых на Западе провокациях с использованием имени Сахарова все одиознее становится роль его супруги Боннэр Е. Г. Она явно хочет выдвинуться на передний план, стать чем-то вроде главного исполнителя антисоветских выходок, клеветнических заявлений по адресу советского народа.

Боннэр давно приняла на себя функции связного с западными реакционными кругами, не гнушаясь при этом темными делишками. Делает она все это вовсе не бескорыстно. Несколько раз Боннэр выезжала в Италию, ссылаясь на необходимость проведения лечения. На это ей давались разрешения. Находясь там в 1975 году, она запродала за солидный куш одному из издательств провокационную книгу Сахарова «О стране и мире».

Приехав снова в Италию в сентябре 1977 года, Боннэр за время своего почти что трехмесячного пребывания, забыв о «лечении», с головой погрузилась в грязное болото так называемых «сахаровских слушаний», от которых так и несло смрадом махровой антисоветчины. В 1979 году, находясь опять же в Италии, она тайком вылетела в США. Даже ее близкие итальянские приятели не знали, что «кто-то» посадил «больную» в самолет и переправил в Соединенные Штаты. Там Боннэр свели с группками антисоветчиков с поручением попытаться объединить грызущихся между собой разномастных отщепенцев. Тогда уже она подбрасывала американцам мысль — а не остаться ли ей на этот раз совсем в Америке? Ей, однако, отсоветовали, предложив снова вернуться в СССР и постараться выжать из Сахарова все, на что он еще способен в прислужничестве антикоммунистам.

И она продолжила это дело, действуя с напарниками из посольства США в Москве. По предварительной договоренности в определенные часы ее встречали американские дипломаты, чтобы получить очередную порцию антисоветских материалов и дать заказы на новые. (...)

Боннэр как поднаторевший провокатор следила за перепадами за рубежом антисоветской шумихи вокруг Сахарова. Когда эта набившая оскомину шумиха шла на убыль, она подталкивала супруга на очередную выходку. Именно Боннэр осенила идея объявления Сахаровым «голодовок», чтобы подкормить пропагандистские органы в США. О здоровье супруга она думала меньше всего, действуя по принципу: чем хуже, тем лучше. Чем хуже академику, тем лучше ей.

На май спланировали провокацию помасштабнее. Сахарову опять определили роль «голодающего», а Боннэр — «политической квартирантки» в американском посольстве, откуда она добивалась бы разрешения на выезд в США. Чтобы помочь ей в этом, академик состряпал «обращение к послу США в СССР с просьбой о предоставлении Елене Боннэр убежища в посольстве». (...)

Вернемся к планам Боннэр. Основное для нее по-прежнему — ускользнуть на Запад, как говорится, хоть через труп мужа. Под ее диктовку он инструктирует американцев: «не следует отвлекать силы и внимание» на что-то другое. «...Главное, трагически важное и фактически единственное дело, в котором мне и нужно помочь,— добиваться разрешения на поездку моей жены за рубеж». (...)

В своих антисоветских действиях Боннэр зашла слишком далеко. Преступая рамки, которые по советским законам преступать никому не дозволено, она должна была знать, к каким последствиям это может привести. Как известно, Сахаров понес наказание за свою антиобщественную деятельность. В настоящее время правоохранительными органами приняты меры, вытекающие из закона, и в отношении Боннэр.

А. БАСКИН, С. КОНДРАТЬЕВ

Хоть Сахарову «Известия» отводили сравнительно пассивную роль, он был обвинен в ненависти «к своей стране и своему народу», якобы выраженной им в статье «Опасность термоядерной войны» («Форин афферс», июнь 1983). По словам «Известий», Сахаров писал:

«...капиталистические страны должны найти в себе „готовность идти на экономические жертвы“ для того, чтобы добиться превосходства и „рассчитаться с социализмом“».

30 мая, через три дня после окончания голодовки, ТАСС впервые счел возможным дать заверения о состоянии здоровья Сахарова. Под заголовком «„Врачеватели" из ЦРУ» ТАСС повторил прежние обвинения по адресу «американских спецслужб», Боннэр и Сахарова. Сахаров обвинялся также в том, что он, «известив Запад о т. н. „голодовке", преследовал лишь цель дать повод для очередной кампании, чтобы привлечь внимание к своим провокационным писаниям».

«Ну, а как же с „голодовкой"? — говорится в этом заявлении ТАСС.— *Приведем точные медицинские факты: Сахаров чувствует себя хорошо, регулярно питается, ведет активный образ жизни».*

Эти заверения были повторены ТАСС 4 июня в заявлении, озаглавленном «Провокация. Еще раз о здоровье Сахарова и Боннэр». «Здоровы они и не голодают! — писал ТАСС.— „Заботу" же американских спецслужб об их здоровье можно расценить однозначно. Им нужно лишь очернить Советский Союз...» ТАСС высмеивал слухи о смерти Сахарова и вновь нападал на «спецслужбы США и стоящие за ними американские официальные круги». Однако это заявление было адресовано не «американским официальным кругам», а, судя по всему, президенту Миттерану и/или французскому общественному мнению.

Во Франции положение Сахаровых вызывало особый интерес в связи с предполагаемой поездкой в Москву президента Миттерана. Французская пресса, а также лидеры правящей социалистической партии и часть политической оппозиции склонялись к тому, что Миттерану следует отменить или отложить свой визит в Москву. Советские власти, напротив, по многим причинам могли быть и, видимо, были заинтересованы в визите президента Франции — и особенно в период ухудшения советско-американских отношений. Возможно, они также надеялись убедить его выступить против размещения в Европе американских ракет среднего радиуса действия. (По сообщению «Нувель обсерватер», в середине мая советские представители предложили освободить Сахарова в обмен на призыв Миттерана остановить размещение американских ракет.)

Миттеран тем временем избегал публичных заявлений о своих планах, возможно, ожидая перемен в положении Сахаровых или советских заверений о их положении. Первое из таких заверений было передано через генерального секретаря французской компартии Жоржа Марше. 20 мая Марше заявил, ссылаясь на высокие московские инстанции, что здоровье Сахарова удовлетворительно, его жизнь не находится в опасности и он «регулярно обследуется в больнице имени Семашко». Москва также заверила Марше в благополучном состоянии здоровья Елены Боннэр, которая живет дома в Горьком и «не нуждается в госпитализации».

22 мая советский посол во Франции Юлий Воронцов сказал первому секретарю социалистической партии Лионелю Жоспену, что ему ничего не известно о голодовке Сахарова и что, насколько ему известно, вопреки сообщениям в западной прессе, Сахаров не был госпитализирован и находится дома. У Жоспена тем не менее сложилось впечатление, что Воронцов подтвердил сообщения о голодовке.

24 мая национальный секретарь социалистической партии Жан Попрен сказал, что «трудное решение» о поездке Миттерана еще не принято. На вопрос о гарантиях, которые Миттеран мог бы получить о положении Сахарова, Попрен ответил: «Последние события в этом деле не позволяют по-настоящему надеяться на такие гарантии».

Только 27 мая, в день окончания голодовки, министр иностранных дел Франции Клод Шейсон подтвердил намерение президента посетить Москву. По сообщению «Матэн», Шейсон сказал: «Французское правительство знает очень мало о положении Сахарова — только то, что он в Горьком и что его здоровье, должно быть, удовлетворительно, если советские власти рискуют утверждать, что оно хорошее».

3 июня, вслед за слухами о смерти Сахарова, возникшими в Италии и подтвержденными московским корреспондентом «Санди таймс» Эдмундом Стивенсом, Жорж Марше подтвердил, что французская компартия «разорвет отношения с Москвой», если, вопреки полученным им заверениям, с Сахаровым «что-то случилось».

Обстоятельства появления четвертого, и последнего, заявления ТАСС изложены в статье Жака Амальрика «Поездка в Москву по-прежнему должна состояться» («Монд», 6 июня). Согласно советско-французской договоренности, сообщал Амальрик, 4 июня в семь часов вечера по парижскому времени стороны должны были одновременно объявить о предстоящем визите Миттерана. Однако уже в 16.45 по парижскому времени ТАСС заявил, что Миттеран принял приглашение Президиума Верховного Совета посетить Москву. В течение следующих двух часов Елисейский дворец отказывался подтвердить сообщение ТАСС. Именно в этот промежуток времени ТАСС выпустил заявления о «здоровье Сахарова и Боннэр».

Как можно понять, Амальрик считал заявление ТАСС о Сахаровых плодом переговоров между президентом Миттераном и послом Воронцовым, начавшихся, по его словам, 1 июня и успешно завершенных в понедельник 4 июня. Амальрик сообщает, что возможность такого заявления обсуждалась на этих переговорах. Тем не менее заявление ТАСС от 4 июня не содержало ни новых, ни более подробных заверений по сравнению с предыдущим заявлением от 30 мая.

По утверждению Елисейского дворца, советская сторона не предложила никаких иных заверений или гарантий. Возможно, однако, что французское правительство продолжало настаивать на новых заверениях или что они уже были ему обещаны. Объявляя о поездке Миттерана, Елисейский дворец намекнул на то, что она будет отложена, если не появится новых известий о положении Сахарова (Рейтер, 4 июня 1984). Только 19 июня, накануне отъезда Миттерана в Москву, советские власти дали новые заверения, опубликовав фотографии Сахарова и Боннэр. Можно предложить много объяснений этой загадочной истории, различных по степени цинизма и полету воображения. Кажется несомненным, однако, что последнее или последние заявления ТАСС о Сахаровых были вызваны желанием советских властей видеть Миттерана в Москве.

«...Заметим попутно,— писал ТАСС,— что к этой раздуваемой из Белого дома антисоветской кампании на Западе подключились некоторые легковерные люди. К сожалению, они верят лжи, а не фактам. Факты же, повторяем, таковы: Сахаров и Боннэр здоровы. Может быть, в центрах психологической войны Запада хотели бы услышать иные вести, но ничего другого мы им сообщить не можем».

Ефрем Янкелевич

№ 13
ГОРЬКОВСКИЕ ЛЕНТЫ

Сотрудничество советского «журналиста» Виктора Луи с популярной немецкой газетой «Бильд» началось, видимо, в июне 1984 года, когда «Бильд» опубликовала две фотографии Сахаровых как доказательство того, что они живы.

Фотографии Боннэр (на улице) и Сахарова (в парке?), сделанные, как утверждалось, 12 и 15 мая и опубликованные 19 июня, были, по словам «Бильд», предоставлены газете Виктором Луи, известным в течение многих лет в роли неофициального посредника между советскими властями и западной прессой.

Задержав Елену Боннэр в Горьком, советские власти столкнулись с проблемой, хорошо известной многим террористам,— с необходимостью доказывать вновь и вновь, что заложники живы и находятся в их руках. До весны 1984 года Елена Боннэр была практически единственным доступным западной прессе свидетелем положения Сахарова в Горьком. В течение следующих полутора лет «информационный вакуум», возникший после ареста Е. Г. Боннэр, заполнялся Виктором Луи. За фотографиями последовали видеопленки, снятые в Горьком скрытой камерой. (Видеопленки продолжали поступать и после приезда Боннэр в Америку, но уже для того, чтобы скомпрометировать ее как свидетеля голодовок Сахарова.) По-видимому, Луи также принадлежали сообщения о положении Сахаровых, появлявшиеся в «Бильде» со ссылкой на «московские источники». «Бильд», однако, видимо, не получил исключительного права на материалы о Сахаровых. Некоторые сообщения Луи передавал непосредственно иностранным журналистам в Москве. В своем последнем заявлении, сделанном 29 мая 1986 г., накануне встречи Елены Боннэр с Маргарет Тэтчер, Луи впервые похвалил Сахарова, который, по его словам, находится «на нашей стороне баррикад» и «пользуется уважением подавляющего большинства советских людей». Однако, как заявил Луи, возвращение Сахарова в Москву поставлено под удар плохим поведением Боннэр на Западе.

Первая видеопленка, показывающая Сахарова в больнице и Боннэр на улицах Горького в июне — июле 1984 года, а также содержащая и более ранние кадры, была распространена «Бильдом» 24 августа 1984 года, вскоре после суда над Е. Г. Боннэр. Не называя источника пленки, «Бильд» намекнул на то, что она была получена от Виктора Луи, «из того же источника», что и фотографии, опубликованные в июне.

К лету 1986 года «Бильд» распространила еще семь подобных видеопленок, продолжительностью от 10 до 40 минут. Большинство из них были куплены и показаны, полностью или в отрывках, телевизионными компаниями многих западноевропейских стран и компанией Эй-Би-Си в Соединенных Штатах.

Ниже следует краткая хронология их появления.

15 декабря 1984 года. Фотографии Сахаровых в парке и у входа в кинотеатр, снятые, предположительно, в октябре. Опубликованы в день прибытия М. С. Горбачева в Лондон.

28 июня 1985 года. Сахаров на медицинском осмотре, предположительно весной 1985 года. Вторая пленка, озаглавленная «Куда исчез Сахаров»: Сахаров в больничной палате; ест в постели завтраки, обеды и ужины, как утверждается, в начале июня. Врач Наталья Евдокимова, называющая себя лечащим врачом Сахарова, комментирует видеозаписи. Она отрицает, что Сахаров голодал или голодает или что ему даются

психотропные препараты. Евдокимова перечисляет ряд заболеваний, которыми якобы страдает Сахаров, и утверждает, что он проходит в больнице курс лечения.

По словам диктора, фильм предназначен быть ответом на заявление Ефрема Янкелевича, «которого на Западе выдают за официального представителя лауреата Нобелевской премии академика Сахарова», и на обращение Международной лиги прав человека в подкомиссию ООН по делам пропавших без вести.

29 июля 1985 года. 11 июля (судя по афишам) Сахаров покидает больницу. Е. Г. Боннэр встречает его перед домом. Сахаровы гуляют по улицам Горького, собирают грибы и т. д. Видеопленка распространена «Бильдом» накануне встречи в Хельсинки министров иностранных дел, посвященной десятилетию подписания Хельсинкских соглашений. К тому времени Сахаров был вновь помещен в больницу им. Семашко, где продолжал свою голодовку.

9 декабря 1985 года. Боннэр показана на приеме в местном ОВИРе, где она обсуждает свою заграничную поездку, а затем на приеме у зубного врача. Сахаров, отвечая на вопросы главврача больницы им. Семашко Олега Обухова, объясняет советскую позицию по вопросам контроля над вооружениями, а также свои собственные взгляды на этот предмет и на американскую программу стратегической оборонной инициативы. Сахаров провожает свою жену на горьковском вокзале. Боннэр в Шереметьевском аэропорту в окружении друзей и иностранных корреспондентов.

24 марта 1986 года. Сахаров, после отъезда жены, говорит с ней по телефону из местного отделения связи. Кадры, иллюстрирующие жизнь Сахарова в Горьком, перемежаются с отрывками из его телефонных разговоров с Е. Г. Боннэр. В одном из них он пересказывает заявление М. С. Горбачева (интервью газете «Юманите», 8 февраля 1986), сказавшего, что в отношении Сахарова «были приняты меры в соответствии с нашим законодательством» и что он не может выехать за границу по причине «секретов особой государственной важности». Сахаров встречается с врачом Ариадной Обуховой, а затем, судя по голосу, с ее мужем Олегом. (Обухов остается за кадром.) Он говорит им, что здоров и ни в чем не нуждается. Вновь отвечая на вопросы Обуховой, Сахаров положительно отзывается о предложениях Горбачева о разоружении (по-видимому, предложения, выдвинутые 15 января 1986). Смонтированная из небольших кусков беседа с Обуховым носит отрывочный характер, как и подобная беседа в видеозаписи, опубликованной 9 декабря (предполагая, что обе не являются частью одной и той же).

30 мая 1986 года. Пленка, озаглавленная «Боннэр и Сахаров о Чернобыле». Сахаров отвечает на вопросы прохожих о чернобыльской катастрофе и обсуждает ее по телефону с женой. Один из прохожих — молодой человек, представившийся корреспондентом газеты «Горьковский рабочий». Ответы Сахарова сопоставляются со словами Е. Г. Боннэр, как они приведены в статье «Говорит Сахаров» в итальянском еженедельнике «Иль Сабато». Очевидная цель фильма — доказать, что Боннэр искажает взгляды своего мужа. Собеседники Сахарова также пытаются заставить его высказаться в поддержку советского моратория на проведение ядерных испытаний.

18 июня 1986 года. Видеозапись, опубликованная «Бильдом» лишь две недели спустя после возвращения Боннэр в Горький. Запись разговора между Е. Г. Боннэр и А. Д. Сахаровым наложена на кадры, показывающие Сахаровых на улицах Горького. Согласно «Бильду», запись сделана через подслушивающее устройство в квартире Сахаровых. Замысел создателей фильма ясен из приведенных в «Бильде» отрывков разговора: Боннэр якобы упрекает мужа в том, что он, отвечая на вопросы (Обухова?), выразил поддержку предложениям Горбачева о разоружении. (См. описание видеозаписи от 24 марта 1986.)

Ефрем Янкелевич

№ 14

НАДЕЖДЫ 1975 года

Речь Татьяны Янкелевич на собрании, посвященном десятой годовщине присуждения Андрею Дмитриевичу Сахарову Нобелевской премии мира, 9 октября 1985 года в Нобелевском институте (Осло)

Я была очень тронута вашим приглашением приехать в Осло, поскольку этот город стал частью истории нашей семьи и появляется на ее наиболее ярких и драматических страницах.

Однако не стану отрицать, что мне грустно при мысли, что я выступаю в том самом зале, где почти десять лет тому назад выступала моя мать,— теперь, когда я даже не знаю, где она.

Я помню, как она вернулась отсюда в Москву в последние дни 1975 года. Как мы встречали ее в аэропорту вместе с Андреем Сахаровым и ватагой иностранных журналистов. Помню атмосферу свободы, оживления и праздника, которую она привезла с собой из Осло...

Я также помню 1975 год как год надежд. И об этих надеждах, надеждах 1975 года, я и хочу говорить.

1975 год был годом «доктрины Сахарова». «Сахаров,— говорилось в дипломе Нобелевской премии мира за 1975 год,— убедительно показал, что только соблюдение индивидуальных прав человека может стать надежной основой подлинной и долговечной системы международного сотрудничества». «Доктрина Сахарова», суть которой состоит в неотделимости мирного сосуществования от прав человека, была признана не только Нобелевским комитетом, но и главами 35 государств, подписавших в Хельсинки летом 1975 года Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Хельсинкские соглашения были кульминацией разрядки. Однако, как мы знаем сегодня, в основе разрядки лежало отнюдь не стремление содействовать защите прав человека и борьбе за открытое общество в СССР.

Например, как отмечали многие наблюдатели, в том числе Генри Киссинджер, американской стороной двигало представление о невозможности продолжать политику «сдерживания» в ее традиционной форме. По мнению того же д-ра Киссинджера, среди прочих причин, вызвавших к жизни советско-американскую разрядку (таких, как опасение, что Европа станет нейтральной, если США отстанут от своих союзников по НАТО в борьбе за советскую благосклонность), главной побудительной причиной было «роковое сочетание ядерного паритета с неравенством в обычных видах вооружения». У многих европейских правительств были, возможно, еще менее благородные причины для продолжения политики разрядки.

Это была совсем не та разрядка, сторонником которой был Андрей Сахаров. В 1973 году на вопрос, не изменилось ли его мнение о конвергенции Востока и Запада, он ответил:

«...мое основное предположение остается в силе, а именно: перед миром стоят две альтернативы — или постепенное сближение, сопровождающееся демократизацией Советского Союза, или рост конфронтации и увеличивающаяся опасность термоядерной войны. Но действительность оказалась еще сложнее, в том смысле, что перед нами стоит следующий вопрос: будет сближение сопровождаться демократизацией советского общества или же нет? Эта новая возможность, которая может на первый взгляд показаться полумерой — лучше, чем ничего,— на самом деле таит в себе огромную внутреннюю опасность».

Опасностью, по мнению Сахарова, было **«сближение без демократизации, сближение, при котором Запад, по существу, принимает советские правила игры. Подобное сближение было бы опасно в том смысле, что оно не решило бы на самом деле ни одной из мировых проблем и означало бы просто капитуляцию перед лицом реальной или преувеличенной советской угрозы. Это означало бы попытку торговать с Советским Союзом, покупая газ и нефть и игнорируя все остальные аспекты проблемы. Я думаю, что подобное развитие событий было бы опасно, поскольку имело бы серьезные последствия внутри самого Советского Союза. Оно заразило бы весь мир антидемократическими особенностями советского общества. Это позволило бы Советскому Союзу обойти проблемы, которые он сам не в состоянии решить, и сконцентрировать усилия на усилении собственной мощи. В результате, мир оказался бы беззащитен и беспомощен перед лицом неконтролируемой бюрократической машины. Я думаю, что, если сближение происходило бы полностью и безоговорочно на советских условиях, это было бы серьезной угрозой всему миру.»**

Хельсинкские соглашения во многом соответствовали сахаровскому представлению о разрядке: по его мнению, разрядка должна иметь позитивную и созидательную цель, и эта цель — постепенное преодоление закрытости тоталитарных систем и их либерализация. Сегодня кажется удивительным, как много гарантий прав человека и условий, способствующих свободному обмену идеями и информацией, представителям Запада удалось внести в Хельсинкские соглашения.

Полагаю, никто не рассчитывал, что Советский Союз немедленно возьмется за выполнение всех этих условий. Тем не менее, безусловно, существовала надежда, которую разделял и Андрей Сахаров, на то, что соглашения и сам процесс разрядки станут, по меньшей мере, фактором, сдерживающим репрессивную политику советского правительства. Эта надежда еще теплилась в конце 1975 года, несмотря на отказ советских властей разрешить Андрею Сахарову лично принять Нобелевскую премию, несмотря на судебный процесс над другом Сахарова, биологом Сергеем Ковалевым, проходивший одновременно с церемонией вручения Нобелевской премии.

Эта надежда начала угасать в последующие годы, когда мы стали свидетелями непрекращающегося ухудшения положения в области прав человека: усиления анти-

диссидентской и антисемитской пропаганды, разгрома инакомыслия в целом и уничтожения правозащитного движения в частности. Для Сахарова эти годы были временем отчаянных усилий остановить нарастающие репрессии, защитить их новые жертвы.

В январе 1980 года и сам Андрей Сахаров — «совесть человечества», по выражению Нобелевского комитета,— был сослан в Горький под круглосуточный милицейский надзор. Моя мать стала единственной его связью с миром. Его голос доходил до нас, пока и она не была арестована в мае 1984 года. В числе предъявленных ей обвинений было участие в пресс-конференции здесь, в Норвегии, проходившей, возможно, в этом самом зале.

Какой смысл сегодня вспоминать надежду десятилетней давности, надежду, безжалостно уничтоженную? Какой смысл рассуждать, что не вышло и что могло или должно было быть сделано, чтобы не допустить крушения этой надежды, чтобы спасти сотни достойных и мужественных людей от лагерей, тюрем, психиатрических больниц?

На эти вопросы, думаю, есть ответы, простые и не очень простые. Я думаю, что важно говорить об этой надежде, искать эти ответы — хотя бы по следующим причинам.

Во-первых, есть люди, и среди них лишенные свободы члены Хельсинкских групп, которым можно и должно помочь.

Во-вторых, Горбачев предлагает нам новую разрядку. Сейчас самое время подумать о том, хотим ли мы разрядки и если да, то какой. Разрядки, основанной на страхе, или разрядки, имеющей конструктивную цель? Разрядки с Сахаровыми — или без них?

И, в-третьих — и в-главных,— сегодня, как и вчера, и в обозримом будущем мы стоим перед той же альтернативой, о которой Андрей Сахаров говорил 12 лет назад: «...**или постепенное сближение, сопровождающееся демократизацией Советского Союза, или рост конфронтации и увеличивающаяся опасность термоядерной войны**».

Это означает, что у нас нет другого выбора, что мы должны бороться за надежду 1975 года до тех пор, пока она не станет реальностью.

И еще одно, раз уж мы говорим о надеждах. Три года тому назад Андрей Сахаров принял приглашение норвежского правительства поселиться в Норвегии. Я надеюсь, что когда-нибудь это послужит мне причиной снова побывать в Осло.

Роберт
КОНКВЕСТ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Глава десятая

ВО ГЛУБИНЕ...

Во глубине сибирских руд...
Пушкин

Уделом тех счастливцев, что избежали высшей меры, был ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь.

«Исправительно-трудовой кодекс» тех лет перечислял три вида лагерей:

1. Исправительно-трудовые колонии, в которых «лишенные свободы» преступники подлежали «трудовому перевоспитанию» (статья 33).

2. Исправительно-трудовые лагеря массового типа, в том числе и расположенные в «отдаленных районах» и предназначенные для «социально опасных элементов», содержавшихся в условиях более «строгого режима» (статья 34).

3. Штрафные лагеря для «строгой изоляции» тех, кто ранее содержался в других «местах лишения свободы» и уличен в повторных нарушениях режима (статья 35).

Лагеря первой категории заполнялись главным образом людьми, осужденными за мелкие служебные проступки, а также неопасными воришками. Все осужденные по статье 58 либо приговоренные Особым совещанием (ОСО) сразу же направлялись в лагеря второй категории.

ИТЛ были одной из главных опор всей сталинской системы. А сокрытие от внешнего мира подлинной сути исправительно-трудовых лагерей было одним из крупнейших сталинских достижений.

Ибо к концу сороковых годов на Западе уже имелись потрясающие и подробные свидетельства о лагерях. За границу попали тысячи бывших узников ИТЛ, и их согласующиеся между собой рассказы подкреплялись солидной документацией. Так, в книге Д. Далина и Б. Николаевского «Принудительный труд в советской России» были приведены фотокопии множества бланков, форм и писем. Красноречивым документом был и сам «Исправительно-трудовой кодекс РСФСР», в 1949 году представленный делегацией Великобритании в ООН для ознакомления делегатов. И тем не менее интеллектуальные круги Запада находили возможным не верить всем этим материалам и присоединяться к инспирируемым Советским Союзом кампаниям по «разоблачению клеветы».

Действительно, длительное время имела хождение иная, советская версия событий. Правда, гласила эта версия: в Советском Союзе имеются исправительно-трудовые заведения, но исключительно полезного типа. Их деятельность отражалась в таких произведениях, как, скажем, пьеса Н. Погодина «Аристократы», показывающая «перековку» преступников трудом на Беломорканале и в других местах. Погодин показывает бандитов, воров и инженера-вредителя, перевоспитанных трудом. К перевоспитанному инженеру, с энтузиазмом работающему над проектом, приезжает его старушка-мать. Добрый начальник лагеря предоставляет в ее распоряжение свой автомобиль; она не нарадуется здоровому виду сына. Один вор рассказывает, как здорово его перевоспитали, а другой поет: «Я вновь рожден, хочу я жить и петь!».

Ну, а что касается «вражеских свидетельств», то они, по советской версии, исходили в основном от людей, считавших свое заключение в лагерь несправедливым и превратившихся в противников сталинского режима. Поэтому они «антисоветчики», поставщики «антисоветской пропаганды». Такая позиция, разумеется, позволяла отметать любые фактические сведения.

В предисловии к книге Герлинга о советских лагерях знаменитый английский философ Бертран Рассел писал: «Эта книга заканчивается письмами видных коммунистов о том, что таких лагерей не существует в природе. Авторы писем и те попутчики, которые позволяют себе доверять их письмам, несут свою долю ответственности за почти немыслимые ужасы, обрушившиеся на миллионы несчастных, медленно умерщвляемых каторжным трудом и голодом в условиях полярной стужи. Попутчики, отказывающиеся верить свидетельствам таких книг, как написанная Герлингом, безусловно, лишены гуманности. Ибо если бы у них оставалась хоть какая-то доля гуманности, то они не стали бы просто отметать свидетельства, а постарались бы в них разобраться».

Как верно отметил Рассел, несчастных были именно миллионы. До сих пор не было, однако, ни одного официального советского признания по этому пункту — о семизначных числах. Опубликование повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и различных мемуаров бывших лагерников подтверждают,

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 9—12; 1990, № 1—6

что столь долго оспаривавшиеся на Западе свидетельства о лагерях скрупулезно точны. Однако это относится к характеру лагерной системы и не характеризует — или недостаточно отчетливо характеризует — ее масштабы.

Многим людям доброй воли было труднее всего поверить не в само существование лагерной системы и ее «прелестей», а как раз в количество заключенных. Когда упоминались цифры в десять или пятнадцать миллионов, а то и больше, возникало инстинктивное ощущение, что это противоречит здравому смыслу, не согласуется с обычным жизненным опытом.

Что ж, конечно, это противоречило всякому смыслу и ни с каким опытом не согласовывалось. Но ведь реальность сталинских порядков вообще нередко ставилась под сомнение, поскольку представлялась немыслимой. Весь сталинский стиль в том и состоял, чтобы творить дела, дотоле морально и физически невообразимые.

Но все равно трудно соглашаться с гигантскими цифрами, трудно не усматривать в них «очевидных» преувеличений. И когда анализируешь различные свидетельства, то приходится делать над собой определенные усилия, чтобы осознать достоверность даже самых осторожных цифр. Свидетельства, имеющиеся в распоряжении, многообразны, но неточны, и оценка численности заключенных в сталинских лагерях дает цифру как минимум пять миллионов. Но это, конечно, самая осторожная из всех оценок. Я склонен принять цифру восемь миллионов человек, находившихся в лагерях в течение 1938 года. Ни в коем случае эта цифра не может быть далека от истины.

В 1938 году в Софии вышла книга Никонова-Смородина «Красная каторга». В ней приведен детальный список тридцати пяти лагерных групп, причем каждая группа состояла примерно из двухсот лаготделений со средним наполнением каждого в тысячу двести человек. В 1945 году был составлен более полный отчет на основе показаний поляков, выехавших из СССР по советско-польскому соглашению. Два польских автора — Мора и Звезняк — опубликовали в Риме подробные данные о 38 группах лагерей с приложением карты. Восемь групп из этих тридцати восьми относились к ведению Дальстроя. Множество данных о лагерях на севере Европейской России содержится в книге Михаила Розанова [1]. В упомянутой выше сводной работе Далина и Николаевского на основе тщательного исследования описана деятельность 125 лагерей или лагерных групп, причем отмечается, что есть сведения о многих других лагерях, однако сведения, не полностью подтвержденные.

Подобно другим механизмам, из которых Сталин построил свою систему террора, лагеря не были его изобретением.

За малым исключением, наши главные сведения о лагерной жизни поступают от представителей интеллигенции, которые попали в лагеря в 1935—36 годах и позже. Дело в том, что среди жертв ежовщины был гораздо более высокий процент городской интеллигенции и иностранцев, чем среди жертв репрессий в предшествующие годы. В результате создается впечатление, что грандиозные количественные и качественные изменения в карательной системе возникли или происходили в начале ежовщины. Правда, есть несколько свидетельств интеллигентов-заключенных о более раннем периоде. Показания, например, профессора Чернявина, Ивана Солоневича [1] и других лиц мало отличаются от того, что рассказывали люди, прошедшие лагеря позднее. Однако в целом основную массу жертв репрессий в первое пятилетие тридцатых годов составляли крестьяне — то есть люди, менее склонные писать мемуары,— хотя в конце войны в результате плена и переселения определенный процент этих людей оказался в Западной Европе.

Надо отметить одно важное исключение. Многие из тех, кто побывал в лагерях в начале тридцатых годов, а после войны очутился на Западе, однажды прервали свое молчание. Когда крупный советский работник Виктор Кравченко, посланный в 1944 году в Америку, отказался вернуться в СССР, он написал книгу «Я выбрал свободу». В этой книге правдиво описана обстановка индустриализации, деятельность органов ОГПУ — НКВД и так далее. Французский коммунистический журнал «Леттр франсез» назвал эту книгу «фальшивкой», и Кравченко подал на журнал в суд. Вот здесь-то к автору книги неожиданно потекли свидетельства бывших советских граждан, живших на Западе. Многие из них были как раз крестьянами, репрессированными в начале тридцатых годов. Все свидетели подтвердили рассказанное в книге «Я выбрал свободу», и Виктор Кравченко выиграл процесс.

Эти неожиданные свидетельские показания, частично приведенные Виктором Кравченко в его второй книге «Я выбрал справедливость» (а также и более ранние свидетельства), ясно показывают, что задолго до начала ежовщины лагерная система уже существовала почти в таком же виде, разве что с меньшим количеством узников. Описываются даже такие

[1] М. М. Розанов. Завоеватели белых пятен. Лимбург, 1951.

[1] И. Л. Солоневич. Россия в концлагере. Белград, 1935.

жестокости, которые к середине тридцатых годов, накануне ежовщины, стали применяться значительно реже. Вероятно, жестокость сотрудников НКВД к их жертвам в начале тридцатых годов объясняется тем, что жертвы были объявлены «кулаками» и считались подлинно вражеским элементом. В том же направлении действовала старая традиция: мужику — зуботычины, а с интеллигентомповежливей — мало ли, вдруг у него найдутся влиятельные родственники или друзья. Несколько позже, конечно, именно интеллигенция сделалась главной мишенью еще более жестоких эксцессов. Но до самого 1936 года политзаключенные пользовались известными привилегиями в лагерях — даже троцкисты, позже ставшие жертвами особенно злодейских расправ.

Возникновение первых лагерей относится еще к середине 1918 года, а первый декрет, узаконивший их существование, был издан в сентябре того же года [1]. Первый настоящий лагерь смерти был организован в 1921 году в Холмогорах, вблизи Архангельска. В 1923 году в Москве вышла адресно-справочная книга «Вся Россия»; в ней есть перечень из шестидесяти пяти концлагерей, находившихся в 1922 году в ведении Главного управления принудработ. В октябре того же года Главное управление принудработ слилось с Центральным исправительно-трудовым отделом (ЦИТО) Наркомата юстиции и образовалось Главное управление мест заключения (ГУМЗ), подведомственное ГПУ.

Первым лагерем по-настоящему крупного масштаба был Соловецкий на дальнем севере европейской части России. Он был организован на базе знаменитого монастыря. С организацией лагеря при нем на время оставили некоторых старых монахов, чтобы учить заключенных рыбному промыслу. Позднее, как сообщает Кравченко, монахов ликвидировали как вредителей.

Санитарно-гигиенические условия в Соловецких лагерях были очень скверными. Есть сообщения, что только в 1929—30 годах эпидемии сократили численность заключенных с 14 до 8 тысяч человек. Это вообще был тяжелый период для заключенных беломорских лагерей; а в районе побережья Белого моря лагерей появлялось все больше. Между 1929 и 1934 годом заключенный беломорских лагерей мог в среднем протянуть не больше двух лет, потом погибал. Подобные условия почти всегда являлись результатом злоупотреблений и бездеятельности тюремщиков. Лекарство против этой болезни было обычным. Как рассказывает один из выживших заключенных, Чилига, «из Москвы приезжала комиссия ГПУ, половину лагерной администрации расстреливала, после чего жизнь заключенных быстро становилась столь же ужасной, как и прежде» [1].

7 апреля 1930 года было принято «Положение об исправительно-трудовых лагерях». В период стремительного роста лагерной сети ИТЛ приняли ту форму, которая сохранилась к началу ежовщины и в значительной мере — по сей день.

В разговоре с Черчиллем на Тегеранской конференции Сталин сказал, что во время коллективизации пришлось вести борьбу против десяти миллионов кулаков. Из них «громадное большинство», по свидетельству Сталина, «было уничтожено» [2]. Третья же часть, приблизительно, была отправлена в лагеря. В 1933—35 годах крестьянское население лагерей оценивалось примерно в три с половиной миллиона человек,— что составляло около семидесяти процентов общего числа заключенных.

Самые осторожные оценки численности лагерников в доежовский период выглядят следующим образом:

в 1928 году было 30 тысяч заключенных;

в 1930 году — свыше 600 тысяч (известны шесть крупных групп лагерей, существовавших в 1930 году);

в 1931—32 годах — около 2 миллионов (оценка может быть сделана на основе количества газет, распространявшихся среди заключенных);

в 1933—35 годах все оценки в основном сходятся на цифре в 5 миллионов человек;

в 1935—37 годах — 6 миллионов.

Для сравнения укажем, что в царские времена максимальное число сосланных на каторгу (1912 год) составляло 32 тысячи человек, а максимальное общее число заключенных по всей стране было — 183949 [3].

Этап

С самого начала своей деятельности лагерная система требовала все новых и новых поступлений. По вынесении приговора осужденных втискивали в тюремные кареты — «черные вороны». До революции каждый «черный ворон» был рассчитан на семерых арестантов, но после

[1] См. «Декреты Советской власти», М., т. 3, 1964, с. 291—292. Два декрета 1919 года, относящиеся сюда же (см. «Собрание узаконений», 1919, № 12, с. 124 и № 20, с. 235), перепечатаны в книге Б. Яковлева «Концентрационные лагеря СССР», Мюнхен, 1955.

[1] Anton Ciliga. «The Russian Enigma». London, 1940, p. 180

[2] Winston S. Churchill. «The Second World War». London, vol. IV, 1951, p. 447—448.

[3] См. «Тюрьмы капиталистических стран», М., 1937, с. 54, 61, 143 (ред. А. Я. Вышинский).

революции перегородки внутри «черных воронов» были перестроены и размеры клеток снижены до минимума. В результате каждый «черный ворон» теперь мог брать по двадцать восемь человек. Потом, обычно по ночам, заключенных сажали в железнодорожные вагоны и везли к месту назначения. Вагоны были либо товарными теплушками (рассчитанными в дореволюционные годы на «12 лошадей или 48 человек», а теперь вмещавшими до ста заключенных), либо так называемыми «столыпинскими» — по имени царского министра. Армянский писатель Гурген Маари, по личному опыту знакомый с этими вагонами, не без основания спрашивает: «почему они назывались „столпинскими“, эти ужасные узкие каторжные вагоны? Они были совсем недавнего происхождения...».

Железнодорожные переезды до лагеря подчас длились месяцами. Бывший заключенный В. Петров описывает поездку в арестантском эшелоне от Ленинграда до Владивостока, занявшую сорок семь суток. Нередко в свидетельствах бывших лагерников утверждается, что транспортировка в эшелонах была более тяжким испытанием, чем сам лагерь. Переполненные товарные вагоны практически не отапливались зимой, а летом в них царила невыносимая жара. Недостаток и скверное качество воды и плохие санитарные условия приводили к тяжелым страданиям и высокой смертности в пути. Венгр Лендьел пишет о том, как он провел шесть недель в трюме парохода, плывшего «по одной из широчайших рек мира», получая четверть литра воды в день.

Охрана эшелонов — так называемые конвойные войска НКВД — отличалась особой жестокостью и пренебрежением к заключенным. Во время транспортировки или этапа даже формально не соблюдались соответствующие инструкции НКВД о выдаче ежедневной пищи, хотя обычно органы НКВД были прямо одержимы манией соблюдения инструкций и всяческих правил. Подчас заключенные вообще не получали кипятка. Нередко пищевой рацион изо дня в день сокращался, и в конце концов его вообще переставали раздавать. Даже воду охрана эшелона забывала иногда раздавать в течение одного, а то и двух дней. Евгения Гинзбург описывает, как страдали в вагоне из-за того, что на протяжении поездки от Москвы до Дальнего Востока каждая женщина-заключенная получала по кружке воды в день — на все надобности.

Один из тех поляков, которых в 1939—40 году, после захвата Советским Союзом части Польши, отправили в Сибирь, вспоминает о поездке в следующих словах: «Почти немыслимо, чтобы живое существо, не охваченное особым приступом гнева или мстительности, упорно отказывалось подать ведро воды пятидесяти или шестидесяти другим живым существам, запертым в вагоне. Причем, подавая воду, человек не уменьшал свой собственный водный рацион. Однако факт тот, что эти люди, охранники, систематически отказывались давать воду. Целые сутки проходили без единой капли воды, поданной в вагоны. Бывали безводные периоды и по тридцать шесть часов».

Тот же автор добавляет, что, получив несколько сот письменных свидетельств своих соотечественников об условиях этапа, он отметил лишь один случай, когда охранник подал в вагон ведро воды сверх рациона, и пять случаев открытия вагонных дверей конвойными на десять минут, чтобы облегчить зловоние внутри. Что касается врачей и фельдшеров, следовавших с эшелонами, то в свидетельских показаниях поляков фигурируют несколько случаев «чего-то лучшего, чем полное равнодушие» по отношению к детям и два эпизода с проявлениями настоящей доброты.

Ожесточение в партии, в свое время отмеченное Бухариным, достигло низов и повсюду усилило жестокость.

Транспортировка серьезно подрывала силы заключенных. Евгения Гинзбург рассказывает, как партия мужчин, только что выгруженных из эшелона в дальневосточном транзитном лагере, была направлена в порт, грузиться на магаданский корабль — без еды. После того, как несколько человек упали мертвыми, остальные отказались двигаться дальше. Охранники начали панически пинать ногами трупы, а потом «убили несколько волочивших ноги людей „при попытке к бегству“».

Во время этапа либо немедленно по прибытии в лагерь политзаключенных чаще всего грабили блатные, отнимая наиболее ценные вещи — теплую одежду или крепкую обувь. Делалось это довольно открыто, на глазах охраны. Старый уголовный мир царской России теперь сильно разросся. Гражданская война, разруха, голод начала двадцатых годов наложили на уголовный мир свой отпечаток. Уже тогда в него вливались беспризорные. Впоследствии коллективизация и другие социальные эксперименты разрушили еще много миллионов семей и предоставили уголовному миру новые подкрепления.

Процент осужденных по уголовным статьям кодекса колебался в лагерях от десяти до пятнадцати. Но большинство уголовников были так называемыми «бытовиками» — растратчиками либо осужденными за халатность на производстве, за злоупотребления служебным положением и так далее. Настоящие «урки» редко составляли больше пяти процентов лагерного населения. В некоторых лагерях их не было совсем или почти не

было — особенно в лагерях более строгого режима, вроде описанного Солженицыным в «Одном дне Ивана Денисовича». В таких лагерях почти все «зэки» сидели по статье 58 — в истолковании ОСО. В других лагерях «урки» были полновластными хозяевами, и там убийства политзаключенных по ночам в бараках, когда охрана и надзорсостав не решались вмешиваться, были обычным делом. Согласно нескольким свидетельствам, Карл Радек, приговоренный в 1937 году к заключению в лагерях, был убит именно при таких обстоятельствах [1].

К 1940 году НКВД навел больше порядка в лагерных бараках. В то время лишь в отдельных смешанных лагерях, как, например, в Каргополе, охрана смотрела сквозь пальцы на групповые изнасилования. Но и эти эксцессы были подавлены в 1941 году. Однако потом, в годы войны и после нее, контроль значительно ослабел опять. И в случае обычного грабежа или избиения охранники и надзиратели никогда не вмешивались.

Все это ныне подтверждено официальными советскими изданиями. Так, в воспоминаниях генерала армии Горбатова читаем: «В Охотском море со мной стряслось несчастье. Рано утром, когда я, как и многие другие, уже не спал, ко мне подошли два „уркагана“ и вытащили у меня из-под головы сапоги. Сильно ударив меня в грудь и по голове, один из уголовных с насмешкой сказал: „Давно продал мне сапоги и деньги взял, а сапог до сих пор не отдает“. Рассмеявшись, они с добычей пошли прочь, но, увидев, что я в отчаянии иду за ними, они остановились и начали меня снова избивать на глазах притихших людей. Другие „уркаганы“, глядя на это, смеялись и кричали: „Добавьте ему! Чего орешь? Сапоги давно не твои“. Лишь один из политических сказал: „Что вы делаете, как же он останется босой?“. Тогда один из грабителей, сняв с себя опорки, бросил их мне».

Подобные вещи происходили с Горбатовым-заключенным еще несколько раз. Однажды, при покупке банки рыбных консервов у расконвоированного заключенного, у Горбатова выкрали все деньги, письма и фотографии жены, причем уголовники отказались вернуть даже фотографии. А когда Горбатов открыл купленную банку, там вместо рыбы оказался песок.

Горбатов с удивлением убеждался, что охрана ничего против грабежей не предпринимала. В золотопромышленном приисковом лагере Мальдяк Магаданской области, где Горбатов отбывал срок, содержалось четыреста политзаключенных и пятьдесят уголовников. Последние были в привилегированном положении и тем или иным путем лишали политических значительной части даже положенного им ничтожного рациона:

«Работа на прииске была довольно изнурительная, особенно если учесть плохое питание. На более тяжелую работу посылали, как правило, „врагов народа“, на более легкую — „друзей“, то есть уркаганов. Из них же, как я уже говорил, назначались бригадиры, повара, дневальные и старшие по палаткам. Естественно, что то незначительное количество жиров, которое отпускалось на котел, попадало прежде всего в желудки „друзей“. Питание было трех категорий: для невыполнивших норму, для выполнивших и для перевыполнивших. В числе последних были „друзья“. Хотя они работали очень мало, но учетчики были из их же компании, они жульничали, приписывая себе и своим выработку за наш счет. Поэтому уголовники были сыты, а мы голодали» [1].

Вне лагерных зон — на пересылках, этапах, станциях и т. п. — уголовников вообще почти не ограничивали. У них в обычае было играть в карты на одежду какого-нибудь соседа, политзаключенного. Проигравший должен был раздеть жертву и отдать вещи выигравшему. Шла игра и на жизни заключенных. Заключенный венгр, сидевший в лагерях на Воркуте в 1950—51 годах, сообщает о такой игре на чужую жизнь между малолетними преступниками — подростками по 15 лет. Проигравший был обязан зарезать того несчастного, кого заранее избрали жертвой.

Вообще малолетние правонарушители — обычно в возрасте от 14 до 16 лет — редко появлялись во «взрослых» лагерях, они главным образом содержались отдельно. «Малолетки», как их называли в лагерном мире, были наиболее ужасающим элементом в советском обществе. Они были совершенно асоциальны. Убийство для них ничего не значило. Из таких несовершеннолетних сформировалось ядро широкого слоя хулиганствующей молодежи — слоя, по сей день существующего в Советском Союзе. С политической точки зрения банды хулиганов могут в любой момент стать штурмовыми отрядами, используемыми какой угодно группировкой в случае волнений в стране.

В воспоминаниях генерала Горбатова фигурирует беспалый уголовник, объясняющий генералу, как он лишился трех

[1] См. Gustav Herling. «A World Apart». New York, 1951, p. 22; V. and E. Petrov. «Empire of Feir». London, 1956, p. 68—69.

[1] А. А. Горбатов в «Новом мире», 1964, № 4, с. 127. Отметим, что при издании воспоминаний Горбатова отдельной книжкой («Годы и войны») выражение «плохое питание» смягчено на «малокалорийное питание», а слово «друзья» опущено и заменено словами «уголовники» или «урки» (цитируемое место см. а ней на с. 146).

пальцев на руке: он проиграл другому вору одежду какого-то политзаключенного, но не успел стащить вещи с «политика», потому что того внезапно увезли на этап. Над ним немедленно учинили суд за невыплату долга и приговорили к отрубанию пальцев, причем уголовник-истец требовал отрубить все пять, но «совет старейшин» присудил отрубить только три. «У нас тоже есть свои законы»,— говорил беспалый. Однажды при групповом изнасиловании женщин на борту магаданского теплохода с заключенными, воровской вожак указал женщину, которую собирался взять себе, но какой-то уголовник перехватил ее раньше. Этому уголовнику в виде наказания выкололи глаза иглой. Другого вожака, тоже на борту теплохода, самого постигла печальная участь: он проиграл в карты хлебный паек всей бригады, и уголовники, осудив его, разрубили на куски.

Уголовники (носившие такие клички как «Вошь», «Гитлер», «Кнут») в тридцатые годы назывались на жаргоне «урками» или «уркаганами». Позднее они именовались «блатными», а сами о себе говорили, что они «в законе» — то есть подчиняются лишь законам уголовного мира.

Одним из этих законов (в то время неукоснительно соблюдавшимся, а позже, как говорят, видоизмененным) был отказ настоящего «урки» от работы. Поскольку приказы воровского штаба в пределах лагеря были столь же эффективны, как распоряжения лагерной администрации, с этим обычно ничего нельзя было поделать. Есть свидетельство об одном коменданте лагеря, который назначал «урок» на фиктивные работы, существовавшие только на бумаге. Как отмечает Горбатов в приведенном выше отрывке, уголовники фактически имели негласное соглашение с лагерными властями насчет того, что за них (и за себя, конечно) будут работать политические. Разумеется, уголовники-бытовики и воришки, еще не возведенные «в закон», работали тоже.

Женская доля

Высокий процент среди женщин в лагерях составляли уголовные преступницы. В основном они были грубы и бесстыдны. Правда, есть воспоминание о женщине-уголовнице, которая при людях, даже в бане, никогда не снимала панталон: татуировка на нижней части ее живота была столь неприличного свойства, что «даже владелица несколько стеснялась этих рисунков».

По воспоминаниям тех лет, женщины, принадлежавшие к уголовному миру, звали себя «фиалочками», а политических заключенных звали с оттенком презрения «розочками»; в дальнейшем за ними укрепилось — и, по-видимому, держится до сих пор — жаргонное имя «воровайки». Единственными представителями чуждого им круга, к которым «фиалочки» относились более или менее сдержанно, были заключенные монахини.

В целом женщины в лагерях выживали чаще, чем мужчины. Вероятно, поэтому свидетельств женщин, прошедших лагеря, пропорционально больше, чем свидетельств мужчин. Фактически, по надежным данным, в лагерях содержалось менее десяти процентов женщин, причем очень многие из них принадлежали к уголовному миру. Тем не менее и этих десяти процентов было достаточно, чтобы заполнить «неисчислимые общие и женские концлагеря на Севере», которые упоминает Пастернак в «Докторе Живаго».

В общих лагерях женщины, не принадлежавшие к преступному миру, нередко подвергались групповому изнасилованию уголовниками или продавали себя за хлеб или отдавались «под защиту» какого-нибудь лагерного начальника. Те, которые не отдавались, шли на тяжелейшие работы, пока не капитулировали. В. Кравченко рассказывает следующую типичную историю из жизни заключенных на Беломорско-Балтийском канале. Молодая женщина отказалась уступить домогательствам начальника. Тогда он послал ее на работу вместе с группой уголовников-мужчин. Те в тот же вечер завязали ей глаза, изнасиловали и вырвали у нее изо рта несколько золотых зубов. Жаловаться было некому, потому что начальник лагеря, как было хорошо известно, сам изнасиловал несколько женщин-заключенных.

Охрана и надзиратели часто бывали жестоки с женщинами. В 1963 году на французском языке вышли воспоминания женщины, сидевшей в советских лагерях. Она пишет о молоденькой девушке, опоздавшей выйти на работу и спрятавшейся под настил пола. На нее напустили сторожевых собак, а сами охранники выволокли ее из укрытия с такой жестокостью, что буквально оскальпировали. Эта семнадцатилетняя девушка отбывала срок за кражу картошки[1]. Кстати говоря, свидетельства о пребывании в лагерях семнадцатилетних и даже шестнадцатилетних девушек относительно многочисленны.

Порядочные люди среди заключенных делали для женщин, что могли. Однако деморализация женщин из-за ухудшения физических условий существования была исключительно интенсивной. «Я думаю,— пишет Кравченко,— что нет более ужасного зрелища для нормального человека, чем несколько сот грязных, болезненного вида, опустившихся женщин. Романтизм, свойственный любому мужчине, глубоко этим возмущается».

[1] Andrée Sentaurens. «Dix-sept ans dans les camps soviétiques». Paris, 1963, p. 122.

В только что упомянутой книге Андре Сенторен рассказывает свою жизнь простой француженки, вышедшей замуж за русского, выехавшей с ним в СССР и там разошедшейся с мужем. Выехать из страны ей, однако, не разрешили и в 1937 году арестовали. Она получила восемь лет как «жена врага народа». Среди эпизодов ее жизни в лагере есть такой. Колонну женщин гнали под конвоем сорок километров, а потом два часа держали перед воротами в зону под проливным холодным дождем — начальство смотрело кинофильм и не желало отвлекаться на прием заключенных[1].

В лагерях тех лет было очень мало тракторов или лошадей. Тяжести перетаскивали на бревнах-волокушах. По свидетельству Кравченко, в волокушу впрягали либо пятерых мужчин, либо семерых женщин. Аналогичное свидетельство польского журналиста, бывшего заключенного: в лагерях на Печоре, где он отбывал срок, несколько сот женщин перетаскивали тяжелые бревна, а позже — рельсы для строившейся железной дороги.

В 1937 году на Потьме, в Мордовии, было организовано в составе лагерного комплекса особое лаготделение для семи тысяч жен и сестер «врагов народа». Позже лагерь был расформирован, часть женщин отправили в Караганду, а около двух тысяч — в район станции Сегета Кировской железной дороги. Есть сообщения, что эти женщины были освобождены по амнистии 1945 года.

На новых местах

Быстрое расширение лагерной сети при Ежове знаменовалось открытием все новых и новых лагерей. Например, в Архангельской области Каргопольлаг, состоявший из множества отделений, расположенных в радиусе пятидесяти пяти километров, насчитывал в 1940 году около тридцати тысяч заключенных; этот лагерь был основан в 1936 году силами всего шестисот заключенных, которых просто высадили из поезда среди леса, после чего они построили себе бараки и огородили зону. Смертность среди этих первых обитателей Каргопольского лагеря была очень высока. По свидетельству одного из них, Герлинга, первыми погибали находившиеся в этом контингенте польские и немецкие коммунисты, за ними представители азиатских меньшинств.

Несомненно, Борис Пастернак пользовался рассказами своих друзей, прошедших лагерные ужасы, когда описывал устройство нового лагеря:

«Партию вывели из вагона. Снежная пустыня. Вдалеке лес. Охрана, опущенные дула винтовок, собаки овчарки. Около того же часа в разное время пригнали другие новые группы. Построили широким многоугольником во все поле, спинами внутрь, чтобы не видали друг друга. Скомандовали на колени и под страхом расстрела не глядеть по сторонам, и началась бесконечная на долгие часы растянувшаяся унизительная процедура переклички. И все на коленях. Потом встали, другие партии развели по пунктам, а нашей объявили: „Вот ваш лагерь, устраивайтесь, как знаете". Снежное поле под открытым небом, посередине столб, на столбе надпись „ГУЛАГ 92 Я Н 90" и больше ничего.

...Первое время в мороз голыми руками жердинник ломали на шалаши. И что же, не поверишь, постепенно сами обстроились. Нарубили себе темниц, обнеслись частоколами, обзавелись карцерами, сторожевыми вышками,— все сами. И началась лесозаготовка».

Есть совершенно аналогичное свидетельство поляка-заключенного. Его вместе с другими, одетого в лохмотья, пригнали в некий пункт замерзшей тундры, где не было ничего кроме знака: «Лагпункт № 228». Заключенные вырыли землянки, покрыли грунтом и мерзлыми ветками, стали жить. В пищу давали ржаную муку, замешанную на воде.

Есть показания и другого заключенного, относящиеся к 1939 году. Его этап пригнали к временному лагерю, который даже при максимальном уплотнении не мог вместить больше одной пятой части прибывших зэков. Не поместившихся оставили на несколько дней вне лагеря в грязи. Люди стали жечь костры, используя доски от лагерных бараков, за что охранники бросались на них и избивали. Дважды в день давали по трети литра супа и примерно полкило хлеба на сутки.

Прибывая в уже устроенные лагеря, заключенные подвергались сортировке по категориям труда. Для этого достаточно было осмотреть их ноги. Первая категория означала пригодность к наиболее тяжелым физическим работам. (Евгения Гинзбург рассказывает, как первую категорию дали политзаключенной Тане Станковской «за четыре часа до смерти».) Затем заключенных разводили по баракам, где, как пишет Солженицын, «на пятидесяти клопяных вагонках спало двести человек» — на досках или матрасах, набитых «спрессованными опилками».

Повсюду было переполнено и тесно. В. Кравченко в бытность директором завода в Кемерове договаривался с НКВД

[1] Andrée Sentaurens. «Dix-sept ans dans les camps soviétiques». Paris, 1963, p. 119.

о поставке заводу двух тысяч зэков. Трудность состояла не в том, где их взять, а в том, как разместить их по имевшимся в округе лагерям. Хозяйственникам показали лагерь, где, казалось, яблоку негде было упасть — но комендант этого лагеря согласился со своим начальником, что можно устроить в бараках дополнительный ярус нар и втиснуть еще больше заключенных.

В бараках имелись печи, но они не могли дать достаточно тепла этим хибарам, наскоро построенным в Арктике. К тому же «дают дневальным на каждую печку по пять килограмм угольной пыли, от нее тепла не дождешься», пишет Солженицын. И он же рассказывает еще об одной принадлежности барака: «Тяжело ступая по коридору, дневальные понесли одну из восьмиведерных параш. Считается инвалид, легкая работа, а ну-ка, поди вынеси, не пролья!».

Не считая воров-блатных, которые в нештрафных лагерях хозяйничали, как хотели, заключенные представляли собой разношерстный набор «политиков». Непременно были «вредители» — специалисты, инженеры. На первых порах они использовались на технических работах, но когда террор принял массовый характер, в лагерях оказалось столько инженеров и вообще специалистов, что шансы получить техническую должность (чем многие до того спасались от верной смерти) стали пропорционально ниже.

В рассказе о лагерях Джезказгана[1] в числе заключенных упоминаются бывший член коллегии ЧК и посол в Китае, солист Большого театра, неграмотные мужики и генерал ВВС. Обычными категориями заключенных были бывшие военнослужащие, интеллигенты, а как особые категории — «националы» (национальные меньшинства, украинцы и другие) и «религиозники» (активные верующие и члены сект). Солженицын указывает, что баптисты попадали в лагерь иногда просто за молитву. За это в те времена, о которых он пишет, «всем вкруговую по двадцать пять сунули. Потому пора теперь такая: двадцать пять, одна мерка». Есть многочисленные сообщения о сектантах, избитых или посаженных в карцер за отказ от работы в воскресенье. В 1937 году в лагере видели священника, потерявшего зрение от побоев.

Как во все времена бед и притеснений, в те годы процветали хилиастические секты. Подобные же голоса — от имени угнетенных и потерявших надежду — доносятся до нас из эпох великих рабовладельческих империй. В годы террора некоторые секты проповедовали, что переживаемые ужасы ниспосланы Богом как испытание и что из униженного и деморализованного русского народа поднимается народ святых. В ноябре 1965 года на Воркуте все еще оставалось больше религиозных общин различного толка, чем в других районах страны[1]. Неудивительно: ведь на Воркуте осели бывшие заключенные тамошних лагерей и среди них много людей с обостренными религиозными и национальными чувствами.

[1] Б. Дьяков в «Октябре», 1964, № 7 («Повесть о пережитом»).

Права заключенных были практически сведены к разрешению подавать письменные жалобы и заявления. Результат (по Солженицыну): «Ждут, время считают: вот через два месяца, вот через месяц ответ придет. А его нету. Или: „отказать“». К тому же начальство недолюбливало тех, кто надоедал ему жалобами.

Однако в каторжных лагерях была определенная свобода слова:

«А в комнате орут:

— Пожалеет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!

Чем в каторжном лагере хорошо — свободы здесь от пуза. В устьижменском скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают. А здесь кричи с верхних нар что хошь — стукачи того не доносят, оперы рукой махнули.

Только некогда здесь много толковать...» [1].

Многие воспоминания бывших лагерников содержат рассказы о заключенных, оставшихся преданными партии и правительству и объяснявших свой арест ошибкой. Обычно такие «преданные» основательно раздражали других заключенных. В некоторых случаях — хотя и не всегда — эти люди становились доносчиками, стукачами. Так или иначе обычная практика НКВД состояла в том, чтобы иметь много стукачей. Тех из них, кого разоблачали, рано или поздно убивали в лагерях. Если лагерное начальство не успевало вовремя убрать стукача из зоны, то по поводу его смерти шума обычно не поднимали. В книге Герлинга есть рассказ о бывшем известном следователе НКВД, который попал в лагерь и был там опознан. Его поначалу сильно избили, однако не убили до смерти; он бросился искать защиты у надзирателей, но те ничего не предприняли для его спасения, и через месяц, после бесконечных издевательств и напрасных попыток жаловаться, его прикончили.

Распорядок дня

Побудка, как сообщает большинство очевидцев, давалась обычно в пять утра ударами молотка о кусок рельса, висевший перед надзирательской. Любой заключенный, которого через несколько минут после побудки заставали еще на койке, мог получить на месте несколько суток штрафного изолятора. Зимой в этот час еще темно. Прожектора «били по зоне наперекрест с дальних угловых вышек». Помимо колючей проволоки и охранников на вышках, во многих лагерях использовали для охраны еще и собак. Их длинные цепи заканчивались кольцами, и кольца эти скользили по проволоке, натянутой между вышками. Скрежет этих колец по проволоке вспоминается многими бывшими заключенными как непрерывный звуковой фон.

[1] См. «Науку и религию», 1965, № 11.

Первой заботой заключенных на протяжении всего дня была пища. Утром раздавался завтрак — наиболее приятная часть дневного рациона (позже мы подробнее рассмотрим питание заключенных — центральный момент всей системы норм и ключ к сталинским расчетам на эффективный рабский труд).

Затем происходил развод на работу. Заключенных выводили из лагерной зоны бригадами, обычно по двадцать-тридцать человек в каждой. Заучало предупреждение («молитва») конвоя:

«Внимание, заключенные! В ходу следования соблюдать строгий порядок колонны! Не растягиваться, не набегать, из пятерки в пятерку не переходить, не разговаривать, по сторонам не оглядываться, руки держать только назад! Шаг вправо, шаг влево — считается побег, конвой открывает огонь без предупреждения! Направляющий, шагом марш!».

«Не считая сна, лагерник живет для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином». Люди так недосыпали, что как только находили уголок потеплей, их сразу же бросало в сон. Если воскресенье бывало свободным днем (а таковым бывало не каждое воскресенье), то люди спали, сколько могли.

С обувью, как свидетельствует Солженицын, ситуация могла меняться. «Бывало, и вовсе без валенок зиму перехаживали, бывало, и ботинок тех не видали, только лапти да ЧТЗ (из резины обутка, след автомобильный)». Одежду без конца латали и чинили: «заключенные... одетые во всю свою рвань, перепоясанные всеми веревочками, обмотавшись от подбородка до глаз тряпками от мороза».

По многим воспоминаниям, язвы на теле — следствие грязной одежды — были общим явлением. Одежда время от времени подвергалась дезинфекции, когда заключенных водили в баню. В лагере, где сидел солженицынский Иван Денисович, баня была примерно раз в две недели. Но часто для мытья и стирки белья не оказывалось мыла.

Можно было заявить о плохом самочувствии и получить освобождение от работы на один день. Но если уж заключенного признавали больным и выписывали ему больничное питание — это обычно означало, что жить такому человеку оставалось недолго. Впрочем, освобождение на день тоже зависело не только от состояния здоровья — была еще и квота: «Но право ему было дано освободить утром только двух человек — и двух он уже освободил». Евгения Гинзбург вспоминает, что освобождение от работы лекарь давал, «начиная с 38 градусов и выше».

В книге Далина и Николаевского есть такое описание медосмотра в строящемся лагере:

«Нарядчик и лекпом, вооруженные палками, входят в землянку. Начальник спрашивает первого встречного, почему тот не выходит. „Я болен“ — следует ответ. Лекпом пробует пульс и определяет, что человек здоров. На заключенного обрушивается град ударов, его выбрасывают наружу. „Почему не идешь на работу?“ — спрашивает начальник следующего. „Болен“ — все тот же упрямый ответ. Накануне этот заключенный был у лекпома и отдал ему последнюю вшивую рубаху. Теперь лекпом считает его пульс и находит высокую температуру. Человек освобожден. Третий заключенный отвечает, что у него нет ни одежды, ни обуви. „Возьмите одежду и обувь у больного“,— нравоучительно приказывает начальник. Больной протестует, и его вещи стаскивают силой».

Старый опытный заключенный Иван Шухов в повести Солженицына знает, что утром на работу надо идти медленно: «Кто быстро бегает, тому сроку в лагере не дожить — упарится, свалится». Вообще те заключенные, которые выживали в первые месяцы лагерного существования, становились необыкновенно изощренными в трудном искусстве сохранять жизнь. Вместе с тем их приемы и обычаи делались традицией, входили в постоянный обиход. Например, Солженицын описывает, как заключенные подбирали щепу на строительной площадке, делали вязаночки и несли в лагерь. Носить дрова в лагерь было запрещено, однако охрана ничего не предпринимала, пока колонна не приближалась к самому лагерю. Здесь заключенным приказывали бросить дрова: охранники тоже нуждались в дополнительном топливе, а носить дрова своими силами, вместе с автоматами, не могли.

Заключенные бросали вязаночки, но не все. При проходе через вахту следовал повторный приказ бросить топливо, и опять лишь часть оставшихся дров сбрасывалась на землю. В конце концов заключенным удавалось пронести в зону некоторую долю своей топливной добычи. Это устраивало обе стороны — и заклю-

ченных и охрану. Ведь если бы дрова при входе в лагерь отбирались подчистую, то заключенным не было бы смысла собирать их в рабочей зоне и нести с собой; они перестали бы это делать, и охрана осталась бы без дополнительного топлива. Тем не менее никакого открытого соглашения на этот счет не существовало. Соглашение было вполне негласным.

Так, в микрокосме, можно наблюдать становление правил и традиций нового общественного порядка.

В те годы сформировались и подлинно кастовые предрассудки. Заключенных стали считать людьми худшего сорта, как в древние времена. Постепенно распространилось мнение, что даже простой контакт с заключенными был чем-то унизительным для вольного человека. Считалось недопустимым, чтобы вольнонаемный ел ту же пищу, что и заключенные, спал с ними под одной крышей или находился с кем-либо из них в дружеских отношениях. Доходило до крайностей. Известен случай, когда начальник лагеря сделал выговор оператору лагерного санпропускника: как смел он пустить в прожарку вместе с вещами заключенных рубаху вольнонаемного механика электростанции?

Вольнонаемные граждане на Колыме иногда пытались помочь заключенным, с которыми вместе работали. Вольные «врачи, инженеры, геологи по мере возможности старались освобождать товарищей по профессии из числа невинно осужденных от катания тачки и использовать их по специальности»[1]. Один геолог, аттестуемый как «рыцарь Севера», отдал жизнь при попытке защитить нескольких узников от произвола. Вот примерный диалог этого человека с начальством:

«— Поторапливайтесь, товарищ! Люди могут погибнуть!

— Какие же это люди? — усмехнулся тот (представитель лагерной администрации).— Это враги народа!»[2].

Есть множество свидетельств о том, что лагерное начальство, в том числе порою и врачи, рассматривало заключенных как своих рабов. Даже в деталях сортировка заключенных по прибытии в лагерь напоминала иллюстрации к книгам о работорговле. Некто Самсонов, начальник Ярцевского лаготделения, обычно удостаивал своим присутствием медосмотр вновь прибывших и с довольной улыбкой щупал их бицепсы и плечи, хлопал по спинам. Существовало мнение, что советская система принудительного труда «это шаг на пути к новому социальному расслоению, включающему слой рабов» в древнем, прямом смысле слова. Последующие события, однако, приняли другое направление.

В нашумевшей статье «Иван Денисович, его друзья и недруги» литературный критик В. Лакшин писал: «Вся система заключения в лагерях, какие прошел Иван Денисович, была рассчитана на то, чтобы безжалостно подавлять, убивать в человеке всякое чувство права, законности, демонстрируя и в большом и в малом такую безнаказанность произвола, перед которой бессилен любой порыв благородного возмущения. Администрация лагеря не позволяла зэкам ни на минуту забывать, что они бесправны и единственный судия над ними — произвол».

В сороковые годы заключенный каторжного лагеря был обязан «перед надзирателем за пять шагов снимать шапку и два шага спустя надеть». А вот слова начальника конвоя после того, как в результате повторных путаных проверок нашелся недостающий заключенный:

— «Что-о? — начкар заорал.— На снег посадить? Сейчас посажу. До утра держать буду.

Ничего мудрого, и посадят. Сколь раз сажали. И клали даже: „Ложись! Оружие к бою!“ Бывало это все, знают зэки».

Буквально все воспоминания бывших заключенных содержат сведения о применении охраной физической силы. Отказ от работы наказывался по-разному: на Дальнем Востоке немедленным расстрелом, в других местах выкидыванием раздетого человека на снег, пока не сдастся, в большинстве же лагерей «кондеем» — карцером с 200 граммами хлеба в день. За повторный отказ наиболее вероятной была смертная казнь. Не только «саботаж», но и «антисоветская пропаганда» могли наказываться смертью.

Периодическое подтягивание лагерной дисциплины вело к массовой раздаче наказаний за самые незначительные проступки. Ссылки заключенных на правила внутреннего распорядка рассматривались как повторный и злостный отказ от работы. Известно, что именно по такому обвинению в Караганде было расстреляно в 1937 году четыреста человек одновременно. В лагере возле Кемерова произошел «бунт». В действительности была забастовка протеста против гнилой пищи. Четырнадцать зачинщиков забастовки — двенадцать мужчин и две женщины — были расстреляны перед строем заключенных, а потом команды от всех бараков рыли им могилы.

Кроме этих дисциплинарных казней, часто открыто объявлявшихся по лагерям для пущего устрашения заключенных, было много убийств и другого сорта. Из Москвы поступали приказы о ликвидации определенного числа бывших участников оппозиции — и эти приказы выполнялись после беглого опроса намеченных жертв.

[1] В. Осипов в «Литературной газете», 4 апр. 1964 г.
[2] Там же.

Допрос касался не лагерной жизни, а будто бы вновь открывшихся обстоятельств их основного преступления, после чего оно переквалифицировалось в наказуемое высшей мерой. В некоторых случаях, для массовых операций такого рода, в лагеря направлялись особо уполномоченные комиссии, в распоряжение которых передавались на время обширные помещения. Туда свозили обреченных для допросов и последующих казней. Есть свидетельство об одном таком центре на Воркуте — он действовал зимой 1937 года на заброшенном кирпичном заводе, и там было уничтожено около тысячи трехсот заключенных.

В большинстве крупных лагерных районов существовали также особые и совершенно секретные «центральные изоляторы», обслуживавшие целую группу лагерей каждый. Есть свидетельство, что за два года — 1937 и 1938 — в центральный изолятор Бамлага (Байкало-Амурский комплекс лагерей) было переведено около пятидесяти тысяч заключенных и там уничтожено. Жертвы связывали проволокой, грузили как дрова на машины, везли в укромные места и расстреливали[1].

Венгерский писатель-коммунист Лендьел, ветеран-заключенный сталинских лагерей, описывает один из таких лагерей уничтожения возле Норильска в своем рассказе «Желтые маки». Закрытие этого лагеря было выполнено так: сперва расстреляли всех оставшихся заключенных, а потом прибыли спецкоманды НКВД и расстреляли персонал и охрану закрываемого лагеря. Из-за вечной мерзлоты похоронить убитых было невозможно, и из трупов сделали естественно выглядевшие холмики, сложив их кучами и засыпав привезенным на грузовиках грунтом. Даже в ближайших лагерях об этом ничего не знали — и не узнали даже тогда, когда бывший лагерь смерти заняла тюремная больница.

Но и обычное наказание, отбываемое в штрафных изоляторах, имевшихся при каждом лагере, могло быть смертельным. Вот описание:

«Сами клали БУР, знает 104-я: стены там каменные, пол цементный, окошка нет никакого, печку топят — только чтоб лед со стенки стаял и на полу лужей стоял. Спать — на досках голых, если зубы не растрясешь, хлеба в день — триста грамм, а баланда — только на третий, шестой и девятый дни.

Десять суток! Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца,— это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулез, и из больничек уже не вылезешь.

А по пятнадцать суток строгого кто отсидел — уж те в земле сырой».

Но и среди тех, кто избежал карцера, процветал авитаминоз. Герой Солженицына, лишившийся зубов от цинги в Печорском лагере Усть-Ижма, где он «так доходил, что кровавым поносом начисто его проносило», оказался счастливцем и оправился. Вообще же от цинги открывались раны, гноились нарывы на теле.

Столь же распространенной была и пеллагра. Постоянно угрожала заключенным пневмония — обычно со смертельным исходом. Часто можно было видеть признаки дистрофии — опухание ног и лица, а на последней, гибельной стадии — вздутие живота. В показаниях лиц, сидевших в сельскохозяйственных лагерях, отмечаются эпидемии бруцеллеза. В северных лагпунктах частым явлением была гангрена с последующей ампутацией конечностей. Туберкулез был частой и непосредственной причиной смерти. У женщин-заключенных примерно через два года лагерной жизни развивались постоянные маточные кровотечения.

Позднее вошло в обычай, когда труп приносили в морг, «разбивать голову большим деревянным молотком, перед тем, как отвозить в могильник».

Из лагерей иногда происходили побеги, но очень редко успешные. Это были акты отчаяния; и, конечно, степень людского отчаяния была достаточной, чтобы толкнуть на что угодно. В районе Печоры НКВД выдавал пять кило белой муки за поимку беглого зэка. В начале тридцатых годов крестьяне в разных районах страны еще укрывали беглых, но в годы всеобщего террора колхозники, запуганные насмерть, делали это уже неохотно и редко. Тем не менее, изредка побеги удавались. Особенно цыганам, если им удавалось достичь любого цыганского табора. Там была полная солидарность и надежное укрытие.

Успешные побеги совершили также некоторые выдающиеся личности, как, например, испанский коммунист, генерал республиканской армии Эль Кампесино.

Заключенных, пойманных при побеге, всегда жестоко избивали и почти всегда расстреливали.

За каждый побег заключенного из колонны вне лагеря охранников судили как соучастников и приговаривали к двум-трем годам, причем этот срок они отбывали также в должности охранников, но без оплаты. Это делало охранников исключительно настороженными и бдительными. В самом лагере тоже «если кто бежал — конвою жизнь кончается, гоняют их без сна и еды. Так так иногда разъярятся — не берут беглеца живым».

В результате такой сверхбдительности заключенных постоянно считали и пересчитывали:

[1] «Социалистический вестник», 1951, № 1—3.

«А второй вахтер — контролер, у других перил молча стоит, только проверяет, счет правильный ли.

И еще лейтенант стоит, смотрит.

Это от лагеря.

Человек — дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет — свою голову туда добавишь».

«Считают два раза при выходе: один раз при закрытых воротах, чтоб знать, что можно ворота открыть; второй раз — сквозь открытые ворота пропуская. А если померещится еще не так — и за воротами считают».

Здесь мы встречаем одну из нескольких интересных параллелей с рассказом Достоевского о каторге сороковых годов прошлого века — с его «Записками из мертвого дома». Вот как описывал аналогичную процедуру Достоевский:

«Поверка производилась унтер-офицером с двумя солдатами. Для этого арестантов выстрвивали иногда во дворе, и приходил караульный офицер. Но чаще эта церемония происходила домашним образом: поверяли по казармам. Так было и теперь. Поверяющие часто ошибались, обсчитывались, уходили и возвращались снова. Наконец, бедные караульные досчитались до желанной цифры и заперли казарму».

Сравнивая нынешнее столетие с прошлым, мы видим, что во времена Достоевского арестанты имели значительную большую свободу внутри лагеря. Да и вне его они были не под такой суровой охрвной, хотя Достоевский подчеркивает: арестанты мертвого дома отбывали несравненно худшую из трех разновидностей каторги. Правда, в остроге у Достоевского главным наказанием за внутренние провинности был не изолятор, а страшные розги, от которых человек иногда умирал; но за этим исключением жизнь арестантов мертвого дома была куда приятнее той, какую описывают Солженицын и другие авторы лагерных воспоминаний. В самом деле, каждый арестант имел сундучок с замком и ключником; узники содержали домашних животных; они не работали по воскресеньям, по церковным праздникам и даже в дни своих именин. Евреи и мусульмане имели параллельные привилегии. Питание каторжников у Достоевского было намного, несравненно лучше, а больным каторжникам разрешалось выходить в город и покупать табак, чай, говядину, а на Рождество — так даже молочных поросят и гусей. Хлеба у них было так много, что они подкармливали им даже водовозную клячу.

Между тем, арестанты мертвого дома были ведь действительно преступниками — часто убийцами, как главный герой Горянчиков,— хотя из тридцати каторжан в казарме и была дюжина политических.

Остроги того типа, какой описан Достоевским, были в пятидесятых годах XIX века ликвидированы (писатель указывает, что пишет о временах прошедших). Однако заключенные сталинских лагерей — не литературные персонажи, а живые люди — могли делать и другие сравнения. Например, один польский коммунист до того, как попасть в советские лагеря, отбыл два года в польской тюрьме Вронки для политических преступников. Там, в польской тюрьме, заключенных запирали только на ночь, а днем им разрешали гулять в саду; им разрешали получать от родных и знакомых любые книги, корреспонденция не ограничивалась и раз в неделю полагалвсь баня; наконец, их было всего пять в большой камере.

Невидимая империя

Нв огромных просторах Севера и Дальнего Востока СССР под управление НКВД переходили целые районы, равные по площади иным немалым государствам. Разумеется, множество лагерей было рассыпано по Уралу, по Архангельской области, а особенно вокруг Караганды и Турксиба. Но все это были сравнительно небольшие владения НКВД. Даже в карагандинском комплексе содержалось «всего» около полутораста тысяч заключенных, и лаготделения Карлага были разбросаны среди поселков, где жили и вольные и ссыльные.

Эти ссыльные или твк называемые «вольные поселенцы» представляли собой тех, кто даже в глазах карательных органов выглядели ни в чем не виноватыми. По некоторым свидетельствам, они в ряде районов нередко бродяжничали, ночевали где попало, выпрашивали на хлеб и подряжались на любую работу — а иногда даже просились под арест, чтобы спастись от голода.

Двумя крупнейшими, подлинно колониальными владениями ГУЛАГа были, однако, огромнвя территория на севере европейской России за Котласом — примерно совпадающая с границами Коми АССР,— и еще более обширный район Дальнего Востока вокруг колымских золотых приисков. До прихода НКВД в качестве новых хозяев эти районы были заселены лишь горсткой русских и несколькими тысячами представителей арктических народностей. Через десять лет там было от миллиона с четвертью до двух миллионов заключенных.

Теперь и в Советском Союзе и за его пределами опубликованы достоверные свидетельства о том, что происходило в обоих крупнейших лагерных комплексах. Воспоминания генерала Горбатова, произведения Солженицына и другие опубликованные в Москве работы подтверждают

и дополняют большое количество материалов, давно имеющихся на Западе.

Советская Арктика — особый мир. Ощущения арестанта, выброшенного из нормальной жизни, усиливаются местными физическими условиями. Зимой это исключительный, невообразимый мороз; это короткие дни, когда огромное багровое солнце на считанные часы восходит над горизонтом — или, глубже в Арктике, лишь подсвечивает небо, не появляясь; это беззвучно переливающиеся ионные потоки северного сияния. Летом — долгие-долгие дни, мошкара, слякотное болото оттаявшей почвы с необычной растительностью — мхами, лишайниками, карликовыми деревцами; и подо всем этим вечная мерзлота, твердая, как камень. К югу от этой полярной тундры лежит еще более дикий лесной пояс — тайга, в которой был размещен громаднейший комплекс лесных лагерей.

Перевод с английского
Л. ВЛАДИМИРОВА

Продолжение следует

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

[1] Здесь и далее в гл. 10 все прямые цитаты, не оговоренные в тексте или в подстрочных примечаниях,— из повести «Один день Ивана Денисовича» и романа «В круге первом» А. Солженицына.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Вс. ВИЛЬЧЕК

АЛГОРИТМЫ ИСТОРИИ

Вместо вступления

Виноват ли в нашем кризисе Маркс?

Социалистический мир переживает глубокий кризис. Едва ли думающих людей могут удовлетворить попытки объяснить его злой волей отдельных лиц, отступивших от «истинного завета», содержавшегося в работах Ленина 20—22-х годов. Ошибочной оказалась сама доктрина, от которой не отказывался и Ленин, мысливший свои поиски выхода из критической ситуации, созданной Октябрем, в том числе нэп, маневром, временным отступлением, необходимым во имя грядущего торжества коммунизма.

Фундаментальный характер нашего кризиса сегодня уже достаточно очевиден. Появились первые публикации и о его теоретической подоплеке. Другое дело, что и критики Маркса, мягко скажем, не выше критики. Можно говорить о научной несостоятельности той или иной концепции, но нельзя винить концепцию в том, что натворили ее приверженцы: христианство не виновато в злодеяниях крестоносцев.

Разумней заметить: наш «реальный социализм» очень точно описан не Марксом с Энгельсом, а Евгением Дюрингом. Мы строили типично дюрингианский «государственный» социализм, превратив в молитвенник «Анти-Дюринг». Но из этого парадокса нельзя делать и противоположный антимарксистскому вывод: видеть причину нашего кризиса в отступничестве от «истинного» марксизма. Да, мы построили социализм не по Марксу, хотя и вдохновлялись его идеями или оправдывали ссылками на марксизм продиктованные обстоятельствами поступки. Но построить социализм по Марксу было невозможно вообще, ибо нельзя воплотить утопию.

Осмелевшим любителям интеллектуальных пряностей можно предложить сколько угодно курьезов, почитавшихся недавно святынями. Как вам нравится, например, идея о том, что государство — это инструмент подавления одного класса другим, а посему стоит только ликвидировать угнетателей, как государство само собой отомрет за ненадобностью: место госаппарата займет привычка? А утверждение, что многомиллионная прибыль, приносимая, допустим, электростанцией, это неоплаченное рабочее время обслуживающего ее персонала? А предположение, что лишь в среде рабочего класса продолжает жить, не зачахнув, интерес к немецкой классической философии? А пророчество, что разделение общества на социальные классы будет преодолено очень просто: каждый тачечник станет архитектором, а архитектор тачечником?

Я очень долго иронизировал над подобными откровениями, пока однажды не понял: все это *чересчур* абсурдно, чтобы оказаться всего только заблуждением. Такой поразительной слепотой, таким пренебрежением к здравому смыслу могут обладать лишь концепции в основе своей научные.

Научные — недоуменно спросит иной читатель — и в то же время противоречащие опыту, здравому смыслу и очевидности? Да! Научная теория — не обобщение фактов. Обобщение — это другой тип знания: опыт, мудрость, но не теория. Опыт зряч, хотя зрячесть не гарантирует от иллюзий: Солнце ходит вокруг Земли, и это полностью согласуется с очевидностью — в отличие от противоположного утверждения, выглядевшего совершенно безумным. Теория — принципиально слепа, теория — не обобщение фактов (хоть это для нее и подспорье), а логическое развитие аксиоматических исходных посылок — умозрение, истинность или ложность которого выявляет практическая проверка теоретических предсказаний — эксперимент.

Маркс был первым мыслителем, попытавшимся построить собственно научную теорию развития общества, создать не «учение», не идеологическую доктрину, а «естественноисторическую» концепцию, столь же объективную, как физика, химия, математика. Это было крайне рискованным предприятием — строительством небоскреба на плывуне познаний и методологических представлений середины прошлого века. И если грандиозное построение начало входить в противоречие с фактами, то это может означать лишь одно: то, что в основании теории допущен некий просчет, сбой, смещение, «сдвиг по фазе». В этом случае чем упрямей, бескомпромиссней теория, тем к более ошибочным выводам способна она вести; попытки же примирить теорию с фактами с неизбежностью должны оборачиваться разрушением логической структуры теории.

С такой вот догадкой, исследовательской гипотезой я начал некогда перечитывать Маркса, чтобы попытаться ответить на три вопроса:

— Где таится эта роковая ошибка?

— Как изменится общий абрис социальной теории Маркса, содержание ее основных понятий, положений и выводов, если эту ошибку, это смещение устранить?

— Что подобная операция может дать для построения адекватной теории исторического процесса, для понимания того, что с нами произошло, и того, что нас ждет в грядущем?

В начале был образ

Любая концепция исторического процесса предопределена и обусловлена тем, как представляет себе ее автор Начало, первопричину истории: происхождение человека и общества.

Марксизм исходит из предположения, согласно которому человека создал труд. Существуют и другие гипотезы, но не имеет смысла их подробно рассматривать, потому что они пусты. Например: «человека создал бог». Я не хочу оскорбить людей, которые в это верят, но наука начинается там, где вера кончается,— с сомнения и неверья. И если происхождение человека можно убедительно объяснить естественными причинами (а я надеюсь, что можно), то в гипотезе божественного творения отпадает нужда, она оказывается излишней, паразитарной.

«Трудовая» гипотеза, с которой неразрывно связан марксизм,— единственная не пустая гипотеза, однако же ее доказательство наталкивается на ряд препятствий, науке прошлого века попросту неизвестных.

В прошлом веке можно было поверить, что обезьяны, открыв возможность добывать пропитание с помощью орудий труда и организованных коллективных действий, на практике убедившись в преимуществах искусственных орудий перед естественными, в превосходстве нового способа бытия вообще, стали изготавливать орудия и сообща трудиться, тренируя конечности, приучаясь к прямохождению, развивая мозг, создавая средства коммуникации — речь и тому подобное, постепенно эволюционируя в человечество.

Увы: генетика отрицает наследование благоприобретенных признаков, а для отбора мутантов, лучше приспособленных к «человеческому» образу жизни, миллион или даже два-три миллиона лет, отделяющих прачеловека от человека,— слишком короткий срок.

Вторая беда «трудовой» гипотезы антропосоциогенеза — грех модернизации, в который невольно впадают ее сторонники. Они пишут: первобытный человек

догадался, понял, открыл, изобрел и так далее. Но этот «первобытный человек» — обезьяна. Действительно, существо очень догадливое, умное; но чтобы обладать хотя бы частью тех качеств, которые ей были необходимы, чтобы произойти в человека в соответствии с «трудовой» гипотезой, она, обезьяна, предварительно должна была уже быть человеком, находящимся на относительно высокой ступени развития. Чтобы снять это внутреннее противоречие в «трудовой» гипотезе, надо объяснить, каким образом прачеловек мог нечто выдумать, изобрести, открыть, не умея придумывать, изобретать, открывать и решительно ничего не выдумывая, не изобретая и не открывая. То есть объяснить, как искусственные структуры могли складываться естественным, исключающим ссылки на развитый интеллект или особый инстинкт путем. В противном случае интеллект и инстинкт становятся всего только светскими псевдонимами бога.

Самая сложная из проблем, связанных с доказательством «трудовой» гипотезы, таится в самом простом вопросе. Этот вопрос: что такое труд? «Целесообразная деятельность», отвечаем мы не задумываясь. Но целесообразной деятельностью занимаются все животные. Некоторые используют и даже изготавливают орудия. Некоторые целесообразно преобразуют саму среду обитания, координируют совместные действия и так далее. Очевидно, что целесообразная деятельность — это еще не труд; в противном случае надо признать трудом всякое добывание, а также и поедание пищи, устройство гнезда и логова, акты, связанные с продолжением рода (а равно — признать искусством брачные игры и ритуалы зверей и птиц, политикой — защиту территории и потомства, соблюдение иерархии в стае и так далее).

Мы предпочитаем исходить из того, что труд — это специфически человеческий способ деятельности, принципиально отличающийся от жизнедеятельности животных тем, что представляет собою деятельность по условной, искусственной, неврожденной, неинстинктивной программе. Но тогда возникает противоречие, парадокс: чтобы создать человека, труд должен был возникнуть раньше самого человека, то есть специфически человеческой деятельностью должны были заниматься не люди, а обезьяны.

Показанные проблемы кажутся абсолютно неразрешимыми. Тем не менее они разрешимы (хотя смысл «трудовой» гипотезы и само представление о роли и месте труда в антропогенезе при этом существенно уточняются). И несомненно, что ключ к решению этих, казалось бы, неразрешимых проблем дает нам Маркс.

Анализируя в «Капитале» процесс тру-

да, он пишет: «Мы не будем рассматривать здесь первых животнообразных инстинктивных форм труда... Мы предполагаем труд в такой форме, в какой он составляет исключительное достояние человека. Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, а пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей — архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, то есть идеально» (Соч., т. 23, с. 189).

Итак, «идеальная деятельность» — создание представления, образа — в процессе труда предшествует «материальной». Но Маркс не распространяет эту схему на начало истории; чтобы избежать кажущегося смыкания с идеализмом, он вводит понятие «инстинктивных», «животнообразных» форм труда, исподволь, постепенно, как надо понимать, творивших человека и его сознание. Однако повторим: генетика начисто отрицает такую возможность, а деятельность по инстинкту — вообще не труд, «инстинктивный труд» — логическая бессмыслица.

Но знаменитую фразу Маркса можно прочитать и значительно глубже, чем это обычно делается, ибо Маркс сказал этой фразой больше, чем исторически был готов сказать, чем позволяла наука его эпохи. Надо лишь несколько изменить «освещение», создаваемое в высказывании Маркса эпитетами «плохой» (архитектор) и «наилучшая» (пчела), которые смещают смысловые акценты и сам вектор дальнейшего развития мысли, заставляя понимать акт построения «ячейки» в голове (то есть идеально) как только и исключительно преимущество человека. Точнее было бы, думается, сказать иначе: самая плохая пчела отличается от наилучшего архитектора тем, что ей нет нужды строить план в голове,— он ей дан от рождения. Человеку — не дан, и он вынужден с самого начала, как пишет Маркс, но не только с начала конкретного трудового процесса, а с самого начала своей истории, восполнять эту недостачу искусственно: заменив информацию, заключенную в молекуле ДНК, информацией, заключенной в образе.

Стоит поменять местами эпитеты, как в марксовой общеизвестной фразе проявляется виртуально содержащийся в ней глубочайший смысл: очевидное, не требующее доказательств, то есть аксиоматическое отличие человека от животного — деятельность не по инстинкту, не по «мерке вида» (Маркс), а по неврожденной программе,— из следствия, итога антропогенеза превращается в его, антропогенеза, причину. И тогда все становится на свои места.

Животные имеют врожденный, инстинктивный (или хорошо согласованный с инстинктами — «видовой») план жизнедеятельности, а человек его не имеет. Эта самоочевидная истина и дает нам ключ к тайне происхождения человека. Приматы — не венец эволюции. Прачеловек — это очень пластичное, слабо специализированное, то есть, как и другие приматы, относительно низко стоящее на лесенке биологической эволюции существо, в отличие от других обезьян утратившее достаточно надежную коммуникацию с природной средой и себе подобными: инстинктивную видовую программу жизнедеятельности.

Мы не знаем, почему это произошло, но сходный регресс — угасание, ослабление или утрата некоторых инстинктов (в отличие от чуда творения высшего существа) — не чудо и не исключение в биологии. А главное — каким бы ни был механизм утраты тех или иных инстинктов, факт их утраты являет нам вся история человека.

Частичная утрата (ослабленность, недостаточность, поврежденность) коммуникации со средой обитания (дефект плана деятельности) и себе подобными (дефект плана отношений) — и есть *первоначальное отчуждение*, исключавшее прачеловека из природной тотальности.

Данная коллизия глубоко трагична. Как трагедия она и осмыслена в мифе об изгнании перволюдей из рая, причем в мифе метафорически воплощено представление об утрате как плана деятельности («съедение запретного плода»), так и плана отношений в сообществе («первородный грех»). «Изгнанный» из природной тотальности, ставший «вольноотпущенником природы», как назвал человека Гердер, прачеловек оказывается существом свободным, то есть способным игнорировать «мерки вида», преступать непреложные для «полноценных» животных табу, запреты, но лишь негативно-свободным: не имеющим позитивной программы существования.

Подобное ущербное существо было обречено либо погибнуть, либо... оно должно было возместить свою коммуникационную дефективность, неполноценность за счет подражания каким-то другим, «нормальным», инстинктивно «знающим, как надо жить» животным, за счет симбиоза с ними, заимствования их «знаний», «планов» и «технологий», то есть заимствуя не инстинктивной, но именно «животнообразной», осуществляемой по образу и подобию «полноценных» животных деятельностью.

Тем самым животные становятся для прачеловека существами-посредниками, коммуникаторами, медиумами, существами-идеями — «учителями», будущими тотемами: образами, но существующими не идеально, не в голове, а вовне, реально и объективно.

Тотем — животное-«законодатель», «учитель», «хозяин», метафорически осмысленное затем как «родоначальник», «предок». Но известные нам тотемы, конечно же, не первичны, они результат множества превращений. Первым тотемом — «пастырем», «высшим существом», дорелигиозным богом прачеловека, то есть обезьяны дефективной, ущербной, была, скорее всего, нормальная, полноценная обезьяна. В силу самых различных мыслимых обстоятельств симбиоз их мог разрушаться и прачеловеческая обезьянья стая, оставшаяся без пастырей, переходить к жизни по какому-либо иному образу и подобию, например, к симбиозу со стадом копытных. Так же мыслимы ситуации, когда и этот новый коммуникатор вдруг исчезал или превращался в соперника, конкурента в добывании пищи, вызывая враждебность, которую прачеловек мог реализовать путем предательства и измены: отождествив себя с врагом своего тотема — хищником. Вчерашний друг и учитель становился объектом охоты. Поедание его даровало сытость и жизнь, но порождало дисгармонию в стаде (противоречие между планом отношений и планом деятельности), а сокращение численности промыслового вида приводило к трагедии: голоду и вражде с более сильным конкурентом — хищником. Это вынуждало прачеловеческое сообщество защищаться, защищая тем самым и преданного тотема, невольно и объективно возвращаясь к жизни по «истинному», первоначальному плану, допуская убийство и поедание вторично обретенного «предка» лишь как исключительный и коллективный (протосакральный) акт. Акт вожделенный, но страшный, сопряженный с угрозой кары: нападения конкурента, «учителя-преступника», каким и предстает в ранних мифах «культурный герой».

Понятно, что сегодня нам подчас уже очень трудно опознать зверя-учителя-конкурента в дьяволе и т. п. репрессивных архетипах культуры, равно как в христианском обряде — таинстве евхаристии — поедание тотема, бога-пищи. Но теоретически — лишь таким, условно проиллюстрированным нами «духовно-практическим», совершенно естественным образом — «сама собой» — могла созидаваться человеческая культура.

Жизнь по плану животного-тотема очеловечивала прачеловека, хотя внешне это очеловечивание и выглядит чудовищным зверством. Например, в природе существует запрет каннибализма: «ворон ворону глаз не выклюнет», волк не охотится на волка. Но на человека — охотится.

И подражая зверю не-каннибалу, прачеловек становится каннибалом: именно потому, что живет уже не по природной, внутренней, инстинктивной программе, а «по образу и подобию».

Жизнь по чужому плану порождала и множество запретов, ограничений, совершенно бессмысленных для человека как природного существа, не имеющих никаких биологических оснований. Таковы, например, половые табу, синхронизировавшие, как можно предположить, брачные отношения в сообществе с течками и брачными играми у тотема. В остальные периоды особи своего тотема были табу — в противном случае возникала гибельная для сообщества дисгармония между планами отношений и деятельности. Косвенным, культурно-археологическим доказательством именно такого — не «сознательного», а подражательно-рабского происхождения сексуальных запретов может служить их отмена в связи с ритуальным убийством священного жертвенного животного. Но табу не распространялось на членов других тотемов; при встрече — условно — племен «медведя» и «волка» партнеры оказывались в культурном вакууме, в маргинальном пространстве, не находили «общего языка», и поэтому вели себя не как «медведь» и «волк», а как нормальные обезьяны.

(Вспомним утверждение Энгельса, будто инцест — кровосмесительный брак — был запрещен, когда люди открыли опасность кровосмешения и убедились, что экзогамные браки дают более качественное потомство. Увы: даже некоторые дожившие до нового времени архаичные охотничьи племена не усматривают непосредственной связи между соитием и деторождением. Но важнее другое. Едва ли наши темные пращуры могли открыть опасность кровосмешения, будь они даже не менее тонкими аналитиками, чем сам Энгельс, поскольку такой опасности просто-напросто не было. Опасность вырождения — всего вероятней — следствие, а не причина инцестных табу. Она появилась из-за того, что в результате инцестных табу человек сохранял и накапливал рецессивные признаки, становясь биологически неустойчивым существом,— подобно тому как биологически неустойчивы, то есть, в отличие от своих диких сородичей, подвержены опасности вырождения, сельскохозяйственные культуры. Не люди создавали запреты, а запреты создавали людей).

Симбиоз с животным-тотемом спасителен, но в то же время и тягостен для прачеловека, являющего собой пусть ущербное, но все же высокоорганизованное животное. Его инстинкты ослаблены, недостаточны, но все же они, пусть «темные» и «слепые», определенно есть (в противном случае прачеловек утратил бы

волю к жизни, уснул, угас). Жизнь по плану тотема, оказывающегося для прачеловека первым условным, искусственным — протосоциальным — планом, вела к жесточайшему подавлению собственных животных инстинктов прачеловека, порождала невротическую коллизию, создавала напряженность структур психики, формировала тормозные устройства (возможно, заставлявшие замещать, имитировать подавленное действие условными дубликатами: криком, жестом).

...Животное существует в мире «свободной необходимости», ибо живет по инстинктивной, врожденной или частично передаваемой путем обучения, но хорошо согласованной с инстинктом программе; оно является «свободным рабом» — рабом природы в себе. Прачеловек — это странное существо, отпущенное природой на волю, но без достаточных для существования средств, «преступившее» порядок природы, оказывается каторжным, подневольным рабом, попадает в рабскую зависимость от природы внешней ему, чужой. «Свободная необходимость» природы раскалывается на свободу и необходимость, свобода оказывается оборотною стороною рабства, возникает фундаментальная антиномия отчуждения-освобождения, модифицированная затем в антиномиях падения-возвышения, утраты-обретения, преступления-подвига, греховности-святости и так далее,— антиномия, которая извечно решается человеком, но никогда не может быть решена, ибо преодоление этой драматической антиномии было бы преодолением сущности человека.

Человек становится «первым» — самым могущественным и умелым в мире, ибо он «последний» — самый неприспособленный, самый неведающий, как жить. Человек познает свободу, ибо он «изгнан», отчужден от природы и вынужден нести бремя выбора и ответственности — осознанной, не-вольной необходимости. (Эта сущностная коллизия человека гениально схвачена в мифе о трагическом познании добра и зла, но схвачена в «перевернутом» виде: познание, грех, бог и тому подобное, равно как и труд,— не причина, а результат отчуждения, «изгнания» пралюдей из «рая» — тотального порядка природы).

Вопреки наивно-идиллическим представлениям о свободных, как пташки божии, дикарях, свобода являлась прачеловеку как чудовищное сверхрабство, отверженность, неполноценность, проклятье, если пытаться выразить это объективное состояние в наших понятиях. Но прачеловек не может преодолеть отчуждение, превратившись в полноценного зверя (рад бы в рай, да грехи — дефекты инстинктивной коммуникации — не пускают), он вынужден компенсировать свою коммуникационную недостаточность подражанием, заимствованием, репродуцированием умений, повадок, органов полноценных животных. Однако заметим, что к деятельности по неинстинктивной программе, по чужому образу и подобию, то есть к труду, прачеловека побуждают потребности, присущие всем животным: стремление утолить голод, защитить себя от опасности и так далее. Труд — лишь способ удовлетворить потребности; никакой потребности в нем самом у прачеловека не может быть: труд — это необходимость («проклятье»), а не потребность. Но вот сам «поиск образа», восстановление поврежденной коммуникации со средой, успокоение травмированного инстинкта единства с природой — потребность, первая человеческая потребность, возникающая у ущербного существа. У животных с неповрежденным инстинктом такой потребности просто не может быть, как нет потребности в пище у сытого.

Через миллионы лет эта первая человеческая потребность породит специфическую форму ее удовлетворения: творчество. Творчество предстанет особым видом труда, профессионализируется, то есть отождествится с деятельностью, совершаемой за определенную мзду, сумму благ, необходимую автору, чтобы удовлетворить прежде всего свои животные, а затем и некоторые человеческие потребности. Но в критических ситуациях всегда будет выявляться различие между творчеством и трудом, выявляться грубо и зримо. Человек никогда не борется за право трудиться — даже если и выступает под лозунгами борьбы за право на труд. На самом деле он борется за право иметь средства к существованию и за свой социальный статут. Но за право на творчество, за созданные ими идеи, образы люди шли на костер. Любые поделки и суррогаты создаются за деньги, и лишь шедевры — даром. Если автору за них что-то платят — то и вовсе по глупости, ибо просто не понимают, что великие творения духа — научные, художественные, любые — создаются и тогда, когда за них расплачиваются не с авторами, а сами авторы: порою бедностью и лишениями, порою свободой, порою жизнью. Потому что творчество, будучи деятельностью, абсолютно необходимой для существования общества, это в то же время и самоцельная, потребительная деятельность, замена утраченного инстинкта.

Подражая животному, заимствуя, имитируя, «похищая» его планы и способы жизнедеятельности, ущербное существо как бы преодолевает свою ущербность, свою отчужденность, восстанавливает поврежденную связь с природой, удовлетворяет потребность единства с ней. Но «возвращаясь» подобным путем к естественному животному состоянию, становящийся человек в действительности все более и более удаляется от него, создавая искусственную систему — «вторую природу», культуру. Этот «уход-возвращение» (субъективно — возвращение, объективно — уход) — уход, провоцируемый стремлением к возвращению, восстановлению единства с природой,— и есть один из фундаментальных архетипов культуры: триадический «архетип спирали». Видимо, он изначально присущ всем культурам, но у народов, стабилизировавшихся на низких уровнях исторического развития, живущих, как и все люди, уже не в природе, не «в боге», но ближе к «природе-богу», «у-бого», слился с символом общечеловеческого тотема — Солнца, с идеей круга и представлением о вечном круговращении.

В кризисные моменты развития результат отчуждения — культура в целом или отдельные ее элементы — предстает человеку как причина этого отчуждения — «проклятье», вызывая невротическую реакцию разрушения. В таких ситуациях, стремясь вернуться к «нормальному» состоянию, преодолеть отчуждение, человек крушил систему искусственных регуляторов отношений в сообществе и между сообществом и природой, святотатствовал, преступал самые страшные табу, испытывая величайшее наслаждение, ибо возвращался к своей животной естественности, обретал утраченный «рай» — достигал на короткое время некой разновидности антиструктурного состояния, которое этнограф В. Тэрнер называет «коммунитас». Завершалось это неизбежно трагически, ибо «коммунитас» — это состояние, не имеющее позитивного воплощения, существующее только в форме разрушения, преступления, выпадения из культуры, «греха». Иными словами, стремление к разрушению — противоположный творчеству путь преодоления отчуждения, преступный путь возвращения в «рай». Поэтому преступление, как и творчество, столь часто выглядит амотивным, бескорыстным, самодовлеющим. В «начале», в завязи они вообще едины.

Но и преступные влечения человека ассимилировались культурой, причем не только как источник иррациональной энергии революционных и прочих взрывов, но и как очень древний культуротворческий фактор, что доказывают, например, обряды сакрального преступления, ритуальные нарушения культурных запретов. Преступление, нарушение табу, ломка структур культуры даровали человеку «неизъяснимое наслаждение», «рай». Вместе с тем люди сознательно совершали грех, что наполняло их чувством ужаса, ощущением близкой бездны (и создавало праэстетическую амбивалентность эмоции ужаса-наслаждения). Но это был уже не безусловный грех, а ритуал, особый

культурный акт, консолидирующий сообщество: конкретное содержание ритуала преодолевалось сверхсодержанием — культурным значением целого, варварство служило культуре, биологическое — духовному, озверение — очеловечиванию.

Жизнь «по образу и подобию» жестоко творила сущность, «душу» человека разумного.

Но самое поразительное, что не только «душу». Дело в том, что рисуемая схема антропогенеза хорошо согласуется с гипотезой академика Д. К. Беляева, проливающей, как мне кажется, свет на загадку невероятно быстрого формирования генотипа кроманьонского человека — хомо сапиенс. Срок, отделяющий кроманьонца от неандертальца, размышляет ученый, ничтожно мал, чтобы случайные спорадические мутации и механизм отбора могли быть объяснением этого «чуда творения». Совершить подобное чудо, по мнению академика, может лишь действие механизма гормональной, нейро-эндокринной регуляции функциональной активности генов. Фактором, включающим этот механизм, является психоэмоциональный стресс.

«Исследования на животных,— говорил Д. К. Беляев на III Всесоюзном совещании по философским проблемам естествознания в 1981 году,— показывают, что... при психоэмоциональном стрессе резко возрастает доля наследственного разнообразия. Стресс как бы обнажает скрытые пласты наследственной изменчивости... Стресс, психоэмоциональное напряжение, тесно связанное с работой нейро-эндокринных систем, вот что ускоряло эволюцию гоминид и влияло на генетические процессы, которые обеспечили наследственное разнообразие».

Исследования на животных, о которых говорит Д. К. Беляев,— это опыты по одомашниванию. Но одомашнивание — суть смена программы поведения, переход к жизни по заданной извне, человеком, несогласованной с некоторыми из инстинктов программе — нечто парадоксально подобное происшедшему с ущербными гоминидами, начавшими жить в симбиозе с животным-тотемом, ставшими рабами, информационными паразитами «умеющих жить» животных и поэтому обреченными на психоэмоциональное перенапряжение, длившееся миллионы лет. Правда, Д. К. Беляев считает, что смена программ жизнедеятельности, вызывавшая стресс, могла быть обусловлена геологическими факторами — изменениями природных условий, к которым вынужден был адаптироваться прачеловек. Но такое предположение мне представляется уязвимым. Изменения природной среды могли быть важным, но не решающим фактором в процессе антропогенеза; сами по себе, то есть в отрыве от фактора первоначального отчуждения, геологические фак-

торы ничего не в состоянии объяснить. Ведь приспособительные программы модифицировали и другие животные, а к жизни по образу перешло лишь одно. Без фактора отчуждения стресс-фактор мог привести лишь к ускоренной эволюции какой-то из гоминид в лучше приспособленную к новым природным условиям обезьяну. Поэтому гипотеза Д. К. Беляева содержательна только при том условии, если допустить, что основная причина стресса и цена отбора порождаемых им генетических аномалий — едины: отчуждение и необходимость существования по чужому образу и подобию.

Разрешением, снятием этой коллизии и явилось становление биологического типа кроманьонского человека — животного с аномально долгим, гибельным для других природных существ периодом детства и рядом других нецелесообразных для животного признаков, но генетически приспособленного к существованию по искусственной, социально наследуемой программе.

Отступление в форме условно-разделительных силлогизмов

Является ли нарисованная картина подлинным описанием предыстории? Не знаю. Предыстория человека — сколько ни собирай черепов или черепков,— возможно, навсегда останется «черным ящиком». Но мы предложили его логическую модель, позволяющую построить непротиворечивую теорию исторического процесса.

В зависимости от того, что принять за начало детерминации исторического процесса, труд или отчуждение, мы, рассуждая в строгом соответствии с правилами формальной логики, придем к резко отличающимся друг от друга выводам.

Чтобы оценить прочность построений, возводимых на базисе «трудовой» гипотезы, возьмем основополагающий постулат, коим «истматчики» предваряют едва ли не каждое изложение «научных законов исторического развития».

«Люди,— гласит этот постулат,— прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством и так далее, в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище, одеваться. Но для этого они должны производить непосредственные материальные средства жизни» («Исторический материализм». М., 1975, с. 30).

Данный постулат — логический перекресток множества утверждений социологического и общефилософского плана: «бытие определяет сознание», «материальное производство первично, а духовное вторично», «трудящиеся, непосредственные создатели материальных благ — ведущая сила общества и истории» и так далее.

В пропаганде такого рода риторические фигуры иногда весьма эффективны. Действительно: поди попиши «Феноменологию духа» на голодное брюхо — ежели рабочие и крестьяне не произведут для тебя «непосредственные материальные средства». Но то, что понятно любому неучу, не всегда может понять элементарно грамотный человек, способный заметить хотя бы следующее:

— и есть, и пить, и даже иметь жилище можно абсолютно ничего не производя, а лишь потребляя созданное природой, как то и делали наши пращуры;

— человек не может трудиться, не имея в голове идеального результата и плана деятельности. Поэтому прежде, чем начать что-либо производить, человеку было необходимо очень долго заниматься «наукой»: накапливать информацию, знания. «Наука», «искусство», «политика» — понятия многозначные. «Наука» как исторически определенный тип знания, «искусство» как исторически определенный тип художественной деятельности, складывающийся параллельно с наукой (и политикой в современном значении), возникают действительно очень поздно. «Наука» как опыт, «искусство» — как создание неких символов, образов, «политика» — как регулирование отношений в сообществе и между сообществами — задолго до производства. Поэтому вряд ли исторично ссылаться на невозможность занятий «наукой» или «искусством» без созданных трудом средств существования в качестве обоснования трудовой концепции антропогенеза и строить теорию исторического развития, логичность которой — не более чем иллюзия, создаваемая манипуляциями с терминологическим и обыденным смыслами слов.

Но если за начало детерминации исторического процесса принимается отчуждение, обусловившее переход от жизни по *инстинкту* к жизни по *образу*, то картина развития рисуется совершенно иначе и выглядит исторически достовернее. Все отношения: производственные, идеологические, политические и т. п.— вырастают не друг из друга (то есть невозможно одни из них считать причиной, а другие — следствием), а вместе, из единого корня-образа, в котором они существуют в зачаточном виде. Поначалу они очень плотно слеплены: образ деятельности однозначно и жестко связан с образом жизни, характером отношений в сообществе, любое орудие является одновременно фетишем, а фетиш — орудием, технология является идеологией, а идеология технологией, все имеет нерасчлененный практический и духовный, утилитарный и в то же время сакральный смысл. Затем пучок отношений, выросших из единого корня, дифференцируется; чем дальше от основания, от начала — тем сильнее дифференциация, сложней и свободней связь между трудовыми, экономическими, политическими, идеологическими и тому подобными отношениями. Эта связь имеет не механический (причинно-следственный), а органический, как во всякой живой системе, характер, то есть являет собой поливалентное взаимодействие факторов, из которых любой — в зависимости от обстоятельств — может оказаться «основным», доминантным. Такая картина полностью согласуется с фактами и исключает дискуссии о том, яйцо ли произошло от курицы или курица от яйца.

Позже, когда мы будем рассматривать проблемы способов производства, формаций, классовых отношений и так далее, мы существенно удлиним цепочку подобных условно-разделительных силлогизмов («если... то...»), пока же нам важно было всего лишь проиллюстрировать методологический смысл вопроса об отправной посылке теории исторического процесса. Ведь и сама теория в зависимости от выбора основания в одном случае окажется социально-экономической, а в другом — общесоциологической, культурологической (в широком смысле) теорией, хотя нас и может интересовать преимущественно ее социально-экономический срез.

Повторим: Маркс и Энгельс считали, что их «исторический материализм» — не «учение», то есть не идеологическая доктрина, а научная («естественноисторическая») теория. Однако невольное, обусловленное состоянием науки середины XIX столетия смещение начала детерминации исторического процесса от причины, то есть отчуждения, к следствию, то есть труду, вызвало перекос в основании гениального замысла и во всем титаническом построении Маркса — Энгельса. Логическое развитие поразительных по глубине догадок вдруг порождало неразрешимые парадоксы и антиномии или же приводило к выводам, диаметрально противоположным истине; попытки примирить концепцию с фактами оборачивались противоречиями во внутренней структуре концепции, и так далее. «Трудовая» теория оказалась весьма неустойчивым построением, требовавшим внешних опор.

Всего интересней здесь роль немецкой классической философии. Смещение начала детерминации исключило возможность дать принципиальный ответ на вопрос о том, что является причиной развития самого труда, самого материального производства. Подобный вопрос теоретически некорректен, если труд сам мыслится началом начал и причиной причин. Чтобы справиться с этим затруднением, пришлось «перевернуть с головы на ноги» идеалистическую диалектику Гегеля, приписав производству имманентную способность к саморазвитию. Но увы: материалистический парафраз диалектической абстракции Гегеля — истории Абсолютного духа — сделал учение, основанное на трудовой концепции, специфической разновидностью хилиазма — учения о посюстороннем, земном царстве божьем: хилиазмом индустриальной эпохи.

— Человека создал Бог,— внушает религия.— Первые люди жили в раю (тезис), но были изгнаны из рая за грех познания добра и зла, обречены в муках рожать детей и в поте лица добывать свой хлеб (антитезис) в долгом пути искупления, борения с кознями темных сил и возвращения к Богу (синтез). История — развертывание божьего промысла.

— Человека создал Труд,— говорит атеист, верующий в трудовую гипотезу, то есть в иного Владыку мира.— Труд же, приводящий людей, живших в первобытном коммунистическом обществе (тезис), к разделению — из-за познания сладости прибавочного продукта — на богатых и бедных, эксплуататоров и эксплуатируемых, изгоняет людей из первобытного коммунизма, обрекает на жизнь в классовом, антагонистическом обществе (антитезис), но труд же — высшее развитие производительных сил — создает условия для окончательной победы трудящихся над слугами золотого тельца и вернет человечество в светлое царство коммунизма на новом витке спирали (синтез). История — развертывание материального промысла.

Труд, занявший место Абсолютного духа, повторю, оказался всего только хилиастическим богом, переоблаченным — по моде буржуазной эпохи — в термины английской политической экономии, на время прикрывшие его французскую революционную нетерпеливость. Смещение начала детерминации привело к тому, что гениальный замысел Маркса воплотился не в теорию, а в «учение» — явление, переходное между средневековой (идеологической) и нововременной (объективно-научной) формами социального знания. В то же время это сообщило марксизму сильнейший идеологический импульс. Спрятанный в концепции религиозный архетип вызывал подсознательное доверие к ее научности, а научность, рационалистичность формы служила своеобразным алиби для таящегося под ней религиозного архетипа. Видимо, не случайно, что, в отличие от естественных наук, достаточно безразличных к религии, марксизм оказался столь враждебным к ней: он ее замещал и лучше всего приживался на месте вытесненной религиозности. «Научная идеология», будучи переходным между средневековым и нововременным типом знания, особенно благоприятную

почву находила в обществах аналогичного, переходного между феодальным и капиталистическим укладами типа. Именно здесь учение Маркса — Энгельса всего убедительнее доказывало свою способность вдохновлять людей, стремящихся переделать мир.

Но перед нами сейчас стоит принципиально внеидеологическая задача: попытаться, устранив показанное смещение в фундаменте концепции Маркса, удовлетворительно этот мир объяснить. Поэтому мы говорим: человека и общество создал не бог и не труд, а «конструктивный регресс» в эволюции одной из биологических линий, то есть частичный регресс, оказывающийся в определенных условиях новой конструктивной возможностью бытия. Подобно паразиту, использующему чужой организм, примат-деградант начал жить в симбиозе с «животным-тотемом», использовать чужую программу, а тем самым нашел возможность существования по программе, носителем которой является не молекула ДНК, а образ. Переход от жизни по естественной программе («по меркам своего вида») к жизни «по образу и подобию» — это и есть процесс происхождения человека. Образ, являющийся компенсацией отчуждения, — это «ген», первоэлемент культуры; в самом принципе жизни по образу виртуально сосуществуют начала, впоследствии дифференцирующиеся и развивающиеся в технологию, религию, науку, искусство, право, мораль, политику и тому подобное.

Стремясь успокоить травмированный инстинкт, восстановить поврежденную связь с природой, преодолеть отчуждение, выжить, пра-человек, а затем человек подражает явлениям и существам природы, заимствует, дублирует, репродуцирует, закрепляет, модифицирует необходимые ему планы, модели жизни и деятельности: «удваивает» природу, создает искусственную «вторую природу» — культуру.

Этот процесс несомненно имеет определенные алгоритмы, подчиняется неким объективным закономерностям; он образует в своем развитии огромное разнообразие форм, но лишь ограниченное число качественно особых, дискретных, устойчивых состояний (открытых Марксом «формаций») и может вести к предсказуемому итогу: полному «удвоению» природы, созданию полностью запрограммированной человеком, искусственной среды обитания. Но такое возвращение на новом «витке спирали» к допроизводительной ситуации, при которой человек не производит, а потребляет, присваивает создаваемое самой природой, но только — «второй природой»: биоавтоматической технологией, — не есть возвращение ни в мифический «золотой век» или «рай» (который, как мы теперь понимаем, представляет не что иное, как осмысленное с позиций «изгнанника» состояние тотального единства с природой, то есть обычное животное состояние), ни в сочиненный по аналогии с «потусторонним» раем «посюсторонний», хилиастический рай.

Поднимаясь по ступеням цивилизаций, человек отнюдь не преодолевает изначального драматизма своей коллизии, не восшествует от темного прошлого к светлому будущему, от несчастья ко всеобщему счастью, а лишь воспроизводит себя в качестве человека, то есть воспроизводит на все более высоком и сложном уровне антиномию отчуждения-освобождения, падения-возвышения, преступления-подвига, утраты-обретения, греховности-святости, зла-добра: обогащает и развивает свою родовую амбивалентную сущность.

Поэтому закономерность процесса исторического развития не противоречит нашей свободе и чувству ответственности.

Поэтому быть человеком никогда в истории не было и вовеки не будет легче.

И только поэтому, говоря вслед Герцену, «человек и история делаются чем-то серьезным, действительным и исполненным глубокого интереса».

«Нарисуем — будем жить...»

Воспользуемся методом «опорных символов» донецкого учителя В. Шаталова. Начертим две параллельные линии, а еще лучше — луча, расчленим их четырьмя вертикалями: получится пять клеточек. Первую и последнюю оставим пустыми, позже объясним — почему, во второй нарисуем человека с мотыгой, в третьей — человека с сохой, влекомой лошадью, в четвертой — человека на тракторе с плугом. Вот и все. Остается прокомментировать.

Мы нарисовали иллюстрацию к мысли Маркса, согласно которой разные экономические эпохи отличаются одна от другой не тем, что люди производят (все три работника производят от века насущный хлеб), а тем, как они производят, с помощью каких средств труда. То есть мы нарисовали три качественно различных, исторически сменявших друг друга типа производительных сил, три способа производства, воочию убедившись, что различить их можно прямо и непосредственно, не прибегая к каким-либо дополнительным, косвенным определениям (таким, как отношения собственности, господства-подчинения и т. д.). Это чрезвычайно важно, чтобы здание теории оказалось логически стройным, исключающим такие скользкие дефиниции, как «неразрывное единство производительных сил и производственных отношений», и полностью согласуется с содержащимся в «Капитале» утверждением Маркса, имеющим принципиальный методологический смысл: «То обстоятельство, что производство... осуществляется для капиталиста и под его контролем, нисколько не изменяет общей природы этого производства». (Соч., т. 23, с. 188). Кто бы ни был распорядителем средств производства: некое частное лицо, коллектив или государство, — производство, изображенное во второй нашей клеточке, то есть на первой картинке, — это рабское производство, на второй — феодальное, на третьей — индустриальное.

Столь же очевидно и то, что мы изобразили разные исторические типы работников — представителей разных, сменявших друг друга на арене истории классов, остающихся самими собой совершенно независимо от того, кто ими правил и был собственником средств производства. Тракторист, например, может работать по найму у частного предпринимателя, у кооператива или у государства, может оказаться арендатором или владельцем участка земли и трактора, может быть свободным и полноправным членом общества, даже законодателем, и может — невольником, лишенным элементарных прав; но в качестве тракториста этот человек — рабочий, и точно так же человек на второй картинке — крестьянин, на первой — раб. Раб — даже если никакого «рабовладельца» нет, точнее, если этим «рабовладельцем» является не человек с мечом и бичом, а племя, к которому принадлежит сам работник.

Учение о формациях, то есть представление о том, что историческое развитие образует ряд закономерно возникающих форм, состояний общества, различающихся способами материального и духовного производства, особенностями устройства всей социальной жизни, было великой гипотезой Маркса и Энгельса, не получившей, однако же, строгого доказательства и поэтому выродившейся в квазинаучную идеологическую доктрину.

Нам было несложно изобразить разные способы производства, поскольку мы знаем: труд — не «целесообразная деятельность» вообще, а уникально человеческий способ деятельности, существующий в определенной исторической форме. Труд — это опредмечивание того или иного образа (информации, знания) с помощью той или иной энергии и орудий. А производство? Тоже: опредмечивание того или иного образа с помощью... и так далее. Со времен неолитической революции, перехода от присваивающей к собственно производительной экономике «труд» и «производство» — синонимы.

Виды производства очень разнообразны, но их принадлежность к тому или иному историческому типу труда, способу производства выражена очень определенно. В производствах, нарисованных на наших картинах, используются разные энергетические источники, реализуются — это не нарисуешь, но догадаться несложно — разные типы знания, различные функции трех работников. Мускульная сила первого — единственный энергетический источник производственного процесса, сам человек тут — тягло, сам — живое орудие. На третьей картинке человек тоже расходует мускульную энергию, однако лишь для того, чтобы передать команду от мозга к орудию, а не двигать само орудие; человек теперь, образно говоря, не живое орудие, а живой блок управления. Зная все это, то есть представив труд как определенный тип, образ материального производства, как определенную *историческую технологию*, мы и нарисовали наиболее характерные, символизирующие данное историческое производство орудия.

Но Маркс мыслил труд и производство иначе. В «Капитале», образно охарактеризовав производство как процесс обмена веществ между обществом и природой, Маркс пишет: «Простые моменты процесса труда следующие: целесообразная деятельность, или самый труд, предмет труда и средства труда» (Соч., т. 23, с. 189).

В этой формуле «процесс труда» (то есть производство) и «самый труд» не синонимы. Труд здесь мыслится как расходование человеческой силы в течение некоторого времени — целесообразная «деятельность вообще». Это вполне логично, если считать труд началом начал и причиной причин, но совсем не логично, если за начало принимать отчуждение и, следовательно, полагать трудом лишь деятельность по искусственному, социальному образу: опредмечивание знания с помощью той или иной энергии и орудий — производство.

Но если мыслить труд «деятельностью вообще», не производством, а одним из его «простых моментов», то нарисованные нами фигуры окажутся совершенно неразличимыми: и первый, и второй, и третий работник расходуют мускульную энергию, занимаются целесообразной деятельностью. Труд предстает нам неким «абстрактным трудом», образа не имеющим. Конкретность, образ ему придают предмет труда (но это отраслевая, а не историческая конкретность) и средства труда, орудия. Вопрос о том, «как производят», редуцируется к вопросу: «с помощью каких средств труда».

Однако средства труда бесконечно разнообразны. Рядом с землепашцем с сохой и лошадью существовал, например, гончар, приводивший орудие в действие силой собственных мышц, а рядом с трактористом, возможно, работает подсобник с мотыгой. Это не имеет значения, если

рассматривать исторический тип общественного труда-производства в целом, идти от целого к анализу его частных форм. Но если понимать труд абстрактно, то об определенности целого остается только гадать, пытаясь сложить целое из фрагментов, не имея общего плана, или анализируя огромную совокупность орудий, дабы обнаружить нечто типичное, характерное для той или иной эпохи.

Иногда это, пусть и нестрого, но все-таки удается: так, Маркс выделяет «крупное машинное производство» как коррелят эпохи капитализма. В большинстве же случаев для различения способов производства приходится прибегать ко всякого рода ухищрениям и манипуляциям: отличать экономические эпохи одну от другой не «тем, как производят», то есть каким способом, образом, а тем, например, кто является собственником средств производства... Пожалуй, можно не продолжать: вдумчивый читатель и сам теперь без труда разберется, каким таким научно-диалектическим образом «способ производства» оказался наиболее прогрессивным в одних странах, а само производство совсем в других.

Не менее прискорбную роль смещение начала детерминации исторического процесса от «отчуждения» к «труду» сыграло в наших представлениях о социальных классах.

Мы нарисовали трех технологических робинзонов. Но труд не бывает робинзонадой, он всегда и изначально общественен, любой индивидуальный труд вторичен по отношению к общественному труду-производству, является его частной формой. Поэтому, если в клеточку к трактористу пририсовать человека с мотыгой, то мы, видимо, догадаемся, что это не раб, а подсобник, то есть такой же рабочий, хотя и более низкой квалификации, либо — крайности сходятся — наш отдыхающий современник-дачник.

Общественная природа труда не вполне очевидна на первой нашей картинке, поскольку индивидуальная, частная форма труда здесь в значительной степени совпадает с общественной (труд слабо специализирован, работник универсален). На третьей — резко не совпадает. Трактористу кто-то должен был сделать трактор; поэтому для полноты картины надо пририсовать в эту клеточку еще хотя бы одного человека, стоящего у станка. Кто-то должен был этот трактор, а также станок, придумать: придется пририсовать еще и человека у кульмана; наконец, еще одного, сидящего за столом у селектора, координирующего — иначе тоже ничего не получится — действия остальных.

Работники на тракторе и у станка заняты разным делом: один пашет поле, другой вытачивает деталь. Это — отраслевое и профессиональное разделение общественного труда. Подобные разделения чрезвычайно многообразны и несомненно значимы; тем не менее и тракториста и токаря мы можем объединить в одну группу. Они — рабочие, то есть люди, овеществляющие определенное знание, производящие вещи. Но вот человек у кульмана производит нечто иное: не вещь непосредственно, а лишь образ вещи — информацию, знание. Наконец, человек у селектора, который тоже участвует в общественном производстве и чья функция в нем равно и абсолютно необходима, делает нечто третье: управляет людьми.

Подчеркнем: все наши работники думают и расходуют энергию, силу, поэтому разделить их труд на «умственный» и «физический» невозможно. Чтобы разделить, надо различить, измерить. Как? В каких единицах? В джоулях? В калориях? В битах? Но мозг шофера или инспектора ГАИ обрабатывает за смену не меньше информации, чем мозг ученого, а оператор на химзаводе, страдающий от профессионального недуга — гиподинамии, затрачивает не больше физических сил, нежели директор завода. Однако если мы попытаемся как-то классифицировать перечисленные фигуры — так, чтобы наша классификация была социально значимой, то в одну группу нам придется объединить тракториста, шофера, станочника, оператора, в другую — конструктора и ученого, в третью — директора завода и автоинспектора. И суть тут не в том, что одни являются якобы работниками «физического», а другие «умственного» труда. Это предрассудок, поверив в который, мы должны были бы считать самыми типичными представителями рабочего класса скульпторов и солистов балета. Суть — в различии функций этих работников в общественном производстве. В том, что одни опредмечивают, утилизируют знание, другие это знание производят, создают не утилитарные предметы, а их модели, идеи, образы, а третьи осуществляют власть. При этом, заметим, мы можем абстрагироваться от многих вопросов, например, вообще не знать и не думать, кто наделил человека у селектора властью, кто он: собственник предприятия или такой же наемный работник как токарь, назначен он «сверху» или же избран «снизу». Неважно? Нет, чрезвычайно важно. Но ничего не меняет в характере, типе общественного разделения труда, присущего данному способу производства.

Объединив участников производства в группы, выполняющие в нем разные функции, мы проиллюстрировали идею, являющуюся принципиально марксистской: «В основе разделения общества на классы лежит закон разделения труда». «Разделение труда делает возможным — и более того: действительным, что духовная и материальная деятельность... выпадает на долю различных индивидов» (Соч., т. 3, с. 31). Идея логична; другое дело, что если полагать труд целесообразной «деятельностью вообще», то решительно непонятны критерии его разделения. Это и заводит верную мысль в тупик. Например, если делить труд на умственный и физический, то в любом обществе классов должно быть два: бессильные мыслители и бездумные исполнители. Однако неясно, почему, скажем, ремесленник — это работник физического труда, а опричник — умственного? И какой из «двух классов» нашего советского общества — рабочие или крестьяне-колхозники — занимается физическим трудом, какой — умственным?

Выйти из нелепого положения догматикам временно помогает та разновидность умственного труда, которую в просторечье зовут ловкостью рук: в основе разделения общества на классы оказывается уже не само разделение труда, а одно из его возможных следствий — различное отношение к собственности. Одни обладают собственностью, то есть средствами производства, а поэтому являются управляющими, хозяевами, эксплуататорами, другие нет, а поэтому являются эксплуатируемыми работниками. Так разделение труда на физический и умственный превращается в разделение на трудящихся и бездельников, бедных и богатых, угнетенных и угнетателей. А при таком раскладе, что им остается делать, как не бороться друг с другом?

К сожалению, рудименты показанных представлений сохранились и по сегодняшний день — в антиинтеллигентности, обскурантизме классовой демагогии, подчас становящейся крайне взрывоопасной. Поэтому, не откладывая до более подробного рассмотрения, подчеркнем. В основе разделения общества на социальные классы лежит функциональное разделение общественного труда, в каждую эпоху различное, обусловленное особенностями самого исторического типа, способа труда-производства. Разделение труда по определению есть сотрудничество. Поэтому, перефразируя общеизвестное марксистско-ленинское утверждение, мы можем сказать: классовое сотрудничество абсолютно, классовая борьба относительна, она играет роль регулятора условий сотрудничества и далеко не всегда является доминантой отношений между людьми, включенными в сложную систему общественных отношений — этнических, демографических, политических, идеологических и тому подобных.

Структура исторических технологий

...Теперь, освоившись в духовном пространстве темы, попробуем посмотреть,

как будет выглядеть историко-социологическая концепция Маркса, если реконструировать ее, устранив смещение, перекос в фундаменте.

Сохраним краеугольные для марксизма понятия «труд», «производство», но только демистифицируем их. Повторим: труд или производство — это преобразование той или иной материи (придание ей нужного человеку образа, опредмечивание знания) с помощью той или иной энергии и орудий.

Как следует из предложенной дефиниции, в производстве есть два начала: информационное, то есть целеполагающее, программное («конкретное») и энергетическое («абстрактное»); но это не два аспекта, в которых можно рассматривать труд, не его отраслевая и всеобщая формы, а два начала любого трудового процесса.

Предметом, «материей» производства может быть вещество природы, могут — сами люди, могут — знаковые системы. И природные материалы, например, бумага и краска, и человеческий материал, например, актеры, используются в этом последнем случае тоже, однако в особом качестве: как носители информации.

В зависимости от предмета труда мы можем различить: материальное производство, политическое производство и духовное производство, представляющие собой специализированные формы изначально единого общественного труда-производства.

Энергетическим источником производства, преобразователем вводимой в производство энергии может быть сам человек, то есть мускульная сила работника, может — тягловое животное, может — машина, двигатель. С появлением каждого очередного энергетического источника человек не перестает затрачивать силы, но его физические усилия все более концентрируются в сфере конкретного, целеполагающего начала труда, становясь таким же транслятором мысли, команды, как энергия мозга и нервной системы.

Столь же различные формы может иметь и вводимое в производство знание. Это более сложная тема, но она существенно упростится, если понять: подобно тому, как для социолога важно не то, что именно производят люди, а то, как они производят, в разговоре о знании тоже важно не его конкретное содержание, а его форма, исторический тип.

Первый тип знания, реализовавшегося людьми в производстве, — мифологическое знание. Это знание никто сознательно не творит, оно складывается объективно, как бы само и существует в виде устойчивой традиции, меняющейся чрезвычайно медленно. Мифологическое знание отличается синкретизмом, слабой дифференцированностью различных

сфер: технологии, идеологии, права, то есть плана материальной деятельности и плана отношений в сообществе.

Связь различных начал в мифологическом знании и «устный» характер коммуникативного бытия не допускают его сколько-нибудь заметной и субъективной модификации: изменение технологии здесь равносильно религиозному и социальному диссидентству, индивидуальное творчество, окажись такое возможным, было бы разрушительным, гибельным для системы, отчего и использование подобного знания — это рабское копирование канонов.

Недифференцированность мифологического знания не позволяет разделить его между разными группами общества; оно может «делиться» лишь на знание и незнание. Со временем, с накоплением и усложнением мифологического знания его хранителями выступают старейшины, а затем жрецы. Жрецы — «служители культа», но, в отличие от священников следующей эпохи, они — носители не особого (религиозного, «духовного»), а всеобщего, универсального знания, то есть и священники, и правители, и «специалисты» (технологи, агрономы, врачи, художники) в одном лице.

Второй тип знания: канонический, «коллективно-субъективный», «фольклорный». Он возникает в результате эволюции и кризиса мифологии, ее конструктивного, относительного регресса. Иллюстрацией обсуждаемого явления может служить разложение мифологии на религию и фольклор. Постепенное развитие мифологии, в том числе и сращение мифологий, происходящее в силу политических причин, приводит к ее переусложнению и выявлению функционально неравноценных частей. Одна часть получает статус господствующей, высшей, «священной», закрепляется поначалу традицией, а затем, что особенно важно, письменностью, становясь собственно религиозным заветом — «Писанием». Другая часть утрачивает сакральный смысл, превращается в «ослабленные мифы» (К. Леви-Стросс), в «мифы, в которые не верят» (В. Я. Пропп). Но миф, в который не верят, утративший безусловность завета,— это уже не миф, а притча, аллегория, сказка. Текстуально, «физически» миф может при этом и не меняться — меняются его функции, его смысл.

«Ослабленный миф» постепенно рутинизируется, стирается, превращается в схему, в жанрово-сюжетный канон, который каждый сказитель волен модифицировать, создавая всякий раз новую версию, вариацию исходного общеизвестного архетипа. То есть появляется индивидуальное творчество, однако не авторское, а лишь исполнительское, создающее не новое оригинальное произведение, а новые версии традиционного архетипа, новые воплощения «идеального образца».

Несложно заметить, что:

— строго аналогичный тип знания реализуется и в материальном производстве крестьянина и ремесленника: их труд — это творческая интерпретация традиционного образца-канона;

— ослабление связи между разными областями знания позволяет его разделить между разными группами общества;

— это знание является конвенциональным, коллективно-субъективным. Например, люди видят: Солнце ходит вокруг Земли; это ежедневно подтверждается их коллективным опытом, но в то же время является субъективным, антропоцентрическим, неотчуждаемым от субъекта знанием.

Третий тип знания: объективно-научный. Он возникает в силу развития творческого начала в деятельности и мышлении индивида, но возникает все тем же постоянно наблюдаемым нами «конструктивно-регрессивным» путем. Индивид выражает недоверие коллективному опыту, противопоставляя ему, однако, не свою личную, субъективную, но еще более безличную точку зрения: авторитету общества — авторитет природы или, как это было исторически, авторитет самого Творца. Индивид подвергает сомнению видимость, показания любых человеческих, в том числе и собственных чувств, объявляет зрячесть слепотой, а слепоту, умозрение — истинной зрячестью, пытаясь представить мир, как он есть сам по себе, без нас, без присутствия наблюдателя: не с точки зрения человека, а с точки зрения Абсолюта, Творца. «Земля вертится вокруг Солнца» — вот символ этого нового, «галилеева» знания. Способом же проверки истинности умозрительных, теоретических построений, способом задать природе-богу вопрос и получить ответ становится особый вид опыта — эксперимент.

Это новое — теоретическое и экспериментальное — знание порывает с идеологией, ибо принципиально не соотносится ни с чьей субъективностью (идеология может апеллировать к научному знанию, но знание безразлично к ней). Будучи объективным, изображающим мир как он есть сам по себе, без нас, это знание может отчуждаться от человека и передаваться орудию, становящемуся действующей моделью природы — машиной. («Экспериментальной наукой» называет Маркс индустрию).

С переходом от субъективного к научному знанию совершается радикальный переворот. Самоуничижавшийся, объявлявший себя слепцом и рабом божественной истины индивид уподобляется Демиургу, Творцу, а его деятельность— творчеству. Если в предшествующую эпоху мы видели некий анонимный и рутинный канон и его субъективное воспроизведение, исполнение-интерпретацию, версификацию, то в новую — авторский оригинал, предполагающий нетворческое, рутинное, анонимное воспроизведение: механическое тиражирование, печать.

Между тремя типами вводимой в производство энергии и тремя типами знания существует определенная связь, воплощающаяся в средствах труда, орудиях. При всем их огромном разнообразии их можно классифицировать в зависимости от того, коррелятом какого типа знания и энергии является данный тип, данная совокупность орудий, что и позволяет средствам труда служить своего рода эмблемами разных способов производства, разных исторических технологий.

С той поры, когда люди впервые «перековали мечи на орала», обратили заступ или топор в мотыгу, а копье в пастуший посох, то есть перешли от добычи к собственно производству, и до наших дней способов производства существовало три.

Первый — *рабский*. Не «рабовладельческий» — просто рабский. Совесть науки — ее логичность, и если уж полагать институт невольничества константой способа производства, то следует заключить, что своего апогея «рабовладельческий способ» достиг лишь в XX веке — в сталинских и гитлеровских трудовых лагерях. Между тем в древних обществах развитого института невольничества, вероятно, не было: существование подобного института мыслимо лишь при значительном техническом перепаде между орудиями принуждения и орудиями труда либо при высокой специализированности орудий. В противном случае угнетенные либо не смогут прокормить своих угнетателей, либо смогут их без особого труда перебить.

Но если «рабовладельческий способ» — теоретическая неточность, то рабский — историческая реальность. Рабское производство — это производство, информационным источником которого является мифологическое знание, а энергетическим — мускульная сила работника. Раб — живое орудие, имеющее устойчивую, рутинную программу деятельности, задаваемую мифологией общества. Социальное разделение труда в таком производстве, если оно происходит и заходит достаточно далеко, оказывается разделением относительно конкретного (информационного) и абстрактного (энергетического) начал труда. Одни индивиды становятся хранителями знания—программы жизнедеятельности сообщества (жрецы-вожди), другие утрачивают самостоятельность, оказываясь не в политической или экономической, а в духовной зависимости от первых.

Язык наш — враг наш, он выдает нас, когда мы врем. Мы говорим: раб — невольник, принуждаемый к труду мечом и бичом, угнетаемый рабовладельцем и враждебный ему, а язык напоминает, опровергает: «рабски предан», «рабски зависим». То есть рабство в его исходной форме — это отношение идеологическое, основанное на невольничестве сознания, а не плоти, симбиоз программиста и живого орудия.

Разделение относительно двух начал труда в рабском обществе может несколько усложниться разделением по предметному принципу, то есть по отношению к духовному, материальному и политическому производствам (практически это должно означать специализацию части членов сообщества в качестве воинов), однако недифференцированность мифологической формы знания ограничивает возможность подобной стратификации.

Рабское общество тоталитарно, что естественно объясняется недифференцированностью различных начал (плана деятельности и плана отношений в сообществе) в мифологическом знании, предполагающей и строжайшую регламентированность, плановость всей организации жизни.

И еще заметим: нарисовав человека с мотыгой, мы изобразили не просто определенный тип производства, но и определенный исторический тип общества с присущим ему типом духовной культуры, классового устройства, власти (явленной вождем-жрецом) и так далее. Видимо, понятно и то, что общество — не сооружение из «базиса» и «надстройки», а живой исторический организм: нелепо, скажем, считать, что мифологическая культура обусловлена «рабовладельческими производственными отношениями» или даже способом производства в целом. Ведь и сам этот способ обусловлен типом реализуемого в производстве знания. Даже татуировка, которой, как легко догадаться, покрыто тело работника на нашей первой картинке, такой же феномен рабского, мифологического, тоталитарного общества, как и мотыга в его руках.

В дальнейшем из-за дефицита бумаги, порожденного ревизуемыми догматами, мы не будем подчеркивать, но условимся помнить: речь идет о формациях, исторических типах общества, хотя и взятых преимущественно в одном, производственном плане.

Второй способ производства — *феодальный*. Возможно, его точнее назвать крестьянско-ремесленным, но дело не в слове, а в том значении, которое мы ему придаем. Поэтому удовлетворимся термином «феодальный» — тем паче, что первоначально данный тип производства складывался в земледельческих регионах, индуцируя затем аналогичные изменения в сферах животноводства и ремесла.

Предпосылкой феодального производства является доведение присущего рабству разделения труда до критического предела. Конкретное начало труда все более концентрируется в деятельности одних работников, а другие все более от него отчуждаются, утрачивают конкретность, самостоятельность — «абстрагируются», превращаясь в полностью лишенный собственной воли источник энергии, в двуногое тягло, которое уже легко заменить в этом качестве тяглом четвероногим.

Второй предпосылкой феодального способа производства должно было быть усложнение и разложение мифологии. Возникающую при этом картину можно представить так: между жрецом и деградировавшими рабами появляется новый работник — возвысившийся раб или низший жрец, становящийся субъектом «низшего», секулярного знания, пашущий на деградировавших рабах. Негативизм подобной коллизии очевиден, но он снимается с появлением животного тягла, освобождающим человека от роли основного энергетического источника производства: история всякий раз создает сначала как бы негативные прообразы будущего, а затем проявляет их позитивный смысл.

Работник, налегающий на соху, кем бы ни был он по своему правовому статусу,— уже не раб, а крестьянин, ибо он самодеятельный работник: и технолог, и управляющий, и исполнитель в сфере своего производства. Феодальное производство — это производство, информационным источником которого является коллективно-субъективное, «фольклорное» знание (традиционная схема как основа исполнительской импровизации), а энергетическим — тягловое животное.

В такое производство невозможно ввести работников, которые исполняли бы роли хранителя знания (идеолога, специалиста, то есть интеллигента) и управляющего, принадлежавшие в рабском производстве жрецу,— вакансии заняты. Поэтому общественное разделение труда при феодальном способе производства может быть лишь разделением по предметному принципу, то есть относительно трех общественных производств: материального, духовного, политического.

Крестьянин (ремесленник) становится единственным, универсальным и автономным работником материального производства. Но будучи не только исполнителем, но и субъектом знания, идеологом, и отгороженный от других классов общества барьером письменности, он создает и собственную, тесно связанную с его производством и бытом художественную культуру — фольклор. Ни раб, ни рабочий собственной, особой культуры иметь не могут.

Представители духовного и политического производств освобождаются от задач, которые связаны с ведением производства материального. Политическое и духовное производства становятся «чисто политическим» и «чисто духовным», что и формирует классы военно-политических правителей-феодалов и духовенства, делая классы феодального общества замкнутыми сословиями. Идеологические отношения между классами дополняются политическими, отделившимися от идеологических; их юридическим выражением являются те или иные разновидности серважа, крепости.

Крепостное право отличается от рабства отнюдь не тем, что у раба отнимали все, а у крестьянина только часть, и что поэтому крестьянин был заинтересован в результатах труда, а раб не был. Подобные утверждения в историческом плане невежественны, а в теоретическом — по меньшей мере наивны. Угроза лишиться жизни — куда более сильный стимул, нежели искушение прикупить еще одну лошаденку. Нельзя философствовать об истории, оставаясь на уровне рассуждений, кого можно убить, а кого только выпороть, и понимая переход от рабства к феодализму наподобие перехода к продналогу от продразверстки.

Рабство — симбиоз «программиста» и «живого орудия». Крепость — политический договор, отражающий автономность крестьянского производства. Рабство предполагает участие, крепость же — неучастие «верхних» классов в сфере материального производства. Лишь изредка феодальный правитель выступает в роли непосредственного организатора производства: сгоняет крестьян на строительство ирригационных сооружений, дорог, внедряет новые культуры и тому подобное. Но характерно, что такое вмешательство, как правило, вызывает протест или порождает апатию, так как превращает самодеятельного работника в программируемого извне — в раба, разрушает исторический тип работника, даже если и не нарушает его политический статус-кво. Поэтому обычно правитель вынужден уважать самостоятельность крестьянина, его право быть и управляющим, и идеологом в сфере своего производства.

Если же этот принцип почему-либо нарушается, если подавляется самодеятельность крестьянина — это оказывается катастрофической деградацией. Утрачивая самостоятельность, крестьянин регрессирует по существу в раба... если только не открыта возможность конструктивного использования этих продуктов распада феодализма.

Такая возможность была обнаружена, когда люмпенизированный крестьянин был превращен в «частичного», «отчужденного» работника фабрики — в промышленного рабочего.

Третий способ производства: *индустриальный* или *капиталистический*.

Это — два названия одного и того же явления, увиденного с двух точек зрения: исторической технологии и органически присущей ей экономической формы.

Сущностная особенность капиталистического производства не в том, что оно ведется ради прибыли, а в том, что оно — машинное производство, т. е. производство научное и массовое, рассчитанное на массового анонимного потребителя.

Представления, которые в нас вдалбливали со школьной скамьи, что, дескать, формула докапиталистического производства Т-Д-Т, а капиталистического Д-Т-Д — плод недоразумения, результат того, что частное (не «частнокапиталистическое», а «частичное», «отдельно взятое») производство изымается из сложного народнохозяйственного контекста. Однако вне этого сложного целого любое отдельное производство бессмысленно, а формула Д-Т-Д — это не формула капиталистического хозяйства в целом, а формула связи между отдельными звеньями сложнейшей цепи. Цель капиталистического производства, как и любого другого,— удовлетворение потребностей общества, но в силу сложности отраслевого разделения труда достигается эта цель по формуле: Т-(Д-Т-Д)-Т. И если, не дай бог, целью деятельности не хозяйства в целом, а частного (то есть отдельного) предприятия становится не получение максимальной прибыли, а удовлетворение потребностей общества, то склады забиваются неликвидами, карманы бумажками, а прилавки пусты.

Иными словами, денежное обращение, прибыль, рентабельность и все прочее, объемлемое понятием «рынок»,— естественная контрольно-регуляторная система индустриального производства, подобная второй сигнальной системе нашего организма. В определенных случаях индустриальное производство может быть и некапиталистическим, а работник (и не только рабочий, но и ученый-специалист, и управляющий) — невольником, крепостным. Однако органической формой индустриального производства является капитализм: «господство системы наемного труда и товарно-денежных отношений», как сформулировал сущность капитализма Маркс, сочтя вторичным вопрос о том, кто именно является в этой системе капиталистом: частный собственник, корпорация или непосредственно государство. Взятое же в аспекте исторической технологии индустриальное производство — это производство, информационным источником которого является объективно-научное знание, а энергетическим — механический двигатель.

Негативный прообраз индустриального производства создается задолго до появления присущих этому способу производства орудий, двигателей, технологических знаний. Он возникает при кризисе феодального производства, когда владелец свободных (ненужных в торговле и ростовщичестве) денег нанимает десяток свободных (от средств существования и средств производства — ненужных, выброшенных за пределы феодального производства в число городских подонков) люмпенизированных крестьян и одного исключительно талантливого, но тоже свободного от средств существования и цеховых конвенций ремесленника, и заставляет десять нанятых люмпенов рабски, «механически» копировать образцы, создаваемые умелым работником.

Для того, чтобы предприятие оказалось успешным, владельцу денег необходимо:

— чтобы образцы, создаваемые умелым работником, были нетрадиционными, ибо оригинальность модели должна компенсировать стереотипность копий — во-первых, исключать творческую самодеятельность исполнителей,— во-вторых;

— чтобы изготовление достаточно сложного и оригинального целого разлагалось на ряд стандартных и простых операций, быстро доводимых до слепого автоматизма, не требующих долгого обучения исполнителей, особых способностей и так далее. И чем проще, стереотипней будет труд десяти нанятых люмпенов, то есть чем глубже их деградация, тем скорей эти «наемные рабы», как называл ранних рабочих Маркс, будут высвобождены машиной, станут специалистами-исполнителями при ней, работниками новой формации, тем скорей «негатив» индустриального производства будет обращен в «позитив».

Так совершается новая великая революция, основной смысл которой сводится к следующим моментам.

Возникшее производство оказывается как бы «перевертышем» прежнего. Если прежде любая вещь была индивидуальной творческой версией рабского архетипа, канона, то теперь она стала рабской копией индивидуально-авторского, творческого оригинала. В сфере материального производства появился новый работник, создающий не утилитарные вещи, а образы, модели вещей — технологическую информацию, являющуюся прикладным использованием свободного (индивидуально-авторского и объективного, отчуждаемого от субъекта) знания: наука стала прямой производительной силой. Непосредственную роль в производстве получил и носитель политической функции — функции управления, власти: роль капиталиста, менеджера, организатора, контролера. Иными словами, внутри сферы овеществления появилось свое политическое и свое духовное производство. Материальное производство стало в новом

смысле общественным: не потому, что на фабриках, как нам объясняют «истматчики», люди трудятся сообща (пирамиды тоже не в одиночку строили), а потому, что оно воспроизвело трехчастную классовую структуру общественного производства в целом. Классовое положение индивида стало определяться не только тем, занят ли он в одной из двух «высших» сфер или в «низшей», материально-производственной сфере, но равно и тем, какова его функция в сфере материального производства, что он здесь делает: управляет, создает образы, модели вещей, технологические программы или овеществляет их.

В результате показанных превращений картина общества становится очень сложной, диффузной, характеризующейся размытостью границ между классами. Конкретный индивид может принадлежать и к одному, и к двум (ученый-администратор), а ситуационно — и к трем классам одновременно (рабочий-изобретатель-депутат). Классы современного общества имеют выраженные ядра (обычно — двойные ядра) и многочисленные периферийные слои, инфраструктурные группы, весьма неявно тяготеющие к тому или другому ядру, сливающиеся друг с другом. Такое двойное ядро рабочего класса — промышленные и сельскохозяйственные рабочие, их инфраструктурные, периферийные группы — рабочие сферы обслуживания: от шофера до продавца. Двойное ядро класса управляющих (администраторов, «служащих») — политические и хозяйственные руководители; их периферийные группы, инфраструктурные слои управления, административной и политической власти тоже многочисленны и разнообразны — вплоть до рядовых служащих хозяйственного аппарата, полиции, армии. Двойное ядро класса интеллигенции — научно-техническая и гуманитарная творческая интеллигенция; ее инфраструктурные группы — «интеллигенты-техники», педагоги, работники информационных, научно-вспомогательных и тому подобных служб, также утрачивающие по мере удаления от ядра определенность классовой принадлежности и сливающиеся с периферийными слоями администрации и рабочего класса.

С переходом от кустарного к индустриальному производству в обществе обнаруживается новый источник прибыли, позволяющий отчасти дополнить, отчасти заменить идеологические и политические отношения экономическими, основной юридической формой которых является найм.

Найм — форма экономического принуждения работников к участию в производстве. Но экономическое принуждение — это принуждение экономической выгодой, которую работник получит, если будет продавать не свой труд, воплощенный в неком товаре, а свою рабочую силу, то есть согласится участвовать в общественном производстве. Логически это возможно только в том случае, если предположить, что найм представляет собою сделку, при которой работник продает свою рабочую силу по стоимости более высокой, чем стоимость, создаваемая его трудом: получает часть прибавочной стоимости, и что наниматель, следовательно, не выкачивает прибыль из труда нанятого работника, напротив, делится с ним, черпая прибыль из какого-то другого источника.

Видимо, это достаточно серьезное утверждение, чтобы остановиться на нем особо, временно прервав разговор о способах производства.

Отступление в виде ларчика с прибылью

Маркс формулирует задачу о прибавочной стоимости с поразительным интеллектуальным мужеством. Хотя исторически частный капиталист был нередко настоящим грабителем, а работника принуждал к труду голод, то есть найм был отнюдь не свободной экономической сделкой, а лишь превращенной формой физического насилия, Маркс исходит из допущения, что капиталист никого не обманывает и не принуждает, так как, в отличие от феодалов, не имеет политической власти. Все, что необходимо для производства (сырье, орудия, рабочую силу), он покупает на том же рынке, на котором все произведенное продает. Если он обманет продавца или покупателя, то будет так же обманут, оказавшись продавцом или покупателем сам. Следовательно, прибыль не может возникнуть ни при купле, ни при продаже.

Чтобы получить в таких условиях прибыль, рассуждает Маркс, капиталист должен найти на рынке уникальный товар, обладающий чудесной способностью увеличивать стоимость в процессе его использования, потребления.

Товар этот — полагает Маркс — рабочая сила. Владелец денег полностью возмещает владельцу рабочей силы — нанятому работнику — все издержки ее воспроизводства, то есть не отнимает ее у работника, а покупает. Но использование рабочей силы есть труд. Он куплен капиталистом в виде рабочей силы, ибо, в отличие от рабочей силы, сам труд, по Марксу, не имеет стоимости, так как является субстанцией стоимости: стоимость — по Марксу — это и есть воплощенный в продукте труд. Спросить: сколько стоит труд? — это все равно, что спросить: сколько стоит стоимость? Марксова стоимость — это величина заключенного в продукте общественно необходимого рабочего времени, то есть труда «средней умелости и интенсивности», который можно рассматривать независимо от его конкретности: как «абстрактный» труд, затрату человеческой силы в течение определенного времени. Иными словами, если мы говорим, что пара сапог стоит столько же, сколько сотня яиц, то это означает, что в паре сапог и сотне яиц заключено одинаковое количество «простого труда». «Сложный», более квалифицированный труд, естественно, создает в единицу времени больше стоимости, но его тоже можно, согласно Марксу, представить как время простого труда плюс время, затраченное на подготовку работника и орудий, то есть «прошлый» труд.

Так вот: предприниматель покупает рабочую силу, допустим, как в классическом энгельсовском примере, на 12 часов, покупает по полной стоимости, то есть оплачивая все издержки ее полного воспроизводства: стоимость всех товаров и благ, необходимых для поддержания жизни работника и его семьи в течение всех 24 часов в сутки. Но использование рабочей силы — труд, а труд, опредмечиваясь, воплощаясь в продукте, за 6 часов, как в энгельсовском примере, создает стоимость, равную стоимости рабочей силы («необходимое время»), а за остальные 6 — прибавочную стоимость, которую и присваивает наниматель. И все: «фокус проделан, прибавочная стоимость произведена». Механизация, рост производительности меняют в этой картине только одно: сокращается доля необходимого времени и увеличивается — прибавочного. И так, замечает Энгельс, будет всегда, пока рабочая сила остается товаром, то есть пока существует найм.

Профессионалу, раз навсегда усвоившему изложенные азы политической экономии, тут просто не о чем думать, все ясно, как дважды два. И только очень уж неискушенный читатель, туповатый профан может не понять и переспросить: но почему все-таки труд не имеет стоимости? Ведь если, как в приведенном примере, аа 6 часов труд создает стоимость, равную стоимости рабочей силы, то из этого следует, что стоимость 12 часов труда равна двум стоимостям рабочей силы, а стоимость рабочей силы равна половине стоимости труда. Иными словами, капиталист, вопреки теории, все же обманывает и грабит работника, покупая его труд за половину стоимости, поскольку истинной стоимости своего труда работник не знает, а к найму он принужден физически: угрозой голодной смерти. Но если строго придерживаться условий сформулированной Марксом задачи: «капиталист не обманывает и не грабит работника», — то логика заставит предположить, что капиталисту удалось обнаружить какой-то действительно совершенно новый, неведомый прежде источник прибыли; отнимать чужое умели и до него.

Какой же? Вернемся к домарксовым временам. Итак, предприниматель нанимает одного квалифицированного работника — искусного ремесленника, отпавшего от корпорации, средневекового цеха, и десять несчастных, выброшенных из деревни в город, ничего здесь не умеющих делать люмпенизированных крестьян. Первый работник изготавливает некую вещь, разложив процесс на элементарные операции, остальные десять рабочих копируют, репродуцируют, «тиражируют» его действия. Это, мы замечали, удается тем лучше, чем полней в их труде подавлено творческое начало, чем проще, бессодержательнее их труд. Но за день все работники вместе изготавливают одну плюс десять неотличимых друг от друга вещей. Предприниматель несет их на рынок и продает по цене оригинала, в котором, согласно трудовой концепции стоимости, воплощен марксов «сложный» труд. Затем расплачивается с работниками. Первому отдает полную стоимость изготовленной им вещи (за вычетом издержек сырья и тому подобного) — то есть полную стоимость его труда. Остальным платит значительно меньше — не больше, чем нужно для воспроизводства рабочей силы. Разницу — прибыль — кладет в карман. Откуда взялась эта выручка — не секрет: это присвоенная предпринимателем разность между стоимостью «сложного» и «простого» труда, помноженная на десять, то есть реализованная и присвоенная стоимость особой искусности, знания, отчужденного у квалифицированного работника.

Но почему это оказалось возможным? По самой простой причине: потому что стоимость — это рыночное, экономическое выражение полезности вещи, то есть потребительной стоимости, а не затрат труда. Последние определяют не стоимость, а себестоимость вещи. Себестоимость предприниматель снизил не самым гуманным способом: сэкономив на подготовке работников, обойдясь для производства вещей, требующих высокой квалификации, неквалифицированной, дешевой рабочей силой. Но потребительная стоимость всех одиннадцати вещей одинакова — одинакова, следовательно, и стоимость. Если рынок будет насыщен, потребительная стоимость снизится, а вместе с нею и стоимость, но пока потребность в вещах данной серии достаточно высока — стоимость будет превышать себестоимость, образуя прибыль.

Возникает вопрос: кого ограбил капиталист? Десятерых пролетариев? Нет. Прибавочную ценность их труд обрел благодаря особой искусности, отчужденной у работника-автора; часть этой прибыли может быть перераспределена в пользу

«простых работников», но не наоборот, поскольку их труд проще, дешевле того, который реализован в продукте.

Возможно, капиталист обобрал первого работника — будущего инженера, изобретателя, ученого, то есть «интеллигента-специалиста»? Тоже нет. Работник, повторим, получил полную стоимость изготовленной им вещи, а в исторической перспективе будет получать многократно больше. Но суть даже не в этом. Она в том, что труд автора оригинала лишь по видимости является марксовым «сложным трудом», сводящимся к «простому труду», то есть затратам усилий в течение определенного времени, плюс время, израсходованное на подготовку работника. В действительности труд автора — это вообще не труд, а выступающее в трудовой униформе творчество; его невозможно ни оплатить «по справедливости», ни свести к марксову «простому труду». Сколько «простого труда» надо затратить, чтобы написать «Я помню чудное мгновенье»? Открыть: $E = mc^2$? Сколько стоит музыка Баха?

Добавим, что, продав свой товар (идею, информацию, знание), автор отнюдь его не лишается, а то, что он смог получить некую мзду за акт самореализации, удовлетворения первой человеческой потребности — погреть руки, а не сгореть в похищенном у богов огне,— его счастье...

Так вот она в чем, говоря словами Энгельса, «исключительная удача капиталиста», вот он, тот уникальный, логически верно вычисленный Марксом, но ошибочно отождествленный со свободной рабочей силой товар, который способен увеличивать стоимость в процессе его использования, потребления: свободное (то есть индивидуально авторское и в то же время отчуждаемое от субъекта, объективно-научное) знание.

Это очень просто понять. Если капиталист купит, к примеру, стометровый рулон бумаги и продаст его затем ста покупателям, то каждому покупателю достанется в среднем метр, то есть одна сотая часть потребительной стоимости рулона. Но купив в виде рукописи некий текст (будь то роман, рецепт лекарства или технологическая идея), капиталист может продать его затем, воплотив,и ста, и ста тысячам покупателей: каждому достанется вся потребительная стоимость текста.

В виде особой искусности талантливого ремесленника в производство вводился новый тип знания, разрывающего былую связь между издержками и результатами производства, способного снижать себестоимость, повышая потребительную ценность и, следовательно, стоимость товара.

Наука, ставшая «непосредственной производительной силой» — это и есть новый источник прибыли: прибавочной стоимости, индустриальный ренты, дележ которой и составляет предмет экономических отношений.

Неудача, постигшая Маркса с трудовой концепцией стоимости, имеет логические и исторические причины. Логические заключаются в свойственном прошлому веку определении понятия «труд» — эмпирически-образном, а не строго научном. Слово «труд» имеет два смысла (страшно представить, что эта двусмысленность слова стоила жизни миллионам людей, «эксплуатировавшим» наемный труд, породила идею замены денег «трудовыми квитанциями», торговли — распределением, то есть стала одной из причин разрухи и гражданской войны, а затем — и «затратного» механизма хозяйствования):

Труд — это простая «физиологическая» затрата энергии, измеряемая длительностью усилий, проработанным временем. Этим обиходным значением слова и пользуется Маркс, хотя теоретически подобная трактовка не является строгой, что обусловлено в конечном счете смещением начала детерминации исторического процесса в трудовой концепции антропогенеза.

— Труд — это производство: опредмечивание той или иной идеи с помощью той или иной энергии и орудий. Поэтому «опредмечивание труда», коим считает Маркс производство стоимостей,— это «опредмечивание опредмечивания», то есть тавтология, а «абстрактный труд» есть не «труд вообще», а лишь «абстрактное», энергетическое начало труда-производства, энергетический источник, которым может быть сам работник, а может животное или механический двигатель.

Однако изначально, то есть на древней стадии развития производства, оба значения слова «труд» практически почти совпадают. «Труд» в его первом смысле может использоваться и в значении «производства». Но не «производства вообще», а исторически определенного — рабского — производства, в котором человек — единственный источник энергии, а производительность — величина практически постоянная, жестко связанная с затратами рабочего времени. Если бы подобное производство оказалось товарным, мы имели бы полное право считать, что коль скоро кувшин обменивается на меру пшеницы, значит, в них заключено одинаковое количество рабочего времени, «простого труда».

Но из сказанного же логически вытекает и то, что классической формулой: «стоимость есть издержанный, воплощенный в продукте труд» — можно пользоваться и в других обстоятельствах, однако — при двух условиях:

а) Если не забывать уточнять, какой именно «труд» мы имеем в виду: такой ли, в котором единственным субъектом информации и энергии был сам работник, или такой, в котором он вообще заменен автоматом.

б) Если помнить: не стоимость, а себестоимость (себестоимость и есть издержанный в продукте общественный труд-производство, как и подсчитывают это в своих конторах все экономисты в мире).

Если забыть внести эти уточнения, то получится, что прибыль, приносимая, допустим, электростанцией, выкачивается из труда нескольких человек, дующихся полдня в домино. Чтобы приносить подобную прибыль Труд действительно должен быть Богом, Владыкой мира, коим и стал из-за смещения начала детерминации.

Но повторим: «простой труд», который и впрямь мог быть измерен рабочим временем, это исторически определенное — рабское — производство. Теоретически создаваемая им стоимость не может существенно отличаться от себестоимости — издержек рабочей силы. Поэтому обмен здесь должен был совершаться по правилам, близким к «закону стоимости», но прибавочного продукта в обычных условиях такой труд создавать не мог, прибыли при «простом» производстве взяться неоткуда.

Тем не менее в двух случаях и подобное производство тоже могло быть прибыльным, то есть создавать больше продуктов, чем необходимо для воспроизводства рабочей силы: в особо благоприятных природных условиях и в том случае, если рабов добывали, завоевывали, перекладывая издержки воспроизводства на другие народы.

А это многое объясняет в исторических основаниях марксовой концепции прибавочной стоимости.

Маркс очень верно называл пролетариев «наемными рабами». Не только в мануфактурном, но и в более позднем, современном Марксу капиталистическом производстве найм был не «свободной сделкой владельца денег с владельцем рабочей силы», а лишь превращенной формой внеэкономического насилия. Плата за труд зачастую не покрывала издержек простого воспроизводства рабочей силы — ее воспроизводила и поставляла деревня, а позже «мировая деревня». Увеличение прибыли было практически невозможно без увеличения численности работников, особенно «простых», неквалифицированных, удлинения рабочего дня и так далее, что тесно привязывало стоимость к трудовым затратам и создавало соответствующую иллюзию, воплотившуюся в трудовой концепции стоимости и прибыли.

Но сегодня, когда наука, пусть и с опозданием на три века, все же признана производительной силой, вряд ли разумно держаться за те пункты «учения», которые были порождены невольной аберрацией мысли, развивавшейся в конкретных исторических обстоятельствах стопятидесятилетней давности. Сам Карл Маркс, наблюдай он зрелое индустриальное производство, безусловно, рассуждал бы иначе. И это не домысел, а утверждение, в обоснованности которого читатель может убедиться воочию...

Читаем:

«Машина, обладающая вместо рабочего умением и силой, сама является тем виртуозом, который имеет собственную душу в виде действующих в машине механических законов... Кража чужого рабочего времени, на которой зиждется современное богатство, представляется жалкой основой в сравнении с этой вновь развившейся основой, созданной самой крупной промышленностью... Прибавочный труд рабочих масс перестает быть условием для развития всеобщего богатства...»

Написал эти строки, опровергающие привычные марксистские представления об эксплуатации как источнике капиталистической прибыли, не злостный антимарксист, пытающийся своротить «краеугольный камень научного социализма» — учение о прибавочной стоимости, а сам Карл Маркс. («Из рукописи К. Маркса „Критика политической экономии“». «Вопросы философии», 1967, № 7, с. 118—119).

Вопрос же об эксплуатации при капиталистическом способе производства — это вопрос об участии в дележе прибавочной стоимости, а не детективный сюжет о похищении хитрым капиталистом чужого рабочего времени. Это не делает проблему социальной справедливости проще. Капиталисту, например, выгодны узкоспециализированные работники: люди, которых можно за неделю-две обучить нескольким простым операциям. Но оплачивать капиталист обязан не воспроизводство таких «манкуртов», живых автоматов плюс некоторого количества интеллектуальной элиты, а общественно необходимое социально-демографическое воспроизводство совокупной рабочей силы, воспроизводство нации, что, понятно, требует многократно больших затрат, чем необходимо для каждого данного частного производства. Частному капиталисту это невыгодно. Но ежели он не может или не хочет оплачивать эти и многие другие общественные издержки, его экономически или политически упраздняют: капиталистом, предпринимателем, нанимателем становится корпорация или непосредственно государство. Способ производства при этом не изменяется, но меняется уровень организации общества — социально-экономический строй.

Что это? И как вообще происходит переход от одной нашей картинки к другой?

Социализм как высшая фаза капитализма

Новая формация зарождается в недрах старой в виде неких аномалий, мутантов — технологических, организационных, идеологических и так далее, отчасти представляющих собой продукт разложения традиционных структур или даже рудименты форм далекого прошлого, обретающих в новых условиях конструктивный смысл. (Мануфактура — частичный регресс к рабству, коперниково-галилеево знание и возрожденческая эстетика — к мифологии и так далее).

В обстоятельствах глубокого кризиса традиционного общества эти тяготеющие друг к другу мутантные формы деятельности и мышления, накопившиеся в достаточном количестве и наборе, осознаются в качестве нового конструктивного принципа, новой возможности материального и духовного производства, всего социального бытия.

Переориентация на новые принципы деятельности влечет за собой переструктурирование общества: в нем возникает феномен, который можно назвать «протоклассом» или «латентным классом». Например, в контексте феодальной формации Пушкин — это помещик-крепостник, а Шевченко — крепостной крестьянин, но в контексте нового общества они являются членами одного и того же класса интеллигенции, остающегося до определенной поры латентным, не прорвавшим сословные оболочки. Сходным образом формируется протокласс капиталистических предпринимателей и протокласс рабочих, хотя в их генезисе особенно важен процесс люмпенизации, разрушения нижнего класса традиционного общества и велика роль маргинальных, инфраструктурных слоев (например, торговцев, ростовщиков, очень часто — в силу презренности этой функции — бывших изгоями, инородцами. При кризисе феодального общества их свободные, то есть ставшие ненужными, бесполезными в торговле или ростовщичестве деньги меняют функцию, превращаются в промышленный капитал).

Провоцируя разрушение обреченного общества, жизнеспособный зародыш нового поглощает, ассимилирует продукты его распада — и растет, развивается, конституируясь в особый, качественно отличный от разрушаемого родительского, исторический организм. Классовая структура социума удваивается: рядом с феодалом появляется буржуа, рядом с крестьянином и ремесленником — рабочий, рядом с феодальным интеллигентом-священником — светский интеллигент-специалист.

Возникает как бы общество в обществе — со своими производственными, правовыми, идеологическими и так далее отношениями, находящимися в антагонистическом противоречии с традиционными. То есть создаются исторические условия, в которых социальная борьба, захват власти, гражданская война и тому подобное действительно могут вести к смене господствующего типа общественных отношений, господствующего способа бытия — к смене формации.

Классовая борьба, говоря упрощенно, рабов и рабовладельцев, крестьян и феодалов, рабочих и капиталистов может изменить условия классового сотрудничества, может поменять персоны местами, сделав раба господином, а господина рабом, но привести к смене формации — к смене исторической технологии, к смене типа общественных отношений, к смене лошади на машину, геоцентризма на гелиоцентризм и так далее и тому подобное — никакая классовая борьба не может, это абсурд. И если классовая борьба тем не менее действительно приводила к изменению формационного типа общества, то происходило это, говоря опять-таки упрощенно, лишь потому, что в борьбе рабов и рабовладельцев побеждал протофеодал, а в борьбе крестьян с феодалами — протокапиталист. («Прото» — я в данном случае пишу, чтобы как-то обозначить этот эмбрион, из которого — в теоретической абстракции — развиваются классы нового общества.)

По указанной же причине, сразу заметим, принципиально не может привести к смене формации и классовая борьба рабочих с капиталистами. Рабочие — класс капиталистического и никакого иного общества. Нелепы утверждения наших «исторических материалистов» о том, что рабы и крестьяне не могли одержать победу над эксплуататорами, потому как были «представителями отсталых производительных сил», а пролетарии — по причине их связи с прогрессивными производительными силами — могут. Пролетариат, с которым Маркс связывал возникновение новой формации, был, увы, представителем чрезвычайно отсталых на сегодняшний взгляд производительных сил; прогрессивные — вытесняют его из сферы материального производства вообще, разрушают. Современная классовая борьба несомненно является одним из факторов, побуждающих к технологическому и общественному прогрессу. Но заметим, забегая вперед: как в борьбе рабов и рабовладельцев, крестьян и феодалов историческими победителями оказывались не первые и не вторые, а «третьи»: протофеодал и протокапиталист, так и в современной борьбе «одержать окончательную победу» может лишь протокоммунистический человек, являющийся нам сегодня в негативном образе имущего безработного.

Можно ли интерпретировать революционные движения новых классов так, как это делается в ортодоксальном «истмате», то есть как конфликт развившихся производительных сил с косными производственными отношениями? Разумеется, нет. Это борьба представителей нового способа производства, новых производственных и иных общественных отношений, которым тесны традиционные экономические, политические, идеологические регламенты, с защитниками старого способа производства, социального бытия и соответствующих отношений и институтов.

Процесс перестройки общественных институтов в соответствии с новым кодом, новым способом материального и духовного бытия — великая (формационная) революция. Не обязательно взрывообразная и не обязательно «снизу». В Англии буржуа не уничтожил феодала-аристократа, а феодал «самоуничтожился», превратившись в капиталиста, сохранив на века феодальный символический антураж: будь то футы и дюймы — ностальгическая память о времени, когда человек был мерою всех вещей, или монархия, генетически чуждая капиталистической, индустриальной эпохе.

Революция — выход нового общества из «внутриутробной», латентной стадии, его превращение в самостоятельный организм. Этот организм остается самим собой от зарождения и до гибели, то есть сохраняет качественную определенность своего «генотипа», системного кода, но на подсистемном уровне он модифицируется, проходит ряд фаз социально-экономического развития.

От фазы к фазе изменяются функции государственных институтов, правовые регламенты, отношения собственности, внутренняя структура различных классов, но не классовая структура и — шире — не исторический тип общества.

У каждого общества свои причины и облик внутренних изменений, переходов от одного социального устройства к другому, свой специфический характер этих устройств. Но схематически, абстрагируясь от особенностей формаций, такое развитие можно изобразить как движение от стихийного к программному состоянию, как повышение уровня организованности общества.

Можно — с определенными оговорками про размытость границ, относительность и так далее — выделить три основные инвариантные фазы развития общества каждого формационного типа: частную, корпоративную (монополистическую) и государственную, то есть — в нашей системе понятий — социалистическую.

В очерке «Империализм, как новейший этап капитализма»[1] Ленин пишет: «30 лет тому назад свободно конкурирующие предприниматели выполняли 9/10 той экономической работы, которая не принадлежит к области физического труда рабочих. В настоящее время чиновники выполняют 9/10 этой экономической умственной работы...»

Ленин привел эти данные в пользу мысли о том, что капиталисты стали ненужным, паразитарным классом, то есть вполне созрели, чтобы их ликвидировать, перейдя тем самым к бесклассовому устройству общества. Эта мысль была бы вполне логичной, если бы класс определялся отношением к капиталу, а не общественным разделением труда, если бы различное отношение к собственности («основным средствам производства») не было лишь одним из возможных проявлений, способов фиксации, закрепления функциональных различий в обществе. Поэтому в действительности Ленин проиллюстрировал не изменение классовой структуры общества, а изменение внутренней структуры класса управляющих. При частном капитализме этот класс состоял из двух групп: управляющих-собственников («капиталистов») и политических управляющих (наемных государственных служащих). Теперь первая группа раздвоилась: рядом с предпринимателем-собственником возник наемный предприниматель-служащий, еще не воссоединившийся, но потенциально способный воссоединиться со своим контрагентом из сферы политической власти.

Теоретически их воссоединение, ликвидирующее персонального собственника или сильно меняющее его роль в экономике,— это и есть переход от второй стадии развития к третьей: огосударствление капитала, начало планомерного государственного регулирования народного хозяйства — реальный социализм.

Конечно, это весьма упрощенное, крайне схематичное представление о социализме индустриального общества. Действительная картина сложней.

---

[1] Так — в издании 1923 года. В более ранних — не «новейший этап», но то же самое: «новейшая стадия». Существует версия, что название было сформулировано под давлением меньшевистских редакторов. Но как бы там ни было, в названии этом еще брезжит возможность некой третьей, действительно высшей стадии, устраненная в последующих изданиях. Мы знаем эту работу под названием «Империализм, как высшая стадия капитализма». Ленин отождествляет империализм с монополистическим капитализмом, то есть политику, которая может быть или не быть империалистической, как считал К. Каутский, и социально-экономический строй. Сугубо важную роль в дальнейшей судьбе учения сыграло и определение «высшая». «Высшая» — стало быть и последняя... Но сам процесс капиталистической эволюции показан Лениным достаточно точно.

Можно национализировать те или иные предприятия или их совокупность, землю, сырьевые источники и так далее, но «уничтожение частной собственности» — этот категорический императив ранних социалистов,— идея, доведенная до абсурда. Мои средства производства — разум, книги, перо, бумага, пишущая машинка. Национализировать их — это превратить меня не в современного социалистического работника, а в раба. Продавая рукопись издателю: частному, кооперативному, государственному,— я все равно остаюсь частным производителем, участвующим в общественном производстве, поскольку самому тиражировать рукопись, покупать дорогую множительную технику мне невыгодно. Обобществление определенных средств производства является в данном случае экономически целесообразным актом, а не способом принудить меня к конформизму. Одинаковая нелепость: на лопату ли уничтожить частную собственность или на трактор, если трактор столь же рентабелен в индивидуальном владении, как пишущая машинка. Ни трактор, ни деньги — не капитал, если они не приносят прибыли. Капиталисту — будь он частным или же государственным — нужны не трактор и не завод, а прибыль. Если трактор или завод, находясь в частном или коллективном владении, приносят обществу больше благ и больше прибыли государству, то национализация их либо бессмысленна, либо является средством политического закабаления и эксплуатации общества государственной бюрократией.

Социализм отличается от двух низших фаз капиталистического развития не уничтожением частной собственности и частного производства, а надстройкой экономических и политических регуляторов более высокого ранга, заставляющих производство служить общегосударственным целям, осуществлению демократически выработанных социальных программ. Но путем к этой цели в одних условиях может оказаться национализация, в других, напротив, приватизация средств производства, передача в аренду или во владение частным лицам и коллективам тех или иных объектов, даже созданных за счет государства: истина всякий раз конкретна.

Социализм — система, а никакая система не сводится к составляющим ее элементам. Социализм это или нет, можно судить по социальной защищенности человека, гармонии классовых и групповых интересов, эффективности общественного контроля над развитием производства и так далее, а не по тому, какие конкретные формы организации деятельности здесь используются. В целом: монополистическая фаза богаче, многовариантней, сложнее частной, социалистическая богаче, многовариантней, сложней монополистической. С определенной долей условности можно сказать, что социализм индустриального общества — это капитализм, в котором контрольный пакет акций принадлежит государству. Будучи политической организацией общества, социалистическое государство должно решать стратегические задачи общественного развития, реализовать общенародно санкционированные программы. Но будучи «совокупным капиталистом», оно, государство, должно достигать своих целей преимущественно экономическими средствами: путем налоговой и инвестиционной политики, создания альтернативных или поддержки нерентабельных, однако необходимых обществу производств, и так далее — вести плановое хозяйство, но не вопреки рыночному, а через рынок.

Итак, социализм индустриального общества есть — в экономическом срезе — госкапитализм. Симптоматично: через четыре года после «Империализма, как высшей стадии...», через три года после «Государства и революции», где социализм трактуется как более или менее краткий переходный период от монополистического капитализма к коммунистическому устройству, отрицающему государство, наемный труд, товарное производство и так далее, Ленин приходит к выводу, что «госкапитализм — это 3/4 социализма». И в этом утверждении, на наш взгляд, Ленин ровно на 3/4 был прав: госкапитализм — это 4/4 социализма. Никакого другого неутопического социализма в индустриальном обществе — в нормальном индустриальном обществе — быть не может [1]. Несомненно, что Ленин это уже понимал и лишь искал приемлемую для России модель госкапитализма («кооперативный социализм», к примеру), но оставил 1/4 — в утешение своим левым сподвижникам-оппонентам в партии — на долю кухарки, которая будет (под присмотром комиссара, как мрачно шутил Бухарин) по очереди с архитектором-тачечником управлять государством, то есть на долю утопии.

---

[1] После краха политики «военного коммунизма», доказывая необходимость радикального изменения воззрений на социализм и перехода к вэпу, Ленин формулирует свою мысль о социализие-госкапитализме предельно резко. Читаем в статье М. Гефтера «Сталин умер вчера» (Цитирую по сборнику «Иного не дано», М., 1988, с. 313): «Даже ближайшие к Ленину шарахались, когда слышали из его уст: госкапитализм выше социализма. (Что это — полемическое заостренне либо уже и плод разрушительной болезни?)».

Да, конечно же, заострение: социализм индустриального общества не может быть ни выше, ни ниже госкапитализма, то есть себя самого, увиденного в экономическом срезе. Но не плод болезни, а результат прозрения.

Другой вопрос: всякий ли социализм является государственным капитализмом? Не всякий. Только социализм индустриального общества. В рабском и феодальном обществах и социализмы иные.

В рабском — рабский социализм, то есть госрабство; в феодальном — феодальный социализм, то есть госфеодализм: системы, в которых все являются рабами или все являются крепостными своего государства.

Социализм не цель, а лишь средство организации общественной жизни, возможность, становящаяся необходимой тогда, когда исчерпываются иные возможности стабилизации и дальнейшего развития общества и начинается кризис. Поэтому те или иные социалистические черты в организации общества появляются при всяком глубоком кризисе, например, военном, но неизбежным и необратимым социализм становится при формационном кризисе.

Социализм есть последняя, высшая фаза каждой формации; но не каждое конкретное общество доживает до своего социализма, а лишь общества «закрытого» типа, то есть общества, которые не могут выйти из кризиса экстенсивным путем, раздвигая свои границы или тому подобное, и в то же время «не беременны будущим», не таят в себе прототипа, зародыша следующей формации.

Капиталистическая формация является «закрытой» в целом, тотально, поскольку грядущая автоматическая технология — это все та же индустриальная технология, лишь достигшая своей высшей фазы, а прототип грядущего, которым уже беременно настоящее,— это не более производительные работники, а пенсионеры и безработные: чем больше этих «ростков коммунизма», тем необходимей социализм,— строй, способный ассимилировать продукты кризиса индустриальной формации, приближающейся к пределу возможностей своего развития. Коммунистическая формация вызревает в недрах социализма, однако относить социализм к коммунизму столь же ошибочно, как полагать феодальный абсолютизм первой ступенью капитализма.

...Вынужден попросить прощения у читателя: я, видимо, злоупотребляю его терпением, когда пишу «коммунистическая формация», «негативный прообраз грядущего коммунизма», «протокоммунистический человек» и тому подобное, не дав предварительно определения коммунизма. Вообще не сказав, что это такое: поддающаяся теоретическому прогнозу реальность или «так, знаете, голубая мечта», как объяснил коммунизм американским интеллектуалам член ЦК КПСС Б. Н. Ельцин.

По ту сторону материального производства

Вернемся к нашим «опорным символам». Почему мы оставили пустыми первую и последнюю клеточки? По очень простой причине: мы изобразили работников материального производства. Но в первой клеточке материального производства нет. В науке эта допроизводительная стадия исторического развития характеризуется как эпоха «присваивающей экономики». В догматике говорится о «первобытно-общинном способе производства». Что это за способ? Чем он отличается от трех, нами изображенных? Общиной — жили, иногда живут и сегодня, производя современным, индустриальным способом. А «первобытно-общинный» — это какой? Иногда в догматике поясняется: «способ производства был примитивным», «производство велось архаичным способом». Хотелось бы все же представить это наглядно — как? Не нарисуешь. Безжизненно.

В последней клеточке производство можно нарисовать без труда. Для простоты — в виде того же трактора, только без тракториста: его здесь заменит робот. Но социология — наука об обществе, а не о машинах; в последней же клеточке мы должны будем изобразить производство, не являющееся объектом социологии. Человек, говоря известными едва ли не каждому наизусть, но стершимися, к сожалению, раньше, чем мы их успели понять, словами, окажется «по ту сторону царства необходимости» — там, где «прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью». Это было темным и невнятным пророчеством. Стало — развивающимся на глазах процессом.

Чтобы производство давало прибыль, в него надо вводить все новую и новую информацию: менять, не дожидаясь физического износа, марки автомобилей, одежду и так далее и тому подобное, провоцируя, разжигая и соответствующие общественные потребности. Это требует большого расхода дорожающих сырья и энергии: издержки съедают прибыль. Чтобы выйти из положения, капиталист увеличивает информационную ценность, наукоемкость основных средств производства и выпуск наукоемких изделий. Однако и тут беда: более совершенная технология выталкивает часть работников из сферы материального производства. Необходимо создавать новые рабочие места, то есть опять-таки расширять производство. Но расширение производства имеет экономические (снижение рентабельности), идеологические (кризис потребностей) и, главное, экологические пределы: начинается грозный мятеж природы против ее индустриальной эксплуатации.

В таких условиях индустрия в конце концов будет вынуждена придерживаться концепции «нулевого роста», при котором, однако, накопление информации в каналах овеществления будет означать необратимое выталкивание работников из материально-производственной сферы (рабочих — в сферу обслуживания, интеллигенции — в сферу гуманитарных занятий) и увеличивать безработицу (персонифицированную или распределенную, коллективную).

Конечным пунктом такого развития и снятием его негативности должно стать превращение производства в автоматическую систему, замкнутую на возможности природной среды, то есть обладающую экологической саморегулируемостью, и сведение занятости людей в производстве к минимуму: превращение общества в общество безработных, пенсионеров этой «второй природы».

Понятно, что пенсионеры и безработные — лишь негативный прообраз постиндустриального общества,— точно так же, как масса люмпенов, пролетариев, образовавшаяся в результате распада феодального общества, являла собой негативный прообраз капитализма — грядущий рабочий класс. «Выталкивание» работников из производства — лишь негативное определение обсуждаемого процесса, обусловленное тем, что мы рассматриваем этот процесс «из сегодня». При взгляде же из грядущего — работники не выталкиваются, а высвобождаются из сферы необходимости; рост числа материально обеспеченных безработных предстанет когда-нибудь столь же прогрессивным процессом, как «раскрестьянивание» крестьян и возрастание численности рабочего класса.

Такова принципиальная схема, теоретический код коммунистического способа производства (или, что точней, бытия), предполагающего разделение труда на необходимую, производительную деятельность, передаваемую роботу, автомату, и свободную, потребительную деятельность — самодеятельность, целью которой явится творчество, самореализация человека, конструирование смысла и сущности бытия, производство форм человеческого общения и социальной жизни.

Коммунизм, понимаемый как состояние общества, деятельность которого сосредоточена вне сферы материального производства, «по ту сторону царства необходимости»,— логичен; поэтому он не волнует воображение и, на наш взгляд, совсем не нуждается в «дефинициях», более уместных в воскресной проповеди («...все источники общественного богатства польются полным потоком... осуществится великий принцип: от каждого по способностям, каждому по потребностям» и тому подобное).

Но всякий раз заново изумляет, что первыми, кто сумел прозреть коммунизм в его логически ясном и, следовательно, реальном образе, были Маркс и Энгельс, сто пятьдесят лет назад написавшие про «уничтожение труда» «автоматической системой» машин.

Маркс провидчески разгадал возможность в полном смысле «постиндустриального» производства; но прозрение Маркса-ученого трудно совместить с убеждениями Маркса-революционера. Возникает комический для ученого, но трагический для революционера вопрос: *за что же бороться?* Разве что за скорейшее развитие производительных сил, за «построение материально-технической базы коммунизма», как мы провозглашали недавно. Ведь намерение изменить отношения производства, которые, вспомним, Маркс полагает базисом всех других отношений в обществе, не изменяя самого производства,— признается в марксизме идеализмом!

Грустная ирония истории: марксизм был бы не «коммунистическим» и не революционным, а социал-реформистским учением, если бы не ошибка в фундаменте всей концепции, сделавшая ее логически неустойчивой. Увы: качественная неопределенность марксовых «ступеней развития производительных сил» создавала искусительную возможность для компромисса революционаризма с наукой, то есть для почти незаметной фальсификации отправного марксистского утверждения, что нельзя изменить тип устройства общества, не изменивши самого производства — самого его типа, способа. Мысль о коммунизме как «уничтожении труда» путем его фундаментального разделения на творческую, потребительную деятельность, самодеятельность, с одной стороны, и необходимый труд, передаваемый системе «автомат-природа»,— с другой,— эта мысль все более вытесняется из теории как совершенно не принципиальная: в «Анти-Дюринге» производство уже достигает под пером Энгельса столь высокой ступени развития, что всякое его дальнейшее качественное изменение представляется невозможным или не имеющим особого смысла.

Дело теперь, получается, лишь за тем, чтобы пролетарии, «экспроприировав экспроприаторов», вступили «в непосредственное владение» средствами производства. Но для этого, утверждает Энгельс, они должны упразднить не только частную собственность и государство, но и первопричину существования классов: разделение труда. «Способу мышления образованных классов,— пишет Энгельс,— должно, конечно, казаться чудовищным, что настанет время, когда не будет ни тачечников, ни архитекторов по профессии и когда человек, который в течение получаса давал указания как архитектор, будет затем в течение некоторого времени толкать тачку, пока не явится опять необходимость в его деятельности как архитектора».

Эта идея не могла, конечно, сбыться иначе, как за колючей проволокой или в карикатурном образе инженеров, работающих по осени на картошке. В противном случае, возведенная в норму, она обернулась бы катастрофически быстрым регрессом производительных сил.

Дело в том, что «универсальным работником» является работник не будущего, а далекого прошлого — наиболее архаических обществ, равно как и осуществляемое таким путем отрицание государства, отчуждения, «калечащей индивида специализации» и так далее является ностальгической, по существу руссоистской критикой капитализма — критикой с позиций не будущего, а идеализированного прошлого: никогда не бывшего «золотого века».

Думаю, едва ли стоит подробно объяснять, почему попытка смоделировать общество, не знающее разделения труда, классов, найма, на производительной индустриальной основе обернулась и отрицанием государства (которое, как мы помним, должно умереть в «привычке»); и требованием воспитать «всесторонне развитых производителей, которые понимают научные основы всего промышленного производства и каждый из которых изучил на практике целый ряд отраслей производства от начала и до конца» (Энгельс); и превращением распределения не по труду, которое при реальном коммунизме должно произойти в силу отсутствия самого труда, в распределение по потребностям в условиях безмерного изобилия; и, наконец, превращением свободы, которая есть не что иное, как «обходимость»,— в «осознанную необходимость», то есть практически в «сознательное», как у пращура, живущего в мифологическом обществе, тотальное законопослушание, рабство по убеждению: превращением общества в живую автоматическую систему.

Так реально мыслимый коммунизм, теоретически верно вычисленный в «Немецкой идеологии», вновь превращается в коммунизм утопический, не имеющий позитивного воплощения и способный существовать только как процесс отрицания, разрушения структур отчуждения (воплощением которого является вся культура), как «упоение... у бездны мрачной на краю», в трагические периоды, когда разрывается связь времен «и коммунизм опять так близок, как в восемнадцатом году». (Мы говорили: этнограф и культуролог Тэрнер называет это антиструктурное состояние, дабы отличить его от позитивного коммунизма, состоянием «коммунитас»; оно равно свойственно и ритуальным оргиям, и кровавой оргии «красных кхмеров», и многим преступным движениям или актам, кажущимся подчас амотивными. Но, как замечательно формулирует Тэрнер, «максимализация коммунитас влечет за собой максимализацию структурности»: оттого-то и революции, вдохновляемые утопиями, неизбежно завершаются своим 1937 годом).

Вернемся к научному коммунизму.

Коммунизм — последнее из дискретных, устойчивых состояний общества, возникающих в процессе репродуцирования, «удвоения» человеком природы — искусственного восстановления утраченного единства с ней, высшая ступень отчуждения-освобождения. Поэтому, кстати сказать, и невозможно построить логическую модель посткоммунистического развития общества, ибо оно будет развитием уже каких-то иных оснований, не содержащихся в нашем исходном тезисе: «человека создало отчуждение».

Поразительно, но и это прозрел, смог постичь своей гениальной интуицией Маркс, увидевший в становлении коммунизма как бы конец нашей исторической ойкумены, фазу метасистемного перехода от «предыстории» к «подлинной истории» человечества. В оптимистическое пророчество Маркса очень хочется верить, особенно потому, что с локально-исторической точки зрения, то есть в существующей системе отсчета, все выглядит далеко не столь однозначно-оптимистично: допроизводительную стадию можно уподобить младенчеству человечества (люди — иждивенцы природы), постиндустриальную — старости (люди — пенсионеры «второй природы»). Понятно, что это всего лишь образ, хотя некоторые закономерности развития и трансформаций культуры подтверждают правило, выведенное биологами: онтогенез в общих чертах повторяет филогенез.

Неверно думать, что коммунизм — это состояние общества, пребывающего в изобилии и блаженстве. Изобилия «вторая природа», имеющая, видимо, свой экологический предел продуктивности, может давать не больше, чем во времена присваивающей экономики людям давала первая. При этом даже если при рабском способе производства или допроизводительной добыче степень сытости зависела от усилий, обращенных на природу, вовне, то здесь, весьма вероятно, регулирующие усилия смогут быть направлены лишь вовнутрь: обществу придется регулировать свою численность, потребности и так далее.

Как и предвидел Маркс, найм в подобных условиях станет бессмыслицей, товарообмен сменится распределением, инструментом которого могут служить и деньги, но являющиеся не мерой зара-

ботка, а ограничителем потребления; при этом уровень материальных потребностей, видимо, сильно снизится, поскольку потребности не будут провоцироваться способом производства.

Весьма проницателен был Маркс и тогда, когда интерпретировал коммунистический труд как первую человеческую потребность. Первая человеческая потребность, то есть потребность, отличающая людей от животных,— творчество, обретение «сущности». Этим и будет любая деятельность грядущего — «физическая» или «умственная» — все равно: конституированием человеком своей человеческой сущности, изобретением цели и смысла жизни, «производством форм человеческого общения». Поэтому коммунистическое общество, будучи в строгом смысле бесклассовым, вместе с тем может быть и сословным, кастовым, партийным, национальным, конфессиональным, сектантским — каким угодно. При этом регулирование общественных отношений станет чрезвычайно острой проблемой — именно потому, что они здесь не связаны с производственными, не образумлены экономическим рационализмом и дисциплиной труда — свободны. Поэтому коммунистическая эпоха может быть и самой счастливой и самой мрачной из всех эпох истории: коммунизм будет таким, каким придут в него люди.

Социально-экономической формой организации общества, в которой произойдет становление коммунизма, может быть только социализм: лишь государство, способное контролировать экономику, может справиться с ситуацией, возникающей при вытеснении из производства все новых и новых миллионов работников, кризисе многовековых концепций и ценностей бытия. Как некогда ранний капитализм подталкивал к абсолютизму стагнирующие феодальные общества, так и «ростки коммунизма» — безработные толпы — будут подталкивать к социализму современные государства. Мир — раньше ли, позже ли — станет социалистическим, что вовсе не означает — «унифицированным», а тем более — скроенным по какой-то из существующих ныне моделей социализма.

Завершим наш обзор формаций чисто публицистическим замечанием.

Коммунизм — не миф, коим считает его, по моим наблюдениям, подавляющее большинство советских людей, в том числе коммунистов, твердо знающих, ибо это даже на заборах написано, что «наша цель — коммунизм», что «коммунизм — светлое будущее всего человечества», но, несмотря на это, имеющих о коммунизме куда менее ясное представление, чем, например, о втором пришествии или загробной жизни. Коммунизм — реально возможное состояние общества при действительно «постиндустриальном» — автоматическом, биоавтоматическом — производстве, являющемся конечной ступенью развития и рутинизации индустриальной исторической технологии. Общество пожизненных пенсионеров, общество, дающее человеку пропитание, но не занятость, общество, в котором деятельность людей сосредоточена «по ту сторону царства необходимости» — сферы материального производства — это и есть светлое или мрачное — непредрешенный вопрос, но мыслимое грядущее мира: коммунизм в зеркале логики, а не идеологии, науки, а не мифа о рае-изгнании-возвращении в рай на новом витке спирали.

Неклассический вариант, или Путешествие из Петрограда в Москву

Теоретическая картина исторического процесса, нарисованная в предыдущих главах,— это сильно идеализированная картина: так выглядела бы история, будь она развертыванием имманентных закономерностей социогенеза в географически однородной среде. По нарисованной схеме исторический процесс начинается в силу некой мутации, первоначального отчуждения, перехода к жизни «по образу» и развивается стадиально, образуя ряд системных гомеостатов, формаций: допроизводительную (первобытную), рабскую, феодальную, индустриальную (капиталистическую), постиндустриальную (коммунистическую). Как само общество зародилось внутри не — общества, так и каждая формация зарождается в лоне предшествующей (прототипическая, негативная, «внутриутробная» фаза), затем разрушает родительский организм и проходит ряд фаз, ступеней самостоятельной эволюции: от низшей (стихийной, частной) до высшей (универсально организованной, социалистической), на которой и разрушается, переходя в первую фазу следующей формации.

Развитие обществ, существовавших и существующих в реальной истории, может в той или иной степени совпадать с этой теоретической схемой, приближаться к ней, как геоид к шару: в подобных случаях перед нами «классические» объекты, хотя классичность любого общества, конечно, весьма условна. Может — резко не совпадать и всего чаще (чем дальше от «начала» — тем чаще) не совпадает. И это естественно: формация — теоретическая абстракция; в реальности существуют не формации, а те или иные их модифицированные воплощения: цивилизации, конкретные общества. История неклассична, и только через ее неклассичность, благодаря ей и под ее влиянием реализуются закономерности исторического процесса, только благодаря аномалиям реализуется норма.

Неклассичность исторического процесса обусловлена множеством фундаментальных причин. Самый простой пример: различие природных условий, в которых неизбежно оказывались в поисках пропитания разные группы разделившегося праобщества. В одних случаях природа могла побуждать человека совершенствовать технологию, в других не располагала к этому, в третьих же исключала новшества, ломала и требовала табуировать их, так как более низкие уровни цивилизации оказывались более устойчивыми в экстремальных условиях.

Развивавшиеся с разной скоростью общества вступали во взаимодействие, иногда — заимствуя элементы, органически не сложившиеся у них самих, но не отторгавшиеся иммунными механизмами социума, иногда — сливаясь, соединяясь. В этом случае менее развитое племя, политически и идеологически покоренное, могло становиться, например, классом-кастой рабов: имманентная закономерность развития проявлялась в силу внешних толчков, случайных, хотя и статистически вероятных эксцессов, несомненно модифицировавших теоретическую инварианту.

Множество подобных причин делает эмпирическую картину истории очень сложной и далеко не классичной, и чем выше ступень исторического развития, тем сложнее связь разных факторов исторического процесса и тем больше всевозможных «химер».

Крупная промышленность, как хорошо сказал Маркс, «создала мировую историю», то есть мировой рынок, международное разделение труда, средства физической и культурной коммуникации, связавшие прежде изолированные общества, сделавшие их современниками, хотя одни из них только-только пересекли границу неолитической революции, а другие вступили в эру самолетов и субмарин. Физическая синхронизация стадиально различных обществ породила «мировую деревню» — колониальный мир. Колонии капиталистических государств — не просто вассальные страны или провинции, какими были колонии Греции или Рима. Это особые исторические организмы: двухформационные. Обычно это перезрелые феодальные страны, оказавшиеся политическими невольниками метрополий. И одновременно — это регионы с однобоко развитой, но крупной, нередко передовой индустрией. Здесь есть дешевое сырье и дешевая рабочая сила, отсутствуют правовые регуляторы, снижающие прибыльность производства, сюда выгодно вывозить капитал и так далее.

Здесь, в двухформационных социумах, как и в обществах «беременных будущим», двойной набор социальных классов: крестьяне и рабочие, феодалы и капиталисты, духовенство и интеллигенция. Однако это не зародышевое «общество в обществе», а нечто совсем иное: симбиоз двух развитых, хотя внутренне и враждебных друг другу обществ. Феодализм колоний имеет мало шансов перейти в первую, буржуазно-демократическую фазу капитализма. Капитализм колоний — это не собственное порождение феодального общества, а нечто чужеродное, враждебное большинству, подавляющее ростки частного, демократического капитализма, появляющиеся на местной почве, ибо крупный колониальный капитализм заинтересован как раз в сохранении феодальных порядков.

Нетрудно понять, что именно в этих зонах мирового развития общественные противоречия достигают максимума. Здесь максимум бесправия, угнетения, деспотизма, здесь сама химерность, неорганичность социума, отсутствие естественно сложившихся, формационно логичных регуляторных механизмов порождает гипертрофированный контрольно-репрессивный управленческий аппарат. Здесь складывается специфический тип массовой психологии, характеризующийся глубокой апатией выпавших из исторической жизни людей, периодически сменяющейся иррациональными взрывами. Здесь движения угнетенных имеют форму реакции не на феодализм, то есть не на «проклятое прошлое», а по преимуществу на еще более проклятое будущее — капитализм: революции питаются энергией феодально-демократической, феодально-социалистической реакции на враждебное, чужеродное, разрушающее традиционные народные идеалы грядущее. Однако существенная особенность подобной реакции колониального социума заключается в том, что в ней нет или почти нет черт луддитизма: враждебность вызывает не индустрия, уже осознанная как источник богатства, а капитализм; деколонизирующееся общество грезит о свободе без отчуждения, о зачатии без греха, то есть стремится стать развитым, сильным, индустриальным, но не капиталистическим обществом.

Разновидность колоний — «самоколонии»: политически независимые, нередко мощные в военном отношении государства, империи, имеющие химерный двухформационный уклад. Характерный пример — Россия конца XIX — начала XX веков. Разумеется, в политическом отношении Россия колонией не была: тюрьма народов, как о ней тогда говорили, жандарм Европы. Но Россия была типичной самоколонией.

Вспомним: в 1914 году в статье «Из прошлого рабочей печати в России» Ленин утверждает, что ситуация в России, самой отсталой стране Европы, аналогична ситуации в Англии конца XVII и во

Франции конца XVIII — первой половины XIX столетий, то есть что в России — канун буржуазно-демократической революции. Ленин прав: Россия конца XIX — начала XX века — давно уже не докапиталистическая страна. Но вот аналогия с Англией и Францией была, конечно, условной. Русский капитализм не был буржуазно-демократическим, он имел выраженный колониальный облик. Россия располагала крупной промышленностью, причем концентрация капитала в основных отраслях достигала столь высокого, даже опасного уровня, что талантливый царский чиновник, глава департамента артиллерии Маниковский выдвинул идею национализации этих отраслей. Но индустрия была лишь островом в гниющем феодальном болоте, которое не успел осушить фермерскими хозяйствами — отрубами — дальновидный Столыпин.

Не менее важно и то, что по духу Россия оставалась феодальной страной, нетерпимой к капитализму, бывшему крайне антипатичным даже западнику Герцену, а в России имевшему и вовсе циничный, чукеродный и чужеземный облик. Симптоматично: первый в европейской литературе образ буржуазного преобразователя, нового сотворителя мира — романтический Робинзон Крузо (инверсия мифа о «культурном герое» и доисторическом дикаре). Первый образ капиталистического предпринимателя в русской литературе — Павел Иванович Чичиков, восседающий в сколоченной мужиком кибитке, которую мчит птица-тройка Русь. Вдумчивый Гончаров, признавая не только практическое, но и моральное превосходство Штольца, сочувствие вызывает все же к Обломову. При этом Обломов-Штольц — не столько национальная, сколько историко-социальная оппозиция. Лопахин — русский демократический буржуа, написанный Чеховым без малейшей предвзятости и с полным пониманием лопахинской исторической миссии. Но даже Лопахин — внук местного крепостного крестьянина — кажется чужеземцем, «человеком со стороны» в сравнении с внешне европеизированной Раневской. Лопахин — спаситель и разрушитель, герой-преступник: с его приходом гибнет — не в физическом, но в «духовном» смысле — Россия, Вишневый сад... Разрешить эту антиномию смогут только большевики. Пройдет очень немного времени, и российский комплекс неполноценности — феодальная реакция на слишком поздний, неорганичный, самоколониальный капитализм — обернется комплексом превосходства («на буржуев смотрим свысока») — критикой капитализма как бы уже с исторически более высоких позиций: так бегун, отставший на половину круга, может казаться опережающим на полкруга всех...

В относительно благоприятных условиях эволюции колониальный капитализм постепенно ассимилирует свою феодальную «внутреннюю колонию»; при этом он даже может сохранить феодальные рудименты, формальную монархию, например, превращая ее в культурный символ единства и стабильности нации. Однако и в таком варианте процесс развития должен иметь выраженные социалистические черты, ибо требует властного государственного вмешательства в экономику — вплоть до национализации крупной промышленности, банков и так далее: в противном случае крупный, монополистический капитал станет преградой, плотиной на пути буржуазно-демократического превращения феодального сектора. В России рисуемый вариант развития намечался столыпинскими реформами в сочетании с идеей огосударствления крупной промышленности. Второй попыткой осуществления этой модели госкапиталистического развития, только уже в режиме не конституционной монархии, а партийно-государственной диктатуры, был ленинский нэп. Реальность такой модели подтверждается опытом многих деколонизирующихся стран «третьего мира» — стран «социалистической ориентации». Однако множество факторов — этнических, политических, идеологических (о которых чаще всего забывают исследователи, склонные игнорировать роль внеэкономических факторов, мыслить наивно-рационалистически) — могут снижать вероятность обсуждаемого варианта развития практически до нуля, особенно — в самоколониальных странах.

В экстремальных условиях кризис колониальных, а тем более самоколониальных обществ оказывается тотальным, катастрофическим кризисом. Он сопровождается глубокой люмпенизацией, появлением *лиминальной массы:* толпы, выпавшей из всех табу, всех традиций — классовых, национальных, конфессиональных,— мистической массы, влекомой к «раю», преодолению отчужденья, «проклятья» не через созидание, а через преступление, разрушение, святотатство, своего рода сакральный грех. (Вспомним двенадцать блоковских подонков-апостолов, предводительствуемых оборотническим Христом-Антихристом). Эта масса лиминалиев как двойник похожа на утопический мессианский пролетариат: Маркс и мыслил пролетариат продуктом разложения всех классов, конфессий, наций, на чем и основывалась его вера, что этот Никто, став Всем, уже не воспроизведет разделения на классы, нации и так далее, учредит царство свободы без отчуждения.

Но лиминалистская общность — «коммунитас» — это состояние, в отличие от реального коммунизма, не имеющее позитивного воплощения, существующее лишь как процесс отрицания, разрушения, всегда, естественно, скоротечный. Попытка революционного «возвращения в рай» завершается стабилизацией на более низком, то есть более рабском уровне. Хаос (как сакральное буйство в поэме Блока) сменяется железным державным строем: революция лиминалиев оказывается тотальным огосударствлением собственности и всей жизни общества.

Прервемся. Так вот оно в чем — действительное и не часто замечаемое открытие Ленина, сделавшее ленинизм «марксизмом XX века», эпохи крайней неравномерности мирового развития и колониальных «химер». Эту ленинскую идею, бывшую полным переворотом в ортодоксальном марксизме, с точки зрения которого победа социализма в отсталой стране — утопия, идею, осуществившуюся на практике, но никогда не изложенную открыто и адекватно, можно сформулировать так. В колониальных странах «обычный порядок» исторического развития невозможен или проблематичен. Проблематична победа буржуазно-демократической революции: нет или слишком мало демократической буржуазии, слишком сильны феодальные традиции и так далее. Но как раз поэтому возможен социализм. Или еще короче: объективно ленинское открытие заключалось в том, что социализм не первая стадия коммунизма, а последняя — каждой формации, а поэтому он невозможен в России — самой отсталой стране Европы, но возможен в России — самой передовой державе Азии.

Все же история — великий художник. Трудно придумать лучшую метафору этой идеи, чем перемещение жизненного центра России из капитализированного, европейского Петрограда в древнюю, феодальную, «азиатскую» ее столицу — Москву...

Что он такое — самоколониальный социализм? Какова его формационная сущность?

Понятно: огосударствление феодального сектора порождает феодальный социализм, индустриального — индустриальный социализм-госкапитализм; то есть, рассуждая механистически, колониальный социализм надо мыслить как некий симбиоз госфеодализма и госкапитализма. Но такой симбиоз противоестествен; общество не может быть одновременно системой феодального абсолютизма и парламентской демократии, прямого политического регулирования хозяйственных отношений и рыночной экономики. Социализм колониального или самоколониального общества оказывается не полугосфеодализмом-полугоскапитализмом, а их синтезом, осуществляющимся путем раскультуривания, «возвращения» к формам тоталитарного прошлого, предшествовавшим и капиталистическому и феодальному обществам,— синтезом, который можно назвать *квазирабским* социализмом.

Как достигается эта негативная однородность? Самую страшную ломку претерпевает аграрный сектор, ибо здесь происходит «раскрестьянивание» самодеятельных феодальных работников-крестьян, усугубленное — в той мере, в какой они превратились в фермеров — их «разбуржуазиванием». Крестьяне становятся фактически ненаемными государственными рабочими (подобно неграм американских плантаций — с той только разницей, что в роли плантатора выступает непосредственно государство).

Менее радикальное, но тоже очень глубокое потрясение испытывает и индустриальный сектор: он развивается без органически присущей ему экономической формы, развивается за счет внеэкономических отношений с «внутренней колонией» и собственными работниками, которые наемными являются лишь номинально, ибо не могут не наниматься, поэтому сильно напоминают знакомых нам по «негативной», прототипической стадии капитализма марксовых «наемных рабов».

Так возникает негативно однородное в формационном плане, чрезвычайно стрессированное и парадоксальное общество. Это общество не имеет настоящего, оно живет в неком «прошлобудущем» времени. Будучи социалистическим обществом, оно воспринимается как опережающее мировой процесс, небывалое, «первопроходческое», при этом мыслит свое настоящее лишь как переходную стадию, средство построения идеального, обожествляемого грядущего. Но подобный социализм, достигнутый путем разрушения, конструктивного упрощения, «возвращения в будущее», с логической неизбежностью воспроизводит характернейшие черты организации древних обществ.

Жизнь древних обществ тотально идеологизирована, то есть идеологически окрашенным, определяемым идеологической доминантой здесь является все: и политика, и материальная практика, и художественная деятельность — все составляет мифологическое единство. Здесь царят централизация и строжайшая планомерность, регламентированность всей жизнедеятельности. Здесь во главе государства — верховный жрец, полубог, соединяющий функции духовной и светской власти, просветленный истолкователь мифа, а само государство-общество являет собою церковь, точнее — капище. Понятно, что при квазирабстве этот жрец не пророчит, а теоретизирует, и мифология имеет квазинаучную форму «объективно-научной идеологии», «науковеры», уже

не способной заменять специальное научное знание, но являющееся его «методологическим компасом».

Понимая специфику рабских обществ, наивно спрашивать, случайность ли культ личности Сталина или мумификация Ленина, почему социалистическое государство оказалось тоталитарным, зачем сокрушались храмы, отчего «научная идеология» была столь нетерпима к религии (наука обычно индифферентна к вере), почему огромную массу людей охватывало безумие подозрительности, охоты за колдунами-вредителями, откуда эта фанатичная рабская преданность государству, смесь энтузиазма и страха, готовность к жертвам и кровавым жертвоприношениям, что за бред — давать безотвальной пахоте «политическую и идеологическую оценку», что за мания возводить грандиозные, хотя экономически малорентабельные объекты, и так далее и тому подобное. А почему в империи инков казнили за изменение цвета одежды или длины волос? А какова экономическая рентабельность египетских пирамид или истуканов Пасхи? А ведь строили, хотя без штанов ходили. Квазирабское общество создает индустриальных идолов, то есть промышленно-культовые объекты: все логично.

Природа социализма колониальных, двухформационных обществ отчетливо проявляется в двойственности, химерности, мистифицированности структур, отношений, институтов социального бытия. Например: право на труд — оно же обязанность, выборы — они же проверка лояльности, закупка — она же взимание дани, наука — она же идеология, свобода — она же необходимость, искусство — оно же госмифология. Той же породы и «двухклассовость» советского общества: «рабочие и крестьяне» (хотя крестьянство — класс феодального и никакого другого общества). И так далее, куда ни кинь взгляд; всюду один и тот же мучительный парадокс: «зияющие высоты».

Квазирабский социализм в определенных отношениях эффективен. Например, он позволяет очень быстро (хотя и в «негативе») достичь формационной однородности общества, интегрировать на основе «научной» мифологии, неоязычества различные этносы империи, отмобилизовать, сконцентрировать, не считаясь ни с какими издержками, огромные материальные и трудовые ресурсы, даже — дать миллионам иллюзию высокого смысла жизни.

Но квазирабский социализм, чем бы он ни казался мистифицированному сознанию, объективно является аномальным, стрессированным состоянием общества — негативом, который не может перейти, превратиться ни во что другое, как в собственную противоположность, в собственный позитив: в госкапитализм, то есть нормальный, формационно органичный социализм индустриального общества.

Признать эту истину, если не открыто, то молчаливо, на деле, заставляют несколько обстоятельств: неизбежное крушение интегрировавшего общество мифа; разрушение личности самой мистифицированностью бытия, приводящей к раздвоенности, роду шизофрении, а затем к апатии и цинизму; исчерпание типично колониальных ресурсов экстенсивного роста (дешевого сырья, энергии и рабочей силы); усложнение самого хозяйства, достигающего предела, за которым индустриальное производство уже не может существовать без органически присущей ему экономической формы — капиталистических регуляторов.

Титаническая индустрия оказывается как бы дебильной, напоминающей могучего идиота: горы сдвинет, реки великие повернет, пустыню Каракум заболотит... сначала не нарадуешься, да потом не неплачешься.

Первыми отключаются наиболее древние — идеологические, «моральные» регуляторы; приходится заменять их так называемыми материальными стимулами, но это дает только краткий и неоднозначный эффект, поскольку сами по себе деньги, даже большие,— еще вовсе не экономика. Приходится постоянно надстраивать политические, фискальные регуляторы, но на определенной стадии гигантский аппарат управления начинает лишь усиливать, усугублять деструкции, то есть сложившаяся система действительно «из формы развития производительных сил превращается в их оковы». Это противоречие безусловно является антагонистическим противоречием, ибо и сам переход химерного социума в классический, квазирабского социализма в госкапитализм представляет собой скрытую перманентную революцию, протекающую на социалистическом уровне, «в рамках социализма», но радикально — до полной смены знаков на противоположные — меняющую его сущность.

Переход идет толчками реформ, являющихся одновременно ступенями обмирщения, секуляризации общества. Например, эволюцией от квазиязыческого фанатичного культа Сталина к двусмысленному, амбивалентному культу Хрущева, недвусмысленно ханжескому и циничному — Брежнева, наконец, к нормальной, внекультовой популярности Горбачева. При этом, поскольку общество, оставаясь самим собой, социалистическим обществом, трансформируется в собственную противоположность, возникает множество парадоксов. Каждый предыдущий руководитель, будучи лидером непрерывно существующей и боготворимой партии, дезавуируется как исказитель «истинного социализма», «нарушитель завета». Более прогрессивными оказываются «низшие», «не вполне социалистические» формы организации производства. Общество «самой полной и последовательной демократии в мире» вдруг начинает учиться демократии на детсадовском уровне. Новаторским вкладом в политэкономию социализма оказываются кальки капиталистической экономики, а в искусстве — возвращение к традиции классиков или следования Кафке, Джойсу, Маркесу. И так далее — во всех сферах жизни.

Ситуация действительно сложная. Неклассичность российского социализма породила иллюзию, которую можно назвать призраком коммунизма. Выпадение из классических схем истории в некое пространство безвременья представлялось вступлением в небывалую эру; смутное понимание всеобщей вины и греха питало чувство интимной общности; голодная безбытийность и присущая рабству мифологичность миропонимания (хотя и в превращенном, марксистски рационализированном ее варианте) казались одухотворенностью и идейностью; неадекватность хозяйственных отношений — переходом к коммунистическому способу производства. Но по мере развития общества призрак коммунизма исчезает из массового сознания; «созревание» социализма давно уже ощущалось старшими поколениями как обуржуазивание, утрата сокровенного идеала, бывшего почему-то ближе в прошлом, даже в трагические и голодные годы.

«Перестройка» — один из последних этапов преображения квазирабского социализма в госкапитализм — метаморфоза резкая и болезненная из-за ее преступной, искусственной запоздалости, но тем более интересная в качестве иллюстрации. Социализм на глазах утрачивает двойственность и призрачность очертаний, демистифицируется. Это выглядит как некое протрезвление, не случайно начавшееся с попытки физически протрезвить миллионы спившихся, апатичных, живущих словно в бреду или гипнотическом сне людей, не понимающих себя же самих вчерашних и не узнающих своих детей, словно между поколениями — не годы, между сегодня и вчера — не часы, а десятилетия и века. Даже умеренные реформы, предложенные М. С. Горбачевым, для многих — как светопреставление.

Встревоженность общества не лишена оснований... В заполярном Норильске в подъездах домов висят таблички: «Берегите вечную мерзлоту». На сваях, вбитых в скованное мерзлотой болото, стоит этот героический и трагический, как сама наша история, город. Желанное благо — оттепель, потепление — здесь оказалось бы катастрофой: развалятся, погружаясь в хляби, дома, а оттаявшее болото вытолкнет бессчетные тысячи нетлевших трупов.

Квазирабский социализм — вечномерзлотное построение; многие люди это хорошо понимают, и страх перед апокалипсическим видением делает вопрос о характере необходимых реформ, их темпе, гарантиях и так далее — поистине драматичным.

В условиях либерализма и гласности опасны топтание, нерешительность, опасны и фрагментарные изменения, вносящие диссонанс в систему. Теоретически адекватной мне представляется лишь политика жестких переходных структур, соединяющих, казалось бы, несовместное: рынок и некую разновидность карточек («социальные деньги», боны), самоуправление и сильную президентскую власть. Вспоминаю ветхозаветную притчу. Моисей вел народ свой из египетского рабства в землю обетованную сорок лет. Как мы в юности потешались над такой несуразицей: ведь пути там самое большее — сорок дней! И лишь когда побелели волосы, поняли: из Египта. Но не из рабства.

Вместо заключения

Свобода есть осознанная возможность

Я пишу не историю — всего лишь пытаюсь показать на общественном примере логическую закономерность развития неклассических обществ, точнее — одной из их разновидностей. Можно было вообще не прикасаться к эмпирии, строить чисто логическую модель: теоретическая схема все равно порождала бы исторические аллюзии.

Не фатализм ли это? Неизбежен ли рассмотренный вариант развития для неклассических, колониальных или самоколониальных обществ? Нет. Историческая закономерность — не телеология, не фатальный детерминизм, логика истории — не Логос, не предопределение. Мы утверждаем: судьба России закономерна, но ни малейшего фатализма в этом утверждении нет. Как это понимать? Очень просто; мы ведь не обвиним в гегельянстве физика, утверждающего, что на тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной воды. Не хочешь, чтобы действовала — не суйся в воду. Но ежели сунулся, случайно упал или подтолкнули — будет действовать.

В истории нет предопределенности. Человечество могло не возникнуть или, возникнув, оказаться в условиях, исключающих переход к производству (это доказывает судьба всех реликтовых, почти «первобытных» сообществ). На любой ступени развития история могла оборваться или же деградировать в силу любой случайности: эпидемии, космической

катастрофы, а затем — победы фашистов во второй мировой войне или безумства пилота стратегического бомбардировщика. Но ноль скоро развитие происходит, оно подчиняется определенным закономерностям.

Отрицает ли это роль личности, наши хотения, возможности что-либо изменить, самое свободу? Нет. «Свобода есть осознанная необходимость» — эффектный парадокс, но логическая бессмыслица: горькая философия еврейского гетто, выстраданная Спинозой и вывернутая наизнанку Марксом, возмечтавшим вывести свой «избранный народ» — пролетариат в коммунистическую землю обетованную. Повторим: в истории необходимости нет; законы истории — не повеления, а запреты. Например: невозможен капитализм без индустриального способа производства — неоткуда будет взяться прибавочной стоимости. Невозможен социализм индустриального общества, который не был бы госкапитализмом,— экономику постигнет крушение. Невозможно рабское общество без мифологии и вождя-жреца, то есть теократического правления. И так далее. Такова природа социальных гомеостатов, таков закон гомологических рядов истории — «закон соответствия» в его истинном, действительном виде.

Но все, что не запрещено,— возможно. Поэтому и свобода не есть осознанная необходимость; свобода есть осознанная возможность. Поэтому и законы истории реализуются не в форме необходимости, фатума, а в форме возможности, чем обусловлено и наше чувство ответственности за свои поступки, присущее людям чувство совести.

Люди свободно — дальновидно ли, нет ли — избирают ту или иную возможность, отсекая другие и оказываясь во власти совершенного выбора. Если избранная возможность не утопична (утопией было, например, ожидать, что революция приведет к отмене товарного производства и отмиранию государства), то есть не запрещена законами исторического развития, она может осуществиться, но может разбиться о некий альтернативный выбор, оказавшийся более реальным в данных условиях. Люди, преследуя свои цели, невольно избирают возможности, не запрещенные природой социальных гомеостатов, но тем самым реализуют и выявляют закономерности. Это — полностью марксистское представление, лишь освобожденное от мистической «осознанной необходимости», от смешения логики истории с Логосом, правил игры с ее целью, смыслом и результатом.

В 1917-м Ленин понял возможность социализма по-азиатски, то есть отсутствие его невозможности. И сделал выбор. Это было полуинтуитивным открытием неклассического пути исторического развития. На рассудочном уровне, во всяком случае — на словах, Ленин еще придерживался воззрений Маркса и, возможно, искренне верил, что власть берет не «новый класс», много позже описанный Джиласом, а пролетариат, с которым полностью отождествляли себя поначалу интеллигенты и функционеры-партийцы, и что революция в «слабом звене», в полуфеодальной России — лишь искра, которая вызовет мироной пожар, пролетарскую революцию в передовых капиталистических странах.

Но это было ошибкой в теории, нарушающей фундаментальный запрет: рабочий класс не может низвергнуть капитализм, ибо сам является классом капиталистического и никакого другого общества. (Из чисто теоретического интереса заметим: крестьянство, а также и люмпенство, в отличие от рабочего класса, в определенных обстоятельствах уничтожить капитализм может, однако победит в этом случае не посткапиталистическое, а докапиталистическое общество). Естественно, что получилось все «прямо наоборот»: вместо «государства пролетариата», «которое уже не есть государство» — сверхгосударство, тоталитарный державный строй, вместо мировой революции — семьдесят лет самооккупации и гражданской войны.

Признание закономерности исторического процесса не отрицает нашей свободы, напротив, позволяет осознавать возможности — как для того, чтобы их использовать, так и для того, чтобы мудро и мужественно от них отказаться. Рабами или преступниками нас делает как раз незнание или неадекватное понимание закономерностей исторического процесса; рабами делает миф.

Это миф о «государстве диктатуры пролетариата», миф о «противоположности двух мировых систем» — социализма и капитализма — и неизбежности их столкновения в «последнем решительном» был одной из причин сверхиндустриализации, уничтожения нэпа, того, что партия — эта рука миллионнопалая — сжалась в один громящий Гулаг. Это миф о социализме как первой стадии коммунизма на долгие годы задержал преобразования, которые еще в шестидесятые-семидесятые можно было осуществить без эпитета революционных. Тем не менее мы все еще боимся правды, заменяя одни мифы другими, научные дефиниции — эвфемизмами. Но слишком это рискованное занятие — блуждать над пропастью во лжи.

Я не переоцениваю марксистскую обращенность советского населения. Представления, будто существует страна с двадцатимиллионной партией, исповедующей марксизм-ленинизм, сильно преувеличены совместными стараниями советской и западной пропаганды, но это нисколько не умаляет роли Учения в нашей истории и сегодняшней жизни. «Марксисты», не читавшие Маркса,— явление того же порядка, что и выборы без возможности выбора, власть Советов под руководством партии, прано-обязанность, свобода-необходимость и так далее: синдром двойного бытия и раздвоенного сознания. И излечить нас от этой социальной шизофрении не может ни явный, ни скрытый, ханжеский отказ от марксизма.

Достаточно очевидно, что углубляющийся кризис марксизма высвобождает не разум, а нечто противоположное разуму — от мистицизма до скотства. Излечить нас может лишь превращение марксизма в науку, как и любая наука — внеклассовую, вненациональную, внеидеологическую, но именно поэтому помогающую людям не бороться друг с другом, а находить взаимопонимание, и лишающую опор любые идеологии, противоречащие доводам разума.

Вернусь к тому, с чего начал очерк: основы научной социологии заложил несомненно Маркс, и именно поэтому переосмысление учения Маркса — единственная возможность деблокировать науку об обществе. Конечно, ревизовать основы — занятие не безвредное. Вреднее его, пожалуй, только одно: делать вид, будто эти основы достаточно прочны, чтобы на них могло держаться наше мировоззрение. Поэтому приходится выбирать.

ДНЕВНИК
ЛИТЕРАТОРА

Андрей
АРЬЕВ

АПРЕЛЬСКИЕ АНТИТЕЗИСЫ

Опубликованное в первом выпуске альманаха «Апрель» (1989) «Обращение ко всем деятелям культуры и науки» заканчивается ответственным утверждением: «Мы не должны быть ни с народом, ни для народа. Мы — народ». Сто лет тому назад подобный тезис вряд ли мог быть серьезно обоснован: народная крестьянская масса, составлявшая большую часть населения России, была достаточно ясной чертой отделена от образованных слоев общества. Она-то и являлась народом. Художники, деятели культуры могли относиться к ней в духе просветительской философии и «сеять разумное, доброе, вечное» — сверху, могли, наоборот, в русле народнической или толстовской идеологии принижать и дискредитировать культуру ради высвобождения органических, непокоренных пластов народного сознания, ради слияния с ними. Но в любом случае писатель не идентифицировал себя с народом. Даже «писатель из народа».

После 1917 года, уничтожившего в России сословное общество, безусловно господствующей и формирующей идеей (практически ни единым человеком не оспариваемой) гражданского бытия выступила идея равенства, провозглашенная еще французской революцией. Как бы к ней ни относиться, очевидно одно: принцип равенства есть императив нашего социального самоощущения, мы им не поступимся, поскольку он уже перешел в область наших неоспоримых бессознательных установок и устремлений. Поэтому действительно любой гражданин страны может совершенно нелживо заявить, что он-то и есть народ. И будет прав. Речь теперь идет лишь о том, у кого в этом народе прав больше, а у кого их недостает.

Несомненно, что до недавнего времени власть всецело принадлежала партии. Так что совершенно логично Б. Н. Ельцин, беседа с которым опубликована в «Апреле», полагает главной задачей современной жизни уравнять партию в правах и положении с правами и положением остального народа. Начать же нужно с самой партии, решить вопрос о социальных привилегиях. Основные трудности перестройки в том и состоят, что ее «...не с того начали... Начинать надо было с перестройки в партии». Партия же для Б. Н. Ельцина, видимо, ничего общего с «новым классом» не имеет. Поскольку и для него «народ» — это «...буквально каждый гражданин страны».

Движение «Апрель» («Писатели в поддержку перестройки») с этим положением согласно и само его исповедует. Даже при явном дефиците в сегодняшней жизни братских чувств писатели по-прежнему верны идее равенства и свободы.

Здесь и задевается самый больной нерв жизни общества. На него и призвана реагировать литература.

Оказывается, демократия нуждается в нравственных обоснованиях больше, чем любые иерархические системы. Влечение к анархии и бунту вместо трудного пути к сознанию необходимости свободы в первую очередь для *другого* человека (и в этом ее отличие от русской «воли»), а во вторую — для *себя* есть камень преткновения, до сих пор нами не преодоленный. Мы должны прийти к пониманию того, что свобода невозможна вне культуры, вне системы общечеловеческих диалогических отношений. В социально-философском плане свобода — это и есть основной продукт культуры. Носителем же культуры — в современном обществе особенно — является не государство, не правящая в нем партия, а сам народ. Оценивая сегодняшние культурные формальные и неформальные движения, мы, в сущности, оцениваем и движения народной души. И, надо сказать прямо, очень подчас разных ее сторон.

Свобода, как мы ее понимаем, есть не просто продукт культуры, но культуры совершенно определенной — европейско-христианской. И если у нас в первые годы после революции мысль о равенстве и братстве — пусть не христианском, но все же интернациональном — как-то поддерживала народное самосознание даже при явном попрании свободы, то теперь во всех областях и закоулках бытия жажда свободы, так сказать, берет реванш. Не просветленная стремлением к братскому единению, она не может не заключать в себе агрессивной потенции.

И не в национальной специфике здесь дело. Не забывая слов Пушкина о «русском бунте, бессмысленном и беспощадном», видишь и то, что платить за него народу всегда приходилось сторицей: разгул подавления мятежей оказывался еще более беспощадным и бессмысленным, чем сами бунты. И так — во всем мире, а не только в России. Просто свои раны всегда болят неизмеримо сильнее...

Но сегодня вспоминается скорее не Пушкин, а Андре Мальро (кто, как не французы, прошли через все возможные

искусы свободы): «Всякий активный, но пессимистически настроенный человек окажется фашистом, если нет в нем чувства братства».

Евгений Евтушенко, стихотворениями которого открывается альманах, оценивает наш исторический опыт следующим итоговым афоризмом:

Где на Руси паденье Рима —
там возрождение Руси.

Похоже, он прав: перманентные запевалы «Интернационала» вместо слов «Мы наш, мы новый мир построим...» про себя мыслили более определенно: «Мы наш, мы третий Рим построим...» Во всяком случае сталинская политика это подтверждает вполне...

Евтушенко политическую практику тоталитаризма описывает так:

Всех заодно одемократив,
потом, как в шлак, в один барак
швыряли вас как равных братьев
Иван-дурак, Исаак-дурак.

Народов братство было люто.
Шли, по велению вождя,
То русский, то грузин в малюты,
грузин, как русских, не щадя.

На языке Константина Леонтьева это называлось бы «последним эгалитарным смешением». Но если и не исповедовать исторический пессимизм, не доверять концепции безысходной цикличности круговорота рождений и смертей цивилизаций, то все же признать возникновение на территории бывшей Российской империи несколько иного народа, чем тот, что пахал на ней веками землю, сейчас уже приходится. Мысль эта явственно проскальзывает и в «Апреле», например, у Анатолия Приставкина, одного из лидеров и организаторов движения: «В том-то и сила сталинизма, что он не только уничтожал людей, он убивал души живых, он при помощи бациллы страха и насилия проник в клетку, изменив, исказив генотип того, что мы называем народом».

И действительно, если в прошлом веке, случалось, не сыскать было на всю Россию властям *одного* палача, то сейчас на страницах литературных (!) журналов то и дело встречаешь бесстрастные признания расстрельщиков, да еще и таких, кто считает это свое нередкое — даже ходкое — в XX веке ремесло для отечественного правопорядка необходимым, служащим идее «социальной справедливости». Но еще кошмарней, пожалуй, другое свидетельство Приставкина: «Даже школьники-десятиклассники, замечательные московские девочки, почти единогласно „проголосовали“ за казнь, когда я с ними разговаривал». Речь тут идет пока что о «теории» — отменять или не отменять смертную казнь...

Основная критическая мысль альманаха «Апрель» может быть сформулирована так: Сталин умер, но черное дело его живет. Против этого «дела» и направлены почти все тексты книги — и публицистические и художественные. Они свидетельствуют об одном решающем обстоятельстве: тот же самый народ, что голосует за смертную казнь, что не в одном поколении познал гнет выхолащивающей жизнь идеологии — этот народ сохранил все-таки и (через отрицание) даже укрепил, осознал в себе нравственное чувство. И сегодня он в большинстве своем голосует за самые демократические формы социальной жизни. Положительный опыт, приобретенный нами, заключается, в частности, в том, что ложь во всех видах надоела нам сверх всякой меры. Надоели и иллюзии — пусть даже самые радужные, «помогающие жить».

Участники «Апреля» верят в то, что именно народ — на деле, а не на словах — является творцом истории. И они призывают всех к тому, чтобы творить эту историю здесь и сейчас, а не отсиживаться у голубого экрана в ожидании благоприятной политической погоды.

Авторы альманаха не идеализируют народ, потому что не идеализируют ни самих себя, ни «прогресс цивилизации», который, впрочем, легко отрицать в теории и которым так неохота пренебрегать в быту. Герой Фазиля Искандера заявляет прямо: «Я думаю, человечество, если оно вообще уцелеет, еще сильно поплатится за грязный релятивизм цивилизации». Он же делает печальное умозаключение об «угасании силы сопротивления по мере угасания патриархальности народа».

Однако никакой положительной силы, которая могла бы вернуть тот или иной народ к патриархальности, в современном мире не существует. Реализация этой романтической, если не реакционной, утопии возможна лишь в чудовищной форме насаждения «коммунизма без городов и денег» на полпотовский манер. Преодоление «релятивизма цивилизации» происходит, скорее всего, на путях культуры, а не в ностальгических снах о золотом патриархальном укладе.

В понимании этого вся принципиальная разница между писателями, объединившимися в движении «Апрель», и тем литературным направлением, которому не дают покоя западные «цивилизованные варвары» и отечественные «жидомасоны».

Эти деятели с православным крестом на груди, монархическим образом Сталина в сердце и партбилетом принципиальных атеистов в кармане должны впасть в очередную истерику, прочитав в «Апреле» повесть молодого прозаика Александра Терехова «Зёма». Как же иначе — в ней «брошена тень» на нашу армию! Да еще

какая тень! Прямо-таки гигантская, покрывшая собой целый плац с шеренгой воинов — от рядового до генерала.

Уже по одной этой вещи можно говорить о значительности дарования автора — настолько органично сплавлен у него гротеск в изображении армейских будней с реалистически достоверным и точным описанием психологического состояния героя. Да, Терехов сгущает и краски и метафоры. Потому что литература для него — это не набившее всем оскомину «отражение жизни», а интенсивное и обостренное ее переживание. Все ярко в этой прозе — от авторской речи и внешней образной системы до изображения внутреннего состояния безнаказанно гонимой жертвы: «Я один. Я даже меньше, чем один. Я просто желтое пятно на стене...»

Не громить бы надо автора «Зёмы» армейским политработникам — как они постарались сделать еще до (!) появления повести в печати,— а дать прочитать вещь в каждой своей части. Как пишет Владимир Корнилов в стихотворении «Уход», помещенном как раз перед тереховской историей (получился своего рода эпиграф к ней):

Гром победы, раздавайся!
Не оправдывайся, росс,
А с позором расставайся,
Что давно к тебе прирос...

Может, ретирада эта,
Хоть обида в ней и боль,
Первая твоя победа
Над свирепою судьбой.

(Стихотворение датировано 15.02.1989.)

Но, замечает Анатолий Стреляный, у нас, «...что больше всего болит, то и запрещено». Дедовщина, ставшая бичом армии, приводящая к убийствам и самоубийствам солдат в мирное время, для воинских газет и журналов как бы и не существует вовсе...

Проза Терехова — это безусловное открытие «Апреля». Я бы отдал ей предпочтение перед прозой самых известных, здесь же напечатанных авторов — перед Анатолием Злобиным, Евгением Поповым, Юнной Мориц. При всем блеске ума и художественной наблюдательности както уж слишком нарочито у каждого из них фраза при помощи метафор и иносказаний огибает подразумеваемый смысл, как-то уж слишком они каждой мелочи придают притчевую окраску, а на всякое исповедальное слово накидывают удавку автоиронии... Наверное, прав Станислав Рассадин, обнаруживший в своем литературном поколении «...въевшийся и разъевший нас юмор», оберегающий личность от излишних потрясений. Интересно в связи с этим заметить, что прямодушие и прямоту выражения сохраняют в «Апреле» в большей степени не прозаики, а поэты, например, Евгений Рейн:

В Преображенском хлябь, размытая земля.
А ну, страна, ослабь воротничок Кремля.

Особняком — это чувствовалось бы и в любом другом издании — стоит в «Апреле» проза Александра Солженицына, его «крохотки». Мне кажется, что тайна этих давних рассказов писателя имеет отношение к его работе в целом. Солженицын пишет, заранее найдя и установив световой источник вещи, и помещает его так, чтобы каким-нибудь отблеском, каким-нибудь лучиком сияние это проницало самую мрачную тему, самый жестокий сюжет произведения. Так в «крохотках», навеянных свободными странствиями по России, писатель в мимолетных беглых сценах открывает красоту отечества, «...которую тысячу лет топчут и не замечают». Солженицын знает, что «и всегда люди были корыстны и часто недобры. Но раздавался звон вечерний, плыл над селом, над полем, над лесом»...

Хорошо, что под одной обложкой «Апреля» соединились и давние лирические раздумья Солженицына и последняя сугубо практическая предвыборная программа А. Д. Сахарова. За «права личности», за «открытость общества» следует бороться в стране, где в обозримые времена возможно было стать свидетелем сцены, описанной Солженицыным в «Прахе поэта»:

«— К Полонскому нельзя.— Он в *зоне*. Нельзя к нему. Да что там смотреть? Памятник ободранный? Хотя постой,— надзиратель поворачивается к жене,— Полонского-то вроде выкопали?

— Ну. В Рязань увезли,— кивает жена с крылечка, щелкая семечки.

Надзирателю самому смешно:

— Освободился, значит...»

НЕОБХОДИМАЯ РЕПЛИКА

ГЕНИЙ И ДЕМОКРАТИЯ — ДВЕ ВЕЩИ НЕСОВМЕСТНЫЕ?

Странное впечатление производят заметки Б. Парамонова «Чапек, или О демократии» («Звезда», 1990, № 1). Прежде всего — своим подчеркнуто неюбилейным тоном, предвзятостью, не останавливающейся перед натяжками и явными несправедливостями. Автор заходит слишком далеко в стремлении доказать свой тезис: личная добропорядочность Чапека, его приверженность идеалам гуманизма и демократии «разбавили», лишили остроты и своеобразия его талант, сделали писателя типическим выражением среднеевропейской цивилизации.

Нет, вовсе не был Чапек «подростком, причем подростком деятельным и мастеровитым», увлекающимся филателией и фотографией. Не был он и умилительно наивным оптимистом, наслаждающимся к тому же своей принадлежностью к «культурной провинции». Характернейшие черты творчества Чапека — почти благоговейный интерес к хрупкому и весьма проблематичному феномену жизни, чуткое постижение внутреннего драматизма человеческого существования в самых обыденных его проявлениях. И «по-настоящему острой» является в его наследии отнюдь не только пьеса «Из жизни насекомых». Разве не звучат обертоны трагического в «Белой болезни» и «Матери»? Разве в «Первой спасательной» сдержанный гимн мужеству и солидарности не рождается из осознания зыбкости, непрочности любого жизненного порядка, балансирующего на грани катастрофы?

Впрочем, дело, конечно, не в Чапеке. Чешский писатель — лишь повод для полета легкокрылой мысли Б. Парамонова. Конечная же его цель — установление априорной связи между ценностью художественного творчества и социально-политическим, социально-психологическим контекстом этого творчества.

Автор эссе вводит два опорных понятия — «гениальность» и «срединность».

С «гениальностью» ассоциируется пространственная бескрайность (Россия, Америка), величие исторической судьбы, политический и духовный радикализм, тоталитарные общественные формы, наконец, житейское неблагополучие и нравственная сомнительность самого художника. Сфере гениальности причастны, по Парамонову, Есенин и Гашек, Маяковский и Пикассо, Гамсун и Платонов.

«Срединность» же — общий знаменатель таких понятий, как демократия, культура, гуманизм, права личности, человеческая добропорядочность. Географический эквивалент — Европа или Чехия, разросшаяся до размеров Европы. В творческом плане срединность означает торжество мастеровитости, здравомыслия — посредственности. Носителями срединности в литературе выступают у Парамонова, помимо Чапека, Уэллс, Честертон, Замятин, Томас Манн.

В наше время третировать демократию — занятие психологически беспроигрышное: критик как бы оспаривает расхожие мифы и стереотипы, судит их с точки зрения, возвышающейся над общепринятой и недоступной большинству. К тому же Б. Парамонов играет на «разности потенциалов» между его собственным и, скажем так, среднеинтеллигентским сознанием, представляя свои вызывающие отождествления и противопоставления неким духовным авангардизмом. На самом деле он следует почтенной традиции, выявлявшей антиномии аполлоновского и дионисийского начал, цивилизации и культуры.

Кое-что бесспорное в утверждениях Парамонова есть. Конечно, у художественного творчества свои законы, мотивы и цели, вовсе не совпадающие с нормами обыденной жизни и идеалами справедливого общественного устройства. И творческие достижения отнюдь не стоят в прямой зависимости от уровня гражданских свобод в обществе или от прогрессивности воззрений художника. Однако из этого вовсе не следует: цивилизованность, демократические гарантии, либеральный общественный климат — что характерно для Европы XX века — так уж враждебны творческому началу, парализуют необходимое художнику чувство трагического. А как же быть с горькими фантасмагориями Кафки, с мощным универсализмом Джойса, с сокрушительным скепсисом Беккета, с пронзительными аллегориями Фриша? Отказать им всем в подлинности и эстетическом достоинстве только на том основании, что эти авторы жили в «культурных провинциях» и не разделяли радикальных политических взглядов?

А вообще-то аргументация, представленная в эссе «Чапек, или О демократии», давно опровергнута — например, в публицистике Томаса Манна, столь бестрепетно отлученного Парамоновым от «ге-

ниальности». Этот выдающийся романист отдал дань всем искусам эстетизма, консервативного духовного радикализма и аристократизма. Жгучую проблему обособленности художника, его несовпадения со стандартами житейских и гражданских добродетелей он познал на собственном опыте, осмыслил глубоко и интимно.

Но все это не помешало ему провозгласить, что искусство «предано добру, и сущность его — доброта, которая сродни мудрости, но еще более близка любви», не помешало стать «странствующим рыцарем» демократии, гуманности, социальной ответственности. И при этом, если его могучее и рафинированное, проникновенное и духовно щедрое творчество — не «гениальность», то очень недурная ее замена.

Мне кажется, не стоит в наше время столь резко противопоставлять друг другу демократию, культуру, рациональное начало — и спонтанную творческую способность, созидательную энергию художника. Тем более бессмысленно выводить формулы состава общественно-политической атмосферы, единственно благоприятной для творчества. Дух дышит, где хочет. Пора уже понять, что и жизнь, не сотрясаемая историческими катаклизмами — войнами, революциями, вакханалиями деспотизма,— не озаряемая призрачным светом утопических миражей, все равно остается наполненной драматичнейшими коллизиями, опасностями, «приключениями». Трагическое неотделимо от человеческого удела. Внутреннее пространство экзистенции, межличностные отношения — арена, на которой искусство будет вести свою дерзкую и увлекательную игру, пока жив человек.

М. АМУСИН

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В. П. Макаренко. Бюрократия и сталинизм. Издательство Ростовского университета, 1989.

На шестом году десталинизации с болезненной обнаженностью встал средя прочих вопрос: почему страстное и нетерпеливое стремление к добру, завладевшее в начале XX века умами и сердцами миллионов людей, привело к несчастью столь безмерному, что в конце столетия нам кажется порою невозможным найти источник зла и определиться в методах борьбы с ним. Поднаторев в публицистике, мы, очевидно, немногого достигли в теоретическом осмыслении того, что с нами произошло. Философы, социологи, политологи не дали пока ответов, адекватных глубине и сути стоящих перед нами проблем: катехизис «Краткого курса», как видно, ниспровергнуть сложней, чем развенчать его авторов.

Монография ростовского политолога — попытка обобщить ряд вопросов, волнующих общество, среди которых главный, по-моему,— авторитарно-бюрократические тенденция русских революций. В этом контексте весьма нетрадиционно исследуется автором деятельность В. И. Ленина — вождя и политика. Одна лишь демонстрация ленинских антиномий заставит читателя призадуматься. Вот Ленин, громящий бюрократа, называющий его «Держимордой», а вот — вдохновитель и организатор террора под лозунгом диктатуры пролетариата. Ленин, призывающий к великой борьбе за свободу для всех и каждого (кроме, разумеется, помещиков и капиталистов) и Ленин — защитник новой России от каких бы то ни было политических и гражданских свобод. Ленин, говорящий народу, что «нэп мы вводим всерьез и надолго», а товарищам по партии — что надо перевести дух и собраться с силами для дальнейшей борьбы. В этой связи и нэп, в котором многие сегодняшние публицисты видят чуть ли не панацею от наших политических и экономических злоключений, автор рассматривает как период организационного и идеологического оформления бюрократии, на современном языке — партхозактива, партократии, номенклатуры и так далее. Именно в период нэпа было покончено с борьбой внутри партии и настала очередь борьбы с народом.

Б. ДАВЫДОВ

Анатолий Мариенгоф. Роман без вранья. Циники. Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги. Л.: Художественная литература, 1988.

Это книга о славе. Это книга о литературной жизни 20—30-х годов и зрелом ее осмыслении. Это книга — о лихом бесстрашии безверия, впрочем, с привкусом традиционной атрибутики — с киотом в углу, где всяк положил, что знал: лицо осмеянного друга, истерзанную женщину иля материн подойник и корявую клюку отца.

Это книга об авторе, который думал, что можно кривляться и ерничать, выделяться из ряда тем, что взобрался другим на плечи, заставлять природу подражать поэтическим строчкам, циничный анекдот — любви и при этом остаться не участником, но зрителем в балагане, зрителем, хранящим за пазухой интеллигентное прошлое пензенской искренней семья. А между тем пришлось, как жестью, прорастать социализмом, его сюжетом, построенным с помощью вшей, голода и чумных крыс (на переднем плане — узкая, карандашная, окровавленная морда собаки, вгрызающаяся в труп лошади на мостовой), прорастать мертвечиной и зловонье оборачивать мыслью о медных табличках на домах, о бронзовых памятниках себе, о чугунных оградах. Прочность топорной работы воображения проверять, сняв с себя все чужие и оставшись в собственной исподней маске: увидеть сладкую, из крема, пену безумия на губах пьяного Есенина, проложенную жиром спяну Айседоры Дункан, сиранодебержераковский нос Мейерхольда, успокоительную, канцелярскую обыкновенность Блока — опомниться. Попытаться написать что-то похожее на «Детство Темы», в традициях; почувствовать, что душа проходит, как молодость, что гениальные каракули юности привели к дорогому счастью дивана и демисезонного пальто, что предстоит тянуть жизнь унылую, как аптечная склянка... но еще раз, громко — по клавишам рояля подковы рысаков — грохнет прошлое: не утешением, ибо воплотилось,— возмездием. Самоубийством сына, расшифроввшим мечтаемое отцом признание как власть, как вершину социальной несправедливости, как вседозволенность, исковеркавшую окружающее, но осознанную по романам Достоевского, с чьих страниц сын и принял на себя вину.

Мариенгоф и его друзья изначально были людьми книжными, литературными (в особенности те из них, кто мало и редко читал), они умирали там, где кончался литературный сюжет; но и в посмертном пространстве они гнались и, как и автор замечательной этой книги, догоняли славу.

Е. СКУЛЬСКАЯ

Олег Григорьев. Говорящий ворон. Стихи. Л.: Детская литература, 1989.

У детской поэзии О. Григорьева много взрослых поклонников. История показывает: путь к сердцу ребенка лежит, как правило, через литературный вкус его родителей и воспитателей. Отечественная поэзия для детей стала в наш век опытным полем — на нем отрабатываются не только формальные приемы, но и неожиданные, порой еще не осознанные взрослой поэзией или запретные для нее «идеологические» ходы.

Стихи О. Григорьева легко вписать в школу Хармса. Еще легче безоглядно сопрячь их с черным юмором, как это и было сделано в начале восьмидесятых, когда с тяжелой руки литчиновников ломалась судьба поэта. Между тем нетрудно понять, что творчество О. Григорьева имеет прямую традицию, идущую от детского фольклора, со всеми его страшилками и стращалками, смешными, а потому не страшными, со своими перевертышами, путаницами, словесными играми, которые нашли воплощение и в поэтике нонсенса, и в стихах обериутов.

У О. Григорьева мало каламбурных рифм. Его строки зачастую неуклюжи. Размеры нарочито сбиваются. Культивируется этакий «школьный» раек. Эти стихи не очень-то споешь под гитару, как это нынче модно в детской поэзии. Зато выделяется подтекст, второй смысл слова, разрушающий обрыдлые штампы: «Имел я большого приятеля, если встанет на стул, дотянется до выключателя». Это стихи, с головой выдающие задние мысли «усредненного» героя: «Откройте дверь на минутку, осы зажалят нас! — Пустишь вас на минутку, а вы просидите час». Это маленькие комедии положений, в которых главную роль играет родной язык: «На заборе валенки вверх ногами сохли, значит, эти валенки вниз ногами мокли». Это простодушие, при котором так же, как и в слове, ударение падает на «душу».

Когда мы сетуем, что нашей детской поэзии не хватает юмора, шутки, выдумки, мы порой не слышим, что они все время звучат в разговорах самих детей, в эти летучих сценках, репризах, словечках. О. Григорьев уловил дух такой ребячьей эстрады, доводя вполне узнаваемые жизненные ситуации до нелепости, абсурда и тем самым показывая самые разнообразные характеры в их обнаженном виде.

Так разрушается стереотип мышления, что и призвана делать поэзия.

М. ЯСНОВ

Леонид Рейхерт. Постижение кота. Л.: 1990.

Изрядно подзабытый с 20-х годов феномен издания «за свой счет» (а эта книга появилась именно таким образом) пока не осмыслен. Немногочисленные рецензии похожи на рекламную аннотацию: к материальным затратвм автора неловко добавлять издержки моральные (критик-то свой скромный гонорар получит). Но есть и другая точка отсчета — сама литература. Для нее главное — получилась ли книга?

Повести и рассказы достаточно разнообразны по тематике и жанру: от «капустнической» сценки «Как я принимал экзамен» до жестокого натуралистического наброска «Автобус маршрута сто семь», от воспоминаний о блокадном детстве «Суп на четверых» до заглавного цикла, которому отводится ударная роль.

Лирический герой книги (большинство вещей в ней — от первого лица) с его любовью к людям и животным, с его «очень личным отношением к футболу» вызывает несомненную симпатию. Но все же аналитически-суховатая интонация этой прозы со значительным привкусом научного жаргона вступает в явное противоречие с лирической по преимуществу тематикой. «Видно, суп у меня, как лавровый лист, перекочеаал в новое обиталище. Сорвавшись с аксона подсознания, импульсивно несясь в сознание, он замедлил мой выход к линии штрафной, нарушил координацию броска». Так изображено (совсем по Прусту!) внезапное воспоминание о блокадной пище во время игры в футбол через много лет. Стилистика, скорее подходящая для научной фантастики.

В воображаемом споре с редактором-флюгером («кот — это мелко и неактуально. У нас тут перестройка, а вы тут с котами») автор отстаивает свою тему вопреки нынешней моде: «С поворотом рек как начали,— так и кончили, и перестройка давно уж закончится, а котам еще жить да жить». Думаю, писать про кота, если очень хочется, надо без таких деклараций. Иначе это та же политизированная литература, только от обратного. Если «постигать кота» в пику перестройке, в проигрыше окажется как раз кот. Чехов не противопоставлял «Каштанку» мрачной атмосфере 80-х годов (он просто написал еще и «Палату № 6»).

В какой-то рецензии Гоголя есть примерно такая фраза: эта книга вышла, значит, сидит где-то на белом свете и читатель ее. Каждый автор надеется...

И. СУХИХ



СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Библиофил

Кто хоть раз побывал в квартире известного ленинградского коллекционера Моисея Семеновича Лесмана — несомненно запомнил это посещение на всю жизнь. Узкая крутая лестница на самый верх старого дома на улице Лизы Чайкиной, медная табличка на дверях: «Квартира охраняется государством»... Увы, состояние самого жилища собирателя едва ли подтверждало эти прекрасные слова: вошедшему сразу бросались в глаза следы многочисленных протечек, постоянно угрожавших собранным здесь раритетам. А раритеты здесь были собраны первоклассные: автографы писателей, книги с их надписями, изобразительные материалы... Ныне издательством «Книга» подготовлено подробное научное описание этого собрания, представляющего огромную культурную ценность.

Но сверх того Моисей Семенович был удивительным рассказчиком. Друзья не раз уговаривали его закрепить на бумаге хотя бы некоторые из его устных новелл. Но, кажется, лишь однажды он внял этим уговорам. Результатом явились несколько увлекательных машинописных страниц. Существует и магнитофонная запись этого рассказа. Знакомясь с нынешней публикацией, читатель наверняка пожалеет, что осталось так мало. Тем более, что при всей своей новеллистической завершенности эта история с «открытым» концом: собиратель предполагал продолжить свой поиск.

Может быть, здесь есть подсказка для новых поколений исследователей?

Илья ФОНЯКОВ

Моисей ЛЕСМАН

ТАЙНА ТРЕХ АРХИВОВ

Друзья мои, люди между собой несхожие, в шутках своих, когда дело касалось моих собирательских увлечений, были стандартно однообразны; если речь шла о собирании рукописей, каждый из них непременно спрашивал меня: «А не хочешь ли (не хотите ли) купить мой автограф? Я бы с тебя (с вас) недорого взял...». Очень остроумным казалось им также предложить мне книги или письма, якобы оставшиеся от прадеда и только что найденные на чердаке дома (дачи), идущего на слом. Сообщалось мне это письменно или по телефону неизвестным лицом. Адрес указывался обычно загородный: Шувалово (в те времена добираться туда было трудно), Озерки или даже Тихвин. Приехав на место, я убеждался, что такой улицы или номера дома не существует, а если адрес правилен, то на мой звонок выходила веселая компания, в восторге от удавшегося розыгрыша, и тащила меня к столу с уже наполовину опорожненными бутылками (не могли меня дождаться).

Поэтому телефонный звонок и последовавший затем разговор не вызвал во мне особого интереса: «Очередная дружеская шутка»,— решил я. Незнакомый женский голос спросил, интересуют ли меня рукописи. «Интересуют»,— ответил я. «Стихи Мандельштама?» — «Конечно».— «Письма Гумилева?» — «Разумеется».— «Ахматова?» — «Да, да, да»,— я уже не скрывал своего раздражения примитивностью шутки и бедностью фантазии ее авторов.

«Я могла бы к вам сейчас приехать...».— «А по чьей рекомендации вы звоните, кто дал вам мой телефон?» — спросил я. «Леонид Иванович Рокк»,— ответила незнакомка. Это имя было мне известно; он именовался писателем, хотя членом Союза не был, занимался в основном литературными поделками.

Рекомендация мне не показалась солидной. Весьма сухо я предложил моей собеседнице приехать через неделю, в четверг, к 13 часам — срок, как я полагал, достаточно продолжительный, чтобы охладить пыл организаторов розыгрыша и заставить их забежать ко мне до истечения назначенного срока с повинной и, конечно, с бутылкой.

Но, положив трубку, довольный своей выдержкой, я все же ощутил некоторое беспокойство... А вдруг? А вдруг и в самом деле у моей собеседницы в трех ящиках бюро лежат эти самые клады? «Мандельштам, Гумилев, Ахматова; Мандельштам, Гумилев, Ахматова...». «Тройка, семерка, туз... Тройка, семерка, туз...».

Три карты, которые привели бедного инженерного офицера к печальному концу, возможно, не так жгли сознание Германна, как терзали меня эти три имени: «Мандельштам, Гумилев, Ахматова».

Я не буду подробно описывать муки собирателя, выпустившего из рук уже пойманную им синюю птицу, каждый из вас поймет мое состояние...

День шел за днем, а три карты, то есть три имени, все той же чередой, следуя одно за другим, звучали у меня в ушах или бежали перед моим взором, подобно электрической рекламе; в кресле у парикмахера, в очереди за обедом в столовой, аккомпанируя певице за роялем, я не забывал три имени: «Мандельштам, Гумилев, Ахматова» — они были со мной.

Но время, назначенное мною для встречи, все-таки приближалось. И в четверг, ровно в 13 часов, у входных дверей раздался звонок.

Я открыл дверь незнакомой мне женщине среднего роста, лет 35—37. Следуя моему приглашению, она прошла в комнату, где находилась бо́льшая часть моей библиотеки, и, не глядя по сторонам, сразу подошла к стеллажам, на которых стояли русские книги XVIII — XIX вв.

«Ну, это все у нас есть»,— как бы про себя сказала она.

«Простите?» — переспросил я. Не отвечая, она продолжала рассеянным, но, как мне показалось, все видящим взглядом скользить по книжным полкам.

Эти первые минуты нашей встречи убедили меня, что ни о каком «розыгрыше» не может быть и речи, а туго набитый портфель, который гостья не выпускала из рук, неодолимо притягивал мои взгляды.

«Ваше имя-отчество?» — спросил я. «Это неважно»,— ответила она.

Ответ мне не понравился и невольно заставлял думать о том, что не все чисто-благополучно в делах этой дамы.

Тем временем она села в кресло. «Вы хотите посмотреть что-нибудь из рукописей?» — «Разумеется»,— ответил я.

Приоткрыв портфель, но так, чтобы я не мог разглядеть его содержимое, «Хозяйка Медной горы» (так я мысленно назвал ее) долго рылась в бумагах и наконец вынула небольшой листок почтового формата, исписанный хорошо знакомым мне почерком.

«Гумилев?» — полуутвердительно спросил я.— «Да».

«Напечатано?» — «Нет»,— твердо ответила дама, передавая мне листок в руки. Я взглянул на строки и, ничего не говоря, подошел к шкафу, из которого вынул книгу Гумилева и открыл ее на странице с «ненапечатанным» стихотворением. Раскрытую книгу и рукописный листок я положил на стол перед моей гостьей. «Напечатано»,— сказал я жестко.

«Возможно»,— спокойно ответила моя гостья. «Один — ноль в мою пользу»,— злорадно подумал я.

Меж тем «Хозяйка Медной горы» уже снова рылась в своем портфеле и наконец вытащила общую тетрадь в черной клеенчатой обложке и дала ее мне. Я с нарочитой небрежностью открыл тетрадь и тотчас понял, что поединок мной проигран со счетом 100 : 0 в ее пользу.

На одной из страниц был набросок неизвестного мне стихотворения, рядом план дороги к Большой пирамиде, дальше меню обеда и т. д.

Не надо было быть большим специалистом, чтобы понять: в моих руках никогда никем не виденный дневник путешествия Гумилева по Египту.

Я был потрясен и, вероятно, не смог скрыть этого, а моя гостья, ничем не проявляя своего торжества, ледяным голосом спросила: «А это тоже напечатано?».

Прошли минута-две, прежде чем я, несколько овладев собой, задал ей вопрос: «Как вы цените листок с напечатанным (подчеркнул я) стихотворением?».— «Четыреста рублей»,— не раздумывая, ответила владелица портфеля.

Здесь я должен сделать маленькое отступление. Все, о чем я здесь рассказываю, происходило после войны, году в 1948—1949, в период, когда ленинградский книжный рынок был завален ценнейшими книгами и рукописями. За несколько дней до описываемой мной встречи в одном из книжных магазинов продавалась письмо-открытка А. Блока, адресованная В. Зоргенфрею. Цена ее была сорок рублей. Я вынужден был отказаться от покупки — дорого.

Сейчас, в наши дни, дни «книжного бума», мы не можем представить себе, что письмо А. Блока оценивалось в 40 р. (а ведь в переводе на сегодняшние деньги эти 40 р. равны примерно четырем (!) рублям). Но тогда и по этим низким ценам собиратели далеко не всегда могли купить ценную книгу или рукопись, приходилось выбирать: потратить ли на письмо Блока 40 р. или на картину Петрова-Водкина 100 р. (небольшие его работы стоили от 10 до 25 р.). Поэтому оценка стихотворения Гумилева (400 р.) казалась, разумеется, дикой.

Я понял, что путь к этим кладам мне закрыт, о чем я откровенно сообщил моей гостье, объяснив причины моего отказа. То, что я не торгуюсь и откровенно признаюсь в своей неплатежеспособности, по-видимому, ей понравилось.

«Как вы посоветуете мне действовать?» — спросила она.

И дальше привожу наш диалог, важность которого станет вам ясной из моего рассказа позже.

«Почему бы вам не обратиться в библиотеки или архивы?»

Моя собеседница вздрогнула как бы от испуга: «Исключается...».

«Тогда предложите ваши материалы книжным магазинам, частные лица ничего не купят, а букинисты — это последнее, о чем я могу вам напомнить».

«Куда бы вы меня направили?» — «Попробуйте обратиться в магазины Москвы».— «Там цены ниже ленинградских»,— решительно заявила моя гостья. «Ну что же, из ленинградских в первую очередь назову вам Книжную лавку писателей».— «Нет, нет! Туда я не пойду».

И после паузы: «А к кому из опытных букинистов вы посоветуете мне обратиться?» — «Выше других обычно оценивает книги Павел Федорович Пашнов, зайдите к нему...». Я дал ей адрес магазина.

Одевшись, она сдержанно поблагодарила меня и ушла. Я же вернулся в комнату и, уже сбросив с себя маску равнодушия, стал бегать по комнате, пытаясь проанализировать все происшедшее за последние сорок минут.

Я не буду утомлять вас ходом своих рассуждений, а сообщу вам, к каким выводам я пришел.

Нежелание назвать свое имя не только неприлично, но и явно свидетельствует о боязни разоблачения.

Ее испуг при одном упоминании Книжной лавки писателей — не боязнь ли быть разоблаченной кем-либо из писателей?

К обладанию рукописями нынешняя их владелица пришла темными путями. Возможно, материалы эти похищены из какого-либо госхранилища. Не потому ли она отказывается иметь с ними дело?

Разумеется, я не отойду в сторону и по мере сил постараюсь разобраться в этой странной истории.

Первым делом обращусь к человеку, который послал ко мне эту таинственную особу.

Звоню к нему. Леонид Иванович дома. Рассказываю о моей гостье, о невозможности приобрести рукописи и наконец прямо задаю ему вопрос: «Кто она? Имя, фамилия?».

И неожиданный ответ: Рокк, направляя свою знакомую ко мне, дал слово не раскрывать ее имени. Все мои попытки переубедить его ни к чему не привели,— он своего слова не нарушит.

Звоню к Пашнову: «Павел Федорович! Не заходила ли к вам некая особа с рукописями Гумилева?» — «Как же, как же, только что ушла...» — «Вы что-нибудь купили у нее?» — «Что вы, она сумасшедшая! Такие заломила цены! Я взял у нее один рукописный листок на комиссию, но предупредил ее, что 400 р., которые она за него хочет получить, никто не даст».— «Как ее фамилия?» — «Понятия не имею».— «Но вы же ей выдали сохранную расписку, а копия осталась у вас?» — «Нет, себе копии я не оставил. Но когда она через неделю придет за рукописью и возвратит сохранную, я оставлю ее для вас, и вы узнаете фамилию владелицы».

Делать было нечего, оставалось ждать.

Забегая вперед, скажу, что владелица пришла за своим листком через неделю в назначенный день и, узнав, что он не продан, возвратила сохранную расписку, а получив рукопись, благополучно ушла. Пашнова в это время в магазине не было, а его заместительница, возвратив рукопись, со спокойной совестью уничтожила уже ненужную теперь сохранную.

Прямые пути для того, чтобы раскрыть имя владелицы рукописей, были наглухо закрыты, надо было искать другие. И прежде всего — ответить на вопрос, который встал передо мною сразу при встрече с гостьей: каково происхождение рукописей?

Пользуясь моими обширными знакомствами в библиотеках и госархивах, я попытался выяснить, не было ли в последние годы хищений творческих рукописей, писем и т. п., принадлежавших перу интересующих меня поэтов — Мандельштаму, Гумилеву, Ахматовой.

Ленинградские госхранилища ответили категорически: «Нет, не было!».

Получить ответ на мой вопрос в московских учреждениях оказалось труднее, но в конце концов ответ был тот же: нет, ничего подобного похищено не было.

Оставались еще частные собрания; но все они были мне известны, и ни одного собрания, которое включало бы одновременно три имени: «Мандельштам, Гумилев, Ахматова»,— не было. Были собиратели Гумилева, Ахматовой (еще, кажется, никто не собирал Мандельштама), но три имени: «Мандельштам, Гумилев, Ахматова» — три имени вместе, как тема собрания мне известны не были.

Оставалось выяснить, почему моя гостья боялась Книжной лавки писателей. Прямого ответа на мой вопрос мне получить не удалось. Оставалось предположение, что сама она была как-то

связана с писателями,— дочь? жена?..

Итак, первый раунд моих поисков кончился полным фиаско: я н и ч е г о не узнал и не видел возможности узнать что-либо в ближайшем будущем.

Оставалось надеяться на случай, следить, не будет ли предложен этот материал в госархивы или частным лицам, и, наконец, ни в коем случае не напоминать Рокку, ни в коем случае не обращаться к Рокку по поводу этих рукописей; я хранил тайную надежду, что Рокк, единственный человек, который знал владелицу рукописей, когда-нибудь, почему-нибудь с а м откроет мне сезам и, взяв за ручку, подведет к кладам.

Шли дни, месяцы, годы. Время от времени я проверял расставленные мною посты в хранилищах, в магазинах... Нет! В Ленинграде на поверхности книжного моря ничего не всплывало. Встречая москвичей и бывая сам в Москве, я пытался выяснить, не слышно ли там чего-нибудь о появлении «моих имен».

Да, была авторская надпись Гумилева на книге, да, предлагалась записка Ахматовой, но все это в отдаленно не напоминало те драгоценные пласты, к которым однажды я прикоснулся.

Нередко я встречал на Литейном Леонида Ивановича Рокка, но никогда ни словом не напоминал ему о его знакомой, которую он однажды, лет пять тому назад, направил ко мне.

И все же...

И все же, однажды, на Литейном встретив Рокка, я предложил ему посидеть на скамеечке, стоявшей в округлом углублении ограды Куйбышевской больницы. О чем говорят собиратели книг в теплый весенний день, встретившись на проспекте ленинградских букинистов?..

Кто бы мог подумать, глядя на одного из двух мирно сидящих, внимательно слушающего своего собеседника, какая сейчас буря в его душе!

«Аустерлиц или Ватерлоо?» Пять лет ожидания, готовность кошки, сидящей у мышиной норы... Победа или поражение?..

В рассказе Рокка о его сегодняшней покупке пауза и равнодушным голосом заданный мною вопрос: «А как поживает ваша знакомая?» — «Какая знакомая?» — «Ну, та, что была у меня с рукописями?» — «А, Нина Семеновна? Все так же. Кажется, так ничего и не продала».

Так!!! Мышь в когтях у кота! Вот он, Аустерлиц! Имя, имя у меня! И ты, Яго, мне больше не нужен!

Как золотоискатель на найденном им участке ставит знак, обозначающий, что все золото здесь принадлежит ему, так я на переплете книги, что лежит у меня в портфеле, прыгающим почерком незаметно записываю: «Нина Семеновна».

Неожиданно вспомнив о каком-то неотложном деле, стремглав убегаю, бросив недоумевающего Рокка.

«Нина Семеновна!» — стократно повторяю про себя и, только оказавшись в Шереметевском садике, что расположен за «Академкнигой», несколько прихожу в себя. «Нина Семеновна! Нина Семеновна!» — повторяю я снова и снова. И постепенно, капля за каплей просачивается мне в сознание одна скверная мыслишка: «Да, ты знаешь ее имя... Ты знаешь имя владелицы клада... А что это тебе дает? Г д е к л а д? К л а д-т о г д е?!!»

Понемногу возбуждение, охватившее меня, проходит. Как бы в дремоте я вспоминаю Нину Семеновну, первую встречу с Леонидом Ивановичем, его отказ назвать мне имя, принятое мною решение ж д а т ь! Ждать, пока Рокк все позабудет и, быть может, проговорится...

И вот я дождался, Рокк назвал мне имя.

Но приблизило ли меня блестящее выполнение много лет назад рассчитанного мною плана к достижению цели? Нет! И еще раз нет!

Снова ждать! И снова неустанно следить так, как я следил все предыдущие годы,— где и как проявится Нина Семеновна (я теперь знал ее имя) со своими богатствами.

И снова пошли годы ожидания.

Во второй половине 50-х годов я стал бывать у Анны Андреевны Ахматовой. Может быть, когда-нибудь мне удастся рассказать вам о встречах с нею; сегодня я расскажу только о тех встречах и беседах с Анной Андреевной, которые связаны с историей моих поисков материалов трех архивов.

В мемуарной литературе, в воспоминаниях об А. А. Ахматовой нам часто приходится читать о том, что у нее не было библиотеки в том смысле, как мы это понимаем. Шкаф, стеллажи или полки с книгами не закрывали стен ее комнаты — книги, в небольшом количестве, лежали на столике, на стульях, в старинном небольшом железном сундучке. Она не проявляла активно своего иронического отношения к моей деятельности коллекционера, но я легко угадывал это отношение. Только однажды она позволила себе откровенно посмеяться надо мной.

Как-то в разговоре с ней я заметил, что у меня есть все издания книг Гумилева. «Одной у вас нет»,— сказала Анна Андреевна. «Вряд ли»,— скептически отозвался я. Анна Андреевна бросила на меня мимолетный взгляд — впрочем, достаточно выразительный, чтобы я понял, что если она что-нибудь

утверждает, то сомневаться, а тем более вслух выражать свое сомнение в ее словах — не следует.

Тяжело поднявшись со своего стула и отойдя на два шага в сторону, она с трудом наклонилась над своим старинным железным сундучком и медленно стала извлекать из груды каких-то книг и бумаг небольшую книгу в сиреневой обложке. Книга еще и наполовину не появилась на свет, как я быстро проговорил: «„Романтические цветы“, Париж, 1908 год. У меня есть!». Ничего не говоря, Анна Андреевна положила книгу передо мной, повернув обложку. На шмуцтитуле было написано: «Невесте моей Анне Андреевне Горенко» и подпись автора книги. «Да, этого у меня нет»,— растерянный, признался я.

Далеко не ко всем книгам так бережно относилась Анна Андреевна, как к этой, с надписью, ей посвященной.

У меня на полке стоит томик Блока с автографом знаменитого его стихотворения, посвященного Ахматовой, «Красота страшна...» и т. д. Я получил ее в магазине после того, как книга была предложена Анне Андреевне и та отказалась купить ее.

Однажды Анна Андреевна получила книгу, присланную ей одним известным писателем, с удивительно почтительным и, я бы сказал, восторженным посвящением. Я выразил свое восхищение надписью на книге. «Вам нравится?» — спросила Анна Андреевна. Я снова рассыпался фейерверком в похвалах автору. «Возьмите себе»,— прервала меня Анна Андреевна. «То есть как?..» — ошеломленный, спросил я. «Книга не нужна мне»,— сказала Анна Андреевна.

Я рассказываю эти книжные эпизоды, чтобы показать, как чужды были Ахматовой мои коллекционерские увлечения, и как все же к н и г а, хотя и в другом аспекте, составляла главную тему ее интересов, ее жизни.

Что являлось основной темой наших бесед с Анной Андреевной? Разумеется, литература. С чего бы мы ни начинали разговор, удержаться на мелких вопросах быта, сиюминутных интересах и даже на наших болезнях (тема увлекательная для пожилых людей) мы не могли,— все равно очень скоро мы приходили к основному: к литературе, к творчеству тех или других писателей, к ее книгам, к истории их возникновения и т. д.

Однажды Анна Андреевна рассказала мне историю гибели своего архива. Перед войной 41-го года она отдала его, добавив материалы архивов Гумилева и Мандельштама, одному человеку на хранение. Вскоре началась война, человек этот был мобилизован и вскоре погиб на фронте. Вдова его сообщила Анне Андреевне, что все бумаги погибли. Ахматова ни на минуту не поверила этому и в своем рассказе весьма энергичными эпитетами награждала «воровку» (это определение было не самым резким...).

Разумеется, я тотчас подумал, что фамилия и адрес «Нины Семеновны» пришли, наконец, ко мне в руки.

Не упуская подробностей, я изложил Анне Андреевне всю историю, только что вам рассказанную. Она чрезвычайно внимательно меня слушала. Я закончил. После небольшой паузы, глядя мне в глаза, Анна Андреевна тихо и очень твердо мне сказала: «Назовите ее имя». Немного подумав, также тихо я ответил: «Нет, Анна Андреевна, имени ее я вам не назову» — я добавил: «Но если вы его назовете, я скажу вам, то ли это имя».

Некоторое время мы спорили, кто первый должен назвать имя, но к соглашению не пришли, пока мне не пришла мысль разыграть сцену из «Анны Карениной» в несколько упрощенном варианте. Анна Андреевна согласилась, и мы начали. Каждый из нас на клочке бумаги написал первую букву имени знакомой нам особы, по счету «раз, два, три» листки были показаны друг другу, и... о, разочарование! — инициалы имени на наших листках не совпали: четкое «М», начертанное Ахматовой, никак не походило на крупное «Н», написанное мною.

Анна Андреевна не скрыла своего разочарования: «Странно, очень странно...».

Дальше беседа наша не клеилась.

Но, кажется, судьбе надоело играть со мной в кошки-мышки. Очень скоро, может быть, через несколько дней, мне позвонили из одного магазина и сообщили, что завтра поступит в продажу большое количество книг русских поэтов XX в.; мне предлагалось прийти в 9 ч., то есть за час до открытия магазина. Разумеется, я пришел вовремя. К сожалению, я был не первым, но все же результатами своей охоты я был чрезвычайно доволен несмотря на очень высокую расценку книг. Как я понял из владельческих надписей на книгах, продавалась библиотека Судакова, моего знакомого и соперника по собирательству в 30-х годах, молодого человека, причастного к литературе, хорошо знавшего и любившего поэзию XX в.

Почти все книги были очень быстро распроданы, и на другой день, когда я пришел снова в магазин, из вчерашней партии оставалось вряд ли больше 10—15 книг.

Я поблагодарил директора за предоставленную мне возможность хорошей покупки и спросил его, предполагает ли он купить что-либо еще по этому адресу. Он сказал мне, что куплена вся библиотека и книг, нужных магазину, больше в этом доме не осталось. Напомнив

ему, что за многие годы наших дружеских отношений я никогда не спрашивал его, где куплены те или иные книги, на этот раз я нарушаю неписаный закон покупательской этики и прошу его указать мне, где куплены книги. Я объяснил, что был знаком с владельцем библиотеки до войны и хотел бы узнать что-либо о его судьбе.

Директор дал мне телефон вдовы владельца, у которой он купил все собрание.

Я позвонил по указанному мне телефону и был приглашен ею на один из ближайших дней.

В назначенное время я звонил в квартиру дома по указанной мне улице. Вероятно, кто-нибудь из слушающих меня сейчас (читающих эти страницы) догадывается, кто открыл мне дверь. На миг я потерял дар речи, но, быстро придя в себя, я пристально всматривался в ее лицо, ища выражение тех же чувств, что обуревали меня. Напрасно! Оно было спокойно и бесстрастно. Ни тогда, ни позднее я так и не выяснил, узнала ли она человека, которого много лет назад посетила, предлагая ему рукописи великих русских поэтов. Впрочем, не имея тому доказательств, я не сомневаюсь, что не узнать меня она не могла. Она спросила меня, что я купил в магазине из ее собрания, я рассказал ей, упомянув некоторые названия, и в свою очередь спросил, что у нее осталось из книг, предназначенных для продажи. Нина Семеновна указала на стеллажи, заполненные (судя по переплетам) книгами XVIII—XIX вв. «Ну, это у нас все есть»,— вспомнил я слова, сказанные ею много лет назад, когда она, придя ко мне, увидела мои стеллажи.

Я отобрал много книг (они были уже кем-то расценены) и договорился, что приду еще по ее вызову. Спустя некоторое время она позвонила мне и пригласила посмотреть приготовленные для меня книги. Таким образом я был у нее несколько раз и купил почти все, что она предлагала. В последний раз я заметил, что на одной из освободившихся полок появились стихи в знакомых печатных обложках издательств «Алконост», «Гиперборей» и т. п. Я спросил Нину Семеновну, собирается ли она продавать эти книги, и получил ответ, что книги эти она оставляет себе.

Итак, наши деловые отношения были закончены, а дружеские не установились. Купленные мною книги были связаны и перенесены в коридор, когда я задал вопрос, тот самый вопрос, ответ на который можно было бы назвать решением «сверхзадачи» для актеров, исполняющих трагедию «Мандельштам, Гумилев, Ахматова»: «Скажите, Нина Семеновна, а нет ли у вас каких-нибудь рукописных материалов?» — «Что-то должно быть, но где это — понятия не имею. Если найдется — позвоню вам».

Мы простились, и я... что «я»? Вы, конечно, угадали: я стал ждать. Слушатель (читатель) уже привык, что при каждом повороте сюжета автор этого рассказа сообщает, что он «ждет».

Итак, я снова стал ж д а т ь.

Ждал я на этот раз не зря. Спустя несколько месяцев Нина Семеновна позвонила мне и пригласила прийти. С сердечным трепетом я входил в квартиру; хозяйка, как всегда, сдержанно-вежливо встретила меня и после нескольких слов, не теряя времени, положила на стол предо мною листок со стихотворением Гумилева. Прочтя его, я также, не тратя лишних слов, спросил, сколько я должен уплатить. Нина Семеновна назвала цену. Я поежился — цена была высокой, очень высокой, но, разумеется, не в тех масштабах, что при первой нашей встрече. Я уплатил, поблагодарил хозяйку и напомнил, что весьма заинтересован в дальнейших приобретениях. «Если что-либо найду — позвоню вам сама. Прошу вас также запомнить, меня зовут не Нина, а Мина Семеновна. До свидания».

Так! Вот оно, ахматовское «М»! Названное Рокком имя легко было спутать. М и н а!

Я вышел на улицу. Усталый и счастливый, но какой-то опустошенный,— многолетние поиски клада удачно доведены до конца. В плотине, столько времени не поддававшейся моим усилиям, образовалась трещина, просочились первые капли, которые в дальнейшем превратятся в поток. А сейчас оставалось... Ну, вы знаете, что оставалось: ждать, снова ждать. Впрочем, нет — сейчас надо ехать к Ахматовой, поделиться с ней своей радостью, рассказать о букве «М» и, может быть, наметить с нею более активный план действий.

И здесь я должен снова задержать ход моей повести и сделать небольшое отступление, необходимое для описания дальнейших событий.

Знакомясь с мемуарной литературой XX века, я неоднократно встречал имена сестер Герцык — поэтессы Аделаиды Казимировны и переводчицы Евгении Казимировны. Их дружеские отношения с крупнейшими деятелями современной им литературы позволяли думать, что в их архивах могли сохраниться ценнейшие материалы — письма и рукописи Вяч. Иванова, Максимилиана Волошина и др.

Я начал поиски сестер Герцык. Довольно скоро я узнал о том, что Аделаиды Казимировны уже нет в живых, а следы местопребывания Евгении Казимировны, давно отошедшей от литературы, затерялись.

После долгих усилий мне удалось установить, что она живет в Курской области, и, узнав ее адрес, я написал ей. Она ответила, и у нас завязалась переписка. Оказалось, что она пишет воспоминания.

Главы этих воспоминаний она стала присылать мне, чтобы я, отпечатав их на пишущей машинке, оставлял себе один экземпляр, а ей возвращал оригинал и три копии.

Как мне показалось, воспоминания эти были написаны ярко и талантливо.

Как-то я рассказал Анне Андреевне о своих поисках сестер Герцык и о «Воспоминаниях» Евгении Казимировны. Анна Андреевна сказала, что была знакома с сестрами, и попросила меня принести ей «Воспоминания». Передавая ей тетради «Воспоминаний», я еще раз напомнил Анне Андреевне, каких трудов мне стоило найти накрепко забытую в литературе Евгению Казимировну Герцык, как дороги мне ее работы, и убедительно просил Ахматову до поры до времени никого с ними не знакомить и, тем более, не выпускать из рук. Анна Андреевна, как мне показалось, даже слегка обиделась на мою просьбу и довольно сухо заметила, что, разумеется, «Воспоминания» никому показаны не будут. Через 2—3 дня она возвратила мне тетради и очень высоко отозвалась о литературных достоинствах работы Е. К. Герцык.

Очень скоро мне позвонил один молодой человек и сообщил, что недавно познакомился с замечательными воспоминаниями «какой-то Герцык». На другой день мне звонили уже два или три человека, предлагая (добрые друзья!) познакомить меня с «мемуарами» Герцык.

В следующие дни количество звонков все увеличивалось, и я понял, что Анне Андреевне действительно понравились принадлежавшие мне «Воспоминания» Евгении Казимировны Герцык.

Возвращаясь к моему рассказу и вспомнив некоторые странности характера Анны Андреевны, с которыми мне пришлось встретиться, я решил пока воздержаться от включения Ахматовой в «дело»: мне было ясно, что разглашение тайны исчезновения трех архивов может повести к их гибели. Увы! Дальнейшее показало, что я был прав. И в тот момент я к Анне Андреевне не поехал и скрыл от нее ход «дела».

Но однажды Мина Семеновна вручила мне письмо Николая Степановича к Анне Андреевне. И если до сих пор я мог в к а к о й - т о с т е п е н и верить Мине Семеновне, что рукописные материалы, мною приобретаемые, покупались в 30-х годах ее мужем, молодым ученым и страстным коллекционером, то сейчас стало ясно, что письмо это попало к Судаковым, увы! нехорошим путем.

Я тотчас поехал к Ахматовой, рассказал ей весь ход дел и объяснил, что чувствую себя в роли скупщика краденого весьма неуютно. Я предложил все мною купленное у Судаковой сейчас же отдать ей, Анне Андреевне, и в дальнейшем, покупая материалы архива, также тотчас передавать их ей.

Ахматова заявила, что рукописи она у меня ни в коем случае не возьмет, что я должен и дальше пытаться получать их от Мины Семеновны и что ее, Ахматову, вполне устраивает пребывание рукописей у меня, так как она-де не в силах обеспечить их сохранность.

Мои попытки разубедить ее ни к чему не привели, а в дальнейшем события пошли с такой быстротой, что я фактически не мог повлиять на их ход.

Через несколько дней после этой беседы Анна Андреевна как-то мимоходом заметила, что из Москвы приезжает ее большой друг, литературовед Н., который «зайдет» к Судаковой.

Я пришел в ужас, стал умолять ее не допускать этого визита, напоминал ей, что она обещала сохранить мой рассказ в тайне, что дело не только в том, что Судакова меня больше не пустит к себе и что доступ к рукописям будет накрепко закрыт, но, зная Мину Семеновну, можно представить себе самое страшное: что она сожжет рукописи.

Не помогло ничего. Я узнал, что Н. приезжал и посетил Судакову, но мне Анна Андреевна больше ничего не говорила.

Я пошел на последнее средство в надежде, что удастся что-нибудь узнать: я позвонил Мине Семеновне. И услышал то, что предполагал услышать: узнав, с кем она говорит, Судакова спокойно сказала: «Больше мне не звоните». И повесила трубку.

Таков конец моей истории.

Но конец ли?

За двадцать лет, прошедшие с той поры, я, потративший столько сил на поиски «Мандельштама, Гумилева, Ахматовой», не переставал следить за тем, как будут развиваться события дальше. С полной убежденностью я могу сказать, что из рукописей, предположительно хранившихся у Судаковой, ничего в архивы не поступило (или, по непонятным причинам, поступление их строго засекречено), на рынке ничего не появлялось и до коллекционеров ничего не дошло.

За эти двадцать лет ушли из жизни два самых важных участника этого дела: А. А. Ахматова и, два года назад, М. С. Судакова. Смерть Мины Семеновны должна была, казалось, что-то разъяс-

нить в этой запутанной истории, рукописи, хранившиеся у нее, должны были выйти на свет, е с л и они оставались у нее до конца. Если...

И только несколько дней назад у меня появились кое-какие догадки, которые еще ничем подтвердить не могу. Хочу думать, что я на правильном пути. Так ли? Покажет будущее. А пока (вы ведь не удивитесь знакомым словам)...

Надо ждать!

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Воспоминания М. С. Лесмана были написаны в конце 70-х — начале 80-х годов и прочитаны им на одном из собраний ленинградских книголюбов.

Все герои воспоминаний — реальные лица и выступают под своими настоящими именами, кроме трех: ленинградского литературоведа и библиофила Сергея Борисовича Рудакова (в повествовании — Судаков), его жены Лины Самойловны Финкельштейн-Рудаковой (Нина — Мина — Семеновна) и Николая Ивановича Харджиева (московский литературовед Н.). Чем было продиктовано нежелание автора назвать их подлинные имена — простой деликатностью, надеждой собирателя самому довести до конца начатый им поиск или тем и другим вместе — мы уже не можем узнать. Но после публикации воспоминаний Э. Г. Герштейн «Мандельштам в Воронеже» («Подъем», 1988, № 6—10), эти имена легко идентифицируются.

Н. Г. Князева

В. ПОЗДНЯКОВ

СИНЯЯ БОРОДА, ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ И ПАУЛЬСОН

Через всю мою жизнь проходят книги. Родился я в Санкт-Петербурге за полгода до «германской» войны, более известной под названием «первой империалистической». Это было время кинематографа, граммофонов (с трубой или шкафиком), моторов и мотоциклеток, паровозов, пароходов и паровых машин. И — книг.

Грамоте я учился по газетным заголовкам; а три года знал большую часть букв, а не позднее чем в пять стал читать. Сохранившейся у меня «Азбучкой золотой, или Новейшей полной русской азбукой» издания Сытина больше пользовался мой младший брат. Но и я иногда в нее заглядывал: «Наши деды стали стары. Глаза стали слепы. Ноги стали слабы. Все стали плохи».

Первые сказки мне, конечно, читали, помнятся «Курочка Ряба», «Сорока-белобока», «Колобок». Были у нее и другие сытинские издания с цветными литографиями, или, как их тогда называли, хромолитографиями. Но больше всего — книжек издания И. Кнебель «для детей младшего возраста». Покупались они обычно в магазине товарищества Вольф в Гостином дворе на Невской линии. Помню, как летом 1918 года, незадолго до закрытия частной торговли, мы заходили с мамой в это темноватое помещение и выбирали сказки.

Издательство Кнебеля, специализировавшееся на книгах по искусству, славилось также высокохудожественными детскими книжками, создававшимися графиками «Мира искусства», в первую очередь Георгием Нарбутом и Дмитрием Митрохиным. Из их числа у нас была великолепная «Война грибов» с иллюстрациями Г. Нарбута. Сильное впечатление, и не только в детстве, на меня производили «Деревянный орел» в оформлении Нарбута и «Синяя борода» с рисунками Рене О'Коннел — второй жены Ивана Яковлевича Билибина. Иллюстрация, где братья протыкают Синюю Бороду шпагами на лестнице замка, запомнилась на всю жизнь.

Но наряду с этими Кнебель выпускал и менее художественные издания — так сказать, второго сорта: «Лапти-лаптящи» (художник Н. Шория), «Апрелечка. Весенняя сказочка» и «Лесовички» Р. А. Кудашевой (художник Э. Бесков). Они печатались в типографии товарищества А. А. Левенсон в Москве на достаточно высоком полиграфическом уровне. Наконец, третью группу книг составляли самые дешевые, отсутствующие даже в каталоге изданий Кнебеля. У меня сохранились, например, «Тося на лыжах» и «Дюймовочка» Андерсена.

Из сказок я больше всего любил сказки Шарля Перро и Вильгельма Гауфа: их сюжеты казались наиболее подходящими под канон «волшебных». Из сказок Гауфа самое сильное впечатление оказывала история «Холодного сердца», хотя ее философский смысл я понял позднее. В каталоге изданий Кнебеля, выпущенном к московской выставке 1979 года, указано: художник — Иван Мозалевский, издана в 1914 году.

Известных русских сказок, изданных Экспедицией заготовления государственных бумаг с иллюстрациями Билибина, у нас с братом не было, но картинки к ним я знал хорошо по хрестоматиям, разным изданиям и «туманным картинам» от школьного «Волшебного фонаря». С той поры Иван-царевич и Серый волк иначе и не мыслились.

Не было у нас также «Приключений Мурзилки» и «Степки-растрепки», тем занимательнее было их разглядывать, и не раз, у родных и знакомых. В книговедческой литературе мне приходилось читать, что «Похождения Мурзилки» Кокса — «пошлейшие» (Кокс — это художник, а русский текст принадлежал А. Б. Хвольсону). Не знаю... Нами тогда это не замечалось. «Мурзилку» мы ставили в один ряд со «Степкой-растрепкой». И текст, и рисунки «Степкины» — дело рук и таланта немецкого педиатра Генриха Гофмана: он создал их в 1844 году для своего трехлетнего сына в подарок к рождеству, так как в книжных магазинах не нашлось ничего подходящего. Гофман, не предназначавший первоначально эту книжку для печати, и помыслить не мог, что когда-нибудь она приобретет мировую известность! Александр Бенуа говорил: «„Степка-растрепка“ — безусловно гениальное произведение. В доказательство можно сослаться на то, что оно, единственное, из бесчисленных детских иллюстраций врезывается навсегда в память, оно, единственное, не перестает быть занимательным и курьезным». Бенуа явно имел здесь в виду рисунки А. А. Агина к русскому изданию, запоминающиеся и убедительно предостерегавшие от некрасивых поступков...

И все же в массе своей детская предреволюционная книга была безвкусной, ремесленной и весьма примитивной. С. Я. Маршак писал в 1962 году в «Литературной газете», что «лучшие образцы детской художественной книги не вытеснили той дешевой, безвкусной, безымянной, а подчас и безграмотной книжки, которую выбрасывали на рынок, минуя все заставы литературной и художественной критики, предприимчивые издатели».

Потом настали трудные, голодные и холодные времена. Особенно запомнилась зима 1920—1921 годов. При свете чадящей коптилки жег я для обогрева в железной «буржуйке» толстенный справочник «Весь Петербург», изданный А. С. Сувориным, журналы. Телефонная книга почему-то сохранилась...

Не помню, покупались ли тогда книги, скорее — нет, но «Крокодил» Корнея Чуковского с рисунками Ре-Ми (Н. В. Ремизова), выпущенный издательством Петросовета в 1919 году, у меня каким-то образом появился. По свидетельству искусствоведа В. Ф. Боцяновского, купить его можно было только в Смольном. Герои этой талантливой книги — и сам «Крокодил, Крокодил, Крокодилович», что «папиросы курил» и «по-турецки говорил», и «спаситель Петрограда от яростного гада» «доблестный Ваня Васильчиков», и «милая девочка Лялечка», что «с куклой гуляла», — сразу сделались моими любимцами. И брата — тоже. К сожалению, книжечка эта у нас не сохранилась. По-моему, «Крокодил» 1919 года издания вполне заслуживает факсимильного переиздания: очень он контрастировал с большинством детских дореволюционных книг. Недаром Маршак писал:

И этот лютый крокодил
Всех ангелочков проглотил
В библиотеке детской нашей,
Где часто пахло манной кашей.

В «Крокодиле» читателя занимали и текст и рисунки. Но чаще бывало — иллюстрации хороши, а текст неважнецкий. Например, в циклах иллюстраций Вильгельма Буша, прототипах современных комиксов, рисунки были настолько интересны, что текст почти ничего к ним не добавлял. Очень типично двустишие, которое вспомнил Валентин Катаев в «Алмазном» своем «венце»:

А Макс и Мориц, видя то,
На крышу лезут, сняв пальто.

Циклы Буша пользовались успехом, их «кровожадности» мы тогда не замечали.

Тогда же появилась еще одна примечательная книга, вышедшая еще до революции, но оказавшаяся для нас с братом очень полезной, — «Моя первая русская история в рассказах для детей» Н. Н. Головина, изданная товариществом М. О. Вольф и содержавшая пересказ основных эпизодов русской истории от древних славян до Николая II включительно. Изложение сопровождали сто тридцать семь текстовых иллюстраций и три цветные вклейки — исторические картины и гравюры, портреты, скуль-



птуры. Там, где ничего пригодного для заимствования не оказалось, издательство восполнило этот досадный пробел собственными рисунками, в том числе и цветными. Качество их было довольно низким, ремесленным, но в детстве это не замечалось.

Товарищество Вольф выпустило целую серию подобных книг: «Моя первая азбука», «Мои первые сказки», «Моя первая священная история», «Моя первая естественная история» и «Моя первая книга стихов». Несомненно, они были весьма полезны. Как и недавно изданные и рассчитанные на более старший возраст богато иллюстрированные книги Анатолия Митяева «Ветры Куликова поля. Рассказы о воинской доблести предков» и «Рассказы о русском флоте»...

Весной 1921 года, с началом нэпа, книжная торговля оживилась. Иногда торговали подержанными книгами, но чаще — новенькими, из неразошедшихся тиражей, завалявшимися на издательских складах, в подавляющем большинстве — дореволюционными. В числе первых к нам с братом попали два выпуска «Первых рассказов по естественной истории. Для детей, только что научившихся читать» М. Быковой, изданные А. Д. Ступиным — московским издателем, русофилом, приверженцем патриархальной старины, уделявшим много внимания выпуску детской литературы. Наиболее известна тщательно подготовленная «Библиотечка Ступина. 120 изящно иллюстрированных детских книжек по 10 коп.». Работавший у него гравер И. Н. Павлов писал: «Меня удивляло, как этот, в сущности почти неграмотный человек, еле-еле научившийся писать, мог выработать тонкий вкус в работе с художниками... Из всех московских издателей [...] Ступин был



наибольшим энтузиастом гравюры: на протяжении свыше тридцати пяти лет он применял гравюру в своих изданиях. Даже странно было видеть на книжном рынке в 1910—1916 годах, в эпоху безраздельного господства цинкографии, ступинские издания с гравированными рисунками». Много иллюстраций выполнил для него молодой М. В. Нестеров.

Сегодня можно тоже удивляться, разглядывая отлично изданные Ступиным «Японские народные сказки. С рисунками японских художников», переведенные с немецкого А. Федоровым-Давыдовым. Как они контрастировали с купленными тогда же двумя книгами Люси Фич Перкинс, изданными Госиздатом в 1921 году,— «Маленькие голландцы» и «Маленькие японцы»: бумажные переплеты, скверная печать, плохая бумага. В примечаниях работники детской литературы ГИЗ'а в этих первых своих опытах пытались дать детям «правильную установку» при чтении не вполне «идеологически выдержанных» книг. Так, мать Кита — «маленького голландца», говорит сыну: «Когда ты дорастешь до двух аршин и тебя будут звать Кристофором, ты всегда будешь ездить с отцом на рынок». «И я тоже»,— заметила его сестра Кэт, на что мать, фру Веддер, сказала: «Нет, ты должна будешь оставаться дома и помогать мне в работе». У слов «в работе» дана «звездочка», и в примечании указано: «О т р е д а к ц и я. Нет, фру Веддер, пожалуй, вы ошиблись. Когда Кэт дорастет до двух аршин, в Голландии, наверное, наладится такой же порядок, как у нас в Советской России. Девочки с мальчиками, как равные товарищи, будут учиться и работать, и никто не скажет: «Ты, девочка, знай свое девичье „бабье-дело“». Или в конце книги, где описывается приход в дом Святого Николая (голландского Санта Клауса) с подарками. В книге сказано: «В одной руке святой Николай держал два больших свертка, в другой — розгу». К «розге» — опять примечание: «Св. Никола-Голландский, дед Мороз. Жаль, что он не повидался с нашим Морозкой. Он бы ему рассказал, что у нас в Советской России ребят не дают сечь, а старые розги давно в печах сожжены».

Интересным чтением были и старые хрестоматии, прежде всего — «Книга для чтения и практических упражнений в русском языке», составленная в 1877 году (и выдержавшая большое количество изданий) Иосифом Ивановичем Паульсоном (1825—1898) — русским педагогом, методистом, преподавателем русского языка в петербургских школах, издателем журнала «Учитель», автором учебных книг и методических руководств по родному языку, а позднее по арифметике. Его хрестоматия, как и «Родное слово» К. Д. Ушинского, конечно, старомодны, но этим они и любопытны. Интересны всевозможные поучения, старинные анекдоты и истории, часто иностранного, в том числе немецкого происхождения. Однако в основной своей части эта

хрестоматия вполне русская: в ней много рассказов Даля, басен Крылова, Измайлова, Хемницера, народных пословиц и загадок, сказок Афанасьева. Особенно хорошо представлена русская поэзия: Пушкин и Лермонтов, Кольцов и Фет, Тютчев и Плещеев... Были очерки из отечественной географии и истории (Карамзин, Соловьев и другие), была церковнославянская азбука (ее словосокращения «под титлом» и цифры помогали мне в определении года издания старопечатных книг).

Но, по-моему, лучшей из всех хрестоматий, какие я видел, было трехтомное «Живое Слово. Книга для изучения родного языка», составленное Александром Яковлевичем Острогорским (1868—1908) — педагогическим деятелем, директором Тенишевского училища в Петербурге — и впервые вышедшее в 1907—1909 годах. Супруги Голынец писали в монографии о Билибине, что «Живое Слово» принадлежит к лучшим дореволюционным учебникам, в нем «был применен новаторский для того времени способ обучения русскому языку не на специально составленных малохудожественных текстах, а на лучших образцах классической литературы и устного народного творчества. Разработанный Острогорским принцип подбора литературных отрывков, доступных для детского понимания, постановка вопросов к ним и другие приемы, встречающиеся в „Живом Слове“, были использованы впоследствии составителями советских учебников. Несомненную ценность представляет и художественное решение хрестоматии», то есть обложка Билибина и участие таких художников, как Б. М. Кустодиев и Д. Н. Кардовский, М. В. Добужинский и А. Н. Бенуа, Г. И. Нарбут и менее известные — В. Н. Левитский, Р. Р. О'Коннел, В. Я. Чемберс, М. Я. Чемберс-Билибина, А. Х. Вестфален. В книге были помещены портреты авторов, указаны годы их жизни и даны репродукции картин русских живописцев. Общий облик хрестоматии был, конечно, «м и р и с к у с н и ч е с к и м». А справочный аппарат! Кроме «Содержания» — «Указатель слов, к которым даны объяснения», перечень «Снимков с картин известных художников», «Перечень оригинальных рисунков», «Алфавитный указатель авторов», «Алфавитный указатель статей»...

Осенью 1922 года мой «младший возраст» закончился, и на смену этим пришли совсем другие книги. Может быть, когда-нибудь я расскажу и о них.

Очарованный странник

Виктор СМИРНОВ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

В ту осень я писал книгу о Михаиле Новорусском, заинтригованный судьбой этого человека. Выпускник Петербургской духовной академии, кандидат богословия, он был неожиданно арестован за участие в подготовке покушения на Александра III и приговорен к пожизненному заключению в Шлиссельбургской крепости. Довольно долго я собирал материалы о Шлиссельбурге, читал мемуары, научные исследования, монографии и путеводители, полагая, что, прежде чем ехать, надо изучить крепость, как собственную квартиру.

Стоял октябрь, когда я наконец пустился в дорогу, обуреваемый желанием собственными глазами увидеть то, о чем столько прочел. В Ленинграде я взял билет на автобус до Петрокрепости, рассчитывая оттуда перебраться на остров паромом, который, по заверению путеводителя, регулярно доставлял экскурсантов на Орешек, как теперь сызнова именуется Шлиссельбург.

Автобус остановился на привокзальной площади. Под моросящим дождем я спустился к Неве, нашел причал и... застыл перед объявлением, извещавшим, что в связи с окончанием сезона паром на остров уже не ходит. Это был удар. Ждать следующего лета я не мог, писать о крепости, не побывав в ней,— тоже. И винить было некого, сам тянул с поездкой. Потоптавшись на причале, я увидел рыбака,

мокнувшего с удочкой, и он дал совет: договориться с капитаном во-он той посудины.

Зачуханный катерок, заставленный пустыми ящиками, готовился плыть на ту сторону. Капитан оказался покладистым малым. Он согласился доставить меня на остров, даже не оговорив стоимость фрахта. Вскоре катер выбрался из табуна таких же работяг и закачался на волнах Невы. В рубке было тесно, как в курятнике, поэтому я вышел на палубу, и тотчас навалилась серая, полнеба закрывшая громада Ладожского озера. Прямо по курсу из тумана и мороси вынырнула средневековая крепость, стены которой вырастали прямо из воды.

Это и был Шлиссельбург, русская Бастилия, окутанная ореолом мрачной тайны и исторических легенд, государева тюрьма для особо опасных преступников, самый выбор которых являлся как бы слепком с лика каждого царствования. Кто тут только не сидел! Петр I упек свою жену Евдокию Лопухину, вредившую ему по-бабьи глупо и бестолково. Елизавета — малолетнего престолонаследника Иоанна Антоновича, которого зарубила стража при попытке освобождения поручиком Мировичем. Анна Иоановна «отблагодарила» князя Голицына, подсадившего ее на престол, но вздумавшего ограничить самовластие государыни. При Екатерине II привезли масона Новикова, при Павле — неких мужа и жену по странному обвинению «за самовольное знакомство и дальнейшие последствия». Александр I без лишнего шума отправлял сюда прекраснодушных идеалистов, поверивших в его либеральные игры, Николай I декабристов. Сидели тут: мальчик граф Ефимьевский за шалость с царским гербом, растлитель собственной дочери генерал Деканор, заговорщики братья Критские, чиновники Ибаев и Уткин, спевшие по пьяному делу непристойную частушку про государя, агент иностранной державы Роман Медокс, предавший декабристов Шорвуд и еще многие известные и неизвестные личности.

Сидели по-разному. Раскольник Правдин был замурован в стене, хлеб ему кидали как собаке, а он без устали выкрикивал анафему царю-антихристу, пока не умолк навсегда. Миллионер граф Потоцкий отбывал срок в камере, превращенной в будуар, ему подавали изысканные блюда и лучшие вина.

Когда загремели в России взрывы «Народной воли» и пришлось озаботиться строительством новой тюрьмы для террористов, решили строить ее на этом островке в шестидесяти верстах от столицы, самой природой идеально приспособленном для тюремных надобностей, по последнему слову пенитенциарной науки, каковым считалась пенсильванская система. Система эта родилась в 1822 году в одной из тюрем американского штата Пенсильвания. Восемьдесят закоренелых преступников были помещены в условия полного одиночества в расчете на то, что изолированные от общения с себе подобными преступники будут предаваться размышлениям о порочном прошлом и с помощью религии встанут на путь исправления. Эффект оказался потрясающим, но обескураживающим. Вместо того, чтобы исправляться, арестанты один за другим сходили с ума, пришлось их срочно переводить в общие камеры. Та же картина повторилась в других тюрьмах, где пытались внедрить пенсильванскую систему. Поднялись протесты против превращения человека в животное, вскоре в мире почти не осталось одиночных тюрем, но в Россию западная мода всегда приходила с опозданием.

Итак, в стройку вложили большие средства, не поскупились на охрану: сто пятьдесят жандармов на сорок узников. Смотрителем назначили легендарного ротмистра Соколова по прозвищу Ирод. Первая партия заключенных прибыла в новую тюрьму летом 1884 года, но гораздо быстрее пошла убыль. Революционеры гибли один за другим, сходили с ума, кончали с собой. Михаил Бакунин прислал отсюда царю свою знаменитую «Исповедь», где писал: «Государь! Одинокое заключение есть самое ужасное наказание, без надежды оно было бы хуже смерти! Это смерть при жизни, сознательное, медленное и ежедневно ощущаемое разрушение всех телесных, нравственных и умственных сил человека. Чувствуешь, как каждый день более деревенеешь, дряхлеешь, глупеешь, и сто раз на дню призываешь смерть как спасение».

...Катер ткнулся в причал. Условившись с капитаном, что ровно в пять он будет ждать меня на этом месте, я зашагал по дороге, исчезающей в воротах массивной башни, и вскоре очутился в крепости. В центре площади стоял памятник петровским солдатам, погибшим при взятии Орешка, справа высились руины корпуса позднейшей постройки, слева виднелась цитадель — внутренняя крепость. А прямо передо мной стояло аккуратное двухэтажное здание красного кирпича, больше напоминающее общественную баню или небольшую фабрику, чем страшную одиночную тюрьму. Все выглядело буднично и, честно говоря, не впечатляло.

Я пересек площадь, поднялся на крыльцо и с досады пнул запертые двери. Поиски сторожа ни к чему не привели, похоже, что на острове кроме меня не было ни души. Через арку в стене я вышел на берег, усыпанный валунами. С озера дул сильный ветер, гнавший тучи над самой водой. Тропа вывела к гранитному памятнику, скрытому кустами мокрой бузины. Здесь хоронили казненных и умерших.

До прихода катера оставалось еще больше часа. Обидно было возвращаться, не побывав в тюрьме. Решив хотя бы заглянуть в окна, я пошел назад и... снова замер, но теперь от радости. Двери тюрьмы, только что запертые, были раскрыты настежь! В глубине полутемного холодного коридора слышался чей-то насморочный голос, и, попривыкнув со света, я разглядел экскурсовода, богемистую девицу, которой внимал невысокий адмирал, окруженный свитой морских офицеров. Ради него, очевидно, и открыли музей. Девица, увидев постороннего, прервала экскурсию и неприязненно поинтересовалась:

— А вы как здесь оказались?

— Видите ли,— начал я, но был прерван.

— Сезон закрыт. Покиньте музей!

И тут я совершил глупость. Вместо того, чтобы смиренно попросить разрешения послушать столь увлекательный рассказ, я ударился в дурацкую амбицию, и указывая на адмирала, брякнул: «А почему ему можно, а мне нельзя?» После чего был, естественно, с позором выдворен из тюрьмы. Снова судьба поворачивалась спиной. Я отступил, но не сдался. Подождав у дверей, когда насморочный голос удалится в конец коридора, на цыпочках прокрался в противоположный конец, скользнул в одну из камер и закрыл за собой дверь.

Свет еле пробивался сквозь забранное решетками матовое стекло. Впрочем, рассматривать было особенно нечего. Примкнутая к стене откидная кровать, вмурованные на разной высоте металлические стол и стул. Пол грязный, асфальтовый. Все. Я попытался мысленно перенестись на сто лет назад, вообразить себя узником. Увы, воображение бездействовало как испорченный телевизор. Музей — это всегда неправда, даже хороший, а этот был не из лучших. На кровати следы электросварки, на стенах надписи: «Коля. ПТУ-17». А где, спрашивается, раковина, унитаз? Кстати, после одного из самоубийств унитазы были перенесены на середину камеры, а углы камер забраны кирпичом, чтобы узник всегда оставался под присмотром. Герман Лопатин сочинил эпиграмму: «По новому закону нам выдвинули троны для пущего веселья на середину кельи». Даже воздух был — неправда. Тогда к керосиновой вони примешивался запах вечно испорченной канализации, в сущности, они жили в уборных.

Как я ни напрягал фантазию, ничего не получалось. Поездка не оправдала надежд. Окинув камеру прощальным взглядом, я вышел. Было тихо. Группа куда-то исчезла. Я свернул в тамбур, в котором почему-то сделалось темно, нащупал двери и толкнул их.

Двери были заперты.

Еще не поняв, что произошло, я толкнул сильнее. Снаружи брякнул, подпрыгнув, тяжелый замок. И тут до меня дошло! Пока я прятался в камере, адмирал и его свита покинули тюрьму, не зная что в ней кто-то остался.

— Ау, люди! — крикнул я.— Вы меня заперли!

Ни звука. Потом взревел и стал быстро удаляться мощный мотор. Шутейное настроение улетучилось, я окончательно сообразил, в какую историю вляпался. Это же настоящая тюрьма, хоть и музей! На окнах всамделишные решетки, единственный выход на замке, и никакого инструмента, чтобы сломать дверь, и никто не пришлет напильник в круглом хлебце, чтобы перепилить решетку. Остров, как можно было убедиться, необитаем, и одному богу ведомо, когда здесь появится следующая «блатная» группа. Может быть — завтра, а может — весной? И насморочная девица будет рассказывать балдеющим экскурсантам историю о случайно запертом в музее незнакомом мужчине, истлевшие косточки которого обнаружили в одной из камер.

Стоп! Как же я забыл о катере! Ровно в семнадцать по Гринвичу вернется капитан. Не обнаружив меня на причале, вразвалочку сойдет на берег и станет меня разыскивать. Надо только не прозевать его. Я надавил плечом на створки двери. они разошлись, образовав щель, сквозь которую был виден кусок крепостной площади, и главное — арка Государевой башни, в которой и должен был появиться капитан. Остальное будет зависеть от моих голосовых связок. Заору так, что услышат в Ленинграде. Я успокоился, но внутренний скептик ехидно осведомился: а что если капитан спешит, к примеру, в баню? Между прочим, сегодня суббота. Постоит минут пять, и не сходя на берег, скомандует «полный вперед!» решив, что я убыл с другой оказией.

Оставалось одно — ждать.

Короткий осенний день истекал. Тюрьма заметно потемнела и помрачнела. Двери камер напоминали крышки гробов, выставленные в ожидании выноса покойника. Сгустилась тишина: глухая, вязкая, давящая. И тут я заметил, что тюрьма перестала быть музеем и стала настоящей тюрьмой. Значит, дело было не в ней, не в следах электросварки, не в надписях на стене, а во мне. Тогда я смотрел на нее глазами любопытствующего экскурсанта и она не казалась жуткой, теперь я был узник, приговоренный к бессрочному заключению, ибо не знал, к какому сроку приговорил меня нелепый случай.

Я медленно двинулся вдоль коридора.

останавливаясь у каждой двери с прикрепленными к косякам портретами заключенных и биографическими справками, и приникая к «глазку». В обманчивом сумеречном свете грезились призрачные серые тени в долгополых халатах и бескозырках с черным крестом. Теня ходили из угла в угол с равномерностью маятника или недвижно сидели в забытьи, привалясь к стене. Их можно было узнать, как узнают по фотографиям на могилах бывших знакомых.

Николай Морозов. Высокий, страшно худой, болезненный. Великий ученый, волей судьбы ставший террористом. Двадцать пять лет в одиночке. Потом, словно устыдившись, судьба будет отдариваться перед ним за все испытания. Женится на одной из самых блестящих невест столицы, станет почетным академиком, его не тронут в годы культа, оставив в качестве символа революционной преемственности, он переживет войну, дождется победы и умрет на девяносто третьем году жизни.

Герман Лопатин. Первый переводчик «Капитала», друг Маркса. Маркс излечил его от народнических утопий, убедил, что, прежде чем думать о социализме, России надо стать цивилизованной страной. Однако, когда потребовалось восстанавливать разгромленную «Народную волю», Лопатин вернулся из эмиграции под видом английского коммерсанта, был схвачен со списками уцелевших и пережил страшную трагедию, став невольным виновником краха организации. В тюрьме он держался особняком, не желая больше брать ответственность за других, после освобождения вернулся было в политику, но история предательства Азефа его доконала. Умирал Лопатин зимой восемнадцатого в голодном Петрограде, не зная, куда несется Россия в этой вьюжной круговерти.

Айзик Арончик. Чтобы вернуться в Россию, он решил изменить внешность и плеснул себе в лицо кислоту. Заметим — чтобы приехать в Россию, а не выехать из нее. В Шлиссельбурге его разбил паралич, много месяцев он тихо умирал без всякого ухода, не жалуясь, не подгоняя смерть.

А вот и мой Новорусский. Бородатое крестьянское лицо, только взгляд сквозь круглые очки выдает интеллигента. В сущности, он не был революционером, его участие в покушении состояло в том, что он предоставил Ульянову квартиру для изготовления бомбы. Шлиссельбург, как ни странно, помог ему найти истинное призвание. Бывший богослов стал ученым-естествоиспытателем, оригинальным писателем, популяризатором науки, преподавал у Лесгафта в Вольной школе.

В смежных камерах две женщины: Вера Фигнер и Людмила Волкенштейн. Тогдашняя молодежь поклонялась им, «Венерам революция», как нынешняя рок-идолам. Присутствие в тюрьме красивых женщин сообщало атмосферу романтизма, смягчавшую тяжесть наказания для заключенных-мужчин. Им поклонялись, передавали стуком стихи, они были вдохновительницами тюремных протестов. Их дальнейшие судьбы сложились по-разному. Вера Фигнер доживет до глубокой старости, Людмилу Волкенштейн убьют вскоре после освобождения при разгоне демонстрации.

Николай Щедрин. Два смертных приговора. На каторге он ударил жандарма, оскорбившего женщину, и был наказан прикованием к тачке. Тачка сделалась его кошмаром, с ней его везли через всю Россию, и привезли в Шлиссельбург уже душевнобольным. Он воображал себя лордом и угрожал России разрывом дипломатических отношений, если его не освободят. Не желая ни в чем одолжаться у охраны, он срывал одежду и мерз голый, иногда лаял по-собачьи, доставляя жандармам гнусную радость. Умер Щедрин в советское время, в Казанской психушке, всеми забытый.

Василий Конашевич, убийца провокатора Судейкина, увы, тоже душевнобольной. Он великий и непризнанный изобретатель, он открыл способ доить свиней салом, не причиняя им вреда, он изобрел машину, простым поворотом ключа делающую точь-в-точь такую же машину, а также складную паровую баню и железную избу для крестьян. В свободное от изобретательства время он поет эротические песни своего сочинения некой красавице, которая находится в камере вместе с ним.

Николай Похитонов, третий сумасшедший. До ареста блестящий морской офицер. Охрана нарочно выпускает его в коридор собирать милостыню. Он ходит от камеры к камере с иаволочкой и, уставив в «волчок» безумно расширенный глаз, дрожащим голосом просит подаяние. У женских камер он, рыцарственный Похитонов, боготворивший обеих женщин, хихикает и несет похабщину.

Сумасшедшие невольно превращают тюрьму в ад для остальных. Можно представить, что чувствует человек, слыша гулко резонирующие под сводами звериный рев Щедрина, хохот Похитонова, песнопения Конашевича. Для многих это послужило толчком к самоубийству. А начинается все безобидно: с воспоминаний. Это естественно — человеку нечем заполнить время и он предается грезам о прошлом. Новых впечатлений нет, и голодающий мозг как жвачку пережевывает то, что когда-то было им воспринято. Целыми днями узник грезит наяву, ведь можно вообразить что угодно, и постепенно это становится наркотиком, мечтания приобретают болезненную форму, становясь все более яркими и неотличимыми от реальности. Из темных глубин подсознания поднимаются таинственные видения уже против воли узника. Заподозрив неладное, он пытается унять разошедшееся воображение, борется с собственной психикой до умственного и душевного изнеможения, пытается оборвать нить мечтаний, но они возвращаются, как это бывает при бессоннице, навязчиво и неотрывно. Ночью приходят кошмары. Затем поселяется чувство отстраненности, узник перестает узнавать окружающее. Все вокруг становится чужим, все вызывает недоумение: камера, какие-то люди, подглядывающие за ним, небо на прогулках. Это последняя грань перед сумасшествием, на которой стояли все.

Но почему одни погибли, другие утратили рассудок, а третьи уцелели, более того, вышли из тюрьмы в полном обладания физических и умственных сил, жили долго и плодотворно? По какому признаку метила их смерть? Может быть, выбирала самых слабых физически? Нет, как раз здоровые могучие люди гибли первыми, такие, как Конашевич, Юрковский. Зато выжил Морозов, ходячий кладезь всяческих болезней, выжили две хрупкие женщины. Тогда, быть может, гибли слабые духом? Но разве можно назвать слабым духом Бакунина, бестрепетно выслушавшего два смертных приговора, но сломленного Шлиссельбургом? Или отчаянно смелого Ипполита Мышкина, который, в сущности, совершил самоубийство, ударив смотрителя? А Софья Гинсбург, перерезавшая себе сонную артерию тупыми ножницами, а Грачевский, совершивший самосожжение, а Буцинский, Кобылянский, Златопольский — все они люди мужественные, склонные к самопожертвованию, участвовавшие в терроктах и уж никак не слабовольные. А с другой стороны, уцелели новички в революционном деле, сугубо мирные люди, внутренне не готовые к борьбе, такие, как Новорусский, Лукашевич. Или вовсе нет никакой закономерности, а есть только слепой случай, пятнающий одних и щадящий других?

Нужен был гений Достоевского, его личный опыт заключенного, чтобы разрешить эту тайну. Князь Мышкин в «Идиоте» вроде б невзначай обронил в разговоре: «А я думаю, что и в тюрьме можно огромную жизнь найти». Это и есть ответ. Выжили те, кто научился жить в тюрьме, именно жить, а не пытаться выжить, те, кто в каменном мешке, среди голых стен, сумел создать для себя цели и интересы, кто трудился ежечасно, кто превратил свой мозг в лучшую научную лабораторию. Морозов изучал в Шлиссельбурге молекулярную физику и астрономию, математику и геологию, историю и лингвистику. Темная камера озарялась сполохами гениальных догадок: о существовании инертных элементов, о сложном строении атома, о возможностях использования атомной энергии. Настоящую робинзонаду развернул Новорусский, овладевший здесь многими ремеслами, создавший естественно-научный музей, сделавший в тюрьме сахар, глобус, вино, барометр, динамо-машину и даже высидевший цыплят. В крупного ученого вырос в тюрьме вильненский студент Лукашевич. И все это в условиях одиночки, вырывая у администрации уступку за уступкой, теряя их и вновь вырывая.

В сущности, это был эксперимент, чудовищный и уникальный, над человеческой личностью. Его результаты подтверждают, что смысл жизни состоит в реализации возможностей человека, о границах которых он и сам не догадывается. Так почему же мы, свободные вроде бы люди, добровольно запираем себя в камеры узких мирков, догм, рутины, лени, боязни сильных желаний, почему изолируемся, ведь мы обкрадываем себя, сокращаем и без того краткий миг своего присутствия!

...В тюрьме стало еще темнее. В тамбуре я нашел помятое ведро, перевернул его и сел у дверей, засунув кисти рук в рукава. Волглый плащ почти не грел. Хотелось есть, утром на вокзале я наспех проглотил бутерброд с двумя засохшими изогнутыми шпротинками и запил жидким чаем. До прихода катера оставалось еще минут сорок, и каждая секунда тянулась невыразимо медленно. Кто-то из шлиссельбуржцев писал, что самое страшное в тюрьме заключается в том, что человек начинает убивать время. Узник ненавидит его, забыв, что время — это ведь не часы и минуты, время — это его силы, его жизнь, и убивая время, он убивает себя. Странно, но многим шлиссельбуржцам после освобождения казалось, что не было долгих, мучительных лет ожиданий, что они вошли в крепость только вчера. Время в своей незаполненности как бы сжимается, съеживается, доказывая свою относительность.

Я закрыл глаза и затосковал о близких, оставшихся дома, в Новгороде, о других людях, которых мне вдруг стало остро недоставать, и, кажется, впервые оценил фразу насчет «роскоши человеческого общения». Без людей человек перестает быть человеком, можно ли ненавидеть тех, кто делает тебя личностью, не лучше ли научиться не такой уж хитрой науке жить вместе?

Вползла в душу боль, засосало возле ключицы, на затылок легла тяжелая рука и стала пригибать голову к груди, в ушах зазвучала печальная нота, послышались шорохи, звуки: капала вода, завывал осенний ладожский ветер, почудился кашель, шаркающие шаги. Я погрузился

в гипнотический полусон и уже не знал, как долго нахожусь на этом крохотном островке, омываемом текучей водой,— час, месяц, годы?

Словно кто-то позвал меня по имени, я вскочил, как от толчка. Неужто проспал?! Часы показывали две минуты шестого. Надавив плечом дверь, я всмотрелся в щель в надежде увидеть капитана, но площадь была пуста. Минут через десять я устало отпустил створки, щель сузилась, сквозь нее уже ничего нельзя было разглядеть, но зато стал вползать страх.

Кричать было бесполезно, до причала слишком далеко, но я закричал. Ответом была тишина. И вот, когда я уже потерял надежду и не сомневался, что впереди у меня ночь в пустой тюрьме, вдруг послышались шаркающие шаги по гранитной щебенке. Шаги остановились, и сиплый голос спросил:

— Кто тут есть?

Это был сторож. Здесь все-таки жил сторож. Замысловато ругаясь, он выпустил меня, как птичку из клетки. Катер стоял у причала.

— А я собирался отчаливать,— буркнул капитан.

Я стоял на корме, смотрел, как удаляется серая крепость и чувствовал себя освобожденным узником. Дышалось удивительно легко, а слева, на высоком откосе, в медленном танце плыла березовая роща, прекрасная мучительной осенней красотой...

Вернисаж «Седьмой тетради»

П. РАГОЗИН

ЖИЛ-БЫЛ ЦАРЬ...

В старинной, 1908 года издания, французской книге дана довольно любопытная оценка деяний последнего российского императора.

Самодержец чувствовал себя на троне крайне неуютно, и тот вопрос, которым в свое время задавался блаженной памяти Федор Иоаннович в известной пьесе А. К. Толстого: «Я царь или не царь?» и для Николая был актуален. Никак не мог Николай Александрович согласовать свои поступки с настоятельным требованием времени, это одна из странных фигур в русской истории. К слову, русским то государя-батюшку и считать нельзя — после Елизаветы Петровны сидели на троне чистые немцы.

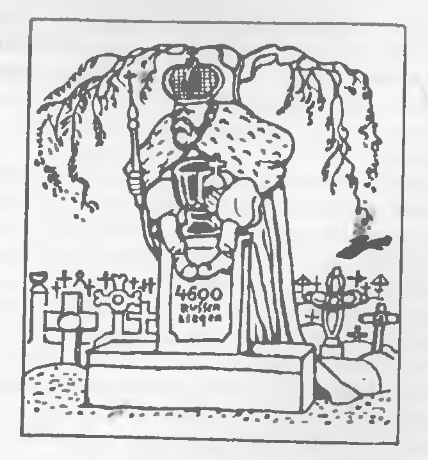
Монархия изживала самое себя. И нечто бутафорское являла собою миру, ненастоящее, чуждое духу тех перемен, к которым стремилась Россия. Уже одним названием — «Николай — ангел мира, Николай — император Кнут» французская книга заявляет о своем характере. Да, это сатира. В книге около трех сотен карикатур, опубликованных в 1903—



Корабль-призрак, броненосец «Потемкин». Журнал «Блоха», Австрия, Вена. 1906



На все готов, чтоб уберечь и голову свою, и тяжкую корону! Журнал «Свисток», Рим. 1905



Кладбищенский покой. «Я, кажется, правлю безупречно, никто не шелохнется...» Журнал «Вааре Якоб». Германия, Штутгарт. 1905



Рисунок Р. Л. на обложке книги «Николай — ангел мира...»



Навис дамоклов меч! Журнал «Свисток». Италия, Турин. 1905



Русский «заем». Николай (обращаясь к Франции): — Пошарь в своем шерстяном чулке, Марианна,— пора купить мне новый кнут!.. Журнал «Парижская жизнь». 1906



Пробуждение Свободы в России. Журнал «Рир», Париж. 1905



Последняя попытка Николая — улететь на шее ангела мира,— единственный шанс. Журнал «Осел», Рим. 1905 г.

1906 годах русскими, английскими, французскими, итальянскими, немецкими, австрийскими, голландскими, бельгийскими, шведскими, испанскими, португальскими газетами и журналами. И посвящены эти карикатуры множеству самых разных сторон жизни и деятельности самодержца. Центральное же место занимает весьма изобретательная и довольно острая сатирическая интерпретация событий: русско-японская война, Кровавое воскресенье, революция 1905 года, рождение наследника престола... Некоторые из карикатур вполне можно считать провидческими. Одна, например, предрекает Николаю судьбу Людовика XVI, другая, предугадывая великий народный бунт, изображает гибельную для монархии ярость Русского Медведя, на третьей царь дразнит мужика колбасой, а на той колбасе написано «Verfassung», что означает «Конституция»; и мужик в конце концов заглатывает Ники вместе с его «Verfassung» — итог закономерный и очень поучительный.

Всех сюжетов, всех неожиданных поворотов остроумия европейских карикатуристов описать невозможно. Книгу надо видеть. Поражает ожесточение, с каким художники точили перья и карандаши на батюшку царя. Очевидно он своей бездарной политикой сам на то напрашивался, как напрашивался, скажем, его коллега Вильгельм II. Кстати, в книге проанонсировано издание нового сборника карикатур, посвященных и германскому кайзеру. Возможно и им найдется место на нашем вернисаже.

Мини-мемуары

И. СЛОНИМСКАЯ

ЧТО Я ПОМНЮ О ЗОЩЕНКО

В двадцатые годы в Доме искусств на Мойке с благословения Горького и при его активном интересе и участии возникла литературная группа «Серапионовы братья». В нее входили Вс. Иванов, К. Федин, В. Каверин, Л. Лунц, Н. Тихонов, М. Зощенко, Н. Никитин, Е. Полонская, И. Груздев. Среди организаторов группы был мой будущий муж М. Слонимский. Его литературные соратники стали на многие годы и моими друзьями. Я посещала собрания «Серапионов».

Здесь-то впервые я и увидела Михаила Зощенко. Сейчас о нем вспоминают многие. Может быть, то, что помню и знаю я, дополнит портрет этого замечательного человека и писателя.

Итак... Дом искусств, начало двадцатых годов — «Серапионовы братья»... Зощенко очень молчалив, мрачен; роста он небольшого, с красивым лицом. Походка у него особенная, немного фатоватая. Глаза удивительные — карие, очень добрые, когда он улыбается, показывая чудесные белые зубы. Цвет лица темный, что придает ему болезненный вид (рассказывали, что на войне он был отравлен газами). И как будто он прихрамывал, во всяком случае опирался на палку. Носил какой-то полувоенный костюм, как многие в те годы. Говорили, что у него ордена за храбрость и даже какое-то наградное оружие. Он воевал и в царской и в Красной Армии.

На собрании «Серапионов» Зощенко прочел как-то два рассказа — «Виктория Казимировна» и «Рыбья самка», которые всем очень понравились. И вот я припоминаю один вечер, когда Лев Лунц читал свою пьесу «Вне закона». Чтение имело шумный успех. Кто-то сказал, что вот наконец-то он слышит настоящую взрослую вещь. А на предыдущем собрании читал Зощенко! Михаил Михайлович, услышав такое, прямо-таки почернел и чудовищно обиделся. Вспыхнул резкий разговор, который тут же постарались замять. Обидчивость Зощенко вошла потом в поговорку. И вот ему, бедняге, пришлось после 46-го года выдержать столько обид и унижений.

А вообще-то каждый рассказ, прочитанный Зощенко, ожидался с большим интересом и обычно нравился.

Мы с моей подругой (она была секретаршей Литературной студии, звали ее Муся Алонкина и ей был посвящен первый альманах «Серапионовых братьев») как-то случайно узнали, что у Зощенко родился ребенок, что он очень нуждается и у них плохо с питанием. Мы решили, что нужно помочь. Не сообщив никому ничего, мы собрали в глубочайшей тайне посылочку (там была даже манная крупа — для ребенка) и отправили ее Зощенко. Встречаясь после этого с ним в Доме искусств, мы всякий раз трепетали: вдруг он все узнает, и тогда точно обидится, рассердится. Прошло какое-то время, мы уже успокоились, как вдруг он как-то подходит ко мне и говорит: «Большое вам спасибо» и целует руку (мне было тогда неполных восемнадцать!). Больше мы с ним никогда об этом не говорили. Как он узнал — не представляю. Но ведь он мог и виду не подать, что ему известно, и никого не благодарить, потому что посылка была отправлена совершенно анонимно!..

Жил он как-то отдельно, в жизни молодых — с вечерами, танцами, романами — не участвовал, а если присутствовал на какой-то вечеринке, то лишь в качестве молчаливого зрителя. Выглядел он как человек умудренный большим жизненным опытом. С ним и обращались осторожно... Нам, «девицам» (так называли постоянных посетительниц серапионовых чтений), он казался загадочным. Острил он неожиданно и очень серьезно — вот такой парадокс. В его шутке (пожалуй, тут больше подходит слово «шутка») всегда был скрытый смысл.

Читал он довольно часто, вызывая дружный смех и восхищение. Его рассказы воздействовали так сильно, что мы стали повторять зощенковские словечки и обороты речи. Я много лет говорила при случае «собачка системы пудель», «не для цели торговли, а для цели матери» и так далее.

Теперь уже смутно помню веселые серапионовские годовщины и те необыкновенно смешные пародии и сочинения, которые к этим дням писали чаще всего Зощенко и Евгений Шварц. Несколько таких годовщин праздновали у Тихонова, у Федина, не помню где еще. (Раз у Груздева.)

На все собрания, вечера, годовщины Зощенко всегда приходил один. Жену его никто не знал и не видел. И вот как-то летом (в самом начале 20-х годов), приехав к брату в Сестрорецк, я встретила в Дубках Зощенко. Он мне обрадовался и, как это ни странно, повел к себе на дачу. Жили они на Литейной, снимали маленькую мансарду. Жена его оказалась худенькой, очень подвижной женщиной с пышными волосами цвета меди и очень разговорчивой. Кажется, она в то время работала воспитательницей в детском саду. И, очевидно, училась в университете, потому что в 24-м году во время так называемой «чистки» ее «вычистили» из университета из-за социального происхождения — она была дочерью офицера царской армии. Она тяжело переживала это отчисление. Кстати, она мне както показывала первые «опусы» Зощенко, писанные им еще до Дома искусств, до, очевидно, контактов с Горьким и с литературной средой. Там те же персонажи, которых он потом высмеивал, выставлял сатирически, фигурируют в качестве «романтических» героев. Они узнаваемы. По-моему, эта эволюция интересна с точки зрения зощенковской литературной биографии.

В тот день (в Сестрорецке), о котором я вспоминаю, Зощенко пошел меня проводить, и по дороге нам встретилась цыганка. Она пристально поглядела на Михаила Михайловича и сказала: «Заграничные твои глаза, давай я тебе погадаю!» Нас это очень рассмешило.

Я чувствовала, что Зощенко относится ко мне с доверием и симпатией, и мне это было приятно. Уже несколько позже он мне как-то сказал: «У меня к вам дружбишка».

Вскоре пришел настоящий успех в литературе и успех у женщин. Но жизнь еще шла скромная. Они с М. Л.[1] после превращения Дома искусств в ресторан «Шквал» переехали в другую квартиру того же дома — вход с улицы Герцена, 14 (третий двор). Окно комнаты М. Л., узкой, длинной, страшно неуютной, выходило на Невский и на Мойку — комната была угловая, а Зощенко жил рядом — в комнате с окнами во двор. Рядом с М. Л. поселились также художник Милашевский, переводчик Давид Выгодский, бывшая жена Ходасевича Анна Ивановна с сыном Гарриком, вдова Гумилева, поэт Сергей Нельдихен, грузчик, женщина легкого поведения, бывшие служащие Елисеева Евдокия Васильевна (очень славная) и ее муж. Одним словом, настоящий Ноев ковчег.

«Серапионы» по-прежнему собирались в комнате М. Л., и там читались такие интересные, такие талантливые вещи и всегда шло горячее обсуждение, шли споры, во время которых никого не щадили, кроме Зощенко. Один раз чуть даже не подрались!

Как-то раз я пришла на очередное чтение слишком рано. М. Л. не было дома, и комната была заперта. На мой стук из своей комнаты рядом вышел Зощенко и пригласил меня подождать у него. Обстановка была самая примитивная. Ни он, ни М. Л. никакого внимания быту не уделяли, и эта черта у них сохранилась на все времена.

Мы часто втроем — я, М. Л. и Зощенко — ходили по вечерам в кавказский подвальчик на Невском ужинать. Они разговаривали, делились мнениями, обсуждали книги и писателей и пр. Я большей частью молчала и «училась». Потом они провожали меня домой. Иногда к нашей троице присоединялся Федин, а иногда за ресторанным столом собиралась большая компания — и Никитин, и Тынянов, и Эйхенбаум. У меня

[1] М. Л. Слонимский.

сохранилась открыточка, которую они мне там купили, с разными смешными экспромтами, написанными в тот вечер. Зощенко рассказывал нам о своих поездках на выступления в разные города, о том, как его там торжественно встречали, но все это без тени хвастовства.

Он с женой и сыном поселились в большой прекрасной квартире, кажется, на улице Чайковского. Вера Владимировна купила белую мебель в стиле Людовика XVI, у Зощенко появился, хоть и довольно скромно обставленный мебелью красного дерева, но все же — кабинет. И вот как-то мы вместе с приехавшим из Москвы Шкловским оказались приглашенными к Зощенкам. Нас принимали в большой комнате Веры Владимировны, где был накрыт парадный стол. Увидев всю эту обстановку, столь непривычную для Зощенко — мебель Луи XVI, картины с маркизами в золоченых рамах, фарфоровых пастушков и пастушек и большую раскидистую фикусовую пальму, невоздержный Шкловский воскликнул: «Пальма! Миша, ведь это как в твоих рассказах!» Вера Владимировна смутилась. Зощенко почернел и растерялся. Думаю, он даже не замечал, что стоит в комнатах его квартиры.

Зощенко, по-моему, даже в общей семейной квартире жил как-то особняком. Что-то он, конечно, извлекал из этого быта (с ними жили родные Веры Владимировны и бывали ее друзья), особенно для своих повестей, в которых много людей вроде бы нелепых, отсталых от времени, а в общем — беспомощных, хотя и с претензией. И в этих повестях не только юмор, но и боль, и жалость, и размышление.

Хочу вспомянить один случай. Это было в конце двадцатых — начале тридцатых годов. У нас сидел Зощенко, когда неожиданно явился Леонид Добычин[1], часто у нас бывавший. Он еще только начинал печататься. И я, и М. Л. очень внимательно к нему относились, и он, по-моему, отвечал нам тем же. Мы обрадовались его приходу. Нам казалось, что встреча двух таких своеобразных и ярких людей должна вызвать обоюдный интерес. Оказалось, совсем не так. То есть Зощенко, уже очень популярный, можно сказать, знаменитый, проявил было интерес (правда, с некоторой долей благосклонной снисходительности), а Добычин весь взъерошился и совершенно неожиданно, ни с того ни с сего, глядя на Зощенко ненавидящими глазами, стал перечить, говорить резкости и вскоре ушел. Зощенко ничего не понял, он недоумевал: почему Добычин такой злой. Мы тоже ничего не поняли. Не помню, говорили ли мы потом с Добычиным о его реакции на встречу с Зощенко. Во всяком случае это был редкий случай, когда Зощенко вызвал такое резко отрицательное к себе отношение. Обычно он привлекал людей.

Еще эпизод. Конец 30-х годов. Мы оказались спутниками во время поездки в Коктебель. В Джанкое была пересадка. Мы с Зощенко пошли обедать в местный ресторан. За обедом я спросила его, почему он, так интересующийся медициной, написавший книгу «Возвращенная молодость», не пошел в свое время на медицинский. Он ответил, что не пошел сознательно, что учеба в институтах ограничивает свободу мышления, что студентам забивают головы установившимися взглядами, устаревшими «истинами». Может быть, слова были и не эти, но за смысл я ручаюсь. Я, окончившая университет и занимавшаяся физиологией, обиделась и прошлась насчет невежественности и ненаучного подхода. Зощенко вспыхнул и в свою очередь прошелся весьма резко на мой счет. В общем мы поссорились и закончили обед в мрачном молчании. Вышли из ресторана врозь. Мне было и обидно и больно. Вдруг он меня догоняет и говорит: «Дусенька, я к вам очень хорошо отношусь, я не хочу с вами ссориться». Я сразу повеселела, отшутилась, и мы, как ни в чем ни бывало, в мире и согласии доехали до Коктебеля.

Прошла война. Мы были в эвакуации, Зощенко тоже. Он вернулся в Ленинград по-моему раньше нас. В Ленинграде по непонятным для меня мотивам он встретил у руководства очень хороший прием, хотя к эвакуированным, как правило, относились недоброжелательно. Правда, Зощенко эвакуировался не по собственному желанию, а по указанию свыше. Так или иначе положение его в Ленинграде было прочное и спокойное. Он както посолиднел, успокоился.

И тут грянул доклад А. Жданова и «Постановление о журналах „Звезда“ и „Ленинград“».

Никто еще ничего толком не знал (я говорю о близких нам людях), ходили какие-то неясные слухи. М. Л. ушел на собрание. И вот тут, кажется, вечером, мне позвонил Зощенко (он в это время жил на своей даче в Сестрорецке, но звонил из города), и я поняла, что ему на это собрание билет не послали. Мы условились, что когда М. Л. вернется, мы ему позвоним и он придет к нам.

М. Л. вернулся с собрания не один. Пришли к нам еще Козаковы, Мариенгоф с Никритиной, Эйхенбаумы, Шварц. Сразу же позвонили Зощенко, и он пришел. Он явно был обеспокоен, но старался не подавать вида и пытался шутить. М. Л. увел его в кабинет и рассказал ему о том, что происходило на собрании. Кстати, один из московских «руководящих» товарищей предложил М. Л. выступить с осуждением Зощенко. М. Л. отказался (может быть, его потому и включили в то знаменитое постановление, потому что сам рассказ, по поводу которого «постановляли», не представлял специального интереса). Выступил Н. Никитин — очень растерянно и, не закончив выступления, под каким-то нелепым предлогом сошел с трибуны (или как он сказал в своей сумбурной речи — с эстрады). О Никитине я, естественно, говорю со слов тех, кто был на собрании.

В общем, все были и удивлены и обеспокоены. Просидели мы за столом в ту ночь очень долго...

Шли дни, полные всяких тревожных событий. Зощенко ничего не предпринимал и наверх не писал. Как я потом узнала, и Вера Владимировна уговаривала его сделать это. Тучи сгущались и в конце концов мы с Катей Саяновой решили почему-то, что, может быть, нас он послушается, и пошли к нему уговаривать его написать письмо Сталину, чтобы снять с себя обвинения. Мы говорили горячо и долго. Он слушал нас терпеливо. В конце концов он поблагодарил нас за участие.

Письмо Сталину, очень достойное, спокойное письмо, было им написано и отправлено.

В постановлении после доклада Жданова, кроме главных обвиняемых — Зощенко и Ахматовой, — были упомянуты еще несколько писателей, в том числе — М. Л., Хазин и Рест с Варшавским. Положение их после этого тоже стало очень трудным. М. Л. фактически пришлось в течение нескольких лет жить и работать в Москве и только ненадолго приезжать в Ленинград к семье.

Да, вот еще одно очень странное обстоятельство. По установившейся практике тех лет, то, что случилось с Ахматовой и Зощенко, неизбежно вело к аресту. И широкая публика, случайные наши собеседники вроде шоферов такси, в этом не сомневались. И все же никто из упомянутых в постановлении, несмотря на травлю, лишение фактически хлеба и воды, положение изгоев, не был арестован. Потом мне сказали и совсем недавно подтвердили, что таков был приказ Сталина — никого не трогать. Почему? Может быть, тут какие-то внутрипартийные отношения со Ждановым? «Счастливое» совпадение каких-то обстоятельств?

Вспоминаю горький юмор Зощенко. Он ездил в Москву по вызову, по каким-то касающимся его делам. Это было очень тяжелое для него время. Он должен был поговорить то ли с кем-то из секретарей, то ли с каким-то издательским начальством. Когда он вернулся, мы его спросили, что вышло из его московских контактов. Он ответил: «Да ведь им некогда, они все время друг друга поздравляют».

Перехожу к тому, что было записано мной в 1961 году по просьбе, а вернее, по требованию Корнея Ивановича Чуковского. Я рассказала ему о моих последних встречах с Зощенко, о его болезни, и он мне сказал с упреком: «И вы не записали!» Но записывать под свежим впечатлением я не могла — было не до того. Да и потом, когда я хотела написать нашим общим друзьям о последнем месяце его жизни, у меня не получалось. И все-таки попробую...

Самая близкая по дате запись — это мое письмо Л. Б. Черненко-Харитон, моей ближайшей подруге еще с серапионовских времен. Писала я ей в Харьков спустя полгода после трагических событий — 21 декабря 1958, но письмо не послала, оно сохранилось у меня. Очевидно, мне показалось каким-то сухим описание болезни Михаила Михайловича, я не сумела передать атмосферы этого моего последнего общения с ним. И все-таки сейчас я перепишу сюда то, что я ей писала, потому что это точнее...

«...Лидочка, я этой весной пережила тяжелое время. В середине мая я вернулась из Железноводска. И в первый же день позвонила Михаилу Михайловичу. То, как он говорил по телефону, меня просто потрясло. Он плохо понимал, что я говорю, отвечал невпопад, но меня узнал и сказал жалким, больным голосом, что ему очень плохо, чтоб я зашла к нему.

Я сразу же пошла. Оказывается, у него был какой-то приступ, что-то вроде спазма мозгового в результате, как сказали врачи, отравления никотином. Он почти ничего не ел и очень много курил. И у него что-то случилось с головой. Он путал слова, не всегда понимал, о чем идет разговор, на полуслове терял нить разговора.

И в то же время он мне страшно обрадовался, и мы разговорились. И я увидела, что и в болезни он никак не может выйти из круга наболевших и мучительных для него вопросов. Я пыталась отвлечь его от самого себя, рассказывала о концертах Шостаковича и Прокофьева. Он был близок с Шостаковичем, и его эти рассказы интересовали. При этом, не слышав той музыки, о которой я говорила, он удивительно точно и тонко определил творческие индивидуальности обоих. Но он сразу же

[1] Добычин Леонид Иванович (1896—1936) — прозаик.

опять возвращался на свою привычную мучительную тропу и говорил все о том же, все о том же...

До нашего отъезда я бывала у него часто, почти каждый день. Ему стало лучше. (Это уже не из письма: он стал выходить и вскоре уехал к Вере Владимировне в Сестрорецк, и мы успокоились на счет его здоровья.) Перед нашим отъездом он зашел проститься. Когда он уходил, мы с ним, прощаясь, поцеловались, и я с тревогой подумала: а вдруг это в последний раз... И вот так и случилось.

Все это было очень тяжело.

2 июня 1958 года, еще лежа в постели, он надписал мне только что вышедшую его книжку. Он взял перо и вдруг сказал: «Какая глупость! Я не могу писать тебе на „вы“. Я так давно тебя знаю и люблю (Вы, конечно, понимаете, что это „люблю“ никакого специфического оттенка не имеет), я напишу тебе на „ты“». И он сделал надпись на „ты“, а потом сразу же, как будто забыл об этом, и говорил как обычно на „вы“. Я берегу эту книгу как величайшую ценность.

...Мы уехали, потрясенные последним с ним разговором, а через две недели узнали, что все кончено. Я хотела сразу написать Вам и не смогла».

Вот это письмо. А теперь добавлю то, что я записала по памяти в 1961 году, после разговора с Корнеем Ивановичем.

Он не давал себя лечить, не соглашался на врачей. Литфонд тоже как-то не торопился прислать врачей, зная, очевидно, что врач будет встречен неохотно, и Зощенко все равно не даст себя полечить как нужно. Все же я убедила Зощенко сделать анализ крови. Он неохотно согласился. Анализ сделали, я спросила врачей, каков результат. Мне сказали, что только формула сильно сдвинута, но это может быть и при гриппе.

Вообще взаимоотношения Зощенко с врачами, их интерес к нему и его встречи с психиатрами представляют особый интерес.

У его изголовья на столе лежала книжка его переводов на польский (кажется, именно на польский) и очень милое письмо из иностранного издательства не то из Польши, не то из Венгрии, не помню. Но он к этому был равнодушен, а когда я села у его кровати, он начал возбужденно говорить мне о своем положении, о том, что его не реабилитировали, что он по-прежнему ходит в оплеванных и виноватых, что его не печатают, что ему вернули рассказы оттуда-то и оттуда, чего-то не напечатал «Крокодил». Действительно, в это время положение его опять осложнилось (может быть, после пресловутой встречи с английскими студентами, когда он и мудрая, стойкая, другого поколения человек Анна Андреевна повели себя по-разному).

Одним словом, его сжигали горькие мысли, накопившиеся обиды, неудачи, трудности с печатанием, затянувшаяся история с пенсией.

Слушать все это было очень тяжело, было страшно жалко его в этой его униженной гордыне, в этой его беззащитной уязвимости, в неумении, неспособности переступить через несправедливость, постараться забыть, восстановить свои жизненные силы, отнестись ко всему философски, что ли. Нет, ему нужна была полная и почетная реабилитация. Он говорил в том духе, что, мол, обвинили и опорочили его публично и печатно на весь мир, а вот нигде не сказано, что он оскорблен напрасно.

Он был упрям, и самолюбив, и горд, и глубоко человечен, просто, наивно человечен. И он не мог приспосабливаться к обстоятельствам, даже его великолепный юмор ему в этом не помогал. Он противостоял в своем человеческом достоинстве и литературной честности всей тяжести обрушившихся на него обвинений и оскорблений, выстоял морально, но физически и психически сломился.

И вот как-то звонит нам Зощенко. Он приехал на несколько дней в город по делам (думаю, в связи с хлопотами насчет пенсии, которые ему очень досаждали, а пенсия персональная была ему очень и очень нужна, как некое реальное обеспечение), говорит, что хочет нас повидать. Вечером он к нам пришел.

Нужно сказать, как раз в эти дни в одной из центральных газет (по-моему, в «Комсомольской правде») появилась «руководящая» статья о музыке, окончательно реабилитирующая осужденных в 1948 году музыкантов, в частности, очень уважительно в этой статье трактовался Шостакович. А Зощенко после 48-го года как-то соотносил свою судьбу с судьбой Шостаковича и это давало ему облегчение. Они были хорошо знакомы, Зощенко бывал у них в доме, дружил с матерью Шостаковича. Шостакович тоже интересовался Зощенко, между ними существовала какая-то внутренняя связь.

Правда, Шостакович был моложе. Не буду сравнивать их таланты. Дело не в том, а в какой-то общности судеб. И почему-то именно с Шостаковичем, а не с Ахматовой, Зощенко связывал свое положение. И эта новая реабилитация, которая, по мнению Зощенко, восстанавливала честь и достоинство музыкантов (в частности, Шостаковича) никак его не коснулась. Он остался один — под сомнением, непрощенный (а вины своей он, естественно, никакой не чувствовал), не возвращенный вместе с другими к норме.

Одним словом, когда он появился у нас, мы с М. Л. были поражены его тягчайшим душевным состоянием.

Он был чудовищно мрачен и угнетен и сразу же заговорил об этом новом постановлении, о том, что к нему несправедливы, о том, что он один, один остался «нереабилитированным».

Просидел он у нас в тот вечер очень долго,— кажется, часов до двух. М. Л. исчерпал все доводы и убеждения. Зощенко сидел весь черный и говорил, говорил, говорил...

К концу вечера М. Л. все же как будто удалось его успокоить, что-то объяснить, дать какую-то перспективу. Мы очень сердечно, по-дружески простились.

Когда он ушел, мы почувствовали себя совершенно опустошенными. Было очень грустно и беспокойно, но мы беспокоились о его душевном состоянии, а не о его здоровье, нам казалось, что оно уже восстановлено.

А через две недели мы узнали, что Зощенко умер...

Ирина ФЕОНА

КУДЕСНИК КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

Один из основоположников Кукольного театра в Советском Союзе Евгений Сергеевич Деммени начал свою творческую деятельность в Ленинграде в 1924 году. Созданный им тогда «Театр Петрушки» не имел своего официального статуса. Это был всего лишь любительский коллектив. Два его спектакля — «Арлекинада» и «Петрушка» — имели значительный успех.

А. А. Брянцев, внимательно следивший за развитием и работой «Театра Петрушки», предложил соединить его с ТЮЗом, где он был главным режиссером. Евгений Сергеевич с радостью принял это предложение. Теперь у коллектива появилась крыша над головой и можно было думать о создании профессионального «Театра Петрушки». Вскоре этот театр слился с театром марионеток. Под той же крышей образовался новый кукольный коллектив во главе с Деммени. В конце 1936 года он отделился от ТЮЗа и продолжил свою работу в новом помещении на углу Невского и Садовой. Руководил театром до последних дней своей жизни Евгений Деммени.

Ему было бы сейчас девяносто два.



Евгений Сергеевич Деммени окончил Николаевский кадетский корпус, а затем офицерские курсы Пажеского корпуса и был выпущен в чине прапорщика инженерных войск.

Он был олицетворением интеллигентности, той интеллигентности, которая передается из поколения в поколение. Те, кто видел Деммени впервые, невольно обращал внимание на его руки. Только его длинные, тонкие пальцы могли так мастерски оживлять петрушечных кукол, превращая их в поистине живые существа.

Когда мне исполнилось пять лет, отец решил, что настала пора приобщить меня к миру чудес и таинственных превращений. Мы отправились в кукольный театр под художественным руководством Е. С. Деммени, с которым папа был знаком и к которому испытывал самые добрые чувства.

Открылся занавес, и на сцене появились куклы. Они стали громко разговаривать и размахивать руками. Я испугалась, зажмурилась и так просидела все первое действие.

— Уйдем отсюда, я боюсь,— попросила я папу в антракте.

Мы пробирались сквозь толпу детворы — поспешно, крадучись. Отец опасался встречи с Евгением Сергеевичем — боялся, что он может обидеться, увидев наше бегство.

Прошло несколько лет. Все эти годы театр кукол так и не возбудил во мне интереса, остался закрытой книгой.

Однажды, будучи уже ученицей десятого класса, я попала на какой-то скучный эстрадный концерт. Запомнился пошловатый конферансье. После каждого номера он выходил на сцену и, обращаясь к зрителям, «изрекал»:

— Похлопаем, товарищи.

«Наверное, был затейником в доме отдыха»,— подумала я.

Наконец объявили последний номер:

— Евгений Сергеевич

Деммени «Куклы на эстраде».

— Вы увидите пианиста-виртуоза,— продолжал конферансье,— который исполнит на рояле двенадцатую рапсодию Листа. Похлопаем, товарищи!

Внесли ширму. На сцену вышел Деммени. Высокий, статный, чуть подгримированный. Над ширмой появился «пианист-виртуоз». Зрительный зал оживился. Каждое движение «пианиста», каждый наклон головы, поворот туловища, показанные в острой пародийной манере, отождествлялись не с куклой, а с человеком. Позерство, пафос, напускной темперамент — все угадывалось в движении куклы и было выполнено блестяще. Руки Деммени творили чудеса. С этого дня я «заболела» кукольным театром.

В начале своего творческого пути Евгений Сергеевич отдавал предпочтение куклам-петрушкам. Позже он поменял технику. У него появились марионетки и тростевые куклы. Для его театра писали интереснейшие авторы, в их числе Маршак и Шварц.

Как я благодарна судьбе за то, что в юные годы попала в дом народного артиста Юрия Михайловича Юрьева. Там мне посчастливилось познакомиться с Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом, Зинаидой Николаевной Райх, Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, Александром Михайловичем Давыдовым (знаменитым тенором, в ту пору вернувшимся из Парижа на Родину), Владимиром Владимировичем Софроницким...

К Юрьеву мы приехали, когда там уже были Евгений Павлович Студенцов и его жена Нина Михайловна Железнова — актеры Пушкинского театра, завсегдатаи дома Юрия Михайловича. Хозяин пригласил нас к столу.

В разгар ужина, когда Юрий Михайлович, как всегда блистательно, рассказывал различные комические истории из своей жизни (проявляя при этом недюжинный талант характерного актера), раздался звонок в парадную дверь. Юрий Михайлович, прервав рассказ, пошел встречать запоздалого гостя. Через несколько долгих минут в столовую вошел Евгений Сергеевич Деммени. Видно, приехал с концерта. На лице оставались чуть заметные следы грима. Как я узнала позже, Юрий Михайлович был в дружеских отношениях с Евгением Сергеевичем еще с 1918 года, когда оба они работали в Петроградском коммунальном театре.

Во время ужина Деммени неожиданно поднялся и, обращаясь ко всем сидящим за столом, сказал:

— Мне пора...

— Что значит пора? — перебил его Юрьев.— Мы вас никуда не отпустим. Вы должны показать «Чаплина».

— Вот об этом я и хотел сказать. Мне пора показать «Чаплина».

Откуда ни возьмись появился патефон, и полились прекрасные, трогательные мелодии из фильмов Чарли Чаплина. Над импровизированной ширмой показалась кукла — дружеский шарж на знаменитого актера. Кукла зашагала. Мы увидели семенящую походку Чаплина, вывернутые наружу носками ступни ног, свободно вертящуюся тросточку. «Чаплин» забавно стряхивал с себя пыль концом тросточки, и вдруг в руках у него появилась полуметровая лента. Он играл с нею, то подымая ее вверх и описывая круги, то змеевидно опуская. Неожиданно «Чаплин» уронил свой знаменитый котелок за ширму. Я вскочила, чтобы поднять его, но котелок «сам» устремился вверх и водворился на голову «Чаплина». Кукла смотрела на зрителя грустными глазами.

Существует поговорка «Точность — вежливость королей». А я перефразировала бы ее так: «Точность — вежливость Деммени». Об этом его качестве я узнала, когда написала пьесу-сказку и принесла ее к нему в театр. Впрочем, об этом надо рассказать по порядку.

Я позвонила Евгению Сергеевичу. Он был очень любезен. Мы поговорили, вспомнили уже умершего в ту пору отца, вспомнили общих наших знакомых — актеров. Затем он неожиданно спросил:

— Чем обязан вашему звонку?

— Я написала кукольную пьесу. Хотелось бы узнать ваше мнение о ней.

— Что ж, прекрасно. Приносите в театр завтра. В три вы свободны?

— Да.

На следующий день я была в театре, но не в три, как просил Деммени, а в десять минут четвертого (из-за «точности» городского транспорта). Постучала в кабинет Евгения Сергеевича.

— Входите,— ответил мне незнакомый голос.

Вошла. В кабинете сидел помреж.

— Вы Феона? — спросил он.

— Да. Я принесла Евгению Сергеевичу пьесу. Он назначил мне встречу в три часа.

— А сейчас десять минут четвертого,— посмотрев на часы, заметил помреж.— Он вас ждал, ждал... Очень не любит, когда опаздывают.

— Но я опоздала всего на десять минут.

— Этого вполне достаточно, чтобы наш главный режиссер успел рассердиться.

— Рассердиться?! — я совсем растерялась.

— Ничего, отойдет. Вы ему позвоните, а пьесу оставьте.

Вернувшись домой, я позвонила Евгению Сергеевичу. Он был не очень приветлив, немногословен. Я бессвязно оправдывалась, пытаясь объяснить причину своего опоздания. Деммени на это никак не реагировал.

— Завтра в семь вечера я позвоню вам,— сказал он.— До свидания.

На следующий день, ровно в семь, одновременно с глухим боем наших старинных напольных часов, раздался телефонный звонок. Я взяла трубку. Звонил Евгений Сергеевич.

— Что ж я могу сказать?.. Думается, что пьеса театр устроит... При одном условии. Надо заново переписать все третье действие, и быстро.

— Да, да, понятно! Я пишу быстро.

— Быстро это еще не все, к сожалению. Приходите завтра в три. В три, вы слышите? — Он сделал ударение на слове три.

— Я все слышу и все поняла, Евгений Сергеевич.

— У меня есть некоторые соображения по поводу третьего действия. Обсудим, подумаем.

На следующий день, уже в половине третьего, я была в театре, а ровно в три постучала в дверь его кабинета. Он был один и листал мою пьесу.

Беседа наша длилась довольно долго. Его предложения были чрезвычайно интересными. Он так детально разработал третий акт, что мне оставалось лишь написать его по готовой канве.

— Ну что, все ясно?

— Еще бы! Я никогда не могла бы такое придумать. Мне кажется, третье действие будет самым смешным.— И, помолчав немного, добавила: — Отныне, Евгений Сергеевич, считаю вас своим соавтором.

— Что вы хотите этим сказать? — глаза его мгновенно сузились и стали колючими.

— Ну... вы проделали огромную работу... Мой долг...

— В чем ваш долг? Я не для вас проделал, как вы говорите, огромную работу, а для театра, которому служу, и если я когда-нибудь еще услышу такое, считайте, что наши отношения прерваны.

И вот сейчас я думаю о нашем сегодня. Пестреют афиши театров: драматических, музыкальных, кукольных, и очень часто в каждой афише главный режиссер того или иного театра является автором или соавтором, да и не одного, а нескольких идущих спектаклей. По принципу «своя рука владыка» — сам пишу, сам ставлю. Куда же девались режиссеры, рыцарски отдававшие любимому делу свой труд, переписывавшие заново целые сцены, целые акты, а подчас и всю пьесу для блага театра, а не ради собственного благополучия?..

...Итак, через несколько дней третье действие сказки «Один плюс один» было заново написано, и театр приступил к постановке. Через три недели состоялась премьера. Спектакль прошел успешно, и этому немало способствовало очень забавное оформление художника Гдаля Бермана. В большую ширму он вмонтировал огромные игрушечные кубики, одна из стенок кубика раскрывалась, и в ней появлялось то или иное действующее лицо: Ослик, Медвежонок, Кот неученый, Мама Ослица и другие персонажи.

Летом восемьдесят восьмого года мне довелось побывать на Петровском острове, в Доме ветеранов сцены — навестить там бывшего помощника режиссера театра Деммени Ивана Федоровича Андреева. С ним меня связывали давние дружеские отношения. Иван Федорович — пожилой человек, инвалид войны, ходит на костылях. Тяжелое увечье не помешало ему связать свою творческую жизнь с кукольным театром, вначале в качестве актера, позже — помрежа. И, конечно же, при каждой встрече мы вспоминаем замечательного кукольного Мастера...

— Не принимаю я нынешний кукольный театр. Не нравится мне, когда кукловоды появляются на сцене и на глазах у зрителей манипулируют с куклами. Зритель невольно отвлекается, смотря на этот обнаженный механизм. Прежде в кукольном театре была какая-то своя тайна, то, о чем можно было только догадываться...

— Значит, вы против актеров-кукловодов на сцене? Но сейчас почти все кукольные театры мира перешли на открытую форму вождения,— возразила я Ивану Федоровичу.

— Да не против, не против я актеров на сцене, вы меня не так поняли. Вспоминаю наш спектакль «Гулливер в стране лилипутов». Гулливера играл актер и выходил на сцену в «человечьем обличии», а лилипутами были куклы. А как это впечатляло! Не случайно спектакль продержался в репертуаре театра многие годы — прошел около тысячи раз.

Я решила не продолжать эту тему. Каждому дано право иметь свое мнение. Иван Федорович между тем предался воспоминаниям.

— Евгений Сергеевич был магом и волшебником кукольного театра. Он ежедневно наблюдал за ходом репетиций. Как сейчас вижу: вот он вскакивает с места, совсем по-молодому бежит на сцену, отбирает у актера куклу, надевает на руку и показывает. Да как! Кукла начинает дышать, у нее появляется характер. Трудолюбия он был огромного. Мне запом-

нился один день. Неполный состав нашей труппы вернулся из эвакуации еще в 1944 году, остальная же часть — в сорок пятом, их приезд совпал с Днем Победы.

Приехали усталые, измученные длинной дорогой. Чемоданы с куклами и всяким реквизитом тащили на себе. Евгений Сергеевич улыбался, глаза его сияли.

А через несколько минут всеобщих поздравлений и ликований послышалось знакомое: «Товарищи, минуту внимания. Примемся за работу. Распаковывайте чемоданы, приводите кукол в порядок — вечером ответственный концерт».— «Евгений Сергеевич, сегодня такой праздник, нам бы отдохнуть»,— послышались робкие голоса. «Вы, наверное, забыли, что мы перед ленинградцами в долгу». И никто не посмел ослушаться. Да наверное и не захотел бы.

ПРЕМИИ
ЖУРНАЛА «НЕВА» за 1989 год

Редакционная коллегия журнала «Нева» присудила премии за лучшие публикации в 1989 году:

МЕТТЕРУ Израилю Моисеевичу — за повесть «Пятый угол» (№ 1)

СТРУГАЦКИМ Аркадию Натановичу и Борису Натановичу — за фантастический роман «Хромая судьба» (№ 2—3)

МАКСИМОВУ Виктору Григорьевичу — за цикл стихотворений (№ 11)

АНДРЕЕВУ Сергею Юрьевичу — за статью «Структура власти и задачи общества» (№ 1)

ГОЗМАНУ Леониду Яковлевичу и ЭТКИНДУ Александру Марковичу — за статью «От культа власти к власти людей» (№ 7)

АЛЮ Даниилу Натановичу — за очерки «Допетровская Русь в граде Петра» (№ 2, 5, 7)

Уважаемые читатели!

Редакция приносит свои извинения в связи с тем, что по независящим от нее причинам журнал «Нева», начиная с этого номера, будет выходить без цветной вклейки.

Сдано в набор 27.03.90. Подписано к печати 30.05.90. М-22014. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,64 усл. кр.-отт. 25,53 уч.-изд. л. Тираж 615 000 экз. Заказ № 262. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Деммени «Куклы на эстраде».

— Вы увидите пианиста-виртуоза,— продолжал конферансье,— который исполнит на рояле двенадцатую рапсодию Листа. Похлопаем, товарищи!

Внесли ширму. На сцену вышел Деммени. Высокий, статный, чуть подгримированный. Над ширмой появился «пианист-виртуоз». Зрительный зал оживился. Каждое движение «пианиста», каждый наклон головы, поворот туловища, показанные в острой пародийной манере, отождествлялись не с куклой, а с человеком. Позерство, пафос, напускной темперамент — все угадывалось в движении куклы и было выполнено блестяще. Руки Деммени творили чудеса. С этого дня я «заболела» кукольным театром.

В начале своего творческого пути Евгений Сергеевич отдавал предпочтение куклам-петрушкам. Позже он поменял технику. У него появились марионетки и тростевые куклы. Для его театра писали интереснейшие авторы, в их числе Маршак и Шварц.

Как я благодарна судьбе за то, что в юные годы попала в дом народного артиста Юрия Михайловича Юрьева. Там мне посчастливилось познакомиться с Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом, Зинаидой Николаевной Райх, Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, Александром Михайловичем Давыдовым (знаменитым тенором, в ту пору вернувшимся из Парижа на Родину), Владимиром Владимировичем Софроницким...

К Юрьеву мы приехали, когда там уже были Евгений Павлович Студенцов и его жена Нина Михайловна Железнова — актеры Пушкинского театра, завсегдатаи дома Юрия Михайловича. Хозяин пригласил нас к столу.

В разгар ужина, когда Юрий Михайлович, как всегда блистательно, рассказывал различные комические истории из своей жизни (проявляя при этом недюжинный талант характерного актера), раздался звонок в парадную дверь. Юрий Михайлович, прервав рассказ, пошел встречать запоздалого гостя. Через несколько долгих минут в столовую вошел Евгений Сергеевич Деммени. Видно, приехал с концерта. На лице оставались чуть заметные следы грима. Как я узнала позже, Юрий Михайлович был в дружеских отношениях с Евгением Сергеевичем еще с 1918 года, когда оба они работали в Петроградском коммунальном театре.

Во время ужина Деммени неожиданно поднялся и, обращаясь ко всем сидящим за столом, сказал:

— Мне пора...

— Что значит пора? — перебил его Юрьев.— Мы вас никуда не отпустим. Вы должны показать «Чаплина».

— Вот об этом я и хотел сказать. Мне пора показать «Чаплина».

Откуда ни возьмись появился патефон, и полились прекрасные, трогательные мелодии из фильмов Чарли Чаплина. Над импровизированной ширмой показалась кукла — дружеский шарж на знаменитого актера. Кукла зашагала. Мы увидели семенящую походку Чаплина, вывернутые наружу носками ступни ног, свободно вертящуюся тросточку. «Чаплин» забавно стряхивал с себя пыль концом тросточки, и вдруг в руках у него появилась полуметровая лента. Он играл с нею, то подымая ее вверх и описывая круги, то змеевидно опуская. Неожиданно «Чаплин» уронил свой знаменитый котелок за ширму. Я вскочила, чтобы поднять его, но котелок «сам» устремился вверх и водворился на голову «Чаплина». Кукла смотрела на зрителя грустными глазами.

Существует поговорка: «Точность — вежливость королей». А я перефразировала бы ее так: «Точность — вежливость Деммени». Об этом его качестве я узнала, когда написала пьесу-сказку и принесла ее к нему в театр. Впрочем, об этом надо рассказать по порядку.

Я позвонила Евгению Сергеевичу. Он был очень любезен. Мы поговорили, вспомнили уже умершего в ту пору отца, вспомнили общих наших знакомых — актеров. Затем он неожиданно спросил:

— Чем обязан вашему звонку?

— Я написала кукольную пьесу. Хотелось бы узнать ваше мнение о ней.

— Что ж, прекрасно. Приносите в театр завтра. В три вы свободны?

— Да.

На следующий день я была в театре, но не в три, как просил Деммени, а в десять минут четвертого (из-за «точности» городского транспорта). Постучала в кабинет Евгения Сергеевича.

— Входите,— ответил мне незнакомый голос.

Вошла. В кабинете сидел помреж.

— Вы Феона? — спросил он.

— Да. Я принесла Евгению Сергеевичу пьесу. Он назначил мне встречу в три часа.

— А сейчас десять минут четвертого,— посмотрев на часы, заметил помреж.— Он вас ждал, ждал... Очень не любит, когда опаздывают.

— Но я опоздала всего на десять минут.

— Этого вполне достаточно, чтобы наш главный режиссер успел рассердиться.

— Рассердиться?! — я совсем растерялась.

— Ничего, отойдет. Вы ему позвоните, а пьесу оставьте.

Вернувшись домой, я позвонила Евгению Сергеевичу. Он был не очень приветлив, немногословен. Я бессвязно оправдывалась, пытаясь объяснить причину своего опоздания. Деммени на это никак не реагировал.

— Завтра в семь вечера я позвоню вам,— сказал он.— До свидания.

На следующий день, ровно в семь, одновременно с глухим боем наших старинных напольных часов, раздался телефонный звонок. Я взяла трубку. Звонил Евгений Сергеевич.

— Что ж я могу сказать?.. Думается, что пьеса театр устроит... При одном условии. Надо заново переписать все третье действие, и быстро.

— Да, да, понятно! Я пишу быстро.

— Быстро это еще не все, к сожалению. Приходите завтра в три. В три, вы слышите? — Он сделал ударение на слове три.

— Я все слышу и все поняла, Евгений Сергеевич.

— У меня есть некоторые соображения по поводу третьего действия. Обсудим, подумаем.

На следующий день, уже в половине третьего, я была в театре, а ровно в три постучала в дверь его кабинета. Он был один и листал мою пьесу.

Беседа наша длилась довольно долго. Его предложения были чрезвычайно интересными. Он так детально разработал третий акт, что мне оставалось лишь написать его по готовой канве.

— Ну что, все ясно?

— Еще бы! Я никогда не могла бы такое придумать. Мне кажется, третье действие будет самым смешным.— И, помолчав немного, добавила: — Отныне, Евгений Сергеевич, считаю вас своим соавтором.

— Что вы хотите этим сказать? — глаза его мгновенно сузились и стали колючими.

— Ну... вы проделали огромную работу... Мой долг...

— В чем ваш долг? Я не для вас проделал, как вы говорите, огромную работу, а для театра, которому служу, и если я когда-нибудь еще услышу такое, считайте, что наши отношения прерваны.

И вот сейчас я думаю о нашем сегодня. Пестреют афиши театров: драматических, музыкальных, кукольных, и очень часто в каждой афише главный режиссер того или иного театра является автором или соавтором, да и не одного, а нескольких идущих спектаклей. По принципу «своя рука владыка» — сам пишу, сам ставлю. Куда же девались режиссеры, рыцарски отдававшие любимому делу свой труд, переписывавшие заново целые сцены, целые акты, а подчас и всю пьесу для блага театра, а не ради собственного благополучия?..

...Итак, через несколько дней третье действие сказки «Один плюс один» было заново написано, и театр приступил к постановке. Через три недели состоялась премьера. Спектакль прошел успешно, и этому немало способствовало очень забавное оформление художника Гдаля Бермана. В большую ширму он вмонтировал огромные игрушечные кубики, одна из стенок кубика раскрывалась, и в ней появлялось то или иное действующее лицо: Ослик, Медвежонок, Кот неученый, Мама Ослица и другие персонажи.

Летом восемьдесят восьмого года мне довелось побывать на Петровском острове, в Доме ветеранов сцены — навестить там бывшего помощника режиссера театра Деммени Ивана Федоровича Андреева. С ним меня связывали давние дружеские отношения. Иван Федорович — пожилой человек, инвалид войны, ходит на костылях. Тяжелое увечье не помешало ему связать свою творческую жизнь с кукольным театром, вначале в качестве актера, позже — помрежа. И, конечно же, при каждой встрече мы вспоминаем замечательного кукольного Мастера...

— Не принимаю я нынешний кукольный театр. Не нравится мне, когда кукловоды появляются на сцене и на глазах у зрителей манипулируют с куклами. Зритель невольно отвлекается, смотря на этот обнаженный механизм. Прежде в кукольном театре была какая-то своя тайна, то, о чем можно было только догадываться...

— Значит, вы против актеров-кукловодов на сцене? Но сейчас почти все кукольные театры мира перешли на открытую форму вождения,— возразила я Ивану Федоровичу.

— Да не против, не против я актеров на сцене, вы меня не так поняли. Вспоминаю наш спектакль «Гулливер в стране лилипутов». Гулливера играл актер и выходил на сцену в «человечьем обличии», а лилипутами были куклы. А как это впечатляло! Не случайно спектакль продержался в репертуаре театра многие годы — прошел около тысячи раз.

Я решила не продолжать эту тему. Каждому дано право иметь свое мнение. Иван Федорович меж тем предался воспоминаниям.

— Евгений Сергеевич был магом и волшебником кукольного театра. Он ежедневно наблюдал за ходом репетиций. Как сейчас вижу: вот он вскакивает с места, совсем по-молодому бежит на сцену, отбирает у актера куклу, надевает на руку и показывает. Да как! Кукла начинает дышать, у нее появляется характер. Трудолюбия он был огромного. Мне запом-